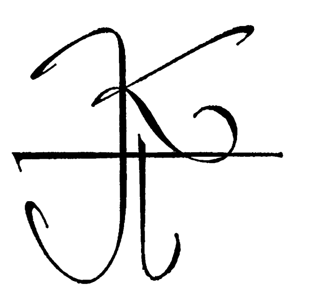
Константин

7

Паустовский

7

Константин Паустовский





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ СЕДЬМОЙ

•

СКАЗКИ
ОЧЕРКИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
П 21

Примечания
Л. Левицкого

Оформление художника
Е. Гольдина

П $\frac{4702010200-302}{028(01)-83}$ подписное


Сказки

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался у околицы и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушел дальше, пыля и позванивая удилами,— ушел, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой о калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или черствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей, а вернее — общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу «Ну Тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла теплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб,— хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое. В один из таких теплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу. «Да ну тебя! Дьявол!» — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасешься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это, или ничего такого не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уж мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мерзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И все выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припер дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь ее рев Филька слышал тонкий и короткий свист,— так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лед, звезды примерзли к небесному своду, и колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его вале-

нок по твердому снегу, слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые бревна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замерзли колодцы и теперь их ждет неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где еще оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на мышей, но мыши все лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз,— говорила бабка.— Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской,— ответила бабка.— Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только черствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно,— говорит солдат.— У меня вместо ноги деревяшка».— «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии»,— отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь,— засмеялся мужик.— Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна зеленая плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца,— ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа.— Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек свое злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, ученый. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель веселых пильщиков пилила под корень березовую рощу за рекой. Казалось, воздух замерз и между землей и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и ее было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Черные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблескивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке,— сказал он.— Рассказывай, пока не замерз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а,— вздохнул Панкрат,— плохо твое дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат.— Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рев. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми

не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно,— ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов все-таки тянуло теплом и сорока не боялась замерзнуть. Никто ее не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела посом, заметила, как темной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почесываясь и соображая — куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ерзал, придумывал.

— Ну,— сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку,— время твое вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат,— сказал Филька,— как рассветет, соберу со всей деревни ребят. Возьмем мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лед у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечет она на колесо. Как пойдет вода, ты пускай мельницу! Провернешь колесо двадцать раз, она разогреется и начнет молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник.— Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ты будешь делать?

— Да ну его! — сказал Филька.— Пробьем мы, ребята, и такой лед!

— А ежели замерзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лед и скалывает».

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и теплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли и весело, гулко зашумела за рекой мокрая березовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, ее не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понесся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит теплая вода, моет корни брусники, ломает лед на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лед треснул, разошелся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло —с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, еще быстрее, и вдруг

вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие березовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И все, что было живого в избах,— ребята, кошки, даже мыши,— все это вертелось около хозяек, а хозяйки шлепали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришел вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи, не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николай держал деревянную солонку с крупной желтой солью. Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята.— Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж,— сказал Панкрат.— Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из руки Фильки мягкими

губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слезы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась все больше и трещала, как пулемет.

1945

ПОХОЖДЕНИЯ ЖУКА-НОСОРОГА

(Солдатская сказка)

Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Степа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но все равно продолжал стучать и браниться.

Степа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Степу за палец,— хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Степа пальца не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Степы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Петр Терентьев усмехнулся на Степин подарок, погладил Степу по головке шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги,— сказал Степа.

— Нешто можно такие гостинцы терять,— ответил Петр.— Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и черным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Петр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Петр смущенно усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью Петр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки. Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали желтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он еще не видал. Молний было слишком много. Звезды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в Петровой деревне, а взлетали с земли, освещали все вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мертвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться,— уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, теплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух,— испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Петр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушел,— ответил Петр с огорчением.— Вот беда!

— Нашел об чем горевать,— сказал загорелый боец.— Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе,— возразил Петр,— а в памяти.

Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое до́рого, дорога́ память.

— Это точно! — согласился загорелый боец.— Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — все равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Петр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идет, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Петр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы еще больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Петр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев березы много было листьев вяза и тополя. И Петр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешел мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Петр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо.— Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьем и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся он от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Петр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что все равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зеленом мундире прице-

лился в Петра из винтовки, но жук с налета ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Петр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зеленых мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Петр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Петр снова ушел на фронт — рана у него была легкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжелых боев был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные черные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул теплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел рассказать об этом всем остальным листьям.

Петр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Петр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из нее сделаем сад и заживем, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Петр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Степа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ,— ответил Петр.— Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Степа.

Петр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил

их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Степа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот,— сказал Петр, когда Степа вернулся,— теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское свое поведение. Соберет всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Степа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит,— ответил Петр.— От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну, разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озерах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

1945

СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала ее в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с веселым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвется к станции из дальнего черного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой.— Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колеса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду ее не подняло над землей и не утащило за поездом. Когда поезд пронесся, а снежная пыль еще вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка,— ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать,— строго ответила Варюша.— Это ему от кашля.

— Эх ты,— сказал боец,— цветок-лепесток в валенках! Больно серьезная!

— А ты так возьми сколько надо,— сказала Варюша и протянула бойцу мешочек.— Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в ее синие глаза.

— Эх ты,— повторил он,— анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потер о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенек совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого,— ответил боец,— что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесет он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный,— боец потянул Варюшу за озябший, красный палец,— будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенек на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь,— прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели.— Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец.— Он старый сапер Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша все трогала колечко, повертывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она.— Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нем не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у нее большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слезы варежкой, но они все равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склевывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живет в избе, в тепле, в сытости, а все ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдешь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял все сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и все чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Все чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дуреха! — шептала она.— Забаловалась, обронила перстенек. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором,— отвечала Варюша.— Такой стал неслух! Все норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Теплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели черные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждым ее шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нем выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей еще в декабре,— потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что

воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним черным листком блеснул огонек. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Еще издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот,— сказал дед,— ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу легким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечем ржаные лепешки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и теплая заря занималась над землей. На краю неба еще догорали звезды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нем сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша.— Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Ее обдало сильным, теплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых сережек посыпалась желтая пыльца. Кто-то прошел неви-

димый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошел? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что мимо нее прошла весна.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками,— зазвенела, запела у нее на сердце.

Весна разгоралась с каждым днем все ярче, все веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щелки, но все время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенек на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие березовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенек на указательный палец.

«Успею,— подумала она.— Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

1946

ДРЕМУЧИЙ МЕДВЕДЬ

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить ее внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький ее совсем позабыл, какая она была.

— Все тормошила тебя, веселила,— говорила бабка Анисья,— да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в нее. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Все хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтешь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семен-чаевник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдешь. Берега крутые, все в колосистых травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под черных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семен-чаевник строго наказали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобер зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

Однажды Петя видел, как бобер вылез из воды, сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть ее изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобер оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.

А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семен-чаевник рассказал Пете, что бобер сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий

на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым черным глазом,— колотил и колотил со всего размаху клювом по сухому осокорю. Ударит, отдернет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя все удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву — не теряет веселости.

«Может, голова у него и не болит,— думал Петя,— но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник,— летали ворсистые шмели, пчелы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налета, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

И в воде тоже было хорошо. Смотришь на нее с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И все чудится, что ползет по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоет за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнезд, не связывал стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щелкать птицы, шмели взлетали и покрикивали «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пестрой чешуей, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и

пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.

— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щеки.—Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у нее вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живет за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя «Дремучий». Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в желтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки,— зеленые, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи,— и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днем медведь сердился все сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и березки.— Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь.— Да

пет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал, и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скреб в затылке и, наконец, решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они еще были — подняли головы, наставили уши и смотрят: что это за старый пень плывет по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять ее за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла.— Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву — посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплевывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.

Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щелкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь.— Бунт? Я с тебе все листья сдеру, негодница!

А ива все хлещет его и хлещет. В это время дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился — и как долбанет медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошел от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что та-

кое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчелы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползет, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри.— Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю... до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнешь бочку воды, тогда не придешь! — прохрипел окунь, не разжимая зубов.— Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового меда, как самый драчливый ерш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошел махать саженками к своему берегу.

«Фу, думает, дешево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали ее грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывет, а бобры смотрят — рассчитывают, когда он подплывет под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчет всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобер крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенек треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рас-

считали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но все-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!», а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ерш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пестрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в свое логово. Залег с горя спать на осень и зиму. И зарекся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились,

Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

1947

РАСТРЕПАННЫЙ ВОРОБЕЙ

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить в девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны.

Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием «Камчатка», и вернется нескоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот,— прошептала мама,— ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего еще не понимаешь,— ответила мама.— Папа подарил мне этот букет и сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла,— сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Все! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что казалось, все спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление тихонько пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. И еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где ле-

том продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени «Пашка».

Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу «Чичкин»,— воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая.

«Раньше,— рассказывал Чичкин,— воробьи собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то, что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?»

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летал облаками. Теперь таких драк нипочем не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза: прикинулся мертвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбранилась на все воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели.— Невеселой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклевывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принес ей замерзшую рогатую гусеницу — нашел ее на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и

притаскивал чужие вещи: расческу, игральную карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, вороватo схватила стеклянный букет и вылетела за окно. Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдется стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней. Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — па деревья, пока не долетел до театра. Там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьев, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларек, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларек, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была ученая, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларек. Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собра-

лась толпа. Прибежал милиционер. Он заглянул в ларек и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер.— Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы открыть заколоченную дверь в ларек и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули. Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повел ею, и под нарастающий гром музыки тяжелый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую парядную комнату, залитую желтым солнцем, и богатых уродок-сестер, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку. Было очень хорошо, что музыка все время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижером. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими черными биноклями,— даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слезы,— вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрепанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослепленный сотнями ог-

ней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижер поднял руку и остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью. Дирижер взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрепанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — ее мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да,— ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша.— От радости смеются.

— От маленькой радости смеются,— ответила мама,— а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, все прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

1948

АРТЕЛЬНЫЕ МУЖИЧКИ

Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала.

Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи.

Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась — под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек.

Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого — черная, как воронье перо, у третьего — вроде как пакля, а у четвертого седая.

— Здравствуйте! — тихо сказала Варя.— Вы кто ж такие будете?

Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки.

— Мы дровоколы из Лесного прикола,— ответили они все разом и поклонились Варе в пояс.— Не бранись, хозяюшка, что на твоем дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся.

— Ну что ж,— сказала Варя ласково,— старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает.

— Вот правильно! — ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесемку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил.— Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берем мы недорого.

— А сколько? — спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю.

— Это смотря по работе,— охотно ответил рыжий мужичок.— Вот, скажем, требуется тебе забить в бревнах ходы, что прогрызли жуки дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу,— это одна цена. Это работа затруднительная.

— А чем затруднительная?

— Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерешься. Весь армяк изорвешь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За нее надо брать по два ореха на каждого.

— Два не два, а полтора ореха — верная цена! — примирительно заметил седой мужичок.— Мы, внучка, мо-

жем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берем по соглашению — копеек пять, а то и все шесть.

— Что там ни говори,— рассердился рыжий мужичок,— а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьет, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится — не отдерешь!

— А зачем их собирают, муравьиные яйца? — спросила Варя.

— Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу.

— У меня, мужички,— сказала Варя,— работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть ее в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из той паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос.

— Какой волос? — удивились мужички.

— Вы покурите, а я вам объясню.

Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать.

И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождем сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьев: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!»

— Это верно! — заметил мужичок с бородой вроде как пакля.— Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдет по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит, трясется.

— Это как понимать? — спросил рыжий мужичок.— Чего ты плетешь?

— Мышь-то по земле бегает? Ай нет?

— Ну, бегает.

— А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и ее караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет?

— Ну, караулит.

— Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, ее не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится,— ее, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура — и та ее сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперед. Никакой глаз ее не приметит.

— То-то! — сказал седой мужичок.— У всякого зверя свое соображение. Так, говоришь, внуча, крепко дрались те воробьи?

— Прямо ужас как дрались! — вздохнула Варя.— Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я все гляжу. Рвали они его, рвали, да и уронили. Упал он на пенек и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху — и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озерами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, черный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живет в той стране, говорит, девушка по имени Маша с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат ее три волка с пугачами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, ее волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся.

Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза.

— Ты чего смеешься? — рассердилась Варя.— Ай не веришь?

Жужелица перевела дух, перестала смеяться.

— Уж истинно говорят, что старый — дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство.

— Дед Прохор зря говорить не станет,— ответила Варя.— Ты не вправе на деда ругаться.

— А ты вправе,— зашипела жужелица,— пильщикам моим мороки забивать своими побасками! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу поденно по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа!

— Как три зерна?! — закричал рыжий мужичок.— Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные!

— Не согласные! — закричали все мужички.

— Подумаешь, какие самостоятельные! — пропищала жужелица.— От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите будто полномерные мужики.

— Ох, старуха! — покачал головой седой мужичок.— Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьешь, а пот с рабочих людей выжимаешь.

Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул ее па землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице.

— Уйди,— сказал он,— покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга!

— Это ты-то?

— Я-то!

— Меня? Жужелицу?

— А то кого же!

— Ты, брат, смотри!

— Ты сама смотри! Уйдешь? Ай нет?

— Ну, ну, не замахивайся!

Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню — там у нее была нора. На бегу она обернулась, крикнула:

— Я этого вам не забуду! Раскаетесь!

— Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка!

Седой мужичок только покачал головой.

— Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чем твое дело.

— А мне что рассказывать! — заспешила Варя — Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране.

— Известно! — согласился мужичок с черной бородой.— Как не голодовать! Что от такой осени проку? Все помокло, погнило. А новое не родится.

— Палым листом тоже не сладко питаться,— добавил рыжий мужичок.

— Вот беда! — вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля.— Пропадают, значит, людишки!

— Ох, и пропадают! — вздохнула Варя.— Ох, и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А все почему?

Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришел к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый. И глаз у него от винища красный. Пришел со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут ее Машей. Волосы у нее золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть ее в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживет у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».

— Та-ак! — пробормотал седой старичок.— Значит, в темнице она, осень.

— Освободить ее надо,— сказала Варя.

— Это мы и без тебя понимаем! — закричал рыжий мужичок.— Ослобонить! Какая шустрая нашлась! Вот ты сама пойди и ослобони. Только как?

— Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку взлезть ничего не стоит.

Седой мужичок встал, снял шапку, спросил:

— Ну что ж, артель? Соглашаемся?

— Соглашаемся! — закричали все мужички.

— На своих харчах?

— На своих.

— Тогда передохнем малость, заправимся и пойдем.

Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник — горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и на-

чали слушать: что это за гуд такой несется из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться?

Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни.

Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли ее в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос.

— Испытать бы надо поясок,— сказали мужички Варе.— Чтобы конфуза не получилось.

— Ой, мужички! — испугалась Варя.— Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберет и все сделает.

— А нам от него много не требуется,— ответили мужички.— В осенний край самый близкий путь через Великое болото. Да сама знаешь, там не пройдешь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит — значит, сила в нем есть. А не построит — значит, и силы в нем нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим.

— Ну, так и быть! — согласилась Варя.— Пойдемте!

Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровен час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники.

На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила:

— Поясок, милый дружок, построй через болото мосток!

Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зеленые лягушата. Было их великое множество,— может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат:

— Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим!

— Ну что ж! — сказали Варе мужички.— Мы, пожалуй, пойдем. А тебе придется тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!

Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину.

Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их все нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи?

Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору все, что случилось.

— Эх ты глупенькая! — сказал дед Прохор.— Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придется.

— Что же делать, дедушка? — испуганно спросила Варя.

— Народ созывать,— ответил дед.— Всем миром надо собраться и идти выручать твоих мужичков и Машу. Беги скликай людей на выгон. С вилами, с косами, с дрекольем, а у кого есть, так и с дробовиками.

— Сейчас, дедушка! — крикнула Варя и выскочила из избы.

А с мужичками случилось вот что: когда взошло солнце и стали таять-редеть туманы, дошли, наконец, мужички до осеннего края, остановились на песчаном бугре, долго глядели вокруг и только вздыхали,— не приходилось им на своем веку видеть такую страну

День, как на грех, выдался погожий, и до самого края земли стояли желтые леса и шелестели посохшей листвой. Все леса были запутаны паутиной, и на той паутине висела роса.

Мужички попили росы. Каждому хватало по две капли, только рыжий выпил все три. Потом они вытерли усы, крякнули: ну и вкусна же вода! Да и то сказать,— роса легла ночью, а ночь была по-осеннему холодная, ясная, переливалась звездами, дышала повялыми травами, и потому в каждой росинке был запрятан ночной холодок, запах травы и тихий блеск, будто отражение небесной звезды.

По всему было видно, что осень в этом краю затяжная,

тяжелая. На полянах ветер намел столько гнилой листвы, что мужички проваливались в нее с головой — идти было почти невозможно. Поля стояли бурые, пустые, а в деревнях редко-редко струился к небу дымок из печей.

— Видать, что и варить здешним людям уже нечего,— тихо переговаривались мужички.— Все начисто проели. Сколько деревень мы прошли по задам, а ни разу не слыхали, чтобы корова замычала или даже петух прокричал. Будто вымерло все. Дай ему волю, этому подлому властелину, он наверняка всю землю опустошит, род людской пустит по миру.

Мужички шли, конечно, с опаской. Чуть кого-нибудь заметят — тотчас прячутся. Больше хоронились они в следы от лошадиных копыт.

Чем дальше шли мужички, тем темнее делалась осень. В лесах было холодно, тихо под тучами, и красный лист, что еще не всюду осыпался, висел понуро на мшистых ветвях.

Шли мужички через лес, как откуда ни возьмись ударил вдруг страшный ветер, сорвал всю листву, закружил ее и понес проливнем. И стал задувать все сильнее, все крепче, покуда не поднял мужичков на воздух и не понес их вместе с листьями обратно к Великому болоту. Мужички испугались, летят, хватаются за ветки. Да разве удержишься при таком напоре!

Рыжий мужичок на лету перевернулся несколько раз, закричал:

— Это, братцы, неспроста! Ветер наслал на нас властелин, чтобы отшибить нас обратно, нам воспрепятствовать.

— Откуда же он дознался про нас? — прокричал мужичок с черной бородой.

— Жужелица наябедничала, заслала к нему своих приживалок. Они бегают шибче нас.

— Ой, дружки! — закричал мужичок с бородой вроде как пакля.— Несет нас в болото. Утопимся! Дед, у тебя поясок с золотым волоском. Попроси его. Может, спасет нас.

Седой мужичок торопливо вытащил из кармана поясок, опоясался им, крикнул:

— Поясок, будь дружок, прекрати ветерок!

— Стой! Не так просишь! — сердито закричал рыжий.— Это с какой же стати нам опять с Великого болота переться, ноги уродовать? Ты проси, чтобы ветер повернул обратно и нас до самой Маши донес.

Седой мужичок сообразил, закричал наново:

— Поясок, будь дружок, поверни ветерок! Пусть донесет нас до самых Машиных ног!

И тут ветер завыл, загудел, начал на полном бегу заворачивать, вздул к небу столько листьев, что понеслись они над землей, как красная туча, застили небо.

Теперь летят уже мужички куда надо, но только на душе у них все равно беспокойно. Надеялись они, что поясок поможет им волков и барсуков победить, да вышло не так. Два чуда — с лягушатами и ветром — поясок уже сделал, а третьего не сделает,— силу свою он уже потерял. Теперь только Маша может пояску силу эту вернуть. Придется, значит, с Машиной стражей биться им, мужичкам, не на живот, а на смерть.

Летят наши мужички, вниз поглядывают, а там проносятся леса, реки, озера, деревни и видно, как народ выбегает из домов и дивится на лиственные красные тучи.

Вскоре заблестела за лесом тесовая крыша, ветер стал затихать и опустил мужичков на поляну около черного частокола.

Сидят мужички, одурели от полета, а лист, как только ветер затих, так все и сыплется па них, все сыплется и вскоре всех их засыпал, прикрыл. Тепло под этим листом и безопасно.

Мужички отдышались и стали соображать, как им ловчее через частокол перелезть и стражу обмануть. Потому что, как ни крути, а драться им теперь было не с руки. Драку надо было оттянуть на самый худой конец.

Сидят они, рассуждают всю ночь, а к утру слышат,— кто-то ходит по сухому листу, гребет его, будто ищет чего-то. Переглянулись мужички, а рыжий шепчет:

— Слыхали? Это нас ищут.

— Чего же делать? — спрашивают мужички.

— Я изо всех вас,— тихо отвечает рыжий,— самый отчаянный. Мне все нипочем!

— Это верно! — согласились мужички.— Отчаянности в тебе много.

— И опять же, верткий я человек, горячий. И удар у меня очень даже сильный. Я как возьму топор, так за один мах ячменный стебель перерубаю. А вы пять минут бьете, покуда тот стебель осилите.

— Ну что ж,— вздохнули мужички.— И это, брат, верно.

— А потому,— важно сказал рыжий мужичок,— тот поясок вы отдайте мне. В случае чего я один отобьюсь от всех волков да барсуков.

— Эх, Митрий! — вздохнул седой мужичок. — Стар я стал, ослаб, а то бы нипочем тебе того пояска не отдал. Да еще бы и оттаскал тебя за бороду за бахвальство твое. Бери поясок.

Рыжий взял поясок, свернул, засунул за пазуху. В тот же миг над головой у мужичков листья зашумели и просунулась к мужичкам петушиная голова. Глаз у петуха был злой, круглый, а голос сиплый,— видно, что прав у петуха сварливый, грубый. Лучше с таким петухом не связываться.

— Что за жуки? — спросил пастух.— Я таких сроду не видывал. И не склевывал. Это очень даже мне интересно!

Мужички схватились было бежать, но петух быстро разгреб лапами листья, и седой мужичок вместе с черным и с тем, что отпустил себе бороду вроде как пакля, подвернулись под петушиные лапы, полетели в пыль, а рыжего мужичка петух так долбанул по спине, что тот только охнул.

Петух схватил его за армячок, зажал в клюве, помчался размашистым бегом к частоколу, протиснулся в дыру между бревен, пробежал через двор — и прямо в горницу к Маше, чтобы там на свободе непонятного жука с рыжей бородой заклевать.

«А то начнешь клевать во дворе,— соображал петух,— тотчас привяжутся стражники — барсуки: что это, мол, за жук такой, да где ты его взял, да отдай его нам, да чего ты тут со своим жуком мусоришь да так его клювом долбишь, что начальника нашего караула, волка по имени Клык, разбудишь и нам за то нагорит».

Через двор мимо стражи петух пробежал, конечно, рысью, а в горницу к Маше вошел важно: подымет одну лапу, постоит, шагнет, подымет другую лапу, опять постоит... Петух был с Машей обходительный,— она каждый день кормила его крошками.

Кинул петух рыжего мужичка на пол, только собрался клюнуть его покрепче, как рыжий мужичок вскочил, кинулся к Маше:

— Спаси меня, красавица!

— Да ты кто? — испугалась Маша.

— Да я вроде как твой спаситель,— поспешно ответил рыжий мужичок, схватился за подол Машиного платья, а сам на петуха озирается.

А петух глядит на него одним глазом и сбоку подходит.

Маша топнула на петуха ногой, петух взлетел в оконце, забил крыльями, заорал, сорвался во двор и тотчас начал болтать с барсуками, рассказывать им, как он, петух, опростоволосился — чуть не склевал человека.

Барсуки встревожились, кинулись будить волка по имени Клык, да было уже поздно.

Рыжий вытащил из-за пазухи поясок, сунул его поскорей в руку Маше. Она тотчас опоясалась тем пояском, и волки враз зарычали и тут же издохли, а барсуки бросились было спасаться, да сбились в кучу около калитки, потому что каждому, конечно, хотелось пролезть в нее первым. Затолкались барсуки, заругались и начали драться. И перекололи друг друга вострыми казацкими пиками.

Маша подняла рыжего мужичка с пола, посадила себе на ладонь, и он ей все рассказал — и про Варю, и про своих товарищей по артели, и про то, как подрядились они с Варей освободить Машу-осень от властелина и воротить людям зиму, весну и лето, чтобы снова начала родить земля богатые урожаи.

Маша приказала рыжему мужичку позвать всех остальных, чтобы попили чайку, отдохнули. Рыжий вышел на крылечко, крикнул:

— Эй, вы, маломощные! Ступайте сюда перед светлые-пресветлые очи Маши-красавицы! Она вас чайком желает угостить и даст каждому по сто маковых зерен с мелким сахаром.

Так оно и было. Мужички пришли в горницу, Маша усадила их на стол, угостила чем обещала, а мужички проглядели на нее все глаза: уж больно хороша была Маша — косы отливают таким золотом, что от них светится вся горница, глаза синие, будто небеса над ржаными полями, голос говорливый, как ручей, и вся она тоненькая, как травинка.

— А не принес бы тебя, рыженького, петух в клюве,— спросила Маша,— чего бы вы делали?

Мужички разом встали, поклонились в пояс Маше, ответили:

— Бились бы за тебя со стражей, милая, до последнего издыхания. Потому что, пока ты в заточении, народу не жизнь, а одно горе горькое и лютая смерть.

— Ну что ж,— сказала Маша,— теперь я свободная, и надо мне поскорей уходить, дать место зиме.

— Это верно,— согласились мужички.— Спасибо тебе за чай, за ласку. А мы уж пойдем.

— Куда так скоро?

— Нам нельзя. Работа не ждет. Подрядились мы еще летом с нашим крестьянским обществом все зерно, что полевые мыши уворовали да попрятали у себя в норах, у тех мышей отобрать и вернуть по назначению. А это работа тяжелая: в каждой норе скандал, а то, бывает, и драка.

— Ну, если так, то идите. Спасибо вам и Варе великое. От себя и от людей.

— Не стоит вашей благодарности,— ответили мужички.— Будьте благополучны, красота вашей чести!

Мужички откланялись и ушли. Не успели они отойти и триста шагов, как небо затянулось тучами и из тех темных туч посыпался снег. Что ни час, то снег делался все гуще, обильнее, тяжелее. Сквозь него уже плохо стало видно дорогу. Все побелело вокруг, только лес еще горел кое-где над снегами последними золотыми листочками.

Мужичкам стало холодно. Зашагали они быстрее, а на самой границе осеннего края увидели вдалеке большую толпу людей. Люди шли с косами, с вилами, с топорами, со всяким дрекольем, а иные держали наготове старые дробовики из вороненой стали.

Впереди толпы мужички увидели Варю. Узнали они ее по румянцу на щеках и по красному платочку, накинутому на голову.

Остановились мужички, сняли шапки перед обществом, поклонились ему в пояс.

— Благодарение за подмогу. Только мы и сами справились, ослобонили Машу-осень из заточения.

Все люди тоже сняли шапки, ответно поблагодарили и поздравили мужичков с еловую шишку с полным успехом и стали зазывать их по избам,— погреться и выкушать чем бог послал.

В каждой избе мужичков привечали и угощали то калеными орешками, то подсолнушками, то маком, то изюмом. А в одной избе мужички даже выпили по наперстку вина и закусили его моченой брусникой.

Варя дала им напоследок махорки, и мужички, сытые и пьяные, пошли в лес, где они обитали в старом теплом дупле,— отдохнуть перед новой работой.

Они шли, оглядывались, кланялись, а Варя махала им вслед варежкой и кричала:

— Спасибо вам, милые!

А с неба уже валил такой снег, что было трудно дышать. Отдышаться от такого снега можно было только под старыми елями. Но мужички и не думали прятаться от снега. Они шли, обнявшись, покачиваясь, и пели на радостях во весь голос любимую свою песню:

Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дорожке столбовой.
И колокольчик — дар Валдая —
Гудит уныло под дугой...

Варя смотрела им вслед и слушала звонкую песню, что затихала за пеленой густого ласкового снега.

1949

ЗАБОТЛИВЫЙ ЦВЕТОК

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошаденки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шел перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой.

Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защелкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идет речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из черной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом.— Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчики.— Последний гол забьем!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала веревку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки.— Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошел дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята,— спросил я мальчиков,— что это за «беличьи запасы», про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики.— Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берет.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами.— Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики.— Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идете? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в нее мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве ее звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, веселая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми

зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около нее стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчется над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я тоже застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зеленая ряска. На чистых местах цвел водокрас — белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник,— заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники,— добавила Анюта.

— О белках я узнал только что,— сказал я.— От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок сосновые шишки?

— А как же! — ответила Анюта.— Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдемте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж,— согласился я.— Пойдемте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем,— объяснил Михаил Михайлович.— А помогает он нам вот чем...

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно еще кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешевый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Ученые, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень

теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит теплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмерзнет вся верхушка, а он все равно не сдается, живет и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей,— сказала Анюта,— не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович.— Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят,— всего не перечтешь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Еще бы! — сказала Анюта.— Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила ее мне в сухом песке. От этого цветы сохранили свою яркую пунцовую окраску.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает часто интереснее самых волшебных сказок.

1953

КВАКША

Жара стояла над землей уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно «невооруженным глазом».

— Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня.

Тане было пять лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживешь на этом свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».

— Пойдем наверх, я тебе покажу жару,— сказал Глеб.— Оттуда лучше видно.

Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клена так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они все лето и простояли настежь.

На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес.

— Видишь желтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Все можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь.

— А холод — когда снег? — спросила Таня.

— Нет. Даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод.

— А как?

— Небо вечером бывает зеленое, как мокрая трава. Холодное небо.

Пока же стояла жара, и больше всех от нее страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе, под кустом бузины.

Двор так раскалялся от солнца, что все живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днем из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать.

Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб и с тех пор все дни просиживала, сонная, в погребе, на холодных кирпичных ступеньках.

Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала.

По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать,— от политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли.

Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника, и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается темным и таинственным.

Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон.

А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи и придет полночь — самое хорошее время. Может быть, даже упадет роса и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая и прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь.

Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золоченые крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь «мушиный» крючок не впился ей в палец.

Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же:

Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
И перед ним по ветру
Качались поплавки.

Но в это лето Глебу пришлось туго — из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать.

Глеб пришел в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами:

«Здесь производится скупка червей от населения».

Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами: «Ну и хитрый же человек, чего написал!» — и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами:

«В обмен на картофельное варенье».

Пришлось стереть надпись.

Глеб начал ходить за три километра в овраг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час десятка два червей.

Глеб их берег, будто эти черви были золотые: перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал ее в темном погребе.

Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил ее из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу.

— Вот! — сказал Глеб грозным голосом.— Человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть десяток червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придется ее проучить.

— Как? — спросила с испугом Таня, а курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом.

— Отдать ее на съедение этой курице — и все!

Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба.

— Не смей! — закричала Таня на курицу и заплакала.

Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше.

— Дядя Глеб, зачем же ее убивать? Дай ее мне.

— Чтобы она опять воровала?

— Нет. Я ее посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому ее не жалко?

— Ну ладно! — согласился Глеб.— Бери, так и быть. Ни за что бы я ее не простил, если бы ты не заступилась. И если бы это была обыкновенная лягушка.

— А разве она необыкновенная? — спросила Таня и перестала плакать.

— А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь.

— Вот она его нам и предскажет,— с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната: — Дождик ой как нужен! А то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды!

Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила ее в банку с травой и поставила на подоконник.

— Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку,— посоветовал Глеб.

— Зачем?

— Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь.

А дождя все не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала,— жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно.

Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке, под крышей, жила в гнезде ласточка.

Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда.

— Тебе чего? — спросила она.— Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит. А тут еще и ночью каждый будит, отдохнуть не дает.

— Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать,— ответила лягушка.— Я тебя никогда еще не будила.

— Ну ладно, рассказывай,— ответила ласточка и зевнула.— Что у тебя стряслось?

Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла ее, лягушку, от смерти и она, лягушка, все думала, что бы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится.

Люди очень тревожатся оттого, что нет дождя. Все сохнет. Хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время — пропали черви и улитки.

Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала — ей было жалко и отца и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи. Лягушка видела, как Таня стояла однажды около высохшего куста малины, трогала почернелые, ломкие листья и тоже плакала. И еще лягушка слышала, как Танин отец говорил, что люди скоро придумают искусственный дождь. Но пока этого дождя еще нет, и людям надо помочь.

— Помочь-то надо,— ответила ласточка.— Только как? Дождь отсюда далеко, за тысячу километров. Я вчера до него немного не долетела. А видеть видела. Сильный

дождь, обложной. Только он сюда не дойдет — весь выльется по дороге.

— А ты его приведи,— попросила лягушка.

— Легко сказать — приведи. Да и не наше это, ласточкино, дело. Это стрижей надо просить. Они быстрее летают.

— А ты поговори со стрижами.

— Так с ними и поговоришь. Сама небось знаешь, что за народ. Одного какого-нибудь стрижонка нечаянно крылом зацепишь — не оберешься неприятностей. Сейчас же в драку лезут. Крик, шум, писк.

Лягушка отвернулась, и из ее глаз скатилась в траву маленькая слеза.

— Ну что ж,— прошептала она,— уж если вы, ласточки, не можете привести дождь, тогда со стрижами и говорить нечего.

— Это как так не можем? — рассердилась ласточка.— Кто это тебе сказал? Мы всё можем. Даже увернуться от молнии и обогнать самолет. Для нас дождь привести — пустое дело. Только надо всех ласточек собрать, со всей области.

Ласточка почистила клюв лапкой, подумала.

— Ну ладно! Не реви. Пригоним сюда дождь.

— А когда? — спросила лягушка.

Ласточка снова почесала клюв лапой.

— Надо сообразить. Это не так просто. Собрать всех ласточек — два часа. Лететь до дождя тоже два часа. Обратно с дождем лететь потруднее. Часа четыре пролетим, не меньше. Часов в десять утра будем здесь. Ну, прощай!

Ласточка перелетела на скворечню, пискнула и исчезла за тесовыми крышами.

Лягушка вернулась в дом. Там все спали.

Лягушка влезла в банку, взобралась на ветку клена и тихонько квакнула. Никто не проснулся. Тогда она квакнула громче, потом еще громче, еще и еще, и вскоре ее кваканье заполнило все комнаты, стало слышно в саду. И по всей деревне, в ответ на него, сразу всполошились и заорали петухи. Они старались перекричать друг друга, срывали голоса, сипли и снова орали, неистово хлопая крыльями. Они подняли такой гомон, что со сна можно было подумать, будто в деревне пожар.

В доме все сразу проснулись.

— Что случилось? — спросонок спросила Таня.

— Дождь будет! Дождь! — ответил ей из соседней ком-

наты отец.— Слышишь, квакша кричит! И петухи заголосили по всем дворам. Верная примета

Глеб вошел со свечой в комнату к Тане и посветил на банку с лягушкой.

— Ну так и есть! — сказал он.— Так я и думал! Квакша влезла на ветку и кричит, надрывается. Даже позеленела от натуги.

Утро пришло, как всегда безоблачное, но часам к десяти далеко на западе громыхнул и рассыпался по полям первый гром.

Колхозники вышли на обрыв над рекой и смотрели на запад, прикрыв глаза ладонями. Ребята полезли на крыши. Ариша начала торопливо подставлять под все водосточные трубы лоханки и ведра. Отец Тани каждую минуту выходил во двор, смотрел на небо, прислушивался и все повторял: «Лишь бы не мимо, лишь бы захватила нас эта гроза». Таня ходила следом за ним и тоже прислушивалась.

Гром подходил ближе. Его раскаты стали торжественнее и шире. На западе поднялась черная туча. Глеб спешно собирал свои удочки и смазывал сапоги,— после грозы должен был начаться, по его словам, бешеный клев.

Потом в воздухе запахло свежестью дождя. Сад тихонько зашумел листвой, туча придвинулась, и веселая молния как бы распахнула во всю глубину огромное небо.

Первая капля дождя звонко ударила по железной крыше. Тотчас стало так тихо, будто все прислушивались к этому звуку и, затаив дыхание, ждали второй капли. Сам дождь тоже прислушивался и соображал, правильно ли он уронил эту первую пробную каплю. И, помедлив, решил, что правильно, потому что вдруг сразу сорвался и загрохотал по крыше тысячами капель. За окнами полились-заблестели полноводные струи дождя.

— Идите сюда! — закричал с мезонина Глеб.— Скорее!

Все побежали по лестнице на мезонин, а Таня, конечно, отстала.

Сверху все увидели, как тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких птиц гнали над землей дождевую тучу, не давали ей свернуть в сторону, бросались на нее несметными стаями, и от ветра, поднятого их крыльями, туча все ниже опускалась к земле и нехотя шла, ворча и громыхая, на иссохшие поля и огороды.

Иные птицы подхватывали на лету отдельные струйки дождя и неслись с ними вперед, будто волочили за собой прозрачные водяные нитки.

Иногда все птицы сразу встряхивали крыльями. Тогда дождь усиливался и так гремел, что на мезонине все перекрикивались и не слышали друг друга.

— Что это такое? — прокричала Таня.— Птичий дождь?

— Не понимаю,— ответил Танин отец.— А ты что-нибудь соображаешь, Глеб?

— Ничего не соображаю,— ответил Глеб.— Похоже на всемирный перелет ласточек.

Когда грохот дождя по крыше перешел в ровный и спокойный гул и пронеслись все ласточки, Таня выпустила лягушку из банки в свежий и шумный сад. Там вся трава и листья качались от ударов дождя.

Таня осторожно погладила лягушку по маленькой холодной голове и сказала:

— Ну, спасибо тебе, что накликала дождь. Ты живи теперь спокойно, тебя никто не тронет.

Лягушка посмотрела на Таню и ничего не ответила Она не могла выговорить на человеческом языке ни одного слова. Она умела только квакать. Но во взгляде ее была такая преданность, что Таня еще раз погладила ее по голове.

Лягушка прыгнула под листья табака и начала ежиться и отряхиваться — купаться под дождем.

С тех пор лягушку никто не трогал, Ариша перестала взвизгивать, когда встречалась с ней, а Глеб каждый день откладывал для нее из своей заветной «червивой» банки несколько лучших червей.

А вокруг густо заколосились хлеба, политые дождем, засверкали от света сырые сады, огороды, запахло сочными огурцами, помидорами и буйным укропом. И рыба начала клевать так жадно, что каждый день обрывала у Глеба драгоценные золоченые крючки.

Таня бегала по саду, играла в прятки с лягушкой, и платье ее промокло от росы. Любопытные паучки суетливо спускались с веток на невидимых паутинках, чтобы узнать, почему в саду столько возни и смеха. Узнав, в чем дело, они успокаивались, сматывали свои паутинки в серые шарики, маленькие, как булавочные головки, и засыпали в теплой тени листьев.

1954


Странствия

С БЕРЕГОВ КУРЫ

ТИФЛИС

Над мутной, зеленой Курой, в ярком солнце, Тифлис густо пенится желтыми плоскими крышами и серыми шатрами армянских церквей.

И на всем — серовато-желтый цвет окрестных гор, цвет верблюжьего меха, цвет, напоминающий пустыни Азии, монотонность ее горячих степей.

А в темных щелях армянского базара, откуда несет запахом шашлыка и стучат до вечера молоточки чеканщиков, бродят облезлые подслеповатые верблюды и ходят толпами, перебираяточеными ножками, здешние добродушные, многотерпеливые ишачки.

Базар — как персидский ковер,— смесь оливковых и темных персов, диких горцев в черных башлыках, кирпично-бронзовых текинцев, краснорожих весельчаков «кинто», вечно вздыхающих и жарящих каштаны айсоров, красноармейцев в суровых шлемах и темно-зеленых шинелях, словно высеченных из дикого камня, и забредших сюда «фешенебельных» иностранцев в лакированных туфлях и серых макинтошах.

И над всем этим висят вопли ишаков, треск жаровен, чад, бодрые крики автомобилей и густое небо.

Тифлис не знал гражданской войны. И это заметно повсюду. Нигде я не видел такого громадного количества сердитых старых чиновников с облезлыми бархатными околышами, чопорных в нищете офицерских своячениц, донашивающих убогие меха, и хрипунов генералов, торгующих на Головинском проспекте папиросами.

В Тифлисе — это целый мир брюзгливых осколков от прошлого. Он не ждет возвращения старого, но хранит

все его традиции, все мелочи старого быта. И генералы с папиросами, стоящие на Головинском, говорят постоянным покупателям «здравия желаю» и величественно козыряют, а у офицерских своячениц целуют почтительно руку в заштопанных нитяных перчатках.

А в советских учреждениях — небывалая чистота, зеркала паркетов, тишина, ковры, ковры и ковры и осторожное позванивание телефонов.

И всюду — то гортанный, то свистящий говор и затейливая вязь грузинских и армянских надписей. Над белыми колоннами александровских зданий, над храмом Славы с оградой из бронзовых пушек, над бывшим дворцом наместника — всюду трепещут по ветру громадные красные флаги.

В уличной жизни Тифлиса нет нездоровой, визгливой, подозрительной суеты Одессы и Батума, наполненного энглизированными одесситами с гнилым запахом изо рта.

Здесь — сдержанное оживление, нет ажиотажа (по крайней мере, заметного), здесь большей частью крупные и верные дела.

На днях я просматривал список экспонатов, отправляемых Закавказьем на Лионскую ярмарку, и только тогда понял, как богат и пышен Кавказ. Душистые сухумские табаки, армянский мед, воск, шелк, вина, ковры, самшит (дерево, мало уступающее по твердости металлу), эвкалиптовое масло, красное дерево, фисташки и т. д. и т. д. Невольно я вспомнил сельскохозяйственную выставку в Батуме, ее душистые залы, заваленные экзотическими плодами, среди которых золотели лимоны величиной с арбуз, изрытые узором глубоких и затейливых борозд (цитроны).

Сегодня — воскресенье, и я ушел из нового Тифлиса в старый, на гору Давида, на могилу Грибоедова, заросшую черным плющом.

Внизу лежало море плоских крыш, вилась Кура, а за ней синим льдом уже горели вершины Главного хребта.

И, глядя на бронзовый барельеф Грибоедова, слушая в тишине и пустынности плеск воды в церковном фонтане, читая стертые строки о том, что Грибоедов «убит в Тегеране генваря 30 дня 1829 года», я вспомнил, какая это древняя земля, покрытая тысячелетней пылью.

А внизу пурпурным пятном трепетал по ветру флаг над Совнаркомом.

Тифлис, 1923 г.

В ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПЫЛИ

На всем: на заросших полынью могильных плитах с затейливой вязью, на караванных дорогах широких, печальных, тонущих в коралловом дыму персидских гор, на коврах, разбросанных в пустынных чайхане, на сожженных зноем лицах — вы видите розовую тысячелетнюю пыль.

Край пустынный, где под синевою жгучего неба бродят в горах стада овец, воздух прозрачен, как хрусталь, и так же звенит протяжно и тонко от малейшего звука. В брошенных кишлаках — погасшие черные очаги, такие же древние, как и этот народ, а в садах — седые стволы высохших тутовых деревьев. И всюду звенят родники воды — холодной, прозрачной и сладкой, и этот звон сливается временами со звоном караванов, бредущих у склонов Арарата.

Арарат на рассвете встает над персиковыми садами Эривани громадой сверкающего, только что расколотого сахара и стоит весь день молчаливый и мощный; он преследует вас, и все время, где бы вы ни были, у себя за спиной вы чувствуете снежную громаду легендарной, высоко взметенной в небо, сказочной горы.

Страна контрастов, непрестанных перемен, таких же резких, как свет и тени в узких переулках Нахичевани, запруженных сонными ишаками.

На Джаджурском перевале наш поезд шел в снегах, и мы слепли от яркого снежного блеска, вдыхая щекочущий морозный воздух.

В Александрополе над слюдяными, посеребренными куполами армянских церквей из черного туфа шел дождь и дул назойливый широкий ветер с Алагеза, дальше к Джульфе в красных скалах шумел мутный Аракс, и нестерпимая жара пустыни дохнула на нас, как из калильной печи. И встали за окнами развалины тысячелетних мостов, древних кладбищ, монастырей, давно покинутых, где только ласточки мечутся в сумрачных и прохладных залах.

Пахло полынью, запахом нагретых камней и золы, кое-где оставшейся от брошенных пастухами костров, и на десятки и сотни верст стояла та глубокая тишина, какая бывает только в пустыне, и только ящерицы шуршали по древним изразцам.

Когда я ехал в сторону Джульфы, я думал о том, что нищета Армении еще велика, что нужны десятки лет, чтобы снова заселить брошенные тучные равнины, что нужно воссоздать из пепла и пыли эту страну, чтобы снова медленно и торжественно тащили буйволы древние сохи, взрывая лёссовую почву, чтобы снова хлопьями хлопка покрылись поля и зацвели, запестрели рынки тканями, персиками, рисом и хлебом и по высохшим арыкам вновь сонно и радостно забормотала вода.

А когда поезд шел обратно, около Эривани я увидел зеленеющие поля, взрытую землю, новые арыки, сотни коз и овец, увидел, как из бывшей год тому назад мертвой глины подымался иглами яркий изумрудный рис и вдоль полотна дороги бежали за поездом десятки смуглых веселых детей.

Страна армянских крестьян и рабочих, веющая по солнцу красными флагами, такими же яркими, как цвет ее персиковых садов, красными флагами — пятнами пурпура на снежной белизне Арарата и Алагеза — двух стражей Армении.

1923

ПИСЬМА С ПУТИ

1

СУХОВЕЙ

Под Ростовом задул суховей.

Слюдяное слепое небо раскинулось за окнами вагона, курясь серой пылью. По степи ровно и напряженно гудел жаркий, изнурительный ветер, занося сором меловую землю и станицы в белесых кудрявых вербах.

Спирало дыханье, и липкий, как синдетикон, пот покрыл густыми каплями опаленные, медные лица пассажиров. И в этой серости, казалось, скучала и тосковала земля, обеспложенная суховеями, тщетно ожидая чистой влаги и свежих, шумливых дождей.

Уже в Воронежской губернии была ясна медленная поступь пустыни. Пески заносили поля. Хлеба сморщенно чернели в песчаных выносах, песок, посвистывая и шурша, полировал рельсы, и около деревянных сараев — стан-

ций — спали, мучительно открыв запекшиеся рты, оборванные женщины с грудными детьми, густо посыпанными пылью,— беглецы из Царицынской губернии, с Поволжья.

А на востоке ровно, ни на минуту не ослабевая, курилась песчаная сизая муть, горячечные вздохи Азии, сухмень, суховеи.

На одной из станций стоял коричневый человек с клочьями сена в седоватой бороде. Он мутно и хрипло мычал, протягивая руку на восток, откуда все неслись и неслись, шурша, раскаленные и неумолимые пески, показывая на потрескавшуюся землю обрубленным, гангренозным пальцем, и подставлял рваный казацкий картуз, прося милостыню.

Он был глух и нем. Но его мутное мычанье было понятно всем,— он пытался сказать что-то о мутном самуме песков, тонкими и злыми струйками несущихся из-за Волги на богатые и тучные земли Дона и Воронежа, дышавшие некогда прохладой, зарослями черной вишни, золотыми скатертями пшеничных полей и глубокими заводями обильных рыбою рек.

Болгарин-огородник все время висел в окне вагона, щуря зоркие, внимательные глаза.

— Беспременно надо остановить,— сказал он, кусая рыжие запорожские усы.— Иначе песок всю силу съест, дотянется до самой Москвы. Бачь, каким клином режет на самый Козлов.

2

К ГИРЛАМ

Спустя сутки пароход «Мариуполь», блестя свежевыкрашенными бортами, шел вниз по Дону, к гирлам.

Моряки говорили о том, что Дон угрожающе мелеет, что истоки его заносятся песком, высасывающим донскую тихую влагу. Нужны обширные работы, нужно шлюзование, нужна упрямая и долгая борьба с пустыней, нужно создать обширные хранилища донской воды, чтобы регулировать уровень реки.

Землечерпательные работы в самом Дону почти не ведутся. Только в гирлах, на взморье, мы прошли мимо двух «грязных» — черпалок, полоскавшихся в песчаной, мутной воде.

А рядом ослепительно-белыми пластами лежали в зелено-бутылочной воде песчаные острова, намытые Доном,— подарок заволжских пустынь, далекого Закаспийского края.

3

«ТИХИЙ» ДОН

Над мутным, заспанным Доном, над душными небоскребами Садовой птичьим гомоном шумит и перекликается пристанской ростовский базар.

Яичные бублики, бабы-«цокотухи», зеленые курганы арбузов, мрачные «жлобы», сидящие на чугунных причалах и плюющие в Дон презрительно и едко махорочной слюной, шершавое золото дынь, скрип разводного моста, острый запах антрацитового дыма, навоза и дождя, линялые кормовые флаги, басовый голос гудков и неуклюжие туши пароходов, идущих в Азов, Кагальник, Аксай, Мариуполь и Ахтыры.

За Доном, за красными корпусами вытащенных на стапели пароходов — просторная и сочная Кубань, затянутая холстиной дождя.

Еще в московском поезде все пассажиры, кому надо ехать на пароходе вверх по Дону, предусмотрительно слезают не в Ростове, а в Аксае,— в Ростове садиться на пароход с вещами «опасно». Мрачные жлобы сидят на чугунных причалах недаром. Они созерцают, улавливают и бесшумно и проворно уносят сундучки и котомки суетливых южан в портовые переулки и щели, по которым сочатся зловонные ростовские соки.

А мечущегося пассажира захлестывает до одури хохочущая, ревущая, торгующая и зазывающая толпа. И тонкий бабий визг, вопли станичника — вечный припев к гулу базара и шлепанью пароходных колес.

Ростов заслужил дурную славу. Напрасно мальчишки орут по портовым спускам любимую частушку:

Ростов-город
Да мы прославим,
Да на Садовой
Киоск поставим!

Он достаточно прославлен,— прославлен торжищем и воровством. Что ни столовая, буфет — то ловушка,

что ни торгаш — то ловец. Ловцы простодушных человеков.

Но теперь Ростов подтянули. Жлобы лишь изредка виляют подозрительными и беспозвоночными спинами в центре города под пронзительными взглядами милиционеров,— их вытеснили из городской черты и теснят дальше. «Топчут мелитоны», по их словам.

Частные торговцы уныло смотрят на будущее.

— Скажите, так и у вас в Москве есть этот проклятый «Ларек»? — спросил меня продавец зельтерской воды и папирос.

— Почему проклятый?

— Болячка ему в бок! Что? Нам-таки разрешают торговать, но это такое разрешение, как мертвому припарки. Все идут «у ларек», потому там дешевле. Это же бессознательный народ! Они совсем и не хотят знать, почему мы торгуем дороже.

Очевидно, это был торговец-романтик. Он полагал, что если «бессознательный и бешеный» ростовский туземец поймет, почему частные торговцы торгуют дороже, то из соображений высшей справедливости будет покупать только у них.

А на пристани в шесть часов утра у меня была вторая встреча. Я увидел небритого человека, сидевшего на дамбе. Красные носки уныло свисали на его пыльные ботинки.

— Вы знаете,— сказал он мне и скорбно вздохнул,— я совсем не мог спать. Вот уже с пяти часов я сижу здесь и то мокну, то сохну от этого паршивого дождя.

— А что с вами?

— Как что! Я приехал за товарами,— у меня в станице мануфактурная лавка. Мне нужна бязь, так трест дает мне бязь, и еще дает шерсть, и еще дает шелк, и если я не возьму его шерсти и не возьму его паскудного шелка, так он не даст мне бязи. Ну, как это вам нравится? И я взял и имею на этом чистый убыток. Я им говорил: зачем мне ваша шерсть, возьмите ее себе, если она вам нравится, и обейте мебель в вашем американском тресте или наклейте ее на стенку.

Зачем она мне, я вас спрашиваю, когда казак не носит шерстяных штанов! Зачем? И вот теперь поезд у меня в двенадцать часов, а я сижу, как дурной, стал весь нервный и ничего не могу кушать.

* * *

«Мариуполь» медленно несет нас к взморью по зеленоватой, илистой воде «тихого» Дона. По берегам на сваях — рыбачьи поселки, по реке ползут дощаники на черных парусах и чертят пенную черту изящные яхты. Сегодня гонка яхт из Ростова в Таганрог.

«Мариуполь» изумительно чист, блещет медью и свежестью вымытых палуб.

Зеленые гирла и взморье. Слюдой горит Азовское море, шумит у песчаных кос, веет сухими степными ветрами, качая ржавые серые борта вросших в воду черпалок. И медные люди в синих тельниках что-то кричат нам с черпалок и машут морскими «каскетками».

Азовское море шумит не так, как другие моря. Шум его тягуч, непрерывен, сонен, как таганрогские бахчи, шум этого своеобразного моря — древней Тамаринды, замкнутой в оправу желтых глин и раскаленных степей.

1924

ПРИАЗОВЬЕ

ПОРТ В ТРАВЕ

Над Таганрогом темнеет ночь, дует «сгонный» ветер, и на широких молах шелестят степные травы.

Степь придвинулась вплотную к порту и к морю, занесла белой пылью Рыбацкую слободку. На молах стоит по колено колючий бурьян. Чугунные причалы рыжеют от едкой ржавчины, и только маяк говорит, что порт еще жив, что кто-то зажигает огни для редких пароходов, приходящих ночью, тускло освещенных и пустых

В смоляной тьме белеет корабельная контора, шумят акации, и человек в белом — единственный человек, которого я встретил в этот час в порту,— стоит у флагштока и что-то кричит в ночь, в морской плеск, в звездную темноту. Он поет. Слов я не могу разобрать.

Утро встает в зеленом рассоле моря, в степной тишине и теплоте. Прошел короткий ливень, и на улицах запахло маттиолой, горькой сладостью каких-то не наших цветов.

Вспомнились рассказы старых таганрожцев, переживших Чехова, о том, как весь Таганрог был засыпан тучным зерном и деньгами, засорен греческими и итальянскими

«негоциантами». Они слушали по вечерам итальянскую оперу, а днем перебирали янтарные четки в сухих амбарах, откуда меднолицые таганрогские «дрогали» вывозили тугие мешки на шаланды.

На улицах пахло кофе, корицей, заморскими запахами. На мутном рейде за Беглицким маяком иностранные пароходы сосали в свои удушливые трюмы золотое зерно. Весь порт звенел от окованных пудовых колес, дымил черными трубами, спугивал стаи голубей.

Потом прогремели новые порты — Одесса, Мариуполь, Новороссийск. Хлеб, что везли к Таганрогу на синеглазых, сивых волах, пошел в сторону. Золотая река уже лилась в корабельные трюмы мимо Таганрога. И порт умер.

Теперь он напоминает музей, памятник былого, и невольно кажется, что ведает им не начальник торгового порта, а комиссия по охране памятников искусства и старины.

Закрылись ярко-желтые, голубые, зеленые и красные кофейни с важными седыми хозяевами за прилавком. Порт захватила степь, и только в рыбачьей гавани в полдень оживленно: уходят на лов рыбаки. Черные с оранжевой полосой смоляные паруса вздуваются медленно и торжественно, кренятся байды, и за молом их встречает вечный плеск азовской волны.

Шуршит на молах густая трава, дрожат под ветром полевые цветы — не то одуванчики, не то болиголов,— их орошают морские брызги, и порт и окрестные берега веют музейной и тонкой тишиной.

СТЕПНАЯ СТАНИЦА

Мариуполь — это для непосвященных, для «иногородних». Туземцы же, веселые и голосистые, упрямо называют этот город — степной базар — «Маруполем».

От Мариуполя до Керчи слово «гражданин» теряет право на существование. Граждан нет, а есть «дяди» и «тети». Все мужчины неизменно «дяди», а женщины «тети», за исключением мальчишек, которые просто «пацаны».

«Феодосия» останавливается на зеленом рейде у устья Кальмиуса, и «раздолбанный», по определению собственной команды, катер «Таганрог» волочит к ней баржу, груженную сеном.

Но бойтесь, вступив на палубу «Таганрога», упомянуть слово «катер». Нет большей обиды для капитана — добро-

душнейшего из капитанов на Черном и Азовском морях. «Это вам не катер, а пароход!» — вот лозунг капитана и команды.

На рейде начинается семейная посадка пассажиров.

— Тетя,— кричит капитан смешливой девушке.— Тетя, какого дьявола вы претесь наоборот! Имейте совесть! Дайте ж мне спустить пассажиров!

— Мадам,— говорит он изысканно любезно старухе в стеклярусовой шляпе,— киньте ваше барахло на палубу, а то вы с ним вместе скупаетесь в воде. И идите осторожно, потому вас зашибут и будете плакать.

А толстому «дяде» он говорит укоризненно:

— Перекиньтесь на правый борт, потому вы потопите мне пароход. У вас своих глаз нету, да? Имейте же, наконец, совесть! Чистое наказание с этими пассажирами!

Смеется команда, смеются пассажиры, смеется сам капитан, и смеется море, качая в жидком малахите солнечное утро и теплый, шумливый рейд.

Мариуполь — звонкий, пестрый, как платок молодухи, базар, красный от помидоров, синий от баклажанов, росистый и свежий от капусты и арбузов, пахнущий топленым молоком, вишнями и сдобными ватрушками.

В палисадниках желтеют бархатцы, и слепцы на «сопилках» поют забытые легенды о Саур-могиле.

Мариуполь — большая станица в степи у Азовского моря. Ветры, пески, вкрадчивые голоса украинок, а вдалеке — обширный порт, жирный от антрацита.

В порту, рядом с мазанками, подсолнухами и цветущими мальвами, полощутся итальянские и греческие флаги, ходят в безукоризненно выутюженных брюках поджарые матросы — ливерпульцы, марсельцы и бретонцы, улыбаются, глядя на рыбачек, на просторную степь, на красные флаги над белеными портовыми домами.

В дощатой таверне, где сквозь щели синеет небо и дует по скатертям свежий ветер, матросы с «Краснодара» в таких же выутюженных, как и у иностранцев, брюках пьют чай и шумно спорят о венецианской жизни. Они только что были в Венеции, стояли на Лидо-порт и видели собор св. Марка и Большой канал. Венецианскую жизнь они разбирают по косточкам, анализируют, как опытные хирурги, и приходят к выводу, что город прекрасный, что жизнь на наши деньги необычайно дешевая, а на итальянские «как раз хватит, чтобы не спеша умереть», что рабочие в Италии получают за свою каторжную работу «рукава

от жилетки» и, «как дураки», чего-то ждут со стороны — будто бы им с неба революция свалится прямо в рот. Мимоходом вспоминают родственников капитана-фашиста с итальянского парохода, стоящего в порту, и говорят осоловевшему корабельному провизионеру, что сидит за бутылкой вина:

— Ты, Ваня, больше не пей, потому вдарит в голову и будет неловко. Хотя оно и дома, но, однако, не годится.

Ветер треплет чистые скатерти. В порту хрустит антрацит, хохочут рыбачки и сверкает море, качаясь у берегов.

МОРЕ В ЦВЕТУ

За Мариуполем море засветилось яркой, режущей глаз луговой зеленью. Казалось, что пароход медленно покачивается в огромной весенней степи. Море цвело. Вода переливалась под винтом, как жидкий хризолит, и пенилась густой, долго тающей пеной.

Азовское море цветет в начале августа, как цветут реки и пруды. Микроскопическая ряска плавает по его поверхности обширными островами, иногда в несколько миль длиною. Пароходы режут по ней пенные дороги, а береговые жители перестают купаться,— вода в море во время «цвету» будто бы ядовитая.

Древние римляне, увидав это цветущее море, дали ему название Меотийского болота.

Цветение моря кончилось только под Бердянском — пустынным и притихшим городком, высушенным степной жарой.

Бердянск зноен, как весь азовский юг, все это поморье, горькое от полыни, богатое дынями и кавунами, ветрами и тишиной. Бердянск пустынен, удивительно чист и покоен.

На главной улице спят, растянувшись на асфальте, рыжие кошки, и спит парикмахер-грек около своего пустого и чистого «койпейона».

Золотой сумрак солнца сеется сквозь низкую и пышную зелень акациевых бульваров. Иссыхают от зноя лица. Степи переходят прямо в море. Ковыль шумит у ветхих портовых кранов, и бледная синева воды сулит безветрие и густую, но уже осеннюю теплоту ночей.

Ночью, когда мы шли в Керчь, сорвался шторм. Я проснулся от дикого танца бутылок, катавшихся по кают-компании, от скрипа переборок, грохота волн и свиста вет-

ра в снастях. Ванты пели. «Феодосия» набирала бортами воду. На палубе разбило бочонок с маслом, и матросы, желтые от масла и красные от яростного ветра, крепили палубный груз.

Была ночь. Азовское море — древнее Меотийское болото — грохотало, вскидывая крутые валы.

Матросы с «Краснодара», ехавшие со мной, не добром поминали Бискайский залив, где их «поймала и чуть не задавила крепкая французская погода». Они сообща успокаивали растрепанную девицу, которая безуспешно молила «сказать капитану, чтобы он повернул к берегу», и каждую минуту спрашивала — перевернется пароход или нет, на что заспанный кок Ваня неизменно отвечал:

— Как сказать? Бывает, такая погода и побольше пароходы валит.

Сухощавый боцман проклинал морскую профессию, но, убегая на свисток капитана, все же успел сказать:

— Тяжело, конечно, но опять же и на берегу нет мочи сидеть. Тянет тебя и тянет на море, как пьяницу до самогона. Привычка сказуется у человека.

Только к рассвету, когда открылся керченский маяк и берега Крыма, поросшие редкой сгоревшей травой, мы вошли в зеленый и мутный пролив и шторм утих.

1924

ВИШНЯ И СТЕПЬ

От Запорожья до Херсона все пристани завалены вишней и черешней. Из широких корзин сочится по палубам липкий сок, и вишней пылает над плавнями короткий закат.

Херсонский порт задыхается от корзин, зашитых белой и розовой кисеей. Их грузят на пароходы с рассвета. Пароходы облеплены шаландами; с них медные люди хрипло и упорно вопят:

— Капитан, приймить вишню!

Третьи помощники замотаны до дурноты, каждый час подвозят по триста — четыреста новых корзин, и на берегу зло визжат чудовищно толстые торговки — владетельницы этого вишневого баснословного потока. Они требуют немедленной погрузки.

— Черт с вами! — сипит сорванным голосом помощ-

пик.— Буду грузить вишню, грушу, абрикосу, черта, дьявола и самого Арончука. Давайте только людей! Черт с вами!

Вишня — палубный груз. Вишня занимает множество места, и среди стиснутых розовыми корзинами пассажиров вспыхивает «вишневый бунт».

— Довольно! — кричат они, приходя внезапно в ажитацию.— Довольно наваливать, мать вашу так! Дайте людям свободно дыхать! Вот подавим всю вашу вишню, тогда пе будете жадничать!

«Желябова» перегрузили вишней, и, очевидно, поэтому он как взял из Херсона крен на левый борт, так и дополз с этим креном до Одессы.

На нижнем Днепре поражает не только этот вишневый поток, принявший характер какого-то народного бедствия. Поражает избыточность, богатство этих затопленных солнцем степей, прорезанных серебряными песками и зеленой медленной водой Днепра, веселье и дедовская ласковость народа, что хохочет и гомозится на пристанях, мешая погрузке.

Каждая остановка у пристаней, у веющих Запорожьем, ковылем и татарщиной Никополей, Бериславов, Каховок и Лепетих,— полный заразительного смеха спектакль.

Острят солопо и метко грузчики, острят дядьки в соломенных брилях, острят рыбаки в пропитанной смолою одежде, хохочут бабы и застенчиво жмутся стаями дивчата — розовые, красные и канареечно-желтые.

Вечером свет пароходных иллюминаторов вырывает из теплой тьмы на пристани яркие лица, ослепительные зубы, груды вишен, загорелые ноги, бочонки, цепи. А над голубым от луны и зноя Днепром полыхают зарницы — зарят хлеб, несут с востока неумолимый зной и безнадежно синее, низко упавшее небо.

Годы гражданской войны прошли, как суховей. Сейчас Нижний Днепр снова богат и тучен. Сивые волы, выпучив синие глаза, сосут тихую днепровскую влагу, и розовая степь струится, как жидкое стекло, степь розовая и золотая от скошенного жита.

Загорелый, крепкий, щедрый край, звепящий от песен веселых дивчат, красный от черешен, пахнущий печеным хлебом, рассеченный белыми косами и зелеными водами Днепра,— край с широким, пеохватным будущим.

1925

КЕРЧЬ

Керчь веет пыльной тоской, такой же смутной, как и память о древнем царе Митридате. Керчане покажут вам лысую, бесплодную, изрытую раскопками гору, где стоял его трон, гору, с которой видна мутная зелень Азова, глухая синева Черноморья и белесый туман лермонтовской Тамани. Покажут с базара, где старухи продают неизвестно кому букеты простых, по душистых цветов.

Здесь, в Керчи, все время ощущаешь оторванность от жизни, одинокую печаль этой окраины Крыма, где жестокие ветры все треплют жалкие деревца акации на известковом и безлюдном бульваре. Седая волна бьется у низких набережных, перепадают дожди, и над агентством треплется линялый флаг пароходства.

В агентстве тишина, пахнет морем и сеном, что навалено на пристанях, гудит ветер, и за окнами качается мутно-зеленый пролив в тумане кубанских дождей. Тишина прерывается только бульканьем голубей и тяжелыми, шаркающими шагами пристанского сторожа.

Вся Керчь — в тишине, безлюдье, смотрит на море слепыми глазницами разрушенных белыми гигантских складов, зелеными жалюзи домов, вся каменная, палевая, осколок Греции, квартал Пирея, перенесенный в иссохшие степи Крыма, на его лысые предгорья.

Черный ржавый маяк звенит, отвечая на удары прибоя, мальчишки сидят около изъеденных солью, заросших мхом пароходов и ловят розмаринок, трепещущих сиренево-розовыми плавниками. Ныряя в волне и развевая черный дым, ползет из Тамани «Судак», и, как туши смолепых китов, лежат па берегах корпуса шхун, оскалив сломанные ребра шпангоутов.

На базаре, около белой церкви, на узких и уютных уличках, в кофейнях, во всех этих «Севастополях», «Босфорах» и «Корфу», пахнет пыльной акацией, цветами, фаршированным перцем и копченой, бурой от жира кефалью и селедкой.

Керчь хороша своей рыбой, арбузами, табаком и пустынностью. Рыба идет осенью, когда штормы густо солят прибрежные улицы рассолом прибоя и пролив пе виден в тумане, идет влажными, трепещущими косяками, путаясь в бесчисленных, заштопанных сетях.

Зимой оживают коптильные заводы и сырые корпуса табачных фабрик, где горло дерет шершавая и пряная табачная пыль

А сейчас — время арбузов, зеленых и белых,— «монастырских», «таманских» и «таганрогских». Но уже скоро будет нарушена пустынность Керчи, и сотни бронзовых рыбаков, людей из одних сухожилий, скупщиков, засольщиков и прочего торгового люда станут пить кофе по темным «кофепейонам» и торговать кефаль и подсулка, перебирая четки и хрипло перекликаясь на обветренных улицах.

Из Керчи мы вышли в ветреный, синий день. Закат встретил нас в Черном море, когда под ногами упруго ходила палуба «Сергеева» и чайки визжали, кружась около серого плавучего маяка. И берега Керчи, пустынные, полные своеобразного очарования киммерийские берега, потонули в сизых морских сумерках.

1925, июль

ГДЕ НАШЛИ ЗОЛОТОЕ РУНО

(Абхазия)

Я впервые увидел эту страну в феврале.

Песок по берегам горных рек сверкал от крупинок золота. Белый город Сухум был осыпан желтой пылью мимоз, земля на базарах лиловела от пролитого вина, неумолимое солнце подымалось из-за Клухорского перевала, где горели льды, чернели буковые леса и спали в скалах жирные серебряные руды. Запах апельсинов смешивался с запахом жареных каштанов, красные флаги шумели от южного ветра в тропических зарослях садов, дикие всадники, гортанно крича, бешено скакали по каменным дорогам. Стенами падал теплый ливень, и душистый дым местного табака лениво сочился из окон духанов.

А в это время в ста верстах к северу и к югу море было белое от метели и обезумевший норд-ост гремел над палубами ржавых пароходов.

Это было в Абхазии, в самой маленькой из Советских республик, в тропической Абхазии, богатой, щедрой и сонной.

Пароход идет вдоль берегов этой страны всего пять-шесть часов. Автомобиль пересекает ее еще быстрее.

С севера, востока и юга стоят горы, они недоступны и непроходимы. Через Главный хребет есть только два перевала — Нахарский и Клухорский. Через Нахарский идут те, кому жизнь не нужна. Через Клухор переходят только в июле, когда стают снега, но переходят лишь те, кому жизнь нужна наполовину.

Переходят карачаевцы — жители Карачаево-Черкесской республики, лежащей по ту сторону гор. Они идут и гонят перед собой стада — продавать абхазцам или менять на табак. Сваны нападают на них, и редкий переход не оканчивается жестокой перестрелкой на склонах Клухора. Почти всегда сваны угоняют половину скота, унося на бурках раненых, и слава этих набегов до сих пор гремит по всей стране от Пицунды до Самурзакани, где особенно сильно бродит дух рыцарства и своеволия.

Горы Абхазии, вглубь от побережья, непроходимы. Они покрыты густыми, девственными, перевитыми густой тканью лиан буковыми лесами, лесами из красного дерева, крушиной, самшитом, зарослями, в которых прячутся шакалы и черные кавказские медведи. Весной медвежат на сухумском базаре продают по три рубля (без торга).

Ледяная цепь Главного хребта видна в ясные дни с сухумского рейда. Синие глетчеры тянутся на десятки верст, и странные названия гор вызывают недоумение и любопытство — Марух, Схспач, Клухор, Нахар, Агым, Апианча, Адагуа. Многие названия звучат по-итальянски. Недаром в лесах Абхазии, в гуще зарослей, где сумрак зеленеет от листвы и пахнет столетней прелью, вы увидите белые гигантские, заросшие дикой азалией римские маяки, развалины веселых некогда и пышных римских и греческих городов. Вы найдете только тогда, когда дотронетесь до них рукой, так сильно они заросли кустарниками и травами. Столетние буки растут из мраморных генуэзских цистерн, и шакалы спят на мшистых плитах, где четко и грозно темнеют латинские надписи.

Здесь лежал первый великий путь в Индию. Сюда, в эту пламенную Колхиду, приезжал Одиссей, за золотым руном.

На юге к стране вплотную подходит море — индиговое и густое, рассеченное у берегов широкими струями бесчисленных горных рек. Эти реки ворочают, как пробки, пудовые камни и в период таяния снегов рвут, как солому, мосты, ревут, как десятки курьерских поездов, и выносят в море трупы буйволов и вековые деревья.

Но, кроме трупов буйволов, они выносят золотой песок и стаи голубой, пятнистой форели.

Богатство Абхазии — в горах. Серебряно-свинцовые руды, каменный уголь, золото, мощные лесные массивы, медь, железо, бурные реки, энергия которых могла бы, преображенная в динамо-машины, залить ослепительным светом весь Кавказ, все это ждет дорог и армий рабочих, девственное, нетронутое и неисследованное.

Море у берегов Абхазии глубоко и на глубине отравлено сернистыми газами. Лишь на отмелях кипит жизнь, но богатства этих отмелей поразительно.

Вблизи Гудаут есть устричные банки, и гудаутские устрицы считаются лучшими в Европе. Но этих устриц пока никто не ловит.

Пицундская бухта кишит дельфинами. Каждую весну в Пицунду приходят из Трапезунда и Синопа десятки синих и белых турецких фелюг. Турки бьют дельфинов из старых винтовок,— жир идет на мыловаренные заводы, а балык коптят над кострами. Дым этих костров застилает берега сухумской бухты весь февраль и март.

Во время империалистической войны у берегов Сухума и Нового Афона погибло много транспортов с ценным грузом, на дне образовался целый город кораблей. И до сих пор еще море выбрасывает гнилые ящики, части машин, окаменевшие бочки с цементом и разбухшие, как губки, мессинские апельсины.

Абхазский крестьянин снимает в год два урожая. Земля родит сама, без удобрения, без поливки, без бороньбы. Надо только слегка поцарапать ее прадедовской сохой и бросить семя. Проделав все это, абхазский крестьянин скрывается в недра духанов, где дни и ночи щелкает в нарды, с азартом и горечью неудачного игрока.

Абхазия богата вином: качичем — черным и терпким, амлаху — светлым, как сок лимона, и удивительной маджаркой, которая бродит в желудке и создает опьянение на двадцать четыре часа.

Лиловые винные бочки скрипят на арбах и тянутся к Сухуму, туда же всадники везут у седел старые бурдюки. Винный запах пропитал деревни и города этой страны так густо и крепко, что его не может выжечь солнце и не могут смыть февральские ливни.

Но главное богатство Абхазии — табаки, в особенности «самсун» — крепкий, красный, пряный табак, известный и в Японии, и в Турции, и в старых странах Запад-

ной Европы. Весь вывоз этой страны покоится на табаках. Улицы Сухума вблизи порта пропитаны запахом спрессованных табачных листьев, которые грузят на иностранные пароходы из просторных и сухих табачных складов.

Сухумский табак так крепок и так душист, что курить его без примеси более легких и более простых табаков очень трудно. Его подмешивают к самым плохим табакам, и они преображаются, вкус их становится благороден, и горло курильщика не сжимает судорога удушья.

Табачные плантации сплошными коврами покрывают веселые склоны абхазских долин. Табак разводят главным образом греки, пришлое население, замкнутое и трудолюбивое,— не в пример экспансивным грекам из Керчи и Таганрога.

В горах Абхазии растет самшит — кавказская пальма. Он вовсе не похож на пальму. Это — низкий корявый кустарник с мелкими глянцевитыми листьями. Чтобы достигнуть высоты человеческого роста, самшит тратит не меньше ста лет. Но у самшита есть одно необычайное свойство — это самая твердая порода древесины, он тверд, почти как металл. Из самшита можно делать части машин.

О самшите не знали. Лишь недавно обратили внимание на это изумительное дерево, и теперь из него начали впервые изготовлять челноки для ткацких машин. Будущее самшита — громадно.

Горцы расскажут вам необычайные истории о том, как люди, срывавшиеся в пропасть, спасались, уцепившись за крошечный, в четверть аршина высотой, кустик самшита, ибо самшит не только тверд, но и с чрезвычайной силой держится корнями за расселины скал.

Абхазия могла бы сеять пшеницу. Но испокон веков, от прадедов абхазский крестьянин унаследовал кукурузу — самую неприхотливую и не боящуюся засух. Абхазская деревня питается ярко-желтым, как цвет канарейки, кукурузным хлебом. В горах приходится идти версты и версты в высоких кукурузных полях, где голова кружится от духоты, от запаха кукурузной пыли и по ночам прячутся и хохочут шакалы.

Маисовый хлеб, горный овечий сыр, спрессованный, как гигантские колеса, кислое вино и мацони — вот пища абхазского крестьянина.

Сухумский базар всегда завален фруктами. Зимой мандаринами, каштанами, хурмой, апельсинами, кислова-

тыми и прекрасными гранатами, декоративными цитронами. Запах каленых орехов (фундуков) преследует вас на каждом шагу. Печи топят ореховой скорлупой, пищу в базарных духанах готовят на ореховом масле.

Осенью горы лилового и матово-зеленого винограда тонут в горах желтых персиков, раздражающе сочных и душистых, как душист вообще весь сухумский воздух. Шампанские яблоки эстонских колоний под Сухумом шипят и пенятся, когда их надкусываешь, как донское шампанское. Алыча желтеет, как воск, и сливы так же сладки, сахаристы и сочны, как абрикосы и шелковица.

Зеленую алычу (особый сорт сливы) очищают от косточек, прессуют и продают в виде черной широкой кожи. Алыча — это абхазский уксус. Ее кладут как приправу во все восточные блюда.

Вокруг Ново-Афонского монастыря (теперь Псхырцха) тянутся обширные оливковые сады с серой листвой — сады единственные в СССР.

В Абхазии субтропический климат, поэтому район Сухума — единственное место, где легко можно разводить редкие лекарственные растения и травы. Сейчас (правда, в небольшом количестве) в Сухуме уже вырабатывают некоторые лекарственные препараты: лавровишневый экстракт, эвкалиптовое масло, камфору. В этой области у Абхазии большое будущее.

В Абхазии субтропический климат. Когда зимой подходишь к ее берегам на пароходе, с суши доносятся запахи, напоминающие тропики, запахи камфоры, мимоз, каких-то не наших цветов. Снег бывает как величайшая редкость и тает на лету. Мороз и снег здесь заменяет период дождей.

Где тропики — там лихорадка. Сухумская лихорадка не так жестока, как батумская, но все же она треплет приезжих. От нее и от зноя бегут в Цебельду, в горы, где прохладно и где каждую ночь шумят ливни.

Население Абхазии пестро и многоязычно. Помимо абхазцев — народа, не имеющего ничего общего ни в языке, ни по культуре с остальными народами Кавказа, — в Абхазии живут грузины, мингрелы, сваны, греки, армяне, эстонцы, русские, самурзаканцы, шапсуги и, наконец, чистые потомки крестоносцев, возвращавшихся в Европу из Трапезунда и осевших на берегах Колхиды.

Поэтому и сейчас на сухумском базаре, рядом с водоносами и ишаками, вы можете увидеть горцев со свет-

лыми волосами и очень тонкими, правильными профилями флорентийцев. Это — действительно флорентийцы, несколько веков тому назад покинувшие свою родину. Они живут замкнуто, обособленно, но их деревня так же, как и все соседние, окружена кукурузниками и табаком.

Абхазский язык труден. Выучить его невозможно, он имеет множество звуков, которых не в состоянии произнести горло европейца. Нужно с младенческих лет слышать его, чтобы осилить эту бездну свистящих, гортанных и клекочущих звуков.

У абхазцев не было своей письменности. Только недавно, вместе с советизацией страны, была создана письменность и появились первые брошюры и листовки на абхазском языке.

Быт страны сложен и своеобразен. Кровавая месть и гостеприимство — вот основа этого быта. Кровавая месть становится все реже и реже с тех пор, как Советская власть стала сурово и беспощадно карать горцев за этот дикий обычай, опустошающий аулы, превращающий в военные лагери целые районы и делающий непроезжими самые оживленные дороги. Советы стариков творят суды под священным деревом; путник, перешагнувший порог своего злейшего врага, может быть спокоен, как у себя дома; на заборах торчат лошадиные черепа от злого духа; свадьбы празднуют неделями; считается грехом пить молоко, не разбавленное водой. Таких обычаев много. У каждой страны есть свои странности.

Советский строй в Абхазии приобрел колорит этой страны. Заседания сельсоветов проходят под священным дубом, все члены сельсовета сидят верхом на поджарых лошадях, с коней говорят, с коней голосуют, подымая вверх руки со старинными нагайками.

История этой страны — история непрестанной, тяжелой, нечеловечески упорной борьбы за каждую пядь гор, за каждый камень с армиями русских генералов, с «урусами», которые несли тогда не национальную свободу и возрождение, а рабство и пренебрежение к этим гордым, молчаливым горцам, полным сурового достоинства и необычайной деликатности.

В заключение я приведу здесь отрывок из дневника писателя и знатока Абхазии — Нелидова, имя которого неизвестно и рукописи не опубликованы из-за чрезмерной скромности автора:

«Утро пришло прозрачное и очень тонкое, купая в море красные рыбачьи паруса. На шхунах турки кипятили кофе в медных кастрюльках. Качались дубовые кили, и, как персидская майолика, на бронзовых горах бледным пурпуром цвели олеандры.

В солнечный дым садов я спустился из своей комнаты, словно вошел внутрь жемчуга.

Начиналась осень. Мучила лихорадка, карантинный врач сказал мне, что надо на неделю уйти из Сухума к Главному хребту, в область прохладных альпийских пастбищ.

Я нашел попутчика — циркового борца-профессионала, громадного и добродушного. Он знал все перевальные тропы, и идти с ним было легко и спокойно.

Шли мы три дня. В кукурузных полях за Мерхеулами мы обливались потом от невыносимой духоты, следя, как над Апианчей курились пепельные облака. Мы попали в безвыходный лабиринт диких гор и медленно подымались по незаметным тропкам, слушая, как в заросших орешником пропастях шумят монотонные реки.

Буковые леса стояли по склонам сумрачными колоннадами, пахло грибною прелью и медвежьими тропами, далеко срывались протяжные обвалы. Изредка над головой проносились со свистом коршуны и прятались по норам бурые лисицы.

На третий день в прорезы черных гор сверкнул синим льдом изломанный и мертвый Главный хребет.

На четвертый день с перевала он открылся весь. Горец, увешанный пулеметными лентами, с винтовкой за плечами, встретившийся нам на перевале, показал на высоко взметенный в небо зазубренный массив, покрытый ледниками, и сказал:

— Марух.

Было в этом слове что-то древнее, простое и страшное.

Горы горели торжественным изломом льда в похолодевшем от глетчеров небе. В необъятной первобытной тишине был слышен шорох осыпавшегося щебня. В ущельях дымились облака. Мы спустились к озеру. Сначала шли по зарубкам в лесу, цепляясь за мшистые камни, потом сползали, держась за канат.

На озере было солнечно и жарко. Отвесные берега, белые от известковых слоев, отражались в молочно-зеленой воде. Борец развел громадный костер, чтобы не набежали

медведи: «Не разведешь костра — набегут со всех гор и будут ходить следом, выпрашивать по кусочку чурека».

На озере мы пробыли пять дней.

Все пять дней напролет около пещеры, где мы жили, весело гудел в небо костер из сухого красного дерева. По ночам мы вставали, подкладывали сучья и швыряли головешками в наглых шакалов. Быстрыми тенями они носились вокруг пещеры.

В первую же ночь они украли из-под головы борца кусок сыру. А последние четыре ночи они собирались громадными стаями на скалах и выли, нюхая горький дым костра.

Медведи бродили подальше, с опаской, выворачивали в лесу гнилые пни и устраивали по обрывам раскатистые обвалы.

Целыми днями мы ловили форелей, купались в ледяной воде, спали на белых скалах у берега, слепли от блеска озера и охотились за водяными курочками. Форель была жирная, старая и рвала лески.

В нерушимой, соборной торжественности гор, в ледяных ночах, падавших на озеро ослепительной звездной картой, была какая-то предмирная, едва улавливаемая сознанием тишина.

А вечерами лиловый, отлитый из меди, курясь багровыми туманами, загорался Марух, кровавыми мазками ложась на наши лица. Потом он гас, и только свет костра метался по мускулистым, кофейным щекам борца, курившего горькую трубку.

Мы уходили с озера после обильного ветреного дождя. Мох и глина налипали на ноги, и было трудно идти. Среди обширных, дымящихся дождями долин и лесистых цепей синими колодцами плыло далекое небо.

Ночевали мы в гулкой, пустой школе. В сумерках шел белый широкий ливень. Я до сих пор помню чувство горной, спокойной и сладкой тоски, когда я ночью просыпался и слушал торжественные раскаты грома в ущельях Агыша».

Такова Абхазия. Конечно, нельзя рассказать об этой стране в двухстах строках. Ее надо видеть, ибо ее богатство и красота вскрываются на месте, когда вы попадете в эти щедрые края, омытые теплым морем — одним из прекраснейших морей мира.

1928

НОЧЬ В ДОССОРЕ

Высокий старик, похожий на Виктора Гюго, лежал на скрипучей койке и читал рассказы Алексея Толстого. Слой тончайшей глинистой пыли покрывал парусиновый костюм старика.

Ровный и упругий ветер работал с настойчивостью моторного вентилятора и накачивал через проволочные сетки соленую пыль. Ветер дул со стороны Каспийского моря. Он нес тучи гнуса из прибрежных камышей, хотя до моря было сто километров. Сейчас, ночью, гнуса не было видно, но днем он пролетал над Доссором черными извивающимися облаками. Сетки на окнах общежития для холостых были устроены от гнуса.

Старик кряхтел, садился на койку и тщательно вытирал полотенцем потное лицо. Потом он с неодобрением посматривал на полотенце, где отпечатывалась, как на негативе, черная пятерня. По числу оттисков можно было судить, что старик вытирался часто.

Толстого он читал как опытный инженер — строго и медленно. Он придирчиво следил за изгибами сюжета и отмечал ногтем те места, где авторская «формула» была недостаточно оправданна. Со стороны казалось, что он проверяет научный доклад, испещренный цифрами. Иногда он возвращался вспять, перечитывал старые куски, сопоставлял их с новыми и удивленно хмыкал.

— Сроду у Толстого не было такого въедливого читателя,— сказал в потолок инспектор труда, валявшийся на соседней койке.— Хотите партию в шахматы?

Старик грузно встал и оказался похожим на зебру. В складках его костюма пыли не было, и они белели причудливыми полосами на мятых брюках и куртке.

Электрическая лампочка то желтела, то наполнялась светом. Играть было трудно. Когда лампочка тускнела, старик сердился и отмахивался от нее, как от назойливой мухи.

За стеной заведующий бурением инженер Лисовский говорил надтреснутым тенором, что работа идет прекрасно. Старик прислушался и шумно вздохнул:

— О-хо-хо! Никакого тут нет героизма, и никакого тут нет достижения! — сказал он, помахивая конем и не зная, куда пойти.— Если интересуетесь знать почему, то с моей стороны последуют пункты. Пункт первый: план буровых

работ Москва нам обкорнала, а станков мы запасли много — для большого плана. Пять лишних станков! Поработайте без них, тогда и хвастайтесь. (Гордэ вашей королеве!) Пункт второй: жалобы на пустыню. Пустыня как пустыня, самая обыкновенная, другой она никогда и не бывает. Что ж вы думали, здесь Гагры или парк культуры и отдыха? Пункт третий: нет воды. (Раз вы взялись за фигуру, должны ходить, вы не маленький.) Скажите вернее. не было воды. Во времена Нобеля воду в Доссор качали по нефтепроводу из моря пополам с нефтью, опресняли и пили. А сейчас вам возят воду в новеньких цистернах из Урала и дают по ведру на человека.

— Что вы говорите! — рассердился инспектор труда.— А жара, ветры? А пыль? Неделю назад мальчишка, сын бурового мастера, пошел в степь ловить ящериц, его захватило ураганом, он сутки пролежал на земле, боялся заблудиться. Пыль сверхъестественная. В пяти шагах ни черта не видно. Думали, пропал мальчишка.

— Надрать ему уши, чтобы не отходил от поселка.

Инспектор труда пожал плечами и сказал раздраженно:

— Шах!

Старик сделал страшные глаза и закрыл короля турой. На пороге выросла низкая и молчаливая тень.

— Это кто, Саид?

— Саид. Я за тобой пришел.

Саид был замерщиком на промыслах, на третьей дамбе, а старик — главным инженером треста. Он встал, со скрипом упершись руками в стол, надел автомобильные очки и кепку и, заметно припадая на ногу, двинулся к двери:

— Пошли!

За дверью ударил в лицо теплый песчаный гул. Звезды моргали в тяжелом небе, будто старались стряхнуть с себя пыль. От промыслов разило едким запахом нефти и горькой соли. Вышки торчали на дамбе среди мелкого соленого озера. Ветер продувал насквозь парусиновый костюм старика, но даже не высушил испарину,— ветер был горяч, он не успел остыть от дневной жары. Изредка в его ровный поток впутывалась шалая прохладная струя. Старик со свистом втягивал в легкие эту струю почти без остатка, кашлял и плевался.

Ветер относил вкось от столбов мутные шары фонарей.

Промысел работал будто во сне. Глубокие насосы сонно

сопели, выплевывая густую нефть. В дизельных заунывно пели казахи-масленщики.

Старик не торопясь прошел по дамбе к вышке «128». Ругаясь, он влез по липкой лесенке на помост, где стоял резервуар с нефтью, и зажег электрический фонарик. Через мутный конус света пролетело разорванное облако гнуса. Мерно лилась в озеро отстоявшаяся в резервуаре пенистая вода. Старик померил уровень нефти в резервуаре, слез и осветил грязный клочок бумаги, исписанный цифрами. Клочок этот ему протянул Саид.

— Так и есть,— сказал старик озадаченно.— Теперь за час прибавляется по два сантиметра.

Саид радостно забормотал:

— Верно. Днем ничего не прибавлялось, когда ты проверял. Потом он, собака, приказал на два часа остановить насос. Потом, как только увидел, что ты идешь,— сам пустил. Ты пришел, мерил — ничего не прибавилось, а ты не знал, что насос не работал. Стрелять надо таких людей.

Старик промолчал. Он прикидывал в уме. Дело было так: утром замерщик Саид Бабаев пришел к нему и попросил прийти на третью дамбу. Старик приехал на промысел на два дня из треста, из Гурьева, и ему не хотелось возиться с мелочами. По натуре скептик, он мало верил разоблачениям.

Саид жаловался на управляющего промыслом Гордеева. Гордеев был на вид прост, ходил в скрипучих сапогах и чесучовом пиджаке — «под подрядчика», считался большим «практиком», знатоком дела, но старику не нравились его рыжие глаза и ласковая скороговорка.

— Что там? Должно быть, чепуха? — сказал старик Саиду.

Саид угрюмо бубнил о насосах, которые стучат и выливают нефть на землю.

В конце концов старик пошел на дамбу. Саид привел его к вышке «128». Новый глубокий насос действительно стучал, и сальники брызгали нефтью. Около вышки натекла большая нефтяная лужа. Саид повел старика дальше. Почти у всех насосов на третьей дамбе пропускали сальники, и нефть медленно лилась мимо труб.

— Ай-яй-яй! — шептал Саид.— Видишь — золото тикет. Я ему неделю об этом говорю.

— Да, золото,— повторил старик, и детские его глаза сделались синими и злыми.— Действительно, золото!

Нефть стекала вдоль труб тонкими буро-золотыми пленками.

Старик приказал Саиду проследить, сколько нефти в час дает вышка «128». Через два часа Саид принес ему в общежитие запись на мятой коробке от папирос. Старик позвонил Гордееву и лениво спросил:

— Почему на третьей дамбе падает добыча?

— Буровые играют. То даст за сутки одну тонну, то десять. Там всегда так.

— Насосы в порядке?

— Насосы новенькие.

— Проверьте, и, если пропускают — исправьте сейчас же.

Днем старик пошел проверять дамбу. Нанос на «128-й» уже не бил, и сальники не пропускали, но прибыли нефти не было.

— Да,— пробормотал старик,— или я идиот, или это дело будет иметь несколько весьма неприятных пунктов.

А к ночи все буровые на третьей дамбе увеличили добычу. Одна «128-я» дала за час два сантиметра.

Теперь все было ясно. Гордеев исправил насосы, по днем остановил их на время, пытаясь удержать цифры добычи на прежнем уровне.

— Какая цель? — спросил старик Саида.

Саид задрожал и ничего не ответил,— голос старика был ужасен.

— Если человек добросовестно ошибается,— старик взял Саида за пуговицу и оттолкнул от себя,— он не скрывает своей ошибки. Если же он ошибается сознательно,— старик рванул Саида к себе,— он хитрит и останавливает насосы, чтобы разница в добыче не била в глаза. Значит...

Пустыня дышала ровными, но слабыми вздохами. Ветер стихал. Старик зашел в дизельную, позвонил в контору и сонно пробормотал в трубку, чтобы Гордеева немедленно нашли и прислали в дизельную к вышке «128». Он вынул карандаш и сделал подсчет на стене.

«Два сантиметра в час = 300 кило нефти. 300 кило нефти примерно дает 8 тонн в сутки. Насос, по словам Саида, пропускал 7 дней. Значит, из одной только «128-й» вылили на землю, к черту, на воздух 56 тонн нефти».

Гордеев пришел торопливо и насупленно. Начальство не давало спать по ночам.

— Что, Станислав Сергеич? — спросил он хмуро и остановился в тени.

Старик молчал.

— Вы меня вызывали, Станислав Сергеич? — повторил Гордеев и отступил к стене.

— Я человек старый,— тихо сказал главный инженер. Его мохнатые брови и борода затряслись, и трудно было понять, от волнения это или от гнева.— Как и вы, я работал у Нобеля. Я знаю пласты в Бинагадах и Сураханах, как свою квартиру. Но у меня хватило ума понять и оценить новых людей. Они любят нефть не меньше меня. Они нюхом понимают в этом деле больше, чем сотни таких практиков, как вы. Нобель доил Эмбу, как корову, а новые хозяева ищут большую нефть, убивают пустыню, проводят дороги, бурят под соль, поставили все на дыбы.

— Я,— старик подошел вплотную к Гордееву,— я работаю с ними и горжусь, что мне, шестидесятилетнему хрычу, доверили из этой сусликовой пустыни создать Великую Эмбу. Я буду биться над ней, пока не подохну! Поняли?

Гордеев молчал.

— Люди идут в пустыню, за сто километров! — крикнул старик.— Без воды, без верблюдов! Люди ищут нефть в Каратоне, где каторга — понимаете, каторга, а не жизнь,— пекло, тоска. Шапку надо снимать перед такими людьми! А вы что делаете!

— Я не пойму, к чему разговор,— сказал Гордеев.

— Завтра же к чертовой матери с промысла, вот к чему! Нефть спускаете в землю. «Хоть сто тонн, да я им не дам, я, Гордеев, нобелевский приказчик!» Сволочным делом занялись, гражданин Гордеев. Думаете: пустыня, дичь, директора-выдвиженцы ни черта не понимают, главный инженер — старик, спит на производственных совещаниях. Довольно! Вон с промысла и под суд! Формула вполне ясная!

Саид дрожал. Вытаращенные глаза старика налились кровью. Он хрипел и поминутно хватался за горло.

Гордеев, что-то бормоча о месткоме, выскочил из дизельной.

Старик вышел на дамбу. Ветер продувал седую щетину волос. Пронзительные звезды плавали в озере кристаллами соли.

Саид шел позади и бережно нес стариковскую кепку,— старик забыл ее в дизельной.

— Ну, прощай, спасибо тебе,— сказал Саид, когда они дошли до конца дамбы.

— Ты куда?

— Домой. Я ночью не работаю. К тебе только пришел.

Старику не хотелось возвращаться в общежитие. Надо было успокоиться, немного прийти в себя.

— Я с тобой пойду. Покажи, как живешь.

Саид испугался.

— Грязно очень,— промолвил он тихо.— Сын болен.

— Ничего.

Саид жил на седьмом участке. Молодые инженеры не без язвительности называли его «седьмым небом».

Снова начался ветер. Он вырывал из-под ног густые клубы пыли. Выли тощие киргизские псы, и недоуменно среди дороги стояли верблюды, всматриваясь в прохожих печальными глазами.

Наступало лето — месяцы верблюжьей тоски. Верблюды линяли, шерсть сползала с них клочьями плешивое тело кусали слепни. Древнюю и пыльную кожу, похожую на переплет старинных книг, покрыли гнойные струпья. Горбы свисали пустыми и грязными мешками.

— Надо бы их отпустить сейчас в степь за Урал, пускай пожируют,— сказал старик.— Иначе осенью все передохнут.

На кормежку верблюдов приходилось гнать очень далеко, за Урал. Вокруг промыслов, кроме горькой и редкой солянки, ничто не росло.

Седьмой участок был похож на груду рассыпанных коробок из глины. Серая ночь мутно дымилась над ними,— это была пыль, окрашенная светом звезд.

Сладкое зловоние кизячного дыма и сального ватного тряпья густо облепило ноздри. Старик смотрел направо, на пятый участок. Там в огне ярких фонарей призрачно белели легкие камышитовые дома.

— К осени снесем ваши саманки,— пообещал он Саиду.— Привезем камышит. Будет просторно.

В доме Саида, похожем на свистульку из обожженной глины, тлела лампочка. Старик втиснулся в дверь и закупорил комнату,— даже лампочка приглохла и потускнела. Ядовитая гарь свела рот, как щелок. Комната была полна желтоватого дыма и запаха паленых волос.

Маленький голый мальчик сидел на столе и плакал, а казашка с испуганным лицом затаптывала на полу тлеющую кошму.

— Чуть пожар не наделали,— промолвил старик с облегчением. Но Саид закричал на женщину, вырвал кошму и унес ее во двор.

Мальчик продолжал плакать негромко и горько. Он даже не взглянул на старика. Было ясно, что, покажи ему сейчас лучшую в мире игрушку, он не взглянет и на нее, а будет так же тихо плакать от боли и непонятного предчувствия смерти. Ему ничего сейчас не было нужно, кроме холодной чистой воды (шепотом он просил пить) и хотя бы короткого сна. Бок у мальчика был в красных больших волдырях.

— Ты что? — пробормотал испуганно старик и нагнулся к мальчику.

Женщина дико смотрела из угла. Саид вернулся и стал у порога.

— Что с ним?

— Сердечная болезнь. Бок болит. Она лечит его по-нашему.— Саид злобно взглянул на жену.

— Чем лечит?

— Кошму зажжет, прикладывает к боку. Табибы (знахари-казахи) говорят — так надо. Первый умер, второй умер, этот тоже умрет. Все делала — мясо собачье к боку прикладывала, кошму жгла. Порошки доктор дал — выбросила! Верит табибам. Глупая женщина, надо ее много учить.

— Ну, прощай,— глухо сказал старик и вышел. Он быстро пошел, прихрамывая, к общежитию. Он даже забыл о Гордееве.

В общежитие он вошел шумно, окликнул врача и попросил тотчас же пойти к Саиду и захватить с собой кстати бутылку нарзана. Врач удивился,— нарзан считался неслыханной роскошью в тех местах. Завтра же отправить жену Саида в Гурьев — будет идти моторный вагон. Дать записку управделами треста, чтобы отвел ей комнату. Мальчика положить в больницу.

Врач кивал головой и недоумевал: мало ли народу, особенно детей, перемерло здесь от воспаления легких и туберкулеза.

Волнение старика казалось неоправданным.

Врач ушел, дверь за ним хлопнула.

Старик вернулся в свою комнату. Инспектор труда спал. За столом сидел и что-то подсчитывал Ермилов — заместитель управляющего трестом, выдвиженец.

— Ну что, отец? — спросил он, посмеиваясь.— Где бродите?

— Так, небольшая прогулка по промыслам,— ответил старик, вытираясь полотенцем.— Я снял Гордеева и отдаю его под суд,— сознательно льет нефть в землю, мерзавец! Не возражаете?

— Еще что? — спросил Ермилов и перестал улыбаться.

— Еще — с завтрашнего дня надо приступить к постройке водопровода из Урала. Хотя бы за счет сокращения разведок, за счет самого дьявола, но деньги надо достать. Без воды идти в пустыню — идиотство!

— Правильно! — Ермилов взъерошил волосы.— Гордеев гад, я к нему давно приглядываюсь, только зацепки не было. А вода будет, будет, отец, чего бы это ни стоило.

— Да, еще один пустяк. Не забыть бы. Замерщика Саида Бабаева надо перевести в буровые мастера — он справится.

Старик разбудил инспектора по труду и сказал ему сердито:

— Ну что же вы! Будете кончать партию?

Инспектор зевнул, сел и посмотрел за окно. Ветер с неизменным упорством нагнетал облака пыли. По оттенку пыли можно было догадаться, что близок рассвет,— пыль посерела.

— Пыль, бессонница,— пробормотал инспектор.— Ну что ж, давайте!

Гурьев, 1930 г.

ПОДВОДНЫЕ ВЕТРЫ

1

Старик с лицом сухим и пыльным — такие лица у всех обитателей Астрахани — предсказал к вечеру «подводный ветер». Старик служил сторожем на пристани и по скучной своей обязанности постоянно сидел у ворот, изучая невеселое астраханское небо.

Предсказанье сбылось. Днем небо затянулось дымом. Кислый угар наполнил выщербленные улицы. На глазах прохожих происходило превращение солнца из белого пятна в багровый пятак.

Знакомый астраханский журналист объяснил мне значение загадочного термина «подводный ветер».

Подводным он называется от слова подвод, подвох, обман. Этот ветер накачивает между облаками и землей горячий мутный воздух, и в этом воздухе всего легче рождаются миражи.

Вечером подводный ветер задул с монотонной и раздражающей силой. К ночи Астрахань преобразилась. Ртутный дым опустился на крыши.

Как сон маньяка, как пыльный пейзаж, написанный выцветшими красками, затлел рядами тусклых фонарей Варвациев канал. На его горбатых мостах всю ночь скрипели архаические блоки; старики цедили серую воду сетями, похожими на исполинские зонтики, и с злобой плевали в неизменно пустые сети.

Сон был труден и беспокоен. Снились миражи — мелкие красные моря и белая луна над ними на головокружительной высоте. От луны исходил жестокий жар. Духота качалась в комнате слоями, спускаясь с низкого потолка.

Лариса Рейснер писала, что нужно было особое мужество, чтобы во времена гражданской войны защищать Астрахань. «Много ли найдется людей, способных нести все тяготы войны в безлюдных, сыпучих, проклятых астраханских пустошах?»

В дни мучительных подводных ветров, подымавших неисчерпаемую пыль с городских пустырей, я узнал нескольких людей, мужественно бьющихся над созданием Новой Астрахани.

Мне посчастливилось, и один из них — назовем его Бобровым — был моим проводником, или, вернее, я всюду его сопровождал, впутываясь в астраханские дела.

Этот человек с потным от радости лицом первый сообщил мне, что в море, около Жемчужного маяка, аэропланы заметили громадные косяки сельди, идущие к устью Волги. Я помню величайшую его радость, а потом величайшее озлобление, когда обманула нас нефть.

Виноваты были в этом профессор Православлев и инженер Нешель, умерший лет восемь — десять назад.

Нешель обнаружил в городе, когда рыл артезианский колодец, нефтяной газ. Нам удалось найти желтые от старости доклады Нешеля, где, между прочим, рассказывалось, что к буровой был приставлен сторож, готовивший себе обед на нефтяном газе.

Тут, кстати, в редакцию астраханской газеты пришли рабочие с завода Карла Маркса и рассказали, что на заводском дворе из трещины в земле бьет газ. Геологи сделали анализ и нашли этот газ прекрасным.

Газа было немного.

Оснований для надежд оказалось достаточно. В это время профессор Православлев нашел на глинистых берегах Волги пятна жирной нефти. Надежды перешли в уверенность. Возник мираж Новой Астрахани — не только селедочной и икряной, но и нефтеносной, залитой черным золотом,— Астрахани, стремительно идущей к расцвету, как стремительно развернулись Маракаибские нефтяные промыслы в Венесуэле.

Подводный ветер дул всю ночь. На следующее слепое утро Бобров встретил меня около кремля и прокричал:

— У электростанции бьет из-под мостовой нефть! Идемте!

Мы побежали мимо унылых домов, где у ворот чернели зловещие надписи: «Берегись лошадей». Над электростанцией в белесоватом зное столетиями иссыхал и каменел кремль. Стены его были избиты пулями. Тощая трава, задыхаясь от глины, росла у его подножий, где волжский люд играл в орла и решку. Из-под трамвайных рельсов сочилась нефть — коричневая, с золотым жирным блеском. Студенты-геологи бережно собирали ее в бутылки. Толпа пророчила Астрахани неслыханные богатства. Трамвайное движение приостановилось. Бобров был светел, как победитель.

Вечером к нам пришел начальник астраханской геологической партии и принес черную весть: под мостовой лопнули старые нефтяные трубы,— о существовании их никто не подозревал. Геолог, как и все ученые, был недоверчив. Он «позволял себе» не верить Православлеву. Пятна нефти почтеннейший профессор видел на берегах Волги только вблизи крупных нефтехранилищ. Кроме того, нефтеналивные баржи часто дают течь, нефть плывет по реке и оседает на берегах. Заложенная в Астрахани первая буровая ни нефти, ни газа пока не дала.

Бобров был смущен, но все же спорил. Геолог должен был признать, что Астраханский район если не нефтяной, то, во всяком случае, газоносный.

Так в дни подводных ветров нарастал в жаре и тревоге этот нефтеносный мираж. Он продолжался три дня.

В виде компенсации за обманутые надежды мы поехали с Бобровым на новый утилизационный комбинат. Он стоял на берегу реки Балды, мутной от рыбьих внутренностей и жаркой, как кипяток.

Комбинат встретил нас жестокой вонью; он перерабатывал рыбные отбросы, всякую гниль и чешую. Из всего этого он делал искусственный жемчуг, рыбную муку, тук, клей и технические масла. Кроме того, из свежей рыбы комбинат изготовлял консервы.

Жемчужная фабрика пахла яблоками и сладкими эссенциями. В баках промывалась соленая сухая чешуя. С нее смывались нежнейшие и тончайшие кристаллы блеска — гуанина. Его сгущали в центрифугах в серую краску и покрывали этой краской круглые стекляшки. Лучший блеск дает чешуя чехони.

За год фабрика выпускает около шестисот километров бус, если их растянуть в одну линию.

Розоватые, опаловые и голубые тяжелые гроздья жемчуга отправляют в испепеленные страны Востока. Крепкие нити переплетают экономику земного шара. Вещи действуют с силой стихийных явлений — ураганов и землетрясений. Вещи странствуют причудливее многих людей.

Циклон, зарождаясь в Балтийском море, доходит до Иерусалима, а розовый жемчуг из Балдинского комбината заставляет арабов из Занзибара — ловцов жемчуга в Персидском заливе — менее охотно нырять в его смертельные глубины.

Странствование вещей поразительно. Недавно в степном, заросшем чертополохом городке Ливнах хозяйка принесла мне гречневую кашу в горшочке, покрытом чугунной крышкой. На крышке была отлита надпись — Caustic Soda, названье английской фирмы, и место — «Остров Святой Елены». Чугунок с содой совершил загадочное плавание от гробницы Наполеона в Ливны. История этого плавания занимает меня не меньше путешествий Миклухо-Маклая.

На комбинате — третьем в мире и первом в СССР — нам насыпали в руки тончайшую и жирную рыбью муку и показывали клей, прозрачный, как пластинки льда. Гигантские цилиндрические печи лежали на боку вдоль цеха и мололи и сушили гнилую рыбу. Муку хотелось есть — она пахла свежим ржаным хлебом.

Десятки рыбачьих моторных ботов с разноцветными и замысловатыми флагами (у каждого колхоза свой

флаг) подвозили к пристани серые и желтые горы чешуи.

Бобров опять был светел, как поэт, окончивший прекрасную эпическую поэму. Он снял кепку, и неожиданный дождь — скупой и осторожный — пролился на его волосы, на серые гущи садов за Балдой, на плоты рыбных промыслов, где девушки в синих морских штанах таскали корзины с бронзовыми тупорылыми сазанами.

Бобров взял реванш за нефть.

2

Начальник автомобильной станции в Калмыцком базаре Овчинников, внушавший страх населению поселка своими чудачествами, крикнул пассажирам на Элисту:

— Вас шестнадцать человек! Безобразие! Посажу только двенадцать. Станьте в очередь! Так. Вот этого беру, этого не возьму. Этого, пожалуй, беру.

Он толкал портфелем, свернутым в трубку, счастливых избранников.

Начался скандал. Обойденные потребовали, чтобы Овчинников объяснил, чем он руководствуется при отборе пассажиров. Шоферы смеялись, накачивая в камеры горячий воздух. Овчинников от объяснений отказался. Он коршуном налетел на старого дорожного техника и крикнул в его инженерскую старорежимную бородку:

— По командировкам катаетесь, трюмо с собой из Саратова приперли, а я вас вези! У меня машины для государственных надобностей, а не для барахольщиков.

Техник равнодушно сплюнул. Он был прав,— после яростного крика Овчинников внезапно размяк, взял всех шестнадцать пассажиров, мокрых от пота и испуга, и даже самолично погрузил их багаж на машину.

Амовский грузовик вырвался в степь из серой глины Калмыцкого базара. За грязной Волгой, будто сквозь желтое стекло детской панорамы, умчалась вкось далекая Астрахань.

Овчинников был забыт. Началось торжественное разворачивание степей. Горизонты быстро отодвигались. Величие пространства возбуждало.

Горечь полыни ударяла в лицо из-под колес грузовика. Длинные полосы озер то белели рапой, покрытой дорожками птичьих следов, то проносились чистыми водами, где

медленно таяли круги рыбьих всплесков. Озера чередовались: сначала слева шли пресные, а справа соленые, потом озера поменялись местами — и соленые перешли налево.

Широкий тракт был пустынен. Мы встретили только караван верблюдов, как бы распятых на крестах. Они тащили связанные крест-накрест телеграфные столбы. Столбы были приторочены к верблюжьим сизым бокам. Верблюды шли плавной походкой женщин, несущих полные ведра с водой, и с неизъяснимой тревогой вглядывались в даль, где степь уже зеленела житняком и серебрилась ковыльным прибоем.

Тридцать километров — и бесшумные моря трав залили все пространство. С глухим рокотом грузовик уносился в изумительные океаны свежего воздуха, в росистые увалы. На закате он остановился у сторожевой будки, одиноко белевшей в степи и видной за десять километров. То была почтовая станция Давсны-Худук.

Мотор замолчал. Обрушилась легкой массой степная тишина, подчеркнутая бесшумными вспышками зарниц. На западе заходила сизая и розовая, головокружительно высокая гроза.

Это не была просто туча,— это был праздничный многоцветный материк, возникший на вечернем небе. Пряди дождя ниспадали из яркого облачения тучи. Нежный запах влаги долетал с горизонта.

Что сказать о попутчиках? Они были оглушены тишиной и говорили вполголоса. Они смотрели на грозу, на травы, слушали, как ударяли по пыльной дороге редкие капли дождя, и вздыхали. В Москве и Саратове, получив командировку в Калмыкию, они решили вычеркнуть из жизни те пять-шесть месяцев, на которые их посылали в степь. Теперь они исподволь улыбались: пять-шесть месяцев, оказывается, нельзя было считать пропащими,— степь встретила их целительная и величественная, как море. Стояла ранняя весна

Напившись калмыцкого чая, пассажиры уснули на глиняном полу. Ночью меня окликнул землемер Головин. Он был самым незаметным попутчиком. Он один не задавал глупых вопросов шоферу.

Головин попросил у меня папиросу и начал рассказывать. На конкурсе одного из журналов в Москве он получил первую премию за случайно написанный рассказ. Пять лет он живет в степи, мерит землю и читает хорошие кни-

ги. Больше ему ничего не нужно. Очевидно, наравне с полярной болезнью, которой страдают полярные исследователи, есть степная болезнь, и ею был болен Головин. Первый диагноз этой болезни дал Чехов в своей «Степи».

Ночной разговор, фонарь на столе, запах вымазанных мелом стен, крик медведок за окнами и храп соседей напоминали прадедовские времена карантинов и путешествий на перекладных.

— Вам надо посмотреть ночь в степи,— строго сказал Головин и поднялся.

Мы вышли. Тощая калмыцкая борзая обнюхала наши ботинки и из любопытства попробовала их на зуб.

Магический свет звезд — до них, казалось, можно было дотронуться рукой — дымился над нами. Звезды лежали в густых травах, и яркость их напоминала далекие автомобильные огни. Тишина достигала мучительного предела.

На рассвете нас разбудил гром жаворонков. В чистейших далях узкой полосой белела дорога. Птицы пили росу, разбрызгивая ее фонтанами.

Степной калмык подошел к нам от далекой, едва заметной кибитки, положил ладони на толстые шины грузовика — так кладут руки на голову детей — и засмеялся.

— Хорош верблюд! — сказал он, и желтое солнце просветило до самого дна его старинные темные зрачки.— Летом ходит, зимой ходит, не линяет!

Он сел на корточки перед машиной и застыл в молитвенном созерцании.

Над кибиткой курился кизячный дымок. Заспанные пассажиры полезли в машину, как на крепостные валы. Мотор взревел, и мы помчались к Элисте. До нее оставалось двести километров.

3

С утра пошли смерчи и миражи. Столбы пыли с тяжелым шумом вертелись среди дороги, разбрасывая полынь и мертвых от ужаса сусликов. Тусклая вода миражей сулила прохладу и купанье. Степные жители называют мираж по-своему. Говорят: «Степь показывает», или «Опять начало показывать».

В полдень перед нами предстал мертвый поселок Яшкуль, окруженный венцом пыльных смерчей. Дома́ его, слепленные из красной глины, походили на детские сви-

стульки. Мы промчались по улице сквозь запах паленой шерсти и снова вырвались в степь. Старики с изъеденными трахомой веками сидели у глинобитных стен.

Сифилис и трахому калмыки получили в подарок от царских времен, а туберкулез — от монгольских обычаев. Причина туберкулеза — женская одежда — камзол, стискивающая грудь туже корсета. От матери калмыки унаследовали узкую грудь, от отцов кривые ноги конника. Одним из первых декретов Советской власти было запрещение под страхом лишения свободы носить камзол.

Царская Россия ценила в калмыке его дикость и лихое паездничество. Калмыцкий полк в 1814 году первым вошел в Париж на Вандомскую площадь. Чтобы облегчить посадку на лошади, мальчикам с первых же дней рождения втискивали между ног ведро или кошму, а пятки притягивали одну к другой. Уродование детей продолжалось веками.

Знаток Калмыкии Середа (в его кабинете в Элисте висят на стенах высохшие степные травы) говорил мне, что причина болезненности калмыков — в неправильном питании. Каждый калмык съедает в день около трех кило мяса и запивает его соленым чаем. Ни хлеба, ни овощей калмыки не знают. Величайшим лакомством считаются сухие баранки.

«Мяспое питание делает организм крайпе неустойчивым против многих болезней»,— утверждал Середа, и был, конечпо, прав.

Революция в Калмыкии приобрела своеобразные формы. Население приучается есть хлеб и овощи, степь впервые в истории начали косить; учителя, выезжая в хотоны, везут в обязательном порядке не только буквари, но и жестяные рукомойпики.

Середа, поглядывая за окно, где над спокойными балками дрались в небе орлы, раскрывал передо мной Калмыкию страница за страницей, как книгу. Книга эта слагалась из многих тем.

Первая тема — борьба с «зудом». Зуд — это сложное стихийное бедствие. Его нельзя объяснить одним словом.

В степи есть Черные земли. Черными их зовут потому, что на них очень редко, раз в пятьдесят лет, выпадает снег. На зиму сюда сгоняют скот. Он питается высохшими травами.

Зимой 1931 года на Черных землях внезапно выпал снег, потом прошел ливень и ударил мороз в двадцать гра-

дусов. Землю сковала толстая ледяная броня. Скот не мог пробить ее копытами, чтобы достать траву. Громадные стада разметали бураны. Начался падеж. Чабаны замерзали, и голодные овцы жевали их кожаные полушубки. Стаи волков растаскивали падаль по всей степи. На розыски стад послали самолеты. Летчики возвращались и рассказывали о «стогах» палого скота.

Вся Калмыкия была поставлена на дыбы. В буранах метались десятки машин. Сквозь пургу на Черные земли прорывались из Астрахани и Прикумска громадные обозы с овсом.

Трагедия этой борьбы до сих пор еще заставляет содрогаться привычных к степи людей.

Единственное спасение от зуда — заготовка на зиму сена. В этом году степь впервые начали косить. Калмыки съезжались за десятки километров, чтобы посмотреть на это удивительное зрелище. Трава — раньше ей было предназначено сгнивать на корню — превращалась в исполинские скирды душистого и душного сена.

Вторая тема — калмыцкая молодежь. Ей одной принадлежит сейчас калмыцкая степь. Все ответственные посты заняты молодежью, все учителя — почти мальчики, весь тягчайший культурный поход на степь молодежь вынесла на своих плечах.

Юноша-поэт Сузеев читал мне свои стихи о Ленине и Пушкине. В них был хриплый крик и протяжность монгольских песен.

Пророчество Пушкина исполнилось: имя его знает теперь каждый калмык — «друг степей».

Третья тема — Элиста.

Экономист, присланный в Элисту из Москвы, называл этот город «дешевой экзотикой». Сморщенный, похожий на мартышку в роговых очках, одетую в белый костюм, он вообще был зол.

Элиста — не дешевая экзотика. Это степной мираж, получивший плотную, вполне осязаемую форму. В этом «мираже» работают сотни людей. Появляется Элиста так: триста километров степей начинают тяготить, как бесконечный лабиринт. По пути всего две встречи, два тощих саманных поселка — Яшкуль и Улан-Эргэ. Потом балка,— в ней нехотя сочится серный ручей. В нем не могли бы жить даже караси. Подъем на увал — и внизу, в золотой пыли и в синих озерах тени от облаков, спрятан игрушечный город.

Молочно-белый, блистающий зеркальными окнами, праздничный, он поражает в этой девственной степи, где шоферы должны объезжать беркутов, не слушающихся сигналов, и грозить им кулаком. Тысячелетние крики «цоб-цобэ!» висят над городом. Чумаки понукают волов, волокущих лес и камень,— город строится.

Если хотите, в Элисте есть экзотика, освежающая голову, как самый воздух этих весенних полынных полей,— экзотика строительства, созидания. На глазах растет маленький, точный, обдуманный город — радиостанция, гаражи, музей, гостиницы, столовые, телеграф, типография, больница, диспансеры, ясли, кооперативы.

Улиц в Элисте нет. Дома стоят прямо в степи на склоне балки. Их отделяют друг от друга насаждения акации и айланта. Теплый ветер надувает желто-черный колпак на мачте аэродрома.

Дома со всех сторон открыты ветру и солнцу. Особенно хороши вечера, когда закат затопляет степь и Элисту светоносным наводнением. Он сотни раз зажигается вновь и вновь в клетках легких домов, наполняет весь воздух красной пылью и гаснет в электрических огнях, висящих над степью тяжелыми белыми гроздьями, и в бесшумных взлетах далеких синих молний.

Высоко над городом в небе кричат орлы...

4

Старый колесный пароход речного типа «Подарок Первого мая» скрипел и качался на самой ничтожной волне.

Шли открытым морем. Берегов не было видно, но капитан боялся посадить пароход на мель. Круглые сутки матрос на носу мерил глубину шестом и угрюмо кричал в рупор: «Восемь». Эта цифра «восемь», то есть восемь футов глубины, тянулась двое суток до самого Гурьева, где упала до четырех.

Мелкое это море серо-синего цвета опасно для плавания. Свежий южный ветер — «моряна» — гонит волну со всего моря, по мелководью волна идет крутая, задевает подошвой о дно и может, раскачав пароход, ударить его о грунт и разбить.

Мы шли в Гурьев в полный штиль. Налево на слепом блеске воды чернели рыбачьи суда, стоявшие на мертвых

якорях. Направо, над далекими берегами Азии, подымался купол багрового зноя. Жарко, монотонно и мутно шел день,— мутно, как каспийская волна, и монотонно, как пение старых киргизов, лежавших на палубе.

Берега зовут здесь «чернями» потому, что они сплошь заросли высоким камышом с тугими черными головками, похожими на валики пишущих машин. Камыш этот называется «чакан». Из него изготовляют великолепный искусственный фетр.

Издали берег виден черной тонкой полоской камышей. В этих камышах, в протоках среди островов, в этом мелком и теплом море — рыбный рассадник.

Из Астрахани мы вышли в море единственным судоходным рукавом (банком) Волги — Бахтермиром. Есть еще Белинский банк, сокращающий путь до Гурьева на сто пятьдесят километров, но он судоходен только весной. Им мы возвращались обратно.

На обратном пути мы попали в беспорядочный шторм, пароход черпал воду и суетливо бил плицами по крутой волне.

Я уснул в шторме, а проснулся среди ночи от кваканья лягушек и плавного хода,— мы шли мимо дельтового заповедника. Пели соловьи, низко летали жирные, как бы квадратные, дикие утки, над зеленью и разливами Волги подымалось солнце, светившее сквозь прозрачную занавесь мошкары.

Заповедник знаменит тем, что это единственное место в СССР, где цветут розовые лотосы. От девственных сырых зарослей заповедника долетал острый запах корней осоки, тихих вод и рыбы.

Это было на обратном пути. Пока же мы качались в море, с тоской дожидаясь неуловимого Гурьевского рейда.

5

Гурьевский рейд открылся к вечеру обширным тихим озером. В нем плавали белые облака и пески. Старый киргиз с повязанной ситцем головой вышел на палубу и, вцепившись жилистыми руками в поручни, смотрел на берега и плакал,— родина предстала перед ним во всем величии своей угрюмости и однообразных пространств. Мглистые горизонты Востока наплывали с равномерной медлительностью. Стаи тюленей плыли мимо парохода, пе-

перевернувшись вверх брюхом и выставив из воды короткие толстые ласты. Тюлени спали.

Здесь и под Мангышлаком их бьют каждую весну, когда тюлени выводят детенышей. Как только образуется первый лед, тюлень пробивает в нем небольшой лаз и поддерживает его все время, не давая ему замерзнуть. Около этих лазов самка тюленя лежит с детенышами — белка́ми. Когда подходят люди, самка ныряет в воду, а белки остаются на льду,— они еще боятся воды и доверчиво ползут к людям. Их бьют беспощадно ради золотистой пушистой шкурки. Раненые белки плачут, как маленькие дети.

Истребление молодых тюленей идет в неограниченных размерах. Старого зверя бьют реже — это труднее и хлопотливее.

Надо положить конец этому хищническому промыслу, иначе каспийский тюлень очень скоро будет уничтожен без остатка.

Черной полосой «черней» и белыми шнурками песков обозначилось устье Урала. Буксир пошел с рейда вперед, показывая нам дорогу через бар. В дымном воздухе пустыни зарождалась густая сизая ночь.

Вошли в узкий Урал, в шум камышей, в тучи зеленой, только что родившейся мошкары, сгоравшей с невыносимой вонью на горячих частях машины.

В сухой глине и серой зелени тощих садов открылся далекий Гурьев. Над скучными лачугами на азиатском берегу Урала особенно ярко в пустынном вечере зажглись электрические солнца Эмбанефти.

Пароход медленно вплывал в Азию — в приторный дым кизяка, в туманы пыли, в огни прибрежных костров, в кочевья, раскинутые вокруг города, в заунывные крики киргизов, тянувших на песке мокрые невода.

Шелудивые псы бежали по берегам с хриплым лаем, за ними мчались голые киргизские дети. Пестрое тряпье, развешанное па шестах, приветствовало нас подобно знаменам Тамерлановых полчищ. Рыдали, как двери на тугих пружинах, облезлые верблюды.

По берегам брели киргизы, волоча хвостами по пыли трепещущих сазанов и судаков. По их грязной чешуе стекали чистые капли крови.

Чигири скрежетали во внезапной темноте, похожей на кофейную гущу. Огненная надпись «Эмбанефть», висящая в воздухе, как бы открывала вход в тяжелую пустыню.

5

Общепринятое понятие о героизме неверно. После скитаний по пустынным берегам Каспийского моря я убедился, что героизм — это нечто незаметное и на первый взгляд даже скучное.

Героизм — это Доссор. Доссор — промысел Эмбанефти, расположенный в ста километрах от Гурьева, в классической пустыне.

Пустыня — угрюмая равнина, кое-где покрытая холмами. В ней растет только редкая полынь и солянка. Цвет земли — коричневый. Местами глина покрыта струпьями серых солончаков. Обширные соляные лужи зовут озерами (по-киргизски «сор»). В глине свистят суслики — источник чумы, отвратительный толстозадый зверек. Могилы, слепленные из глины. Выгоревшее от зноя небо. Оно кажется грязным.

Вокруг Доссора останавливаются кочевники, когда перегоняют стада. Истертая ими в порошек земля рождает невиданную пыль. Горячие вихри несут ее плотными занавесями на Доссор. Все, не исключая кочевников, ходят в автомобильных очках.

Полюс ветров. Нет дня, чтобы в Доссоре — этой сухой яме — не дули ветры. Очень часто они переходят в ураганы. Северный ветер опустошает, после него теряешь ощущение собственного тела, юго-восточный ветер приносит удушье. Пустыня дышит песком и серой.

Безводье. Пресной воды нет ни на земле, ни под землей. На земле — солончаки, под землей — пласты каменной соли толщиной до ста метров. В колодцах вода соленая. В пустыне текут (вернее, стоят болотами) три засоленные реки — Эмба, Уил и Сагиз. Воду в Доссор возят из Гурьева в цистернах (по узкоколейке) и берегут, как вино. Зимой растапливают тощий пыльный снег. Дождей здесь почти не бывает.

В этих бесконечных унылых пустошах, похожих на вытоптанный выгон, в едких солончаках нашли нефть. Нефть есть в верхних пластах над солью и внизу под солью. Пока ее берут сверху, но надо брать снизу, с большой глубины. В пустыпе эта задача превращается в нечто героическое.

В устье нефгепосного райопа лежит Доссор.

Черные от копоти бараки, пыль на широких улицах, оцинкованные сараи на перекрестках — общественные кух-

ни, озеро и сотни вышек над ним и в нем — в отражениях рыжей воды. И над всем этим властвует ветер, пыль и серый свет.

Сваи, вбитые в дно мелкого озера, зарастают красными и фиолетовыми полипами. Ночи кажутся полярными вечными ночами, несмотря на духоту.

Почти у всех доссорцев одна болезнь — тоска. Они молчат о ней. О тоске не принято говорить. Ее надо преодолеть, и ее преодолевают.

Тоска носит характер навязчивой идеи о заросшей кувшинками реке, лесах, травах, мокрых рощах, где с веток брызжут в лицо крупные капли дождя.

В этих условиях надо бороться за нефть, спрятанную именно здесь, в этой проклятой земле. За нефть бьются, не спят по ночам, идут на верблюдах в глубь пустыни, думают о тысячах производственных мелочей, подхлестывая усталых, тянут на себе многотонный груз этой борьбы и одиночества. В пустыне человек всегда чувствует себя одиноким, хотя бы он и был окружен сотнями людей. Таково свойство этих пространств.

Борются за Великую Эмбу. Эти слова — Великая Эмба — звучат в Доссоре, в еще худшем Макате, в Бейчунасе, как для моряка звучит Рио-де-Жанейро — самая безопасная и самая красивая гавань в мире.

В Доссоре я встретился с инженером Лисовским.

Он переживал одну из стадий туберкулеза. Он старался кашлять очень тихо, чтобы не беспокоить соседей за дощатой перегородкой общежития. На днях он возвратился в Доссор из Америки, куда ездил в командировку. Через двадцать дней его срочно вызвали обратно: в Доссоре началась производственная революция — глубокое бурение под соль. Без Лисовского осуществить его было трудно.

До поездки в Америку Лисовский прожил в Доссоре пять лет, после поездки проживет неизвестно сколько,— должно быть, всю жизнь, так как он энтузиаст Великой Эмбы.

Я ночевал в его комнате. Ветер сотрясал оконные рамы. Он летел вместе с ночью с востока. Он казался дыханием глин и солончаков. Я смотрел в темноту и старался представить себе ночную пустыню, освещенную неверным светом звезд, и одинокую палатку разведчиков, утонувшую в этом ночном океане.

Потом я разглядывал карту пустыни. Пески, пунктиры заброшенных караванных путей, соленые колодцы и мно-

жество красных точек. Эти точки были воплощением мечты о Великой Эмбе.

Лисовский сказал, покашливая:

— Красные точки — известные нам выходы нефти. Вся пустыня усеяна ими, как сыпью.

Красные точки были похожи на капли крови,— казалось, пустыня выпустила ее изо всех своих пор.

— Высосать из пустыни всю ее кровь — вот единственная наша задача.

Лисовский заговорил о Венесуэле. На берегу Карибского моря лежит Маракаибская лагуна. Вокруг лагуны — тропические саванны и соляные озера,— геологически это очень похоже на Эмбу, внешне совсем не то. Там теплое море, в воздухе постоянный запах вянущей зелени, дожди, экваториальный блеск воздуха, кофейные плантации, смесь всяческого бродячего люда. Расцвет маракаибских промыслов был поистине фантастическим. В три года вырос богатейший нефтяной район.

Здесь, на Эмбе, есть все для такого же стремительного расцвета.

В Маракаибе лихорадка — ее зовут там «черной водой», здесь — безводье. Но это как раз легче всего преодолеть. Водопровод из Урала вполне решает задачу.

Нефть взять трудно — она лежит глубоко под пластами соли, и под соль Эмбанефть в этом году впервые повела глубокие скважины.

— Если под солью стоит нефть, Эмба будет одним из величайших нефтяных районов в мире,— сказал Лисовский.

— А если там ее нет?

— Тогда все пойдем под суд,— ответил он серьезно.— Но нефть там должна быть. Конечно, бурение под соль — производственный риск. Вообще говоря, вся работа в пустыне — это риск. Завтра мы поедем с вами в Иман-Кару. Если посреди дороги машина испортится, то мы с вами рискуем пропасть — до воды мы пешком не дойдем. Наши разведочные партии работают в степи за сто километров от базы. Воду им везут на верблюдах. Представьте, вода почему-либо не пришла, вот вам и крышка всей партии. И так во всем, так каждый день. Я могу вам составить целый список здешних бед: тоска, безводье, пыль, жара, фаланги, ветры, безлюдье, бездорожье, отсутствие книг, газет, дырявые нобелевские лачуги и так далее и тому подобное. Но этот список мы ликвидируем,— видали новые

дома из камышита? Дома прекрасные. Но, главное, этот список перетягивает нефть — легкая эмбинская нефть одна из лучших в мире.

На следующий день к полудню машина домчала нас до Иман-Кары, где шла разведка.

Ученый Никитин описывает Иман-Кару очень точно. Описание это я нашел в Гурьеве.

«За много верст среди ровной пустыни неясной черно-синей громадой виднеется гора Иман-Кара. Она напоминает столовые горы с крутым падением во все стороны.

Ослепительно-белое полукольцо меловых холмов окружает мрачную массу Иман-Кары с севера. На южном обрыве под влиянием солнечного зноя выступает наружу гудрон. Песчаник пропитан гудроном на глубину в семь метров.

Иман-Кара крута и малодоступна. Почва вокруг нее напоминает пепел.

Мрачные краски слагающих гору пород, обрывы и овраги, зловещие орлы, парящие в высоте, и безлюдье пустыни действуют угнетающе».

В Иман-Каре я наконец понял, почему известный путешественник Карелин прожил двадцать лет в Гурьеве на границе пустыни. Раньше пристрастие Карелина к этим местам казалось необъяснимым.

Здесь пустыня обволокла нас глубочайшей, как бы кристаллической тишиной и запахами диких трав, растущих у подножья Иман-Кары. Воздух лежал стекловидной массой. Орлы реяли над нами. Казалось, время стоит. Ветер осторожно обдувал воспаленные лица.

Из Доссора в Гурьев я возвращался по узкоколейке, в моторном вагоне. Широкие окна были опущены. Инженер напротив меня читал «Дымку времени» Анри де Ренье. Киргизы дремали, убаюканные монотонным качанием вагона. Пустыня вечерела. На соляные озера опускался нежнейший дым. Воздух был чист, и в нем зарождалась прохлада. Закат застывал в сырой синеве. После пустыни даже Гурьев показался мне пропитанным влагой.

7

«Зиновьев» был похож на самодельный пароход «Дюранду», так подробно описанную Виктором Гюго в «Тружениках моря». «Зиновьеву» было шестьдесят пять лет.

Колесный, тесный, как курятник, он лениво, лежа на боку, пересекал море. Капитан-турок посиживал на мостике, перебирая янтарные четки. Стюард был желчен, подобно всем стюардам в мире, и расшвыривал тарелки по столу в кают-компании, как опытный шулер мечет крапленые карты. В кубрике весь день рыдала гармошка. Пассажиры то спали в темных угрюмых каютах, то бродили по палубе, забрызганной соленой каспийской водой.

Около Махачкалы «Зиновьев» встретил в море новый советский наливной пароход «Лафарг». «Зиновьев» жалобно завыл и далеко обошел «Лафарга», поджимая руль. Казалось, он стыдился своей старости и неказистого вида. «Лафарг» прошел изящно и быстро, сверкая ранними огнями и желтой свежей краской.

Пять дней я провел на «Зиновьеве», на этом старинном корабле, где снасти были перепутаны так густо, что несколько раз в день кто-нибудь разбивал о них голову.

Во время сильных порывов ветра «Зиновьев» ложился на бок, и одно его колесо глупо вертелось в воздухе. Спящие палубные пассажиры автоматически перекатывались с одного борта на другой. Капитан умоляюще кричал с мостика:

— Прошу вас на левый борт, прошу, пожалуйста!

При этом он делал изысканный жест, каким обычно предлагают гостю садиться. Пассажиры, матерясь, переползали на левый борт, и равновесие медленно восстанавливалось.

На двенадцатифутовом рейде пароход долго и зло била грязная волна. В сером дыму начинающегося шторма качался и гремел на якорях странный плавучий город, носящий название «Двенадцать фут»,— больница, почта, землечерпалки, нефтяные баржи, буксиры и шаланды.

Потом Каспийское море, где так редко бывают штили, приняло нас на свою волну, и начался томительный путь до Красноводска.

Всю ночь среди измученных морскою болезнью пассажиров бегал, оказывая всем энергичную помощь, маленький крепкий человек с лицом морского волка. Он был заражен альтруизмом свыше меры. Когда из запертой каюты неслись стоны, он настойчиво стучал в дверь и спрашивал, не нужна ли помощь. Он выводил на палубу женщин и клал мокрые полотенца на голову мужчин. Уснул он только утром, когда качка стихла. Его сон обе-

регали двенадцать человек, спасенных им от морской болезни. Днем, выспавшись, он дал мне книгу об охоте на каспийских тюленей — свой труд. Он оказался специалистом по тюленьему промыслу, вытребованным на Каспий с Белого моря. Сейчас он ехал к берегам Гассан-Кули, чтобы найти места летнего залегания тюленей.

Фамилия его была Раппопорт. Он был еврей, родом из Витебска. Первой школой, какую он окончил, был хедер, не имевший ничего общего с его теперешней профессией.

У берегов Дагестана нас встретил штиль. Он плыл над морем. В желтоватой дымке вырастали дагестанские горы — свежие, как темная зелень, только что побрызганная водой.

На следующее утро упал туман. Мы шли как бы в стеклянном шаре, наполненном серебристой пылью. Вода отливала бледным цветом лимона. Каждые пять минут пароход гудел, и в его брюхе что-то тяжело хлопало и скрежетало.

Девушка с громадными серыми глазами смотрела на туман с нескрываемым восторгом и часто кашляла в маленький носовой платок. Она родилась и выросла в Доссоре и впервые в жизни уехала из пустыни.

Она знала жизнь только по книгам, но знала лучше многих из нас. Я говорил с ней о «Цементе» Гладкова и об английской оккупации Баку. Ее отец был буровым мастером.

После Баку на пароходе стало пусто и жарко. Мы медленно качались, погружаясь в сухую сизую мглу, наплывавшую с востока. В стороне Ленкорани мигали зарницы — отблеск последней грозы на этом сухом и тусклом пороге Азии. Летаргия сковала пароход, писк чаек долетал сквозь сон. Оцепенение бродило по палубам, наталкиваясь на спящих людей.

Утро пришло совсем иное, чем всегда,— мертвое и немое. Неустранимое ощущение новизны наполняло все тело. Так, должно быть, чувствуют себя моряки в тех водах, где еще никогда не было кораблей.

Мы медленно шли, огибая низкие пески. За ними в черноватом тумане открылся залив. В туман были вкраплены блестки мутного золота — отдельные вершины красноводских гор.

Красноводск надвигался изломами острых, как осколки снарядов, черных сиенитовых скал. У их подножья

плескалась зеленая вода. За черными скалами желтел пояс верблюжьих гор, покрытых прахом и пеплом, и теснился город из белых кубических домов. Он был мал и тощ, как военное поселение. От него тянуло зноем, как от раскаленной докрасна плиты.

Горячая вода лилась мимо ржавых бортов «Зиновьева», смывая блевотину. Море на горизонте розовело отблесками песчаных островов.

Мимо скал Уфра и казарм карантина мы вошли в порт и отдали якорь. Земля приветствовала нас вихрями серого праха, поднятого с дорог, и терпкими желтыми цветами, умиравшими на солнцепеке в захолустных палисадниках.

8

Доведенные до ярости топографы вскакивали, становились в ряд, хватали полотенца и, размахивая ими, двигались к дверям. Эта операция изгнания мух повторялась несколько раз за день. Комната общежития гудела мухами, как стосильный мотор. Забытые стаканы мгновенно наполнялись мушиной гущей. Мощные потоки мух хлестали в лицо каждого, кто входил с улицы. Человек непривычный в испуге отступал.

— Восточная экзотика! — говорил ему в таких случаях топограф Левин.— Входите, не бойтесь!

Экзотика была не только в этом. Она была в густой (казалось, ее можно было ощупать) вони. Воняло преимущественно старым козлом и падалью. Экзотика была в хриплом сипенье старых дроздов, висевших в поломанных клетках на базаре, в серых от пыли сушеных персидских фруктах, в стенаниях линяющих верблюдов, в безжизненной очереди из ведер у водоразборной будки, в самой воде из опреснителей — пустой и мутной.

Была она и в чайхане, где желтые от старости пиалы ждали очередных губ, липких от дешевой конфеты; была в резких библейских лицах туркмен, отправлявших свои естественные надобности среди улиц. Они закрывали при этом от стыдливости головы халатами и напоминали страусов, прячущих голову под крыло.

Спасали вечера. Низкое небо пахло степью и морем. По ночам мы купались. Огни гасли, и мы не видели воды,— мы лишь слабо чувствовали ее уровень на разгоряченном теле.

Топографы вели дорогу из Красноводска в Кара-Бугаз. Во главе их партии стоял инженер Хоробрых.

В средние века этот человек неизбежно стал бы конквистадором, добывал бы серебро в Латинской Америке, торговал с Великим Моголом или пиратствовал у берегов Голландии. Это был человек каменной воли и хватки. Он брезгливо сторонился малодушных людей, любил хитрость, опасную игру, новизну впечатлений, размах, пустыню. Он заслуженно считался знатоком Карабугазского залива — этого почти белого места на карте СССР. В его комнате стояли чучела двух фламинго, убитых им на косе Кургузуль. Фламинго были мутные и розовые, как штормовые утра в пустыне.

Хоробрых знал Кара-Бугаз вдоль и поперек, от Умчалла до Сартаса и от пролива до мыса Кулан-Гурлан. Он рассказывал об этом необычайном, почти фантастическом заливе со спокойствием эпического певца.

В один из красноводских душных вечеров топографы во главе с Хоробрых заседали в столовой горпо, где в этот вечер давали чай из ключевой джебельской воды. Обрадованные посетители заказывали чай оптом, по десяти — двенадцати стаканов.

Хоробрых заказал только восемь стаканов. Как истый старожил тех мест, он считал, что вода из опреснителей приятна на вкус и может вполне конкурировать с ключевой.

В столовой, как почти во всех общественных зданиях Туркменистана, висела на стене репродукция картины «Расстрел двадцати шести комиссаров». Взглянув на эту картину, Хоробрых рассказал потрясающую историю гибели ста шестидесяти пяти революционеров.

Зимой 1920 года деникинцы бежали из Порт-Петровска. С собой на пароход они взяли сто шестьдесят пять политических заключенных из тамошней тюрьмы.

Заключенные были высажены на необитаемый остров, обломок скалы, Кара-Ада. Остров лежит вблизи мыса Бекташ, у восточного берега Каспийского моря, невдалеке от Кара-Бугаза.

Эта часть моря совершенно пустынна,— лишь летом, да и то редко, там появляются туркменские парусные лодки.

Остров — остаток пустыни. На нем нет ни воды, ни растительности. Голый черный сиенит, вокруг которого непрерывно кипят буруны. В камнях множество змей.

Заключенным не оставили ни пищи, ни воды. Среди заключенных было много сыпнотифозных. В первый же день умерло несколько человек. С каждым днем число трупов росло. На третий день оставшиеся в живых сосали мокрые соленые камни и пили собственную мочу. Несколько человек пытались переплыть широкий бурный пролив, отделявший остров от берега. Они утонули.

На пятый день кочевники-туркмены, проходившие по побережью, заметили на острове дым. Они поняли, что случилось неладное, и дали знать в ближайший аул, где были лодки. Зимой в шторм лодки шли к острову спасать неведомых людей. Имена туркмен, отважившихся на это, так и остались неизвестными.

Туркмены привезли на берег немногих оставшихся в живых. Часть умерла на берегу, часть пошла пешком в Красноводск через пустыню. До Красноводска дошли только девять человек.

Такова была эта простая история, никем еще не написанная страница гражданской войны.

— Так-то, ребятки! — сказал Хоробрых.— А вы спрашиваете, что такое драка!

Он ушел в пригородный аул покупать седла для верблюдов.

Вечер лег на медные горы, и ветер стих, как бы приветствуя меловую звезду, равнодушно блиставшую над пустыней.

1930

МУРМАНСК

В XIX веке архангельские купцы задумали создать «Полярную компанию» для боя морских зверей и лова рыбы у берегов Мурмана.

На прошении купцов архангельский губернатор маркиз де Траверсе написал тонким французским почерком: «Глупо замышлять торговое предприятие на земле, могущей прокормить только двух петухов и трех куриц».

Купцы повздыхали и, побаиваясь рассердить губернатора, все же подали прошение повыше — в Санкт-Петербург.

Купцы писали о Гольфштреме, омывающем скалы Мурманского берега. Они «позволяли себе мыслить, что

означенное теплое течение привлекает в наши северные воды богатые стаи трески, палтуса, зубатки, окуня и другой промысловой рыбы».

Александровский вельможа, раздраженный домогательствами аршинников, положил на их прошения резолюцию:

«Никакого Гольфштрема там нет и быть не может».

Царское правительство изъяло Гольфштрем из обращения на многие годы.

Ни один край прежней царской России не находился в таком пренебрежении и не был облеплен столькими количеством глупейших резолюций и высказываний, как заполярный Мурман. О нем не помнили. К нему обращались редко.

Когда у чинов Адмиралтейства иссякала скудная фантазия в придумывании названий для новых транспортов, канонерских лодок и миноносцев, вытаскивали атлас и делали открытие: «Ба! Остался еще север. Там есть озера, реки и становища с очень звучными и подходящими именами — Иоканга, Поной, Имандра». Названия эти тщательно выписывались золотой славянской вязью на стальных бортах.

Чины Адмиралтейства не верили, что Кольский залив не замерзает круглый год. Его незамерзаемость расценивалась сначала как случайность. Только в начале XX века она была признана как явление постоянное.

Во время первой мировой войны французские газеты шумно сообщили, что «обширная Россия — союзница прекрасной Франции» отныне не нуждается в Дарданеллах, так как открыты «Вторые Дарданеллы» и называются они «Мурманской железной дорогой».

Дорога эта была закончена к весне 1915 года. Она упиралась в холодные скалы. У их подножия качалась зеленоватая океанская вода. Зимой от воды шел густой пар. То был незамерзающий залив.

В 1914 году никакого Мурманска не было. Был только «конечный пункт Мурманской железной дороги», и в этом пункте валялась на берегу разбитая рыбачья барка. В барке жили, покрякивая от холода, два молчаливых плотника-финна, первые строители Мурманска.

Лопарь Яковлев пас оленей на ягельных горах около разбитой барки. Он спустился к плотникам. Говорили они мало. Лопарь курил. Финны тоже курили, перебрасываясь отрывочными фразами. Потом лопарь встал и погнал оле-

ней дальше в тундру, испуганно оглядываясь на залив,— он освобождал свои пастбища для нового города.

В летописи Мурманска, составленной краеведом Алымовым, сказано: «1914 год. На месте Мурманска последний раз пас своих оленей кильдинский лопарь Яковлев».

А в апреле 1915 года в «конечном пункте железной дороги» выстроили несколько бараков и пристань.

Дорогу строили китайцы и пленные австрийцы, несчастные «солдаты Швейки».

Китайцы первые начали селиться в Мурманске и назвали невообразимое скопление досок, конур и ящиков от машин «Шанхаем». Он сохранился до сих пор наравне с «Портовой Нахаловкой», беспорядочно выросшей на захваченной без разрешения земле.

Шанхай и Нахаловка вместе с несколькими пристанями были объединены названием «город Романов». После революции Романов переименовали в Мурманск.

Во время войны военные транспорты крадучись доставляли в Мурманск знаменитые французские фугасные гранаты и снаряжение для армии.

После Октябрьской революции в Мурманске стали лагерем интервенты — англичане, американцы, французы и сербы. Они привезли бараки из гофрированного железа, так называемые «чемоданы», и построили из них военный городок.

В феврале 1920 года Мурманск восстал. Интервенты бежали. С этого времени началась новая, подлинная история города. В доказательство этого можно привести четыре цифры: в 1920 году, ко времени советизации Мурманска, в нем было 2400 жителей, в 1930 году их было 14 000, в 1931 году — 22 500, а сейчас, в 1932 году,— 42 000 жителей. В 1946 году в Мурманске будет 200 000 жителей. Уже сейчас Мурманск — самый крупный из всех городов мира, лежащих за Полярным кругом. До 1930 года первым по величине был норвежский город Тромсе.

Летняя полярная ночь отличается от дня только водянистостью света. Она похожа на угрюмый дождливый день в Москве, когда в комнатах зажигают электричество.

Такою ночью поезд остановился на станции Полярный круг. Дул ледяной ветер с Хибинских гор, от Кандалакши. Мокрый снег лежал серыми лишаями на черных ва-

лунах. Изуродованные ветрами чахлые сосны торчали косо, во все стороны, и окна станционных бараков слезились яркими желтыми каплями от света керосиновых ламп.

— Вот он, край земли! — сказал проводник, пронося через вагон запах снега. Было начало мая.

Лампы в бараках были совсем не нужны, серый день длился бесконечно. Их, очевидно, зажгли, чтобы создать иллюзию ночи, тепла и уюта.

Но Полярный круг обманул. Я был уверен, что дальше пойдет жестокая муть, угрюмость тундры, похожие на тяжелые сны. Но в Кандалакше ослепительные горы закрыли горизонт снежными серебряными куполами. У полотна дороги ревела непрерывным водопадом река Нива с черной прозрачной водой. Среди снегов, как огонь костра в пасмурный день, рвались по ветру красные флаги и экскаваторы выдыхали высокие струи пара,— разворачивалась панорама строительства мощной гидростанции — Нивстроя.

Потом прошло озеро Имандра — не озеро, а море — все в посиневшем льду, окруженное ступенями синих и белых гор. Грело солнце. Ручьи несли зеленоватую воду, пахли хвоей и как будто первыми фиалками.

Хибины медленно уходили к югу сглаженными куполами. В них врезались рельсовые пути и телеграфные провода.

К утру поезд промчался по непрерывным кривым по берегу шумной Колы и вырвался к заливу.

Залив лежал в горах, заросших карликовой голой березой. Солнечный туман скрывал горизонты. Начинался отлив, и около подводных камней тихо ворчала океанская вода. Далекие дымы пароходов и паруса северных шхун возвестили о близости Мурманска, похожего издали на полярный бревенчатый Севастополь.

Старый Мурманск обречен на слом. Вместо него рождается новый город. Я попал в Мурманск как раз на переломе этой смерти и этого рождения.

Старый Мурманск походил на временную стоянку людей. Недаром на Мурмане рыбачьи поселения называют «становищами». Люди здесь только останавливаются, но не думают жить долго.

Таков был и старый Мурманск. Он весь состоял из пришлых людей и напоминал ночлежку. До сих пор человек, проживший в Мурманске два года, считается

старожилом. Таких старожилов подсчитывают по пальцам.

Людей, живущих в Мурманске с самого его основания, всего несколько: Алымов, Дроздов, Кашмилов. Их знает весь город. Это ходячие энциклопедии города и всего мурманского края.

О характере города говорит состав его населения. В Мурманске почти нет стариков. Преобладают люди цветущего возраста. В Мурманске живут только те, кто может работать. Поэтому, пожалуй, Мурманск — самый пролетарский город в СССР.

В Мурманске женщин заметно меньше, чем мужчин. Город сугубо холостой и, как все холостые, мало заботящийся о жизненных удобствах.

Сейчас цифры быстро меняются. Последние подсчеты говорят, что число женщин и детей быстро растет и прилив населения не сменяется регулярным отливом: город перерастает из лагерного в оседлый. Это заметно не только по составу населения, не только по тому, что белой ночью шумные дети играют в три часа ночи на улицах в орла и решку, но и по внешнему виду города,— в шеренги бревенчатых и скучных домов врезается первая кирпичная кладка и первые дома из гранита.

В 1946 году на месте теперешнего скопления бараков, между которыми летом растет морошка, будет построено четыре больших города, связанных трамваями и автобусами: Кола, Горелая гора, Старый город и Порт. Все четыре города вместе будут называться «Большим Мурманском». Проект нового города уже утвержден.

Дыхание Атлантического океана, влажное и теплое, как мятый пар, создало из Мурманска незамерзающий порт. Прозрачная вода, то приливающая, то отливающая под дощатые настилы громадных пристаней, вода, пахнущая сосновой корой и рыбой, принесена сюда из Мексиканского залива, из стран жарких и желтых, как трубы океанских пароходов, грузящих тонкие и гибкие доски.

Воздух океана, запах океана и дым океанских кораблей властвуют над Мурманском. Мировые океанские пути сошлись к этому полярному порту, где даже в отлив глубина не меньше двадцати восьми футов. Мурманск — самый близкий из портов СССР к портам Северной Америки, Канады и Норвегии. От Мурманска до Нью-Йорка всего 6500 километров, и пароход делает этот

рейс на пять суток скорее, чем до Нью-Йорка из Ленинграда.

Час ночи. Солнце медленно передвигает закатный блеск с северо-запада на север, чтобы через час подняться с северо-востока. Розовый дым падает с гор на залив световым холодным водопадом. Карты Баренцева моря в рубках кораблей — белые, как полярные льды,— окрашиваются в цвет старой сосновой смолы. Таким бывает снег в Хибинах, когда на него к весне ложится плесень лишаев.

В домах холодно и светло,— с пятнадцатого мая по пятнадцатое июля электростанция выключает свет.

С океана пришел шторм, и снег сливается на улицах с торфяной землей в липкое тесто. Даже рыбаки с натугой вытаскивают из него исполинские сапоги с отворотами, похожие на ботфорты рыцарских времен.

Сквозь свист ветра в рамах прорываются резкие и частые взрывы,— на горах рвут гранит. Камень этот в Мурманске зовут «рваным». Из него будет построен Большой Мурманск, и заранее можно сказать, что Мурманск будет красив.

«Рваный камень» напоминает гранит серебристо-серого цвета, но с одной замечательной особенностью: в толщу его густо вкраплены кристаллы фиолетового, почти красного прозрачного камня, очень похожего на аметист. Из «рваного камня» сложены все массивы гор, простирающиеся от Мурманска на девяносто километров вплоть до океана.

— Довольно легко представить себе,— сказал мне знакомый мурманский экономист,— каким величественным будет этот полярный город из серого гранита на берегу зеленоватых океанских вод. Особенно во время незаходящего солнца. Я думаю, что, когда Большой Мурманск будет построен, сюда начнут приходить океанские корабли с туристами, вроде знаменитого «Кап Полонио», и Мурманск станет ко всему прочему полярной климатической и лыжной станцией.

За Полярным кругом строятся два города — Мурманск и Хибиногорск. Мурманцы к строительству Хибиногорска относятся как к сравнительно легкой задаче. Чем определяется рост Хибиногорска? Апатитами — и только. Другое дело Мурманск. Развитие его определяется очень пестрым «комплексом факторов», как любят выражаться докладчики, выступая с речами о будущем Мурманска. Даль-

ше идет перечисление этих факторов: незамерзающий океанский порт, центр рыбной промышленности, конечная точка железной дороги, столица Кольского полуострова, зверобойная база, залежи руды вблизи города и, наконец, научный центр для всей Арктики — такова сложная сеть условий, которые будут влиять на развитие Мурманска.

Основа рыбной промышленности — это траловый флот. Сейчас в Мурманске около пятидесяти траулеров, но в 1946 году в Мурманске должен собраться самый исполинский рыболовный флот в мире — свыше шестисот траулеров.

Траловая база должна будет перерабатывать пятнадцать миллионов центнеров рыбы. И не только солить, как это делается сейчас, а заготовлять рыбу свежей, мороженой и консервированной.

Кстати, о соленой рыбе. В январе в Баренцевом море погиб французский траулер. Шторм доходил до двенадцати баллов. Траулер успел дать только две первые буквы «соса» — SO. Ветер сорвал антенну, и крик о помощи утонул в ночном урагане.

Через несколько дней наш траулер прошел над местом гибели француза. Трал вытащил много очищенной (как здесь говорят, «ошкеренной») и засоленной рыбы. Моряки догадались, что это улов с погибшего француза, выброшенный волнами из трюмов.

Так узнали место гибели. Партия ошкеренной рыбы была ссыпана в трюмы, а на кормовом флагштоке был приспущен флаг в память погибших, чьим уловом с горечью воспользовались оставшиеся в живых.

Кроме всего прочего, в Мурманске должна быть построена судостроительная верфь.

Морские ёлы и шняки, промышляющие до сих пор в океане, будут сданы в музей.

Самым древним судном, сохранившим свою форму еще со времен норманнов, является ёл. Нос его причудливо выгнут в виде лебединой шеи. Ёлы, качающиеся стаями около берегов, невольно вызывают мысль о набеге викингов на суровые северные берега России.

Большой Мурманск будет построен на правом берегу Кольского залива — единственном удобном месте среди тесноты низких, поросших умирающим кустарником скал.

Тяжелый рельеф берега очень усложняет задачу правильной планировки будущего города. Нет ни одной достаточно обширной для постройки города площадки. Поэтому город будет строиться вдоль берега залива четырьмя гнездами и растянется в длину почти на пятнадцать километров.

При составлении плана Большого Мурманска была тщательно изучена «роза ветров» Кольского залива. Здания будут строиться так, чтобы стоять к преобладающим ветрам не фронтом, а боковыми стенами. Чаще и сильнее всего в Мурманске дуют ветры норд-остовых, нордовых и зюйдовых румбов. Поэтому дома будут выходить окнами преимущественно на запад и восток, а от ветров их будут защищать глухие стены. От направления ветров будет зависеть и направление улиц.

Но где взять воду для нового громадного города — не только сухопутного, но и плавучего? Уже сейчас, когда траулеры перед уходом в море накачивают в свои трюмы пресную воду (каждый траулер берет запас воды на полтора месяца), в Мурманске не хватает воды.

Сейчас Мурманск получает прекрасную воду из двух пресных озер — Семеновского и Среднего. Из них вода идет в город по трубам самотеком, создавая в конце своего пути давление в восемнадцать атмосфер.

Будущий Мурманск, кроме озер, будет брать воду из незамерзающей шумной реки Колы. Она впадает в залив в двенадцати километрах от города. Падение ее так велико, что поезд Мурманской дороги, идущий из Мурманска в Петрозаводск, с трудом ползет двойной тягой рядом с кипящей рекой.

В Мурманске будет открыт ипподром для оленьих бегов. Олень — пока единственное средство передвижения по засыпанным снегом тундрам.

Не так давно в Мурманске были устроены первые оленьи бега. Победительницей оказалась лопарская девушка в меховой малице, расцвеченной белыми и красными полосами. Девушке выдали приз — зеркало, кусок туалетного мыла и никелированный самовар — неслыханные для тундры богатства и невиданные по красоте вещи.

До сих пор в Мурманске ничто не росло, кроме березок высотою в метр. Два года назад сделали первый опыт и посадили несколько южных деревьев. Все деревья погибли, за исключением каштана и клена. Свое-

образие этого случая можно будет понять лишь через несколько десятков лет, когда под бледным золотом незаходящего солнца расцветут густые каштановые сады.

В XVI веке первые голландские корабли пришли в Колу. Шкипера записали в своих судовых журналах: «Место убогое и холодное». В половине XX века электрическое зарево Мурманска будет видно с океана, повторенное на небе светоносной игрой полярных сияний. Моряки не сразу поверят в реальность этого социалистического города в Арктике и, может быть, назовут его, как и сейчас иногда называют, «Прима Поляре» — первой полярной столицей, социалистической столицей Арктики.

Петрозаводск, 1932 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О КРЫМЕ

Несколько лет назад мне пришлось плыть зимой на теплоходе из Батуми на север. После Туапсе теплоход ушел в открытое море, чтобы обойти ледяной шторм, бушевавший у берегов Новороссийска.

Все же шторм захватил нас крылом. Волчьим воем пели снасти. Лицо резала колючая снежная крупа. Ветер стремительно проносил над мачтами черные тучи. Они казались обрывками тьмы.

На рассвете я проснулся от тишины. Монотонно гудела машина. Я вышел на палубу. Шторм стих. В необыкновенной ясности всходило солнце.

Впереди, в голубоватой светящейся мгле, медленно вырастали из моря очертания желтых гор, освещенных низкими, но яркими лучами. Это был Крым, но я не сразу узнал его. Он показался мне огромным островом, тонущим в утренней синеве.

Впервые я увидел из морской дали весь Крым, весь торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара. И, может быть, то чувство, которое испытали в это утро и я, и мои спутники, глядя на выступавшие из шумящих волн берега, было сродни ощущению людей, впервые от-

крывших новые страны. Так, очевидно, представляли себе обетованную землю наши пращуры.

Мы подходили к берегам, расцвеченным сухими и резкими красками крымской зимы. Уже пылали ржавчиной виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и Ай-Петри, и над ними, как дым, струились к зениту и таяли облака. А море несло к подножью каменных мысов розоватую утреннюю пену и шумело сонно и заунывно — так же, как сотни и тысячи лет.

Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на необыкновенное простое и плодотворное лирическое звучание.

Таков Крым. Поэтому он стал, как говорили в старину, «источником вдохновения» для многих писателей и поэтов, художников и музыкантов.

Прелесть крымской земли раскрывается для иных медлительно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда. И каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после расставания с ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о детстве, и надежду еще раз увидеть эту «полуденную землю».

Крым оставил глубокий след в нашем искусстве. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Мицкевича, Чехова, Горького, Толстого, Сергеева-Ценского, Вересаева, Куприна, Грина, Волошина, Малышкина, художников — Богаевского, Кончаловского, Дейнеки. Этот список людей, полюбивших Крым и обязанных ему многими откровениями в своем творчестве и многими радостями, можно длить без конца, так же как и список вещей, написанных о Крыме.

Что такое вдохновение? Это полнота сил, располагающая к наилучшему восприятию впечатлений и передаче их другим. Таково, в общих чертах, пушкинское определение. Эту полноту сил, это вдохновение Крым дарит нам щедро во всем,— не только в широких пейзажах, покрытых солнечной желтой дымкой, но и в каждой даже незначительной вещи — в цветке миндаля, в стрельчатом освещении сосновых лесов, в куске разбитой черепицы, в колючем ржавом дубняке, в запахе водорослей, намытых прибоем. Во всем — в весенних туманах и прогретой солнцем каменистой земле, в самом воздухе этого чудесного уголка нашей страны.

1948

ВЕТЕР СКОРОСТИ

(Из путевого дневника)

Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым.

В такой день начался наш путь из Москвы на запад.

Путь шел мимо Бородинского поля. Над ним курился туман. Он был похож на дым сраженья.

Сухие взгорья Бородина расстилались вокруг. К ним были обращены мысли Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого и многих тысяч русских людей. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина».

На этих полях Пьер Безухов мог бы встретиться с интендантом наполеоновской армии Стендалем. Я написал слово «мог» потому, что сила толстовского гения сделала Безухова существующим. Нельзя даже представить себе, что не было на свете этого добродушного увальня.

Ветер скорости гудел в крыльях «Победы». Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.

О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется милое сердце Наташи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.

Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться — на автостраде Москва — Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли.

Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.

Таким виденьем прошла на вечереющих холмах героическая Вязьма. И снова помчались километры красной по осени болотной травы, березняка и равномерно сменяющих друг друга перелесков.

Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром.

Около Днепра мы остановили машину. Пастух гнал навстречу пестрое стадо. Вопреки тысячелетней привычке, он не кричал на коров осипшим, отчаянным голосом: «Куды, дьяволы!» Он заменил этот возглас более современным: «Алло, красавицы! Алло!» И коровы, проходя мимо машин, ласково поглядывали на нас, помахивали хвостами и, казалось, хотели сказать: «Вот видите, какой у нас чудный пастух».

К вечеру показался Смоленск — многострадальный город, раскинутый на кручах над Днепром.

Не прошло и десяти лет после войны, а понятие «разрушенный город» почти исчезло. Разрушенных городов больше нет. Нет и разрушенного Смоленска. Новый город поднялся над развалинами. Уцелевшие дома вошли в ансамбль новых зданий. Только смоленские пращуры — крепостные валы, собор и кремлевские стены — хранят в своем каменном молчании память о прошлом.

Всю ночь за окнами маленькой смоленской гостиницы шумел дождь. На столе в номере стоял букет гладиолусов удивительно нежной раскраски.

Ничто в этой гостинице не напоминало пресловутые «номера для приезжающих» с их застарелой вонью дешевого одеколона и хлора, сквозняками и скрипучими лестницами.

Было очень чисто, тихо, спокойно. На стене висела литография «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта литография встречалась нам на всем пути. И не только она одна, но еще «Утро в сосновом лесу» Шишкина и «Девятый вал» Айвазовского. Почти не было такой гостиницы, столовой или кафе на протяжении четырех тысяч километров дороги, где бы не висели эти литографии. Всюду нас радостно приветствовал схватившийся за живот от смеха сивоусый запорожец — в Витебске и Пскове, в Нарве и Каунасе. Он просто преследовал нас своим зычным безмолвным хохотом.

В конце концов нам стало не по себе. И потому мы искренне обрадовались, когда в столовой в Опочке впервые увидели на стенах превосходные пейзажи местного художника. Имя его нам так и не удалось узнать.

Утром серый дождь все еще висел над Смоленском. Я вышел в город. Среди земляных валов и старых ив тускло поблескивал большой пруд. С деревьев слетали сизые листья и ложились на воду. Она даже не вздрагивала от их прикосновенья.

Посиневший от холода вихрастый мальчик сидел на корточках на берегу пруда и удил рыбу. Я почувствовал невольное уважение к этому мальчику за его жестокую страсть и терпение.

Город в этот ранний час был почти пуст, безмолвен. Я подумал о том, сколько бурь пронеслось над ним и сколько одаренных русских людей выросло здесь, под стенами смоленского кремля, на горбатых улочках, заросших травой.

Как будто нарочно, чтобы подтвердить эти мысли, из отдаленного громкоговорителя послышались звуки рояля и мужской голос запел:

Не искушай меня без нужды
Возвратом нежности твоей...

Томительные эти слова и музыка Глинки — уроженца Смоленска — наполнили утренний холодок печальной поэзией. Я вспомнил стихи другого смоленского уроженца, Твардовского: «За далью — даль». Места поэзии! Здесь она рождалась — на суглинистых дорогах, в сырых лесах Смоленщины.

Вихрастый мальчишка-рыболов напомнил мне замечательного смоленского человека, Василия Тихоновича Бобрышева. Он был редактором журнала «Наши достижения». Его многие знали — худого, со смеющимися глазами и светлой прядью, падавшей на лоб. Было в нем что-то от старых русских мастеров, от лесковского Левши. О таких людях, как Бобрышев, говорят: «золотые руки».

Он прекрасно составлял журнал. Он собрал вокруг него всю даровитую литературную молодежь. Как все талантливые люди, Бобрышев любил все делать сам — чинить всякие приборы, часы, особенно старые музыкальные ящики с их перезвоном простых мелодий («В милые горы ты возвратишься...»), выращивать у себя в комнате на улице Горького диковинные цветы и собирать грибы в подмосковных лесах.

В свободное время он вытачивал из дерева необыкновенно тонкие вещи Однажды он вырезал перочинным ножом из цельного куска липы сомкнутую цепь.

Он погиб в народном ополчении под родным Смоленском.

Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры — от Пржевальского и Глинки до Твардовского и от

писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина — тоже, судя по всем ухваткам, урожепца Смоленщины.

Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.

Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни. Мальчишки уже не швыряли под колеса машин пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.

В деревнях было пусто и тихо,— повсюду копали картошку.

Мы остановились в лесной деревушке и зашли в хату попить молока. На пороге сидел на огромной железной цепи заплаканный щенок. Увидев нас, он полез спасаться в сени, повизгивая от страха и громыхая цепью.

В хате висели на стенах колхозные плакаты. В углу стояла почерневшая прялка.

Я тронул колесо прялки. Оно повернулось и жалобно заскрипело. И хозяйка-старуха пожаловалась, что вот уже много годов, как пикто пе ткет полотна, а прялками, как «ляльками», играют дети. Домотканое полотно было хотя и узкое и суровое, но очень прочное.

Сколько сказок и песен родилось под шум прялки и свист метели за окпами, сколько открылось чистейшей народной поэзии. Мы забываем об этом. Забываем, что и пушкинские стихи «Буря мглою пебо кроет» тоже были вызваны к жизни вечерами за прялкой:

Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Давпо, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останавливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами из жизни давно уже исчезнувшего затхлого «гетто». Об этом художнике много говорили и спорили взрослые.

Мне нравилась его картина «Парикмахерская в ме-

стечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир,— так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.

Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город.

Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.

Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый город показался очень живописным.

В памяти остались овраги среди города, каменные мосты над ними, старинные здания бывших католических или униатских семинарий, колоннады новых домов и ослепительные огни. Нигде я не видел таких ярких и напряженных электрических огней, как в Витебске.

Но особенно был хорош Витебск вечерним оживлением своих узких и уютных улиц. В городе соединились черты запада и юга.

В Витебске мы впервые вплотную столкнулись с шоферами. Началось с того, что наша старая «Победа» с утра не заводилась. Немедленно вокруг машины собрались шоферы со всех стоявших на улице машин, и начался митинг.

У каждого шофера была своя теория насчет того, почему не заводится машина. Одни утверждали, что «садится аккумулятор», другие — что «отказало реле», третьи уверяли, что «ток замыкает па массу», четвертые доказывали, что наверняка засорился карбюратор, пятые сомневались в исправности трамблера, шестые, молча, но презрительно улыбаясь, чистили от нагара свечи, седьмые ссылались на мистические причины («Она постоит и заведется. Это она свой характер показывает»), восьмые вообще что-то сосредоточенно щупали и крутили в моторе, пока, наконец, не пришел старый седой шофер и не сказал: «Даже ребенку ясно, что эту машину надо заводить «напрямую».

Но каждый шофер, ковыряясь в моторе, все же не преминул сказать, что, откровенно говоря, лучшей машины, чем «Победа», нету на свете. И это нас утешало.

Потом мы сообща толкали машину по главной улице Витебска под свист мальчишек. Но и это не помогло — машина не заводилась. Тогда шоферы остановили проходящий грузовик, он взял нашу «Победу» на буксир и начал неистово гонять вдоль одного и того же квартала. Тогда машина наконец завелась, «изрыгая (как пишут авторы научно-популярных романов) клубы белого дыма».

Нам надо было ехать, мы торопились, но шоферы не отпустили нас, пока не протерли до блеска машину и не надавали нам десятки советов.

В дороге было еще много встреч с шоферами и всяких мелких происшествий с машиной. Сейчас мне уже начинает казаться, что все без исключения шоферы северо-запада участвовали в починке нашей машины. При этом выяснилась одна из самых хороших черт шоферской профессии — любовь к автомобилю, как к живому существу. Каждый шофер находил по отношению к своей машине много ласковых и снисходительных слов. Были всякие машины: и «терпеливые до черта», и «послушные», и «обидчивые», и «работяги», и «мученицы», и даже «не машины, а просто малые дети».

К северу от Витебска начинается обширный край лесов и озер.

Я не подозревал, что в Средней России есть места такой девственной красоты и такого живописного разнообразия.

Бесчисленные и синие до черноты озера, каменные «гривы», высокие холмы, плавно подымающие к небу шатровые вершины елей, валуны на полянах, пенистые холодные реки, их шум и плеск, резкий воздух с запахом клюквы и хвои, стеклянное тренькапье и пересуды синиц, маленькие деревни-погосты с милыми именами — «Соловьи», «Звоны», «Бесенята», сиянье протяжной зари над болотами и звезды в блекнущем и как бы навсегда замолкшем небе — все это казалось нам необыкновенным, будто мы заблудились в старинной сказке.

По сторонам асфальтовой дороги, то взлетавшей по просекам ввысь, то стремительно опускавшейся в овраги, было много братских могил, особенно около Невеля. Здесь шли тяжелые бои.

Могилы были завалены грудами сухой хвои и шишек.

Сквозь хвою прорастали белые сухие гвоздики. Они еще не совсем увяли и слабо пахли.

И невольно думалось, что солдаты, погибшие за эти поля и леса, за бревенчатые деревни и говорливые реки, лежат здесь, в зернистом песке, рядом с Пушкиным — нашей гордостью, нашим счастьем и любовью. До Пушкинских Гор и Михайловского отсюда было уже недалеко.

В селе Пустошка мы остановились на бугре над серым озером, уходившим извилистой полосой в туман. Надо было заправиться бензином. Разговорились с двумя женщинами, спокойными, сероглазыми, чернобровыми. Должно быть, это были сестры. Они удивились, что машина пришла из Москвы («Ну и даль-то кака-ая!»), и пожалели нас («Ведь это сколько же приходится ехать, мучиться в машине!»).

— Красивые у вас места,— сказал я женщинам.

— Да, здесь хорошо,— ответила женщина постарше.— Только наша Пустошка и в сравнение не идет с Алолью. Вот там прелесть! Как доедете до Алоли, непременно остановитесь и поглядите.

Место с таким странным названием — Алоль — появилось внезапно. Машина пронеслась, чуть накренившись, по крутому повороту у самого края озера, и казалось, что она непременно зачерпнет темной озерной воды.

Озеро подымалось к горизонту. Оно стояло как бы чуть набок, и в нем мимолетно отразилось множество багровой листвы, желтые стены камышей и гаснущий огонь заката. Круги от рыбьих всплесков превратили эти отражения в путаницу всех мыслимых красок северной осени.

Все это сверкнуло и ушло, чтобы снова начали открываться одна за другой суровые колоннады корабельных лесов с их вечереющей далью.

Над Опочкой дул сумрачный, порывистый ветер. Низкие тучи проносились, клубясь, над черепичными крышами. В забрызганные известкой окна гостиницы били капли дождя.

В темной прихожей гостиницы сидел на деревянном диване худой низенький старик в мятой шляпе. Он курил самодельные папиросы и читал книгу. Под потолком горела электрическая лампочка, тоже забрызганная известкой.

В гостинице только что окончили ремонт. Пахло мелом и вымытыми полами. Трещали, разгораясь, печи.

Хозяйка гостиницы со звучной фамилией Шаляпина рассказывала мне историю своей фамилии. У ее мужа, рядового сельского работника, был мощный бас. За это его прозвали «Шаляпиным». Это прозвище так привилось к нему, что при выдаче паспорта милиционер ошибся и вписал в паспорт вместо фамилии прозвище, а муж хозяйки гостиницы промолчал,— фамилия Шаляпин нравилась ему больше, чем его настоящая.

Старик в мятой шляпе оторвался от книги и сказал:

— Я слышал Шаляпина. Неоднократно. Я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции.

Старик снял шляпу и неожиданно запел дребезжащим, но приятным баритоном, явно подражая интонациям Шаляпина, шубертовского «Двойника».

Хозяйка гостиницы нахмурилась, но, посмотрев на меня, снисходительно усмехнулась,— ничего, мол, не поделаешь с этим чудаком-композитором.

— Служители искусства,— сказала хозяйка,— очень какие-то вольные и всегда нарушают правила внутреннего распорядка. Просто кошмар с ними! Администрации приходится смотреть на это с поблажкой.

Зачем ты повторяешь вновь,
Что пережил я здесь недавно,—
Любовь мою,
Страдания мои! —

пел композитор, сжав сухие руки и вытянув их перед собой.

Ночью над Опочкой буйствовал ветер. Дуло в окно, скрипели от сквозняков двери. Плотная тьма лежала над землей. Ее не могли отодвинуть за город даже яркие электрические фонари.

Я проснулся, прислушался к шуму непогоды, представил себе эту ночь над окрестными болотами, ощутил огромный неуют этой осени, тьмы и подумал о композиторе: как тяжело, должно быть, одинокому человеку в такую ночь.

Часы пробили шесть. За дверью кто-то прошел, потом застучал медный стержень рукомойника в коридоре, и знакомый голос композитора запел вполголоса:

Пусть плачет и стонет осенняя вьюга
И волны потока угрюмо шумят...

И я понял, что никакие осенние ночи и никакое кажущееся одиночество не смутят этого чистого сердцем человека.

Утром мы пошли на базар и впервые рассмотрели как следует просторный и тихий городок Опочку.

Два огромных здания времен Александра Первого стояли по сторонам мощеной площади. На крепостном валу ронял последние листья городской сад. Внизу шумела, пенясь и вытягивая в струны подводную траву, река Великая.

Через Великую был перекинут цепной мост. За мостом в лицо подуло сладковатым запахом антоновки и сосновой щепы.

Дождь прошел. Облака поднялись и поредели. Вялый солнечный свет блестел в лужах. И сладковатый и прохладный этот запах, казалось, исходил от пасмурного утра, от окружавших Опочку лесов и пустошей.

Базарные рундуки были завалены антоновкой. Яблоки были как на подбор — крупные, покрытые на выпуклостях желтизной, похожей на старый воск. Рядом с яблоками лежали горы свежего и чистого товара, который зовут «щепным»,— деревянных некрашеных ложек, деревянных лопат, бадеек, грабель и плетенных из лыка лукошек. От этого товара пахло корой, подмерзшим листом, так же как и от торговавших им обветренных колхозников.

По пути в Псков начали попадаться около шоссе желтые приземистые дома — почтовые станции пушкинских времен.

Перед одной из таких станций стоял на постаменте бюст Пушкина. Мы почему-то решили, что именно здесь и произошли те горестные события, какие Пушкин описал в «Станционном смотрителе».

У поворота на Пушкинские Горы выстроились вереницей около чайной высокие самоходные машины — льняные комбайны. Псковский край издревле был льняным. Весной, когда лен зацветает, вся Псковская область кажется с самолета залитой голубой водой.

А сейчас, осенью, земля была цвета обожженной глины. Тяжелая мгла на горизонте грозила снегом. Казалось, он вот-вот беззвучно полетит над скошенными полями и прикроет их сухой пеленой.

Чем ближе мы подъезжали к Пушкинским Горам, тем больше волновались, будто нам предстояло встретиться с живым поэтом.

Впереди появились две легкие колонны. Дорога проходила между ними. На колоннах были укреплены деревянные лиры. Отсюда, от этих колонн, начинался пушкинский заповедник.

Давно уже отзвенели лиры, их нет даже в музеях, но они милы нам потому, что о них упоминал Пушкин. «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит», «Державин и Петров героям песнь бряцали струнами громкозвучных лир».

На холмистой гряде показался Святогорский монастырь. Под его стенами похоронен Пушкин.

Мы вглядывались в монастырские здания, серевшие вдалеке. Неужели через несколько минут мы будем стоять около могилы поэта?

Луч солнца прорвался сквозь тучи и озарил землю. И она вдруг запестрела скрытыми до тех пор красками последних осенних дней — коричневого бурьяна, красного конского щавеля, желтых, как лежалая пряжа, волокон репейника.

Но нам так и не удалось попасть на могилу Пушкина. Сонная служащая в гостинице пушкинского заповедника сказала нам, что «могила закрыта на ремонт». Услышав эти казенные слова: «закрыта на ремонт», сказанные о могиле Пушкина, мы возмутились и хотели было наговорить сонной девице много горьких слов, но поняли, что это бесполезно.

Огорченные, мы поехали в Михайловское, и оно вознаградило нас за неудачу в Пушкинских Горах.

Там нас встретил беззвучный серый день, весь в вялом золоте и запахе сырой земли. Он как бы с раннего утра еще дремал, этот пушкинский осенний денек.

Михайловский парк отряхал последние листы, но на клумбах перед Домом-музеем доцветали астры. И так же трогателен, как всегда, был домик няни, восстановленный нашими войсками после изгнания из Михайловского фашистов. Так же трогательны были его низенькие потолки и деревянные колонки на крылечке.

Неясный туман лежал, отсвечивая легким серебром, между вековыми елями главного въезда (большую часть этих елей срубили немцы), над черными прудами, над липами в аллее Анны Керн и над свинцовой водой двух

озер — Маленца и Петровского. В тумане едва угадывался песчаный холм, а за ним — Тригорское.

«Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных...»

В парк пришли цыгане. Их табор мы видели около Пушкинских Гор.

Цыгане подошли к домику няни, о чем-то тихо поговорили между собой, потом ударили в ладоши, и цыганки вдруг начали плясать. Разноцветные шали и юбки разлетелись, будто ветер закружил охапки красных, желтых, лиловых, белых и синих цветов.

Эта безмолвная пляска цыганок в совершенно безлюдном парке около дома Пушкина, да еще поздней осенью, когда кочевая жизнь должна давно окончиться, была неожиданна и удивительна. Казалось, что цыганки плясали перед самим Пушкиным и только для него одного.

Цыганки перестали плясать и присели на крылечке, обмахивая разгоряченные лица платками. В наступившей тишине было слышно только позвякиванье монист и стук еловых шишек, падавших на землю.

Над Псковом гремела поздняя осенняя гроза.

Молнии перебегали по черным садам и белым соборам. Суровые эти соборы были недавно восстановлены после войны. Вспышки молний отражались в меловых лужах около соборных стен.

Наутро, когда мы выехали из Пскова в Лугу, в небе снова начали накапливаться тучи.

Меня, конечно, могут упрекнуть в пристрастии к описанию гроз и других небесных явлений. Но эту грозу под Псковом я, очевидно, буду помнить долго и потому не могу промолчать о ней.

Это была стремительная гроза в самый разгар золотой осени, в ту пору года, когда гроз почти не бывает.

В этом была ее мощь — в невиданном пожаре солнечного света, бившего в осеннюю заржавленную землю через прорывы бешеных туч.

Взрывы солнечного огня, его косые лучи проносились и тотчас гасли в угрюмой дали. Там узкими домоткаными холстами уже лились на леса и пустоши короткие ливни.

Каждый взмах солнца выхватывал из сумрака то одну, то другую отлитую из чистейшей меди березу.

Березы вспыхивали, пламенели, дрожали, как исполинские факелы, зажженные по сторонам дороги, и мгновенно гасли за серой стеной дождя.

Машина рвалась через эти полосы дождя, чтобы снова вынестись в разноцветный пожар мокрой листвы и промчаться сквозь него до новой встречи с широкошумным пенистым дождем.

Свет, золото, багрянец, тьма, пурпур и снова — быстрый свет! Синий блеск молний, длинные перекаты грома, и вдруг вдали, в путанице поваленных ветром берез,— рыжая огненная лисица с поджатой лапой и настороженными ушами.

Удары грома совпадали с переменами света. Казалось, что гром оркестровал перед нами эту ошеломляющую грозу.

— Смотрите! Вот здорово! — вскрикивал шофер и останавливал машину. А это что-нибудь да значит, когда шофер забывает о сцеплении и стартере и протирает смотровое стекло, чтобы не пропустить ни одной перемены в зрелище октябрьской грозы.

Только под Лугой — уютным городком, очень чистым, очень домовито-архитектурным,— гроза прошла.

Несмотря на наше преклонение перед Пушкиным, мы все же решили, что он был несправедлив к Луге, когда написал о ней:

Есть в России город Луга
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего.

За Сиверской в мокром тумане, наползавшем с низин, в радужном сиянии фонарей пронеслась Гатчина — дворец, ограды, пруды,— и с Пулковских высот открылись наконец от края до края ненастного горизонта несметные огни Ленинграда.

Сколько раз ни приезжаешь в Ленинград, всегда волнуешься, как перед свиданием с любимым человеком, которого не видел много лет.

Узнает ли он тебя? Не скажет ли, что ты растерял за эти годы веселье и доброжелательность к людям? Примет ли он тебя с прежней простотой? Или будет молчать, сдерживая зевоту, как бывает всегда, когда умирают старые связи?

Но каждый раз этот величественный город встречает тебя, как друга.

Даже кажется, что он сетует, что тебя так долго не было. Он как бы спрашивает: где же ты был в белые ночи, когда отражения золоченых шпилей струились в невской воде? Где ты был в хрустящем сентябре, когда воздух пригородных садов заполнил до краев весь город и остановился у берега Финского залива, как бы боясь двинуться дальше в северную даль?

Где ты был в зимние дни, когда торжественные здания, колоннады и арки покрывал иней и казалось, что неведомый мастер посеребрил их за одну только ночь?

Почему так долго ждали тебя в гулких залах Русского музея и Эрмитажа великие художники мира?

Каждый раз с жестоким сожалением о потерянном времени выходишь на набережные и проспекты, но через несколько минут наступает успокоение. Гармоническая стройность Ленинграда снимает все заботы, все тревоги. Начинаешь не умом, а сердцем понимать, как прав был поэт, когда сказал, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Начинаешь понимать, что прекрасное несовместимо с суетой. И суета уходит, оставляя сердце свободным для восприятия чистых впечатлений.

В Ленинграде пришлось на время поставить машину во дворе Союза писателей.

Возясь с машиной, я все время рассматривал этот двор, замкнутый четырехугольником старого здания. Он был тесен, живописен и угрюм.

Угрюмость ему придавали темные стены, когда-то окрашенные в красный цвет. Время зачернило их копотью. Красная краска проступала только на выпуклостях лепных украшений.

Продырявленные осколками листы кровельного железа были свалены в углу. На воротах наросла ржавчина. Она кое-где отслоилась, и под ней был виден ноздреватый чугун.

Ветер с залива волочил над двором водянистые тучи. Из них по временам начинал сыпаться крупный снег. Он тут же таял, оставляя на плитах двора темные пятна.

Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и где-то над крышами гудит мокрый флаг.

Я подумал, что если бы привести в этот двор человека с завязанными глазами и если бы этот человек был про-

ницателен, то, не выходя со двора, он мог бы восстановить не только примерную историю города и его возраст, но и догадаться о его топографии.

Флаг говорил о близости моря, плеск воды — о том, что рядом большая река, ржавчина — о сыром климате и столетьях, прошедших над этим зданием, листы железа — о недавней блокаде, а лепка на стенах — о замечательных зодчих, не пожалевших отдать свой талант на то, чтобы воплотить свое представление о совершенстве не только в великом, но и в малом — в любой оконной ручке или резной филенке двери.

С тех пор я начал заглядывать в ленинградские дворы и убедился, что история города сохранилась в этих дворах не хуже, чем на фронтонах прославленных зданий.

Незадолго до нашего приезда в Ленинград произошел такой случай. В комиссионный магазин на Невском приплелась старушка и притащила в мешке мраморную голову.

Старушка рассказала, что служила много лет нянькой в большой семье, но семья вся разбрелась, а последние ее представители погибли во время блокады. Остались только кое-какие вещи, и среди них вот эта мраморная голова.

Мраморную голову вытащили из мешка, взглянули на нее и тотчас вызвали в магазин сотрудников Эрмитажа.

Оказалось, что старушка принесла бюст композитора Глюка работы великого французского скульптора Гудона.

Сейчас бюст Глюка уже выставлен в Эрмитаже.

Лицо Глюка, покрытое следами оспы, бугристое, крепкое, полно ума и экспрессии. В этом лице воплощена мощь хоралов, громы органа, вся аскетическая суровость этого композитора.

Эрмитаж берет в плен крепко, на всю жизнь.

Пушкин писал о «священном сумраке» царскосельских садов. Это определение — «священный сумрак» — можно с полным правом отнести и к залам Эрмитажа.

Их торжественный полусвет заполнен великолепием красок. Кажется, не хватит жизни, чтобы проникнуться этим живописным богатством, изучить россыпи мастерства.

Блестящая галерея героев 12-го года, лоджии Рафаэля, осенние краски Тициана, средневековые харчевни фламандцев с их гулом волынок и треском колбасы на раска-

лепных жаровнях, вырванные из мрака лица на полотнах Рембрандта, мерцающий, как старое стекло, воздух Венеции у Каналетто, зловещая сила Эль Греко, дым, изгибы развеваемых одежд, румяные итальянские зори, мрак кудрявых лесов, девичья печаль мадонн Леопардо! Нужны сотни страниц, чтобы перечислить все, что так мгновенно входит в память и потом вновь и вновь настойчиво возвращает к себе.

У каждого есть свои любимые пути по Ленинграду.

Из Эрмитажа мы пошли в Летний сад. Зеленоватый туман стекал каплями с мокрых ветвей. Бронзовый баснописец Крылов добродушно дремал, окруженный этим туманом. Вдалеке поблескивали наново позолоченные пики знаменитой ограды.

Из Летнего мы прошли в Михайловский сад. В Лебяжьей канавке виднелось дно, покрытое сгнившими ветками. Зябко покрикивая, проходили мимо машины.

Через Михайловский сад мы вышли к Русскому музею. Снова знакомые картины обступили нас тесной толпой.

Но каждый раз среди этих старых знакомцев появлялись находки. На этот раз я как бы впервые увидел волшебный портрет Самойловой работы Карла Брюллова. И увидел нового Куинджи — обрывистый берег Азовского моря, пышущий степным пламенем, кобальтовым морским зноем.

Я давно знал, что в Ленинграде у некоторых любителей живописи есть свои «Эрмитажи на дому». На этот раз мне посчастливилось, и я попал в такой «домашний Эрмитаж» к одному чудесному человеку, режиссеру кино.

Режиссер этот превосходно снимал научные и документальные фильмы, но почти в каждый фильм ухитрялся вставлять куски пейзажа или интерьера, как бы взятые с картин известных наших художников.

В этом обстоятельстве не было ничего плохого. Но оно все же смущало некоторых работников студии. Смущало именно тем, что они никак не могли понять, хорошо это или плохо, законно или незаконно, «влетит» ли им за это или «не влетит».

Режиссер сильно сердился на своих противников и обзывал их несколько витиевато «сомнительными местоимениями».

Все свободное время он тратил на поиски картин и на их реставрацию. Работал он в кладовке, пропахшей лаком и красками. Жил режиссер с женой в комнатушке, но рядом, в большом зале, висели на стенах от потолка до пола превосходные картины. И среди них гордость режиссера — женский портрет кисти Рубенса и итальянский пейзаж Александра Иванова.

Весь вечер режиссер рассказывал мне удивительные истории, связанные с находками картин.

У стены бесшумно шли старинные часы с годовым заводом работы забытого мастера из Бердичева Огни речных фонарей за окнами дрожали от озноба в ледяной воде Мойки.

Перед отъездом из Ленинграда мы пошли бродить по городу без всякой цели.

Ненастье кончилось. Вернулись светлые дни. Проспекты и Нева были задымлены слабым туманом.

Мы вышли к новой Голландии — удивительному сооружению, где мысль архитектора соединила казарменные здания, триумфальные арки и каналы в один ансамбль.

Густые ивы на правом берегу Мойки только что начали желтеть. Навстречу им с левого берега протягивали свои огромные ветви облетавшие липы.

Желтые листья сыпались легким роем в Мойку. Стройный морской катер из красного дерева несся по этим листьям, оставляя за кормой темную водяную дорогу.

У штурвала стоял высокий молодой матрос с прищуренными глазами. Черные ленточки его бескозырки — ленточки Балтийского флота — вились по ветру и как бы играли с падающими листьями лип...

Потом начались окраины, крупный булыжник мостовой, дровяные склады, звон круглых пил, запах стружки, гнилые сваи в воде, сжатые железными обручами, заброшенные особняки с обвалившимися гербами, с кровавыми ранами от осколков на стенах и прозрачными чугунными воротами. Каналы разветвлялись под черными горбатыми мостами. Гранитные берега исчезли. Кое-где посреди набережных росли могучие деревья, тоже избитые осколками.

Наконец мы вышли на безлюдную набережную реки Пряжки. Увядшая трава покрывала откосы. На мостках сидели молчаливые рыболовы.

За Пряжкой дымил завод.

Дома вдоль Пряжки были старые, низкие, и только один дом выделялся среди них. Он был в четыре этажа — обыкновенный доходный дом со скучными балконами, выходившими в сторону взморья.

На этом доме мы увидели мраморную доску с надписью, что здесь жил и умер поэт Александр Блок.

Сначала показалось странным, что Блок выбрал для жизни место, столь несвойственное его поэзии. Это была заводская дымная окраина. Дом стоял далеко от шума и огней Невского. Он был вынесен, как передовой форт, в устье Невы и первый встречал удары бурь и наводнений.

Странность этого блоковского жилища требовала объяснения. Оно заключалось, очевидно, в желании поэта уйти в свой дом, как в крепость, приблизить его к заливу, к рано затихающей окраине, где по ночам шумит за стеной терпеливый обветренный вяз.

Можно, отложив книгу, слушать шелест его холодных листьев и скрип горячей воды в батарее отопления и думать о том, «как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах».

Кто знает, может быть, это желание и руководило Блоком, когда он выбирал свое жилище.

Мы выехали из Ленинграда в Нарву в яркое льдистое утро. Крутая синяя волна плескалась в невский берег.

Мы ошиблись дорогой, поехали на Пулково и потом долго выбирались по проселку, заваленному валунами, на Нарвское шоссе.

Слева от дороги виднелись в тумане Дудергофские высоты. Потом осталось позади просторное Красное Село, и пошли низкорослые сосновые леса и рыжие пески. Они тянулись до самого Кингисеппа, до старого Ямбурга — старинного города, не собранного, как все города, в одном центре, а разбросанного отдельными домами по обширной низменности, перерезанной рекой.

Ближе к вечеру над теснинами пенистой реки Нарвы показались громады крепости в Ивангороде, а на другом берегу — стрельчатый средневековый город Нарва.

Когда-то он был, должно быть, тесен. Но сейчас, после разрушений войны, его дома подымались среди пустырей. Цементная пыль лежала на мостовых. Город строился.

В Нарве началась Эстония.

Каждая новая страна всегда кажется очень заманчивой. Невольно происходит смещение зрительных восприятий. Обыкновенный валун кажется здесь совсем другим, чем такие же валуны вблизи дороги из Ленинграда в Нарву.

Он почернел от сырых ветров Прибалтики. Желтые лишаи на нем напоминают пышные рыцарские гербы. И невольно слышишь протяжный звон, будто верховой конь, дожидаясь всадника, нетерпеливо бьет по валуну копытом.

Сложенная из булыжника ветряная мельница, окруженная кустами боярышника, представляется местом, где разыгрывались захватывающие сцены из романов Вальтера Скотта. Но, к великому сожалению, Вальтер Скотт никогда не писал об Эстонии.

«Победа» мчится. Первые впечатления так же быстры, как бег машины. Узкие и извилистые асфальтовые дороги. Одинокие дома-мызы из дикого камня, похожие на форты. Замшелая черепица. Старые вязы.

Угрюмый воздух. Множество хорошо одетых, строгих сероглазых женщин и девушек, едущих на велосипедах с бидонами, подвешенными к рулю. Чистые перелески, потом такие же чистые леса.

Пески. «Глинт» — обрыв над Финским заливом, ровный, как стена. Красные автобусы, напоминающие старые почтовые кареты. Внезапно мелькнувший город с рыцарским замком, собором и разноцветными дощатыми домами. Кисейные занавески и множество цветов за стеклами. Уют устоявшейся жизни. Юноши в каскетках с оранжевой ленточкой на околыше — школьники и студенты. Афиши о постановке «Тани» Арбузова на эстонском языке. И красные с голубым флаги молодой Советской республики, реющие в тишине полевых мыз.

А потом на горизонте неожиданно подымаются серые терриконы, совсем как в Донецком бассейне. Черный дым заволакивает даль. Это Кохтла-Ярве, знаменитый сланцевый район. Здесь сланцы перерабатывают в газ, и отсюда он идет по трубам в Ленинград и Таллин.

Шоссе из огромных цементных плит шло через заболоченные леса. Цемент гулко пел под баллонами машины.

Леса сре́зало сразу. Вдали над равниной появился высокий Таллинский маяк.

Мы выходили к морю. Впереди был большой портовый город. Он начался сразу, без плоских предместий, свалок,

без облезлых окраинных бараков — непременной принадлежности большинства городов.

Высокая площадь, а за ней — нагромождение башен, шпилей, крутых аспидных крыш, дым и мглистая даль залива.

Залив вплотную сливается с небом. Черные корабли на рейде как будто висят в воздухе. Над ними и под ними залегли синеватые облака. Глаз не сразу может привыкнуть к этому зрелищу, и трудно еще догадаться, где настоящие облака, а где их отражения в воде.

Потом началась такая живописная и головокружительная путаница узких улиц — даже не улиц, а переулков,— что шофер растерялся и остановил машину. Как тут проедешь, когда угол древнего дома закрывает перекресток и негде развернуться, чтобы объехать его и не зацепить!

Мы не ехали, а протискивались по темным щелям этих улиц, по коротким мостам, мимо серых башен с бойницами, мимо витрин, заваленных разноцветными товарами, задевая верхом машины ветки деревьев, с опаской пробирались по краю крутых каменных спусков или у подножья подпорных стен, заросших ползучими кустами. Из этих стен сочилась и журчала вода.

Наконец сумятица кончилась, и открылась спокойная площадь, а над ней на горе — Вышгород: древний квартал, окруженный поясом садов.

Я до сих пор не знаю, какие деревья облетали в этих садах. Кажется, липы. Но листья у них были больше ладони.

Да, Таллин, конечно, принадлежит больше морю, нежели эстонской суше с ее скромными травами и размытым белесоватым небом.

Над портом ровными колоннами подымается дым из пароходных труб. В морской дали, приглядевшись, можно различить очертания островов. Они похожи на расплывшиеся по воде темные пятна.

В улицах около порта пахнет каменноугольным дымом и рыбой. И всюду моряки — молодые матросы с военных кораблей и медлительные русые люди в расстегнутых куртках и тельниках — эстонские рыбаки. Глаза у них цвета балтийской воды — серые, спокойные, с легкой голубизной.

Таллин — город мореплавателей. История многих открытий и морских походов началась здесь, на этих игру-

шечных улицах, в городе, похожем по вечерам на освещенную изнутри большую елочную игрушку.

На второй день после приезда в Таллин мы осматривали собор Святой Девы в Вышгороде.

Он ушел от старости в землю почти на два метра. Внутри собор казался вылепленным из сумрака. Только рыцарские щиты блестели на стенах золотом, фольгой и разноцветной эмалью.

Под плитами пола были похоронены члены магистрата, рыцари, начальники ремесленных цехов и председатели гильдий.

О том, кто лежит под ногами, можно судить по барельефам на плитах пола. Над могилами рыцарей были плоские их изображения в забралах и латах. Над могилой начальника цеха башмачников был высечен огромный ботфорт, а над могилой начальника цеха мясников — могучий бык.

Седой смотритель, эстонец, бывший учитель истории, подвел нас к двум мраморным надгробьям. По сторонам их склонялись выцветшие от тропического солнца, потрепанные бурями андреевские флаги.

Это были могилы адмиралов Беллинсгаузена и Врангеля — уроженцев Эстонии.

Беллинсгаузен открыл вместе с Лазаревым на другом конце земли ледяной материк Антарктиды.

С жестоким мужеством на русских маленьких парусных кораблях он обходил по кругу этот неведомый материк. Его «негостеприимные» воды привели в содрогание даже такого морского бесстрашного волка, как капитан Джемс Кук. Он в нерешительности остановился перед ними.

Дневник Беллинсгаузена об этом плавании — почти классическое произведение нашей литературы. Он точен, скуп на слова. И прекрасен тем, что сквозь эту скупость неожиданно прорываются слова о мрачной красоте Антарктиды и величии русского матроса.

Тут же, под сенью таких же андреевских флагов, лежит адмирал Врангель — исследователь Арктики, провидец, догадавшийся по ряду едва заметных признаков о существовании в океане около восточных берегов Сибири большого острова.

Этот остров открыли после смерти старого адмирала и назвали его именем.

— Вот видите, — сказал нам бывший учитель исто-

рии,— хорошие дела всегда увенчиваются славой. Извините, что я так несколько возвышенно говорю, но я изучал русский язык по книгам больших русских историков. Они умели находить в истории настоящие возвышенные мотивы. Здесь, в Вышгороде, все, как говорится, дышит историей. Но вы приехали поздно, перед самой зимой. Приезжайте весной, когда Вышгород будет весь в сирени. Тогда этой милой девушке, которая приехала с вами, очень милой девушке с такими красивыми косами, я смогу позволить себе подарить букет этих цветов. Смогу вспомнить свою молодость и сделать этот галантный жест. Девичий возраст и сирень — они одинаково благоухают. Прошу извинить меня за эти стариковские шутки. Прошу извинить!

Мы простились с учителем и вышли на средневековые улицы Вышгорода.

Все поражало здесь. Не только каждый дом, но и каждый наличник на окне, железный шестигранный фонарь, каждое крыльцо и каждый лепной фриз над этим крыльцом.

Снизу доносился ровный гул города, порта, заводов, заглушенный говор людских толп.

— Пойдемте скорее вниз,— попросила наша юная спутница.— Смотрите, сколько людей! Как интересно побыть среди них!

Жизнь шла своим путем. И я вспомнил слова Короленко: «На одну и ту же старинную башню каждое поколение смотрит иными глазами».

Конечно, это был уже север.

Где-то за Пярну мы остановились отдохнуть в сосновом лесу. За грядой дюн вполголоса шумело море. Кричали гагары. И лес вокруг был северный — мшистый, весь в спелой бруснике и старых грибах. Белый мох на сосновой коре пропитался водой, как губка,— должно быть, с моря по утрам наносило туман.

И воздух был северный — серый и холодноватый.

Песок на дюнах похолодал. Почему-то стало жаль невзрачных цветов, еще доцветавших около пней,— там, должно быть, было теплее, чем на открытых местах.

Быть может, некстати говорить здесь об этом, но в лесу среди дюн пришло сожаление о едва еще дышавшем северном лете — прообразе собственной жизни.

Кто знает, сколько осталось этой жизни? Для мысли, для сердца, для работы нужны сотни лет. Но законы природы суровы. Она не дает нам отсрочки.

И тут же вспомнились слова старого писателя. «Все людские возрасты по-своему хороши,— сказал он,— но, может быть, лучше всех старость».

Прожитая жизнь принесла щедрость, понимание. Окончилась мнимая погоня за недостижимым. Оно оказалось незаметно достигнутым в каждом простом явлении: в замухрышке-цветке, в крике гагар, в смеющихся глазах женщины, в тишине бесконечных сосновых лесов.

Есть старое, давно уже «изъятое» слово — благословение. Его легче почувствовать, чем объяснить.

Благословение — это благодарность и напутствие всему хорошему, что будет жить, когда тебя уже не станет. Это, наконец, преклонение перед красотой земли, когда, уходя, любишь все: «и одинокую тропинку, по коей, нищий, я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».

Машина тронулась. Дорога вышла к морю.

В прозрачной воде лежали огромные валуны. Вода была тонкая, как стекло. На шестах сушились сети. Даль поблекла,— на нее медленно надвигался вечер. Хвойной стеной стоял замолкший лес.

В маленьком рыбачьем поселке зажигались огни. На крыше дощатого дома сидела овчарка и ревниво вглядывалась в залив — ждала хозяина.

Вспыхнул, рассыпался звоном и тотчас умчался назад, за машину, женский смех.

Вот бы остаться здесь! Но машина уже пронеслась через поселок и врезалась в туман. Он шел с залива. Редкие огни сторожевых домов тлели в тумане, как угли.

Под Ригой в полночь туман сошел, и сотни огней, перебегая, начали путать перед нами карту незнакомого города.

Мы въехали в широкую улицу и остановились под тенью деревьев. В ушах еще долго гудел дорожный ветер.

В Риге гостиницы были переполнены. Пришлось остановиться на взморье, в закрытом на зиму доме отдыха в Дубултах. Нам отвели один из флигелей в глубине парка, прибрали его и протопили.

Мои спутницы целые дни проводили в Риге, я же с наслаждением оставался в безлюдных Дубултах, в гулком и светлом доме.

Есть своя прелесть в опустевших дачных поселках. Недаром покинутые дачи были даже предметом литературы. Вспомните хотя бы осенние Фонтаны под Одессой в «Гранатовом браслете» Куприна.

Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах, почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле.

Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него — несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбью чешую.

Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря.

Пески перемыты прибоем. На них ничего не осталось от многолюдного и шумного лета. Валяется только промокшая обертка от «Беломора» да обрывок афиши о концерте тенора Александровича.

Пляж отдыхает. Крошечные сосны смело выглядывают из песчаных нор. Там они прятались летом, боясь, что их затопчут.

Почему-то эти заброшенные дачи вызывают воспоминания о юношеской любви, гимназистке со слезами на глазах, ее потерянной ленте, молчаливой разлуке. В воспоминаниях этих нет горечи. Они приходят, как улыбка. И вместе с ней уходят.

Дубулты расположены на узком перешейке между заливом и рекой Лиелупе. Можно пойти к реке. Плавным поворотом она подходит к поселку. Вдалеке виден лес, откуда Лиелупе льется широко и полноводно. Вдоль берега проходит железная дорога, и полупустые электрички мерно несутся по ней, покрикивая сиренами.

Снова тишина. Потом доносится неясный ропот волн,— с моря задувает ветер.

Дни стоят короткие. Свет иссякает. Солнце идет к западу, прижимаясь к земле.

В сумерки я ухожу на станцию встречать своих. На станции пусто. Только стая голубей сидит на платформе и вместе со мной ждет поезда.

Далеко виден прожектор электрички, вылетающий, как звезда, из леса в Дзинтари. Поют, позванивая, рельсы. Голуби начинают волноваться. Электрическое зарево Риги дымится на горизонте.

Потом мы долго идем через темный парк и не всегда сразу находим свой дом. Кажется, что море шумит со всех сторон, и это нас путает.

Но вот дом найден. Поскрипывает винтовая лестница, вспыхивают лампы, от камина тянет теплом, и начинаются рассказы, споры, смех и выдумки.

— Мы как в таинственном замке из романа Стивенсона,— говорит наша юная спутница.

У Стивенсона, кажется, такого замка нет. Но не все ли равно,— уже поднялась смертельно бледная луна. И парк превращается в призрачный лес с провалами полной темноты и серебряными пятнами света.

Ночью я просыпаюсь. Море молчит. Молчание такое глубокое, что хорошо слышно легкое, юное дыхание за стеной.

Бывают города-труженики, города-коммерсанты, города-ханжи, города-музеи, города-венценосцы. И бывают, наконец, города-авантюристы.

Все эти определения относятся к городам Запада, а у нас — к далекому прошлому. Москва была городом-купчихой, равно как и «порфироносной вдовой», Петербург — венценосцем, Одесса — негоциантом, Новгород — музеем, а Митава, теперешняя Елгава, была городом-авантюристом.

Трудно сказать, в силу каких причин этот городок — бывшая столица Лифляндии — стал надежным приютом для авантюристов всей Европы, для французской знати, спасавшейся от революции, и для низложенных королей.

В Митаве жил Калиостро и блистала красавица авантюристка герцогиня Кингстон с выжженным на плече клеймом английского каторжника.

В Митаве скрывались последние Бурбоны и проводил время в полной праздности и роскоши польский король без королевства Станислав Понятовский.

Сейчас от этого прошлого остался только полуразрушенный дворец. Он восстанавливается. В нем будет размещен сельскохозяйственный институт.

Город сильно разрушен. Поэтому он выглядит непривычно просторным.

От прошлого остались еще извозчики. На всем нашем пути мы встретили извозчиков только в Елгаве. Это были,

конечно, последние, но настоящие извозчики — разговорчивые, любопытные, с ременными кнутами за поясом.

Пролетки их играли на ходу, как скобяной оркестр, а в глазах худых лошадей отражалась мировая тоска.

Мы не заметили пограничную арку между Латвией и Литвой. А между тем все вокруг изменилось.

Появилось много фур. Их катили по шоссе крупной рысью сытые, сильные кони. На фурах сидели белокурые женщины в ярких платках и приветливо улыбались нам, когда мы их обгоняли.

Появились деревенские избы — такие же, как и у нас в России. Появились села вместо одиноких усадеб, деревянные ветряки, белобрысые дети, колодцы-журавли, даже обыкновенные наши дворняги с репьями на морде.

Пахну́ло чем-то родным и чуть-чуть стародавним, и мы догадались, что мы едем уже по Литве. Только черные распятья на перекрестках, маленькие узорчатые часовни-каплицы, похожие на голубятни, да кровли сельских костелов отличали Литву от наших мест.

Мы с нетерпением ждали первого попутного города. Всегда ведь ждешь этого первого города в каждой новой стране.

И он наконец появился. Назывался этот город Ионишкис. Он совершенно пленил нас своим уютом и простодушием. Тесные торговые ряды, постоялый двор, мостовые, усыпанные сеном, илистая речушка, мальчишки с неизменными удочками, седые продавцы-патриархи в подтяжках на пороге темных магазинов-«склепов» и высокий костел — белый с черным — в зарослях лопухов.

Совершенно другим городом оказался Шяуляй. Новенький, чистый, с хорошими небольшими зданиями, он стоял на горе, как крепость.

Пасмурное небо расчистилось. Легкая синева опустилась на землю, и в этой синеве необыкновенно жарко заблистало солнце.

Это случилось очень кстати, так как после Шяуляя начались такие места, что мы только ахали от изумления.

Дорога шла, как на качелях — с холма на холм,— среди разукрашенных сусальным золотом березовых лесов.

Синева неба, воздуха, ручьев, даже синева каждой лужи придавали напряженную яркость пышной, необо-

зримой, как море, и почти невесомой листве. Каждая ветка свешивалась над дорогой, как кисть золотого винограда.

Сначала мы считали подъемы и спуски, но потом бросили,— было не до этого.

Каждый раз, когда машина взлетала на высокий перевал, перед нами открывалась такая драгоценная лесная даль, такая праздничная, волшебная страна, такое свежее дыхание врывалось в открытые окна машины, что у нас захватывало сердце. За всю дорогу мы не видели ничего подобного.

Мы завидовали всем, кто жил в этих местах: путевому сторожу, каждой девочке, бежавшей с кошелкой по обочине дороги, каждой птице, пролетавшей сквозь заросли. Она как будто купалась в золоченой воде. Листья, как крупные брызги, разлетались в стороны, но богатый наряд на дереве от этого не редел.

Солнце уже склонялось к земле. Соединение его янтарного огня с раскраской лесов вызвало такой феерический блеск, что временами терялось ощущение действительности.

Вот когда бы надо остановить время!

Может быть, отчасти из этого страстного желания остановить мимолетное время и закрепить то, что скоро исчезнет, и родилось искусство. Так, по крайней мере, думалось там, в этих лесах.

К ночи засияли огни Каунаса. Начался спуск к Неману среди таких поднебесных ив, что ночь под ними сразу стала во много раз плотнее. Даже сильные автомобильные фары не могли отогнать эту ночную темноту за край шоссе.

Ранним утром я вышел на балкон гостиницы и увидел на горе над Каунасом исполинский костел из красного кирпича, похожий на элеватор. Над кирпичным остовом костела вздымался большой черный крест. Зрелище было угрюмое.

Мне рассказали, что костел этот начал строиться во времена буржуазной Литвы, но закончить его не успели. Внутри костел пуст. Жители Каунаса прозвали его «костелом святого Элеватора» — «свентэго Элеватожа».

Появление этого кирпичного ковчега над Каунасом не вяжется со всем видом города — старого, уютного и губернского. Этот губернский облик Каунас сохранил до наших дней.

Есть города, где кажется, что все жители хорошо знают друг друга. Такое же впечатление остается от Каунаса. Этот город патриархальный в хорошем смысле слова.

В вечер приезда мы пошли поужинать в ресторан. Официанты были добродушны и деликатны. Оркестранты играли под сурдинку, и не надо было кричать, чтобы расслышать друг друга. За соседним столиком юноши, похожие на студентов, попросив разрешения у соседей, тихо напевали литовские песни.

У Каунаса — старые художественные традиции.

Лучшие литовские народные вышивки и вязанье — из Каунаса.

В Каунасе жили и работали художники Добужинский и Чурлянис.

Мне рассказывали, что в Каунасе была лучшая в мире коллекция бабочек всех стран земного шара. Она не уступала в ценности и красоте хорошей картинной галерее. Ее собрал ученый, уроженец Каунаса (фамилию его я, к сожалению, забыл). Он объездил весь мир, особенно долго прожил на островах Тихого океана и вернулся под старость в свой родной город. Куда девалась эта коллекция — никто не знает.

В одном из магазинов Каунаса я видел картину неизвестного местного художника — портрет девочки. Картина поражала чистотой и спокойствием красок, бледным и очень серьезным лицом маленькой девочки. Но фон у картины был странный. Он был составлен из больших кругов, окрашенных в бледные цвета. И я подумал: не ученик ли Чурляниса написал эту картину?

Чурлянис был замечательным живописцем. Многие его картины, правда, фантастичны, как сны. Но если отбросить их, то у Чурляниса останутся удивительные вещи.

Пожалуй, никто из художников не передавал с таким мастерством ночь и звездное небо, как это сделал Чурлянис в серии своих картин «Знаки Зодиака».

Я запомнил еще одну картину Чурляниса — «Сказка».

Волшебник держит в ладонях хрустальный граненый шар. Вокруг — ночь. Шар излучает напряженный магический свет. Он прозрачен. Внутри шара виден старинный город, переливающийся, как алмаз, всеми красками радуги.

Почти все картины Чурляниса хранятся в Каунасе.

Днем мы выехали из Каунаса в Вильнюс по дороге над рекой Нерис. Дорога извилиста и разнообразна. Хол-

мы, кряжистые леса, крошечные не то городки, не то села. Трокские озера... Все это сменяется быстро и неожиданно.

На этом небольшом клочке земли как будто нарочно собраны все приметы страны. И опять хочется остановиться и пожить здесь, чтобы проникнуть в самую гущу литовской народной жизни,— судя по первому впечатлению, жизни очень простой, трудовой и честной.

С Замковой горы, с башни Гедимина виден весь Вильнюс, окруженный по возвышенности темными лесами.

Город лежит как бы в чаше, наполненной туманным воздухом и ворохами лимонных листьев. То, что сверху кажется нам ворохами листьев, там, внизу,— большие сады. Из этих садов то тут, то там подымаются башни церквей и кровли домов.

Много есть хороших городов, но нет такого города, как Вильнюс, где бы прекрасная архитектура была так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем.

Почти у самого собора святого Станислава бежит, позванивая по гальке, река Вилейка. Берега ее поросли гусиной травой.

Всюду зелень, всюду узловатые стволы столетних деревьев, всюду последние цветы.

Мы долго сидели на парапете башни Гедимина и смотрели на этот город, напитанный своей историей и культурой до мельчайших пор, до каждой подворотни.

В одну из таких маленьких подворотен, кажется, на Бернардинской улице, мы вошли с тем чувством, какое называют, за отсутствием более точного слова, благоговением.

Над этой подворотней, на старенькой, потрескавшейся стене была прибита доска с короткой надписью: «Здесь жил Мицкевич».

Подворотня вела в крошечный двор, замкнутый со всех сторон стенами невысокого дома с деревянной обветшалой галереей над первым этажом. Дикий виноград оплетал галерею. Между булыжниками во дворе росла трава.

Над воротами висел старый герб Вильнюса: святой Христофор переносит через ручей младенца.

Пройдя подворотню, мы сразу переступили больше чем на столетие назад. Все здесь оставалось таким, каким было при Мицкевиче.

Я не знаю, в чем очарование мест, связанных с памятью замечательных людей. Но оно бесспорно.

В нем соединяются гордость за силу человеческого духа, пение стихов, доносящихся как бы из глубокой полевой дали, ясное ощущение, что время теряет в таких случаях свою разрушительную силу, что забвения нет. И, наконец, радостное сознание необыкновенного блеска и мужества мысли, оставленной нам в наследство прекрасным предшественником.

«Отчизна милая, Литва, ты, как здоровье: тот дорожит тобой, как собственною кровью, кто потерял тебя!»

Да, вот она вокруг, любимая его Литва, погруженная в трепещущий от легких ветров воздух, наполненная щебетом птиц, спокойная и сильная, как рука пахаря.

У Мицкевича был большой импровизационный дар. Возможно, что этот род таланта является самым свободным и богатым. Он возникает от большой внутренней наполненности, от щедрости, оттого, что человек легко находит поэзию даже в самых прозаических явлениях жизни.

Мне кажется, что прогулки по Вильнюсу с некоторым правом можно назвать прогулками по «маленькому Риму».

В Вильнюсе живет милейший человек, архитектор Ян Александрович Кумпис, влюбленный в город, в Литву, ее архитектуру и природу. Нам повезло: Кумпис показывал нам Вильнюс.

В его ведении как архитектора находится не только все новое строительство в республике, но и охрана старинных зданий. Денег на охрану и реставрацию этих зданий не хватает. Кумпис нашел выход. Он прибил буквально ко всем зданиям Вильнюса,— а им несть числа,— охранные доски. Это хотя и не всегда, но все же действует. Люди начинают с уважением относиться к тем домам, где они живут, и сами берут на себя заботу о них.

Мы смотрели в Вильнюсе башню Гедимина, костелы, усыпальницу Сапеги, университет, Острую Браму, старинные кварталы и сады.

Невозможно описать все это. Но самым поразительным был костел святой Анны.

Я видел его еще в детстве, восьмилетним мальчиком, и запомнил еще с тех пор. Но сейчас он показался мне лучшим, чем по воспоминаниям детства.

Это чистейший образец готического стиля, когда готика была еще очень простой и ясной. Большой костел кажется легким, не имеющим веса. Недаром Наполеон говорил, что он осторожно перенес бы его на ладонях в Париж.

Есть еще один костел святого Петра и Павла со множеством мраморных статуй. Я не помню их числа. Кажется, их около полутора тысяч.

До сих пор не удалось выяснить имена скульпторов, создавших это причудливое собрание скульптур. Должно быть, это были итальянцы.

Работали они независимо. Возможно, что это были весельчаки и даже богохульники. Они покрывали стены замечательным растительным орнаментом. Особенно хороши длинные пряди травы. Большинство изображений святых они делали, все же придерживаясь канона. Но иногда им это, очевидно, смертельно надоедало. Тогда они высекали томную и чувственную Марию Магдалину в корсете и средневековом платье или фавна, обнимающего полногрудую нимфу.

Весь костел залит слабым и теплым отсветом мрамора.

...Мы попрощались с Вильнюсом, с тем чтобы обязательно вернуться в этот милый город.

В утро отъезда продолжали падать с деревьев розовые листья. Снова литовские дали раскинулись перед нами, затянутые слабым дымком.

Леса, холмы, местечко Сморгонь, где Наполеон бежал от своей разбитой армии, потом Белоруссия, Молодечно, новый нарядный Минск, знакомая Смоленщина и родная московская земля, звонкая от первого мороза.

Круг сомкнулся. Усталая горячая машина остановилась у подъезда московского дома, покрытая пылью четырех тысяч километров пути.

Наша поездка была больше похожа на полет. Она прошла стремительно. Но она наполнила нас ощущением разнообразия жизни, новыми знаниями и чувством неиссякаемой красоты земли.

Будем же благодарны за это старой терпеливой «Победе» за номером 91—83.

1954

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Персидский поэт Саади — лукавый и мудрый шейх из города Шираза считал, что человек должен жить не меньше девяноста лет.

Саади делил человеческую жизнь на три равные части. Первые тридцать лет человек должен, по словам поэта, приобретать познания, вторые тридцать лет — странствовать по земле, а свои последние тридцать лет отдать творчеству, чтобы оставить потомкам, как выражался Саади, «чекан своей души».

Сейчас это образное выражение несколько устарело. Где теперь найдешь чеканщиков, заполнявших в былые времена базары Востока звоном серебра и меди? Исчезают чеканщики, исчезают чеканные вещи. Но во времена Саади чеканка была распространенным и почетным ремеслом.

Саади был прав, но в глубине души я думаю, что тридцать лет для странствий по земле — этого все же мало.

Мало потому, что скитания приобретают значительный свой смысл, насыщают нас познаниями, открывают нам красоту земли и своеобразие многих ее стран и дают толчок нашему воображению далеко не сразу, а исподволь.

Странствуя, нужно жить, хотя бы недолгое время, в тех местах, куда вас забросила судьба. И жить нужно, странствуя. Познание и странствия неотделимы друг от друга. В этом заключается смысл любого путешествия, будь то поездка в Кинешму или во Владивосток, в Афины или в Рим, на острова Тихого океана или на остров Валаам в Ладожском озере.

«Скитания — это путь, приближающий нас к небу»,— говорили в древности арабы, понимая под небом то состояние обширного познания и мудрости, которое присуще людям, много скитавшимся по нашей земле.

Это непременное качество всех путешествий — обогащать человека огромностью и разнообразием знаний — есть свойство, присущее счастью.

Счастье дается только знающим. Чем больше знает человек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями.

Знание органически связано с человеческим воображением. Этот на первый взгляд парадоксальный закон можно выразить так: сила воображения увеличивается по мере роста познаний.

Примеров этому можно привести множество. Очарование Парижа овладевает вами внезапно, как только вы прикоснетесь к парижской земле. И овладевает навсегда. Но только в том случае, если вы знали Париж и любили его задолго до этой первой встречи.

Для знающего Париж по книгам, по живописи, по всей сумме познаний о нем этот город открывается сразу, как бы покрытый бронзовым отсветом его величавой истории, блеском славы и человеческого гения, обаянием любимых имен, шумом версальских парков, сумраком всегда несколько загадочного Лувра, кипением его пылких народных толп.

Человек же, ничего не знающий о Париже, воспримет его как нечто шумное, утомительное и во многом непонятное.

Недавно, во время плаванья вокруг Европы, с палубы нашего корабля открылись на самом краю океанской ночи маяки Лиссабона.

Мы смотрели на их пульсирующий свет. И мой спутник вдруг заговорил о Лиссабоне, реке Тахо, о том, как отсюда отходили флотилии каравелл Магеллана и Васко да Гамы, о забытом прекрасном португальском писателе Эсса де Кейрош, о выжженной этой стране с базальтовыми берегами, о древних крепостях и соборах на безлюдных плоскогорьях, и после его слов за маяками Лиссабона уже виднелась эта несколько печальная, пережившая свою славу страна, крепко сжатая за горло католицизмом и ждущая новых времен, возрождения своей былой свободолюбивой и дерзкой жизни.

Путешествия накладывают неизгладимый след на наше сознание. В странствиях по сухопутным и морским просторам земли выковываются сильные характеры, рождаются гуманность, понимание разных народов, широкие и благородные взгляды.

В этом отношении образцом человека, обязанного путешествиям силой и обаянием своей личности, является для меня Миклухо-Маклай.

Но не только он один. Я вспоминаю много имен — Пржевальского, Нансена, Лазарева, Франклина, Джемса Кука, Беринга, Ливингстона, Хайдердала, Дарвина и, наконец, мечтателя Колумба.

В Риме в ватиканской библиотеке хранится карта Колумба, по которой он открыл Америку.

Вся поэзия движения в неведомое, поэзия плаваний,

весь трепет человеческой души, проникающий под иные широты и ипые созвездия,— все это как бы собрано воедино в этой карте. Каждый прокол от циркуля, которым мерили бесконечные морские мили, кажется сказочным. Оп был сделан в далеких океанах крепкой и тонкой рукой великого капитана, открывателя новых земель, неистового и смелого мечтателя, украсившего своим существовапием паш человеческий род

Горький недаром называл путешествия наилучшей высшей школой. Это так. Это бесспорно. Путешествия дают впечатления и познания такие же живые, как морская вода, как дым закатов над розовыми островами архипелага, как гул сосновых лесов, как дыхание цветов и голоса птиц.

Новизна все время сопутствует вам, и нет, пожалуй, другого, более прекрасного ощущения, чем этот непрерывный поток новизны, неотделимый от вашей жизни.

Если хотите быть подлинными сыновьями своей страны и всей земли, людьми познания и духовной свободы, людьми мужества и гуманности, труда и борьбы, людьми, создающими духовные ценности,— то будьте верны музе далеких странствий и путешествуйте в меру своих сил и свободного времени. Потому что каждое путешествие — это проникновения в область значительного и прекрасного.

1957

МИМОЛЕТНЫЙ ПАРИЖ

Я провел здесь всего три дня из 24 000 дней моей предыдущей жизни.

Письмо из Парижа

Осенью 1956 года мир был встревожен. Начинались и тут же обрывались неясные и нерешительные войны. Американские и английские авианосцы и крейсеры шли мимо нашего теплохода на восток, к Порт-Саиду, и переговаривались огнями. Береговые станции мигали гальваническими искрами, запрашивая корабли, куда и под каким флагом они идут. Ночью то с левого, то с правого борта доносился гул корабельных винтов.

Так было, пока мы не вышли в Атлантический океан и не взяли курс на север, вдоль берегов Португалии.

Океан оказался гораздо пустыннее, чем Средиземное море.

Мгла висела над кремнистым португальским плоскогорьем. Посреди него вздымались огромные соборы, крепости и за́мки. Вокруг этих старинных зданий было пустынно. За весь день мы заметили с палубы нашего теплохода только две-три легковые машины, пылившие среди изгородей, и единственный старый каботажный пароход.

Он, очевидно, ходил из Лиссабона по сонным приморским городкам. Пароход переваливался на волнах, как бочонок. Из его высокой и узкой трубы, похожей на телеграфный столб, валил жирный дым.

К вечеру остались на виду только маячные огни. Они встречали и провожали нас медленно и равномерно. Когда исчезал огонь где-нибудь на мысу Сан-Висенти, то сразу же в шумящей водной дали возникал свет маяка на другом, отдаленном мысу.

Я пролежал всю ночь на шлюпочной палубе в шезлонге, задвинув его в такой угол, где никто не мог меня заметить. Изредка я слышал у себя за спиной шаги вахтенного.

В эту ночь я с полной ясностью представил себе, что через три дня я впервые в жизни увижу Париж. Я наконец поверил в это, и у меня начало тяжело биться сердце.

Всю ночь я пролежал в тягучем и приятном оцепенении, не в силах пошевелить рукой.

На рассвете я заставил себя встать. Весь теплоход был облит ливнем океанской росы. Платье на мне промокло насквозь.

Я вернулся в темную каюту.

Теплоход начало медленно и протяжно покачивать: мы входили в Бискайский залив — самое беспокойное место океана.

Качало весь следующий день. Но к вечеру появились чайки, и капитан сообщил пассажирам по пароходному радио, что с правого борта открылись огни острова Уэссан. Это значило, что самое опасное место Атлантики осталось позади и можно наконец перестать волноваться. А волновались почти все, наслушавшись рассказов о внезапных и ужасающих бискайских бурях.

Ночь прошла удивительно мирно. Из полуоткрытых дверей кают (двери кают придерживались особыми никелированными рычагами, чтобы сами не захлопывались от

морского сквозняка) было слышно дыхание людей и сонный шум вентиляторов.

Дежурная горничная сидела, поджав ноги, на сером плюшевом диване около трапа на палубу, читала «Золотого теленка» Ильфа и Петрова и время от времени смеялась.

А утром с океана пришел изреженный до прозрачности туман. В этом тумане мы прошли мимо парусного корабля с зажженными прожекторами на мачтах. Корабль, выкрашенный в белую краску, недовольно дергался на якорях. По его борту чернела большая надпись: «Ле Гавр». То был плавучий маяк гаврского рейда.

Впереди во мгле что-то зеленело и вспыхивало многими огнями. Должно быть, раннее солнце освещало гаврские сады и дома.

Гаврский порт был обширен и пуст. У пакгаузов скрипели канатами одинокие пароходы. Ни один гудок не прозвучал над мутно-зелеными гаванями, почти не было слышно человеческих голосов. О присутствии людей свидетельствовал только запах горячей овсянки, долетавший к нам из камбуза соседнего норвежского танкера.

Оказалось, что в порту бастовали докеры. Стачки были здесь, видимо, делом обычным. Редкие пикеты стачечников — «гревистов» — вполне дружелюбно покуривали вместе с портовыми полицейскими.

На лицах у докеров было соединение уверенности и добродушия. Среди них было много пожилых людей, может быть, тех, что в годы интервенции отказывались грузить снаряды против нас и накладывали железный запрет на погрузку всего тремя словами: «Это не пройдет».

Пикетчики посмеивались над рыболовами. Те сидели вдоль причалов, свесив ноги, с разноцветными плетенками для рыбы, с длинными бамбуковыми удилищами и со своими друзьями — собаками разных пород. Собаки охраняли хозяев с тыла и рычали на проходящих. Но рычали они как-то по-французски: предостерегающе и вежливо — и в любую минуту были готовы извиниться и повилять пушистым хвостом.

Парижский поезд подали прямо на мол.

Поезд тотчас умчал нас мимо тесных кварталов Гавра в рощи и «бокажи» Нормандии.

«Бокажи» можно увидеть только здесь, на северо-западе Франции. Это каменные изгороди в человеческий рост вдоль всех дорог и пешеходных тропинок. Изгороди эти за-

росли кустарником и папоротником, обсажены по сторонам деревьями и густо переплетают всю страну.

Нормандия разделена «бокажами» на тысячи маленьких живописных клочков. Это придает стране совершенно андерсеновский вид. Так и кажется, что Нормандию создали, попыхивая носогрейками, бородатые художники. Они, должно быть, разрисовывали ее уже не первую сотню лет.

Домов почти не видно: они прячутся за «бокажами». Иной раз только по дыму, бегущему из трубы над вершинами деревьев, можно отыскать в гуще зарослей дом, крытый черепицей

Во время последней войны американцы, в особенности танкисты, проклинали «бокажи». Наступление американских войск задерживалось из-за необходимости проламывать танками проходы в этих бесчисленных лабиринтах из крепких каменных оград.

Вдоль полотна железной дороги Гавр — Париж тянется сплошная решетчатая ограда: поезда ходят с такой адской скоростью, что всякому живому существу, оказавшемуся случайно на полотне, грозит почти неизбежная смерть.

Тучные нормандские коровы стоят рядами, положив морды на эту ограду, и смотрят на поезда, изрыгающие грохот. Поезда ходят здесь уже больше ста лет, но коровы до сих пор удивляются и провожают каждый поезд внимательными глазами.

Потом в коротком промежутке между двумя тоннелями промелькнул тесный Руанский вокзал. Господин в коричневой крылатке отвернулся от летящих вагонов, придерживая старомодную шляпу. Мне очень хотелось, чтобы этот руанский провинциал обернулся. Может быть, у него оказались бы седеющие усы, выпуклые серые глаза и обрюзгшие добрые щеки. Не попал ли каким-либо чудом сюда на вокзал господин Флобер? Не провожал ли он в Париж племянницу Каролину?

Конечно, Флобер часто бывал на этом вокзале. Но, к сожалению, так давно, что за это время даже небо Нормандии, как говорят, сделалось бледнее. И почти исчезли в здешних лесах заросли бересклета. Но это обычные жалобы стариков, и не стоит им особенно доверять.

Руан стремительно пронес в глубокой котловине Сены серые от дождя готические башни своего собора. Поезд, не тормозя, промчался сквозь предместья, настолько уютные, что захотелось поселиться там хотя бы на несколько дней,

чтобы побродить, подумать и поработать для разнообразия в тишине этих французских улочек и тупиков.

— А где же флоберовское Круассе? — спросил я своего спутника, старого русского парижанина.

— Вон там! — Он показал на запад, где к тому времени атлантический дождь отрезал от нас темной стеной половину неба.

Почти каждому просвещенному человеку, не лишенному воображения, жизнь готовит встречу с Парижем. Иногда эта встреча случается, иногда нет. Все зависит от того, как кому повезет. Но даже если встреча не состоялась и человек умер, не повидав Парижа, то все равно он уже, наверное, побывал здесь в своем представлении или в своих снах хотя бы несколько раз.

В юном возрасте у нас еще мало знаний и ассоциаций, чтобы полностью ощутить власть Парижа над нашими сердцами. Но в зрелом возрасте он с полной силой расцветает для нас давно накопленными познаниями о себе, любовью к своим улицам, к своему небу, пережитыми в собственном сердце романами Флобера и Мопассана, революциями, горестями и победами.

Только в зрелом возрасте человек способен соединить в нечто целое и ощутить в единой прелести как бы разные вещи: сухие лиловатые листья платанов и влажные губы молодой женщины, что целуется на скамейке Булонского леса; триумфальный взлет облаков над Домом Инвалидов, над могилой Наполеона и круглый зал Лувра, где тело Венеры Милосской как бы отлито из сумрачного жемчуга и где без всякой видимой причины на глазах у людей появляются непокорные слезы; бульварный запах пыли, табака и пудры; скрипучие лестницы на мансарды (ступеньки у этих лестниц стерлись от столетнего шарканья подошвами, как старые кухонные ножи); дым вокзалов — гар Сен-Лазар, гар Дю Норд, гар Орлеан; посвистывание веселых таксистов, шаловливых и вежливых школьников в помочах; оранжад, бьющий в глаза иголочками померанцевого газа; непроветренную средневековую темноту Нотр-Дам; кокетливых монашек, продающих латунные распятия; исполинские корзины цветов (в них цветы подымаются, как тесто на опаре, и переливаются на мостовую); ночи в скачущих огнях «Мулен Руж» или «Фоли Бержер».

Необыкновенно сияние неба над кладбищем Пер-Лашез! Моя бабушка — набожная, несколько романтическая католичка — любила посещать кладбища в разных городах и потом рассказывала о них. От нее я впервые узнал о Стене коммунаров на кладбище Пер-Лашез. Тогда я был еще мальчиком. А теперь я долго, с каким-то благоговением рассматривал столетние следы пуль на камнях.

Казалось, мстительный треск выстрелов был немыслим здесь, в величавом некрополе Франции, где растет особенно свежая и особенно теплая трава. В этой траве есть даже нечто торжественное. Но месть совершилась и оставила на стене незабываемую ясную роспись.

Монмартр. За его оградами долго не отцветает пыльная сирень. Она дожидается дождя. По вечерам около уличных спусков загораются сигнальные лампочки. Они предупреждают пьяных о близости опасных, крутых лестниц.

Пьянство тоже имеет здесь своих покровителей и свою поэзию: как не помочь человеку, если мысли у него качаются безалаберно, как рыбачьи барки в Гонфлере.

В Париже вас преследует возврат к знакомым с детства событиям и любимым именам, к таким, как Ги де Мопассан, Стендаль, Коро, Жорес, или Франсуа Вийон, Эррио, или Бальзак, Жюль Верн, или Ромен Роллан.

Окрестности Парижа, особенно по берегам Сены,— это венок из имен художников. Река купает траву в струящейся воде. Вода в Сене и воздух над ней переливаются мягкими красками.

Сто лет назад импрессионисты впервые перенесли эти краски на холст во всей их чистоте. Некоторые картины импрессионистов написаны как бы людьми, заключенными внутрь стеклянной призмы, просвеченной солнцем. Радуга красок создает вполне реальный мир. Но он праздничен и прогрет всеми теплыми отблесками французского лета.

Импрессионисты — вначале нищие и осмеянные художники — в действительности оказались щедрыми, как властелины. Они устроили пиршество красок для всех и каждого, лишь бы он не был слеп. Они не требовали благодарности за то, что увидели мир таким, каков он есть,— совершенно великолепным.

Все эти мысли завладели мной после отъезда из Парижа, когда наш теплоход пенил серую воду Ла-Манша.

В Париже эти мысли, конечно, присутствовали, но только в глубине моего сознания. Мне было просто некогда

останавливаться на них. Я жил, смотрел, слушал, ходил до изнеможения по улицам и паркам и не спал по ночам.

Каждый час тревожного сна, вернее дремоты, казался мне тяжелой потерей. И это было действительно так.

Я вставал на самом рассвете и уходил на набережные Сены или на главный рынок, в знаменитое «чрево Парижа».

Пустые часы наступали только поздней ночью в маленькой гостинице на Монмартре, в тесном номере со старой мебелью, обитой бордовым потертым кретоном.

Гостиницу держала пожилая парижанка, бывшая цирковая наездница. Несмотря на свои пятьдесят лет, она сохранила гибкость стана, элегантность, и глаза ее по временам вспыхивали так ярко, будто у нее в зрачках поблескивали огни арены.

Во всем, связанном с этой женщиной: в душистом и шуршащем ее приближении, в низком поющем голосе и в узкой руке с тяжелыми кольцами,— она любила ласково трепать нас, своих русских постояльцев, этой рукой по плечу,— был тот парижский шарм, который не поддается объяснению.

Что такое парижский шарм, легко почувствовать, но трудно рассказать. Это то состояние, какое мы, русские, называем старым словом «очарование».

Это слабый и приятный запах легчайшей ткани, волос, перчаток, особый, немного кокетливый наклон головы, скользящий пытливый взгляд, застенчивая полуулыбка, гортанный, вкрадчивый голос.

Хозяйка набрала служащих для гостиницы из старых своих товарищей, вышедших в тираж циркачей: жонглеров, акробатов, партерных клоунов, укротителей и канатоходцев.

Только портье — оливковый малаец с матовыми глазами — был молод. Но вскоре мы узнали, что он тоже не может работать в цирке из-за сломанной ноги.

В полном соответствии с таким составом служащих гостиница весь день пела, высвистывала модные песенки, щелкала пальцами, как кастаньетами, танцевала, заразительно и хрипло хохотала, как умеют хохотать только клоуны, и иногда из глубины коридоров вдруг раздавался львиный рык, вопли попугаев, пение жаворонков и колокольный звон. Это старый звукоподражатель — коридорный служащий Жульен развлекался сам по себе, жонглируя при этом шляпами и несессерами постояльцев.

В маленьком ресторане при гостинице все стулья были так расшатаны, что на них просто опасно было садиться: на спинках этих стульев бывший акробат — кельнер Тото учил гостиничных мальчиков (их почему-то в гостинице было очень много) делать стойку на одной руке.

Кроме нас, нескольких русских, в гостинице жил еще толстый пожилой шотландец в клетчатой юбочке. Цветом лица он был похож на молочно-розовый, йоркширский окорок.

Шотландец не боялся нравов гостиницы. Наоборот, судя по его сияющему лицу, вся эта цирковая кутерьма ему нравилась. Все свободное время он просиживал в крошечном холле, заставленном белыми и красными цикламенами. Там он играл в карты с полуглухой старухой — уборщицей. Когда он выигрывал, то так хохотал, что старуха испуганно крестилась

С нами шотландец прекрасно объяснялся при помощи преувеличенной мимики, жестов и ужасающего французского языка. Можно было подумать, что шотландец приехал в Париж из своей туманной страны только затем, чтобы перекинуться в карты с уборщицей и интересоваться чужими делами. С азартом и бурным волнением он следил за нашим знакомством с Парижем, советовал, объяснял, сокрушался, как будто удача нашей поездки была целью его жизни.

Самые дешевые сувениры, вроде липких оберток от московских конфет, приводили его в экстаз. Он считался гостиничным чемпионом по добыванию сувениров. Даже лифтер по прозвищу «Пти-Пьер» — мальчик-гримасник в нарядной синей курточке с золотыми пуговками — не собирал столько сувениров, сколько шотландец. А между тем Пти-Пьер охотно хватал все, вплоть до завалявшихся в карманах наших пиджаков билетов московского метро.

От Пти-Пьера мы узнали, что где-то на старых крепостных валах («фортификасьон», как певуче называл их Пти-Пьер) есть дешевое кафе, где идет обмен сувенирами и устанавливается на них твердая обменная цена. Так, например, за один спичечный коробок с видом Арбатской станции метро дают три коробка с видом станции «Аэропорт», а за открытку с видом Царь-пушки можно выменять значок с гербом города Парижа.

Пти-Пьера держали в гостинице, очевидно, только для вящего оживления. Ему совершенно нечего было делать. В стеклянной граненой, как стакан, кабине лифта, пышно

отделанной бронзой, с трудом помещался только один, и притом худой, человек. В лифт надо было вжиматься, пятясь и держа руки по швам, иначе в нем нельзя было повернуться. Шотландец, например, не мог пользоваться лифтом. Он просто не влезал в него по своим габаритам. Но это обстоятельство его нисколько не сердило.

Поэтому занятия Пти-Пьера сводились к тому, чтобы вызывать сверху пустой лифт и по любому поводу прыскать от смеха. Поводов для этого было достаточно.

Например, один из русских в первый же вечер приезда в Париж бродил по городу до поздней ночи, устал до изнеможения и уснул на скамье на бульваре около ворот Сен-Дени.

В четыре часа ночи его привел в гостиницу пожилой бравый «ажан». Иначе русский мог бы заблудиться, как говорил Пти-Пьер, «на всю жизнь». Вот это номер, а!

Ажан долго обсуждал с портье-малайцем этот случай в то время, когда русский уже спал в своей комнате глубоким сном.

— Я сразу же догадался,— говорил ажан и подмигивал,— что это не какой-нибудь наш бульвардье. Он спал, как бебе, этот большевик из Москвы. На бульварах редко так спят. Страх заставляет людей все время ворочаться и просыпаться. Утром я к вам наведаюсь, узнаю, как он себя чувствует. Это не будет с моей стороны неучтиво?

— О-о-о! Конечно, нет! — восклицал приторный портье.— Возможно, что он даже угостит вас чашечкой кофе и аперитивом. Русские — щедрый народ!

— Если у них есть деньги,— замечал ажан, выжидательно глядя на портье, будто тот мог знать содержимое бумажника у русского.

— Натурально! — соглашался портье.— Если у них есть чем пошуршать в кармане.

Утром случилось нечто невероятное: русский не только угостил ажана в ресторане при гостинице чашкой кофе, но подарил ему бутылку настоящей русской водки.

Это событие было равносильно сильнейшему взрыву газа (в Париже газ взрывается в квартирах то тут, то там по нескольку раз в день). Вся гостиница, а потом и весь окрестный квартал шумели об этой бутылке водки до вечера. Каждый из служащих гостиницы довольно ясно, но по-разному рисовал себе торжественную картину распития русской водки в семье ажана. Смеху не было конца. Во всяком случае, Пти-Пьер весь день прямо скисал от смеха.

В небольшом круглом зале стоял зеленоватый сумрак. Посетители молчали. Только из сквера за окнами доносились требовательные крики детей.

Среди зала на постаменте возвышалась мраморная загадка — обнаженная женщина с отбитыми руками.

Для всех посетителей было совершенно очевидно, что на протяжении многих сотен лет еще не было создано человеком ничего более прекрасного. И будет ли создано впредь, неизвестно. Поэтому посетители говорили вполголоса.

Молодая изможденная женщина крепко держала обеими руками за локоть дряхлого старика и тихо, сердясь, говорила ему:

— В наше время уже нет таких женщин. Нет! Перед ней мы выглядим просто уродками, прачками. Где же твоя непрерывная эволюция к лучшему? Ты потратил жизнь, чтобы ее доказать.

Старик молча смотрел, подняв голову, на Венеру Милосскую.

— Мы стали за эти сотни лет гораздо хуже,— жестко сказала женщина.— Напрасно было просиживать всю жизнь за столом и писать книги о будущей красоте человека. К чему ты их писал? Обманывал самого себя! Пойдем отсюда! Тут для тебя слишком душно.

— Посади меня здесь и уходи,— тихо попросил старик.— Может быть, мне повезет, и я умру около нее.

— Ты давно уже об этом думаешь,— сказала, вздохнув, женщина, неожиданно наклонилась и ласково поцеловала у старика жилистую руку.— Как хочешь. Я зайду на час в магазин «Самаритэн» около Нового моста. Потом приду за тобой, мой милый.

Она подвела старика к банкетке — неудобному дивану без спинки — и ушла.

Старик сел, оперся ладонями о набалдашник палки и замер. Служитель внимательно посмотрел на него и отвернулся.

Я сел рядом. Старик зашевелился и сказал, не глядя на меня, очевидно, самому себе:

— Ей нужно солнце, а не этот пыльный зал. Солнце! Чтобы ветер шевелил волосы.

Он стих. А я, глядя в глаза богине, подумал, что старик высказал простую и потому наивную истину. Поэтому, уходя, я сказал старику:

— Вы совершенно правы, мосье. Надо верить в совершенствование человеческой природы. Именно так следует думать.

— Благодарю вас,— устало ответил старик и даже чуть привстал, опираясь на палку.

Я вышел из Лувра на площадь, раскаленную сентябрьским полуднем. В тенистом сквере я сел около статуи Агасфера, прислонился к спинке скамейки и закрыл глаза. Тотчас мысли, как солнечные зайчики, помчались передо мной в красноватом мраке.

Если в жарком дне может быть избыток света, то он воплотился в этой мраморной женщине. В нее были влюблены без памяти тысячи мужчин и женщин, но никто не знал, кого из земных обитателей неведомый скульптор взял за образец для этой бессмертной статуи.

Мне уже казалось, что только для нее южные моря набегали зеркалами воды на песчаные пляжи. Для нее кружились в небе стаи легких птиц. Для нее гремел прибой около крутых базальтовых мысов, для нее рождались рыдающие строфы стихов, а по ночам облака останавливали только для нее свой бег и загорались снежным светом в магической высоте вселенной.

Все для нее! Великие гуманисты склонялись перед ней так же, как и великие циники. Непонятное беспокойство поселялось в сердце у каждого, кто слишком долго смотрел на ее сильные плечи и твердые, девственные груди. Потому что в этих плечах, в повороте шеи, в каждом пальце ее ног было заключено совершенство.

Достичь совершенства в своей работе, дойти до предела — большое счастье, но вместе с тем и опасность. Она заключается в том, что нельзя оставаться на вершине, никуда не двигаясь. А любое движение может увести только вниз.

В этом трагедия людей, достигших совершенства. Вниз они идти не хотят, а вверх не могут.

В связи с этими мыслями мне стала понятна гибель французского скульптора Аристида Майоля. О ней ходили по Франции легенды. Может быть, то, что я пишу, тоже легенда, но, в конце концов, это не так уже важно.

Статуи Майоля, особенно головы и торсы женщин, отличались соединением изящества и силы. Откуда бы зри-

тель ни смотрел на эти статуи, повсюду он видел ту чистую линию, которую в старину любили называть божественной.

Но после семидесяти лет Майоль не мог уже создать ничего, что превысило бы его шедевры. Старик Майоль достиг вершины. Он не захотел спускаться с нее и предпочел умереть.

Однажды Майоль, живший в одном из пригородов Парижа, незаметно спустился ночью в гараж, сел в машину и повел ее к берегу океана. Он вел ее к любимому месту около Этрета, где суша обрывалась в воду отвесной скалистой стеной.

Вблизи океана Майоль дал машине бешеную скорость, и машина, пролетев несколько десятков метров по воздуху, упала с большой высоты в океан. Это видели только рыбаки из Этрета, ставившие верши на омаров.

Тело Майоля и изуродованную машину искали очень долго.

— Простите, мосье, вы что-то уронили,— сказал рядом слабый женский голос.

Я вздрогнул и открыл глаза. Оказывается, я задремал. Уронил я план Лувра. Перечень залов на обороте этого плана приводил меня в замешательство, представлением о несметных живописных богатствах, что хранились в этом низком и величественном здании.

Рядом со мной сидела старушка в черном стареньком платье, черных заштопанных митенках и маленькой, как гнездо, старомодной шляпе. Таких старушек французы ласково зовут «кокинель», что в переводе на русский означает «божья коровка».

Старушка быстро вязала детский чулок и поглядывала поверх очков на своего внука, неуклюжего мальчика, игравшего на куче песка.

Я поблагодарил старушку, поднял план и начал прислушиваться к частым и коротким птичьим возгласам бабушек, молодых матерей и нянек. Эти возгласы как бы непрерывно скакали вокруг меня по всему скверу.

Эти возгласы были точно такими же, как и во всем остальном мире. Если бы перевести их на наш язык, то мы получили бы полный набор угроз и запрещений: «Куда ты пошел?», «Вернись сейчас же!», «Вот погоди, я расскажу отцу!», «Кончится тем, что я тебя отшлепаю!», «Нельзя бросаться песком!», «Не пачкай рубашку!», «Пойди сюда, я тебе вытру нос. Стыд и срам!»

Но мне казалось, что в этих международных возгласах здесь, в Париже, присутствует некая особая элегантность. Возможно, что она зависела от мелодического речитатива и грассирования парижанок.

— Вы иностранец? — неожиданно спросила старушка, не подымая глаз от вязанья.

— Да. Я русский.

— Неужели из Москвы?

— Да, из Москвы.

Старушка отложила вязанье, молитвенно сложила руки в митенках и запела.

— О-о-о! — пела она.— Как это приятно! Как это очаровательно! Ах, как я рада увидеть русского из Москвы. О-о-о! Вы приехали во Францию на «Победе»? Ну да, конечно! Я читала об этом в сегодняшних газетах. Это такая чудесная встреча! У меня сестра живет в Ленинграде. Она вышла замуж за русского, когда ей было двадцать лет. А теперь ей за шестьдесят. Она пережила, как это говорится, блокус, блокаду. Ах, какое я испытываю удовольствие от встречи с вами!.. Шарль! — вдруг крикнула она иным — грозным и трезвым — голосом.— Не отнимай у этой крошки лопаточку! Эгоист!

Старушка спросила меня, кто я и как меня зовут. Она пела и восхищалась все сильнее по мере накопления знаний обо мне, хотя, конечно, ничего обо мне не слыхала и не могла слышать. Но она делала вид, что все знает.

Она ужасалась, что я пробыл в Париже всего три дня («Это чудовищно!») и что сегодня вечером уже уезжаю в Гавр с вокзала Сен-Лазар.

Мы расстались со старушкой друзьями. Она кричала мне вслед добрые пожелания и кивала головой.

Вечером, когда автокар подходил к вокзалу Сен-Лазар, я забыл об этой встрече и потому был просто ошеломлен, когда увидел на перроне мою старушку в нарядной тальме, с большой картонной коробкой в руках.

Вокруг старушки уже стояла толпа ленинградцев, и она — раскрасневшаяся, с глазами, смеющимися от счастья,— рассказывала им что-то, должно быть, забавное, потому что обычно холодноватые ленинградцы улыбались, а некоторые даже смеялись.

Старушка увидела меня, бросилась навстречу и протянула мне маленькую сморщенную руку. Я поцеловал эту руку, исколотую иголками и истертую нитками,— руку бабушки из бедной парижской семьи.

— Это вам на дорогу,— сказала старушка и протянула мне картонную коробку.— Крошечный подарок. Откроете коробку в купе. Я так счастлива, будто сама еду к сестре в Ленинград.

Напоследок она расцеловалась со мной и со всеми, долго махала вслед поезду маленьким кружевным платочком и часто прижимала этот платочек к глазам.

Мимо окон неслись темные виадуки, мосты, неся железный грохот стрелок и колес, но я долго не мог успокоиться. Поэтому я не заметил, как мои соседи по купе мгновенно распечатали коробку. В ней были виноград, груши, яблоки, бананы и матовые белые сливы. Все это было съедено так стремительно, что я едва успел перехватить одну грушу.

Поздней ночью, когда поезд проваливался во мрак, густо исколотый электрическими огнями, я обнаружил пропажу папиросной коробки, на которой записал имя и адрес старушки. И внезапный гнев на себя сжал мне горло.

В Париже я вставал на рассвете и шел на главный рынок — единственное место, где в такой ранний час уже начиналась жизнь.

Из открытых окон кое-где пахло свежесмолотым кофе. Над просыхающими после поливки бульварами висел сиреневый пар. Ажаны в синих коротких пелеринах дремали, прислонившись к газетным киоскам.

За несколько кварталов до рынка, примерно за перекрестком, где находилось кафе «Курящая собака», все улицы были уже запружены разноцветными грузовыми машинами с фруктами, овощами, мясом, битой птицей, яйцами, рыбой, брюссельской капустой — со всей снедью, какую привозили в Париж не только из всех департаментов Франции, но и со всего мира.

Среди этого застывшего потока машин пешеходы пробирались с трудом. Мостовая по косточку была завалена рваной бумагой, банановой кожурой и мелкой стружкой из распакованных ящиков.

Дальше машины пройти не могли. На этих тесных улицах — подступах к рынку — был устроен перевалочный пункт. Отсюда продукты перегружались на ручные тележки и перевозились на рынок.

По мере приближения к рынку, к его огромным кры-

тым павильонам на чугунных столбах улицы делались чище, а запахи — сильнее. Крепко пахли цветы, апельсины, грибы, укроп, но особенно резко рыба и устрицы. Казалось, что где-то рядом раскатывается по гранитной мостовой теплое море, выдыхая йодистый запах водорослей.

Устрицы лежали в круглых ивовых корзинах, переложенные битым зернистым льдом. Атлантическая тина опутывала их зеленой паутиной.

Люди в резиновых сапогах кололи на прилавках глыбы льда. Его мельчайшие осколки разлетались фонтанами и таяли на лице, как роса.

Омары шевелили длинными китайскими усами. Рыба в цинковых корытах еще дышала: на нее лилась из кранов холодная вода.

В рыбном павильоне толпилось много монахов и монахинь. Очевидно, наступил католический пост. Старые монахини покупали рыбу и крикливо торговались, а молоденькие грузили рыбу на ручные тележки, опускали глаза в ответ на игривые замечания мужчин и краснели от мимолетного соблазна.

В мясном павильоне лежали рядами могучие кабаньи головы. Они были чисто вымыты. Розовый жир просвечивал сквозь их тугую кожу. Казалось, что лучшие парижские куаферы выбрили их, спрыснули одеколоном и обрядили для продажи. Кабаньи зубы блестели, будто начищенные лучшей пастой «Пальмолив». В зубах у них пылали багрянцем пышные розы.

Но самым таинственным был, конечно, рынок цветов. Он ударял из-за угла обвалом густых переплетающихся запахов. Он поражал всеми красками, какие возможны в природе. Эти краски были необыкновенно яркими и вместе с тем нежными.

Иногда я чувствовал в духоте павильона холодноватое прикосновение цветов к своим горячим рукам.

Во влажной тесноте и сумраке этих цветочных Монбланов еще продолжалась недавняя их жизнь в рыхлой садовой земле. Неудачники-шмели, завезенные на рынок вместе с цветами, сердито жужжали. Это был чудесный звук — жужжание шмеля среди многоголосого говора и отдаленного протяжного гула Парижа.

Осторожно качались листья, поворачиваясь к городскому дымному солнцу. Блестел в лепестках живой солнечный луч.

Было много незнакомых причудливых цветов, но много и старых знакомцев. Здесь они казались незнакомыми только потому, что у нас они росли на воле, а не на пышных клумбах.

— Смотрите,— радостно сказал мой спутник,— вот наши бархатцы!

Среди надменных цветов я действительно увидел наши простые украинские бархатцы.

— Да, мосье,— произнес женский голос. Я оглянулся. Позади нас стояла пожилая, бедно одетая женщина с кошелкой.— Это правда — наши бархатцы. Вы послушайте, каково они пахнут! Вы из России?

Женщина жадно смотрела на нас. Она поднесла худую руку ко рту, и рука у нее дрожала.

— Из России.

— А вы были когда-нибудь в такой город... Херсон, мосье?

— Был, но давно.

— Мои дети родились тут,— сказала женщина и вдруг заплакала.— Меня привезли во Францию сорок лет назад. Мон мари есть француз. Он служил шофер. Он умер. Я давно иду за вами и слушаю русские слова. Извините, что я плачу, мосье, но я начала не помнить русски... язык. А кто не помнит родной язык, тот есть самый бедный, самый нищий человек, то есть орфелен... как это?.. сирота в этом мире. Мои дети уже не говорят по-российски. Россия для них — как ночь, ком нюи... Когда я вспоминаю Россию, они не хотят слушать. Им скучно. В Херсоне я бегала девочкой на Днепр. Я была веселой, черной. Я была такой певицей, что меня звали... как это?.. канари... канарейка. Мы, девочки, клали бархатцы себе в волосы. Это было красиво. Очень! Как сказать... тре бо, тре грасье...

Она быстро говорила несвязные эти слова, слезинки текли из ее глаз, она смахивала их пальцем и все так же жадно смотрела на нас. Прохожие оглядывались. Нам стало тяжело, хотелось поскорее уйти. Женщина как будто поняла это. Она взяла меня за руку выше локтя и сказала:

— Не надо бояться. Я сейчас ухожу. Один момент...

Она смотрела на нас с такой мольбой и влюбленной нежностью, что я почувствовал, как колючий клубок начинает давить мне горло.

Женщина выпустила мою руку, резко повернулась,

быстро пошла, почти побежала, не оглядываясь, и исчезла в первом же проходе среди павильонов.

Несколько мелких морковок упало у нее из кошелки, но она или не заметила этого, или не захотела остановиться, чтобы их поднять. Она бежала от нас, будто спасалась от догонявшей ее беды.

Я смотрел ей вслед и думал, что человек не в силах убежать ни от самого себя, ни от своей родины.

Прав был Тургенев, когда писал, что Россия может обойтись без каждого из нас, но никто из нас без нее обойтись не сможет. Горе тому, кто этого не понимает; двойное горе тому, кто действительно без нее обходится...

На набережной Сены против острова Ситэ и собора Нотр-Дам сидели рыболовы с длинными удочками. Клева не было. Поэтому большинство рыболовов читали газеты, а некоторые спали, прикрыв лица шляпами. Их, очевидно, усыплял серый блеск реки.

Я смотрел на рыболовов с верхнего каменного парапета, вдоль которого прятались в тени лавочки букинистов.

Рядом со мной стоял, облокотившись на парапет, маленький щетинистый старичок в пыльном берете и порыжелых подкованных бутсах. Он искоса поглядывал на меня, а я искоса поглядывал на него, не решаясь заговорить с ним.

Заговорил первым старик.

— О-ля-ля! — сказал он и щелкнул языком.— Вы, я вижу, иностранец, мосье, и потому, может быть, думаете, что эти оригиналы там, внизу,— старик показал на рыболовов,— могут поймать какую-нибудь рыбу? Ни-ко-гда!! Это я говорю вам, я, Шарль-Антуан Пиго. Если раз в неделю один из них вытащит из воды вот такую сардинку — не длиннее спички,— то об этом печатают даже в «Фигаро». Так же, как и о насморке президента господина Коти. Иной раз печатают еще и портрет такого счастливчика-рыболова.

Я засмеялся, а старик сказал тоном, не допускавшим возражений:

— Вы русский! Я давно догадался. Но вы не эмигрант.

Узнав, что я из Москвы, старик протянул мне шершавую, как кирпич, руку, потом похлопал меня по плечу, и глаза его вдруг исчезли в провалах глубоких морщин, набежавших вместе с улыбкой на пергаментное лицо.

— Я каменотес,— сказал старик.— Я уже не могу работать. Стар. Меня содержит мой сын. Он работает на заводе Рено. Сколько я обтесал красивых балюстрад, капителей, картушей и барельефов для парижских зданий, мостов и даже для Версаля,— там уже давно идет реставрация,— никто не знает. И я сам не знаю. Я не вел записей своей работы, мосье. А каждый человек должен, помоему, знать, сколько он сделал для своего народа. Как вы думаете? У вас это, кажется, знают. А у нас нет.

Мы зашли со стариком в маленькое кафе на панели, где терраса была густо завита плющом. Его только что обильно полили, и теплые капли все время падали нам на головы и руки.

Мы выпили в кафе так называемый «пшик» — удивительную газовую воду. После нее появляется на несколько минут такое же ощущение, как после купания в реке.

Зной накапливался над Парижем. Жара была просто видна и напоминала угар. Мне казалось, что я смотрю на город через желтый светофильтр.

Старик вскоре ушел: невестка поручила ему купить пол-литра оливкового масла.

Прощаясь со стариком, я испытывал состояние внезапного и тесного прикосновения к чужой и, очевидно, скудной жизни, с ее полулитром оливкового масла, с ее неведомым для меня бытом. Далекими и не всегда понятными корнями быт этот уходил в прошлое Франции.

И вместе с тем старик казался мне давнишним, старым знакомцем. Он ничем не отличался от любого простого человека какой угодно страны.

Мы были во Франции в тяжелый 1956 год. Но с полной наглядностью каждый из нас обнаружил великую истину, говорившую, что простой народ любой страны никогда не может быть враждебен простому народу других стран и что эта вражда живет, как отвратительный яд, только в сознании политиков, маклаков и авантюристов.

Мы, русские, всегда глубоко любили французов и эту свою любовь высказывали просто, искренне, даже подчас неумело, на каждом шагу.

Французы как народ заслуживают нашей великой благодарности за все: за солидарность, братство, за веселье, за ясный и точный ум, за умение ценить жизнь, работать и отдыхать, за человечность, за галльскую отвагу, любовь к свободе, за честь и национальный гений.

Я попрощался со стариком, вернулся на набережную и остановился около первого же букиниста.

Он спал, сидя на низенькой ковровой скамейке. Около него дремал откормленный рыжий кот.

Кот зорко следил через узенькие щелочки глаз за всем, что происходило вокруг, и каждый раз сердито дергал ушами, когда на Сене весело покрикивали пассажирские катера (их зовут в Париже «мухами»).

Букинист спал, измученный жарой. Он просыпался только в том случае, когда его будили покупатели.

Около прилавка теснились любители книг. Они брали книги, просматривали их и бережно ставили на прежнее место. Некоторые садились на каменный парапет и начинали читать с таким увлечением, что тотчас же глохли и слепли. Правда, большинство этих увлеченных читателей были мальчики.

Уходя, мальчики опускали в сигарную коробку у ног букиниста несколько монет оловянного цвета, легких, как картон. То были новые франки. Говорили, что изготовление таких монет обходится государству дороже, чем их стоимость.

С первого же взгляда на лавку первого же букиниста я понял, что могу простоять здесь весь день, но вряд ли успею рассмотреть все выставленные книги, старые иллюстрированные журналы, открытки, эстампы, карты, акварельные рисунки и гравюры с желтыми крапинками плесени на полях.

Тут были книги на всех языках мира. Были книги всех эпох.

Нужно было потратить, пожалуй, большую часть жизни, чтобы, живя в Париже, перерыть на набережных Сены эти груды человеческой мысли, оттиснутой на бумаге всех качеств и оттенков — от желтоватой «верже» до трескучего пергамента и от меловой бумаги дорогих изданий до бумаги такой тонкой, что страницы в книге надо было не переворачивать, а осторожно отдувать одну от другой.

Над развалом книг шелестели прохладные кроны платанов. Запах переплетов (соединение запаха клея, краски и времени) сливался с вяжущим и холодноватым дыханием тины с берега Сены.

Из этой тины бежали на поверхность воды цепочки воздушных пузырьков, так же как на любом торфяном озере где-нибудь у нас в Рязанской области, в далеком отсюда Мещорском крае.

В Париже я по временам очень отчетливо представлял себе этот край. Я любил вызывать его в своей памяти. Я уже грустил о нем, хотя и старался скрыть даже от себя эту грусть.

Знакомство с Парижем придавало любви к своим русским местам особое очарование. Я знал, что вернусь к себе обогащенный знакомством не только с Парижем, но и с другими странами. И вот тогда-то, вернувшись, я и почувствую самую сильную и самую нежную любовь к каждой прожилке на сыром листочке ольхи, тогда-то и узнаю окончательную неразменную прелесть России, туманной, машущей в лицо тысячами километровых столбов.

Наш русский туман не совсем такой, как резкие туманы Запада, как высокие туманы здешних морей. Наш туман — это синеющая дымка. Она порождена огромной глубиной равнинного кругозора с его реками, заводями, лесами и перелесками.

Я вспоминал мое советское отечество на набережных Сены. Неожиданно передо мной открылось в новом качестве ощущение своей страны. Оно неизмеримо больше и сложнее, чем мы думаем. Оно стесняет дыхание, как сердцебиение.

Нельзя ничего отделить от чувства своей страны, даже любовь к женщине. Эта любовь расцветает для нас под небом именно нашей России и каждой своей — то счастливой, то печальной — минутой связана с ней. Понятие родины вмещает все, что может вместить наша жизнь.

В Париже я понял, что знакомство с этим мировым городом усилило мою любовь к России, к какому-нибудь трогательному гусиному городку Елатьме или бормочущей на перекатах речонке Мге. Как будто кто-то невидимый положил на весы моей любви к России еще одну драгоценную маленькую гирю, сделанную в Париже.

Все увеличивало эту любовь, все — вплоть до садов Версаля. Они сияли своей геометрической пышностью и будили молчаливую память о скромных провинциальных садах, где на закатах пахнет сырой крапивой и мятой.

Только побывав на чужбине, можно до конца понять слово «свое». Запах земляники, рыжие глиняные косогоры, стук копыт по лесным гатям, свист соек — это все «свое». То «свое», что всегда дает умиротворение и переполняет сердце нежностью.

С тем большей жадностью я погружался в жизнь Парижа, и у меня все чаще замирало сердце от предчувствия неизбежной и скорой встречи с лиственным золотым водопадом в пустующих далях Оки.

Очевидно, у каждого букиниста есть свои склонности, и он скупает и продает книги в соответствии с ними. Например, тот первый букинист, около которого я остановился, был большим любителем географии и путешествий.

Дряхлые географические карты с видами на полях безлюдных поселений Южной Америки или Африки, где улицы заросли могучими агавами, с ландшафтами знаменитых водопадов и поднебесных гор лежали на прилавке рядом со старыми картами, отпечатанными в Англии. Они были выгравированы очень чисто и тонко, а на одной из них — тоже па полях — были рисунки прославленных английских кораблей, таких, как «Бигль» и «Белерофонт».

Среди карт я нашел выцветший рукописный план среднего течения реки Конго, составленный безвестным французским лейтенантом — первым европейцем, проникшим в те девственные страны.

На плане были отмечены красными крестиками все места, где у этого лейтенанта случались приступы беспощадной желтой лихорадки.

План не был закончен. Там, где он обрывался на глухом изгибе реки, был нарисован большой крест и написано корявым почерком, что в этом месте лейтенант умер и тело его было «возвращено земле».

Особенно много у моего букиниста было книг об экваториальных колониях Франции: Мадагаскаре, Новой Каледонии, островах Таити и Реюнион, пряных и смертоносных землях Конго, о Французской Гвиане. Среди этих книг было несколько роскошных альбомов. От их меловой бумаги и цветных иллюстраций исходил тропический зной. Как будто был даже слышен усыпляющий запах незнакомых плодов. Удлиненные глаза островитянок казались туманными от лазоревых воздушных потоков, что лились над океаном, беспрерывно меняя свою плотность и направление

То была чистейшая экзотика в ее девственном виде, еще не омраченная колониальной мерзостью. По существу, это был мир детской фантастики. Отважные французские лейтенанты, умиравшие от тропических миазмов в дебрях

Африки, не подозревали, что они прокладывают в сердце Черного континента широкий путь для насилия, наживы, сифилиса, водки, опустошения земли и попрания элементарной человечности.

А пока что Нигер волочил свою тяжелую воду в вечерней тишине, и солнце закатывалось в поющих песках Сахары.

Эта тишина пустыни и почти неправдоподобная ясность воздуха похитили у Французской республики много солдат. Почти каждый месяц из блокгаузов и фортов, расположенных на границе пустыни, солдаты и офицеры уходили в Сахару и нередко не возвращались обратно. Они заболевали неизлечимой «пустынной» болезнью. То был психический удар, шок, когда тишина пустыни действует на нервных людей с наркотической силой. Люди уходят в пустыню все дальше и дальше, как зачарованные, и вскоре или сходят с ума, или умирают.

Потом я долго перелистывал книгу о парусных кораблях. В ней было напечатано множество фотографий барок, баркантин, фрегатов, шхун и клиперов. Все корабли были сняты в движении, в тугой снежной белизне надутых парусов и казались мне привидениями из наивного детского мира.

Книги во Франции очень дороги. Поэтому я перелистал книгу о кораблях и положил ее обратно. Я не мог ее купить.

Не мог я купить и альбом пароходов — довольно старый. В него были вклеены желтые, цвета жидкого кофе, фотографии первых трансатлантических великанов: «Титаника», «Левиафана», «Иль-де-Франса».

Недавно я прочел в «Юманите»,— я пишу этот очерк в марте 1959 года,— что знаменитый «Иль-де-Франс» был продан на слом в Японию.

Когда он уходил в последний рейс в Нагасаки, весь Гавр пришел в порт проводить морского ветерана. Под прощальные гудки всех пароходов «Иль-де-Франс» вышел в океан. Десятки буксиров и сотни лодок сопровождали его до плавучего маяка. В парижских газетах появились траурные заголовки: «Иль-де-Франс» идет умирать!» Старые моряки плакали. Лет пятьдесят тому назад этот пароход был гордостью Франции и считался чудом кораблестроения.

Я боялся, что досада из-за невозможности купить книги отравит короткое пребывание в Париже. Поэтому я ре-

шил не останавливаться больше около букинистов. Но это оказалось свыше моих сил.

Я подолгу рассматривал превосходные репродукции с картин Утрилло, Дерена, Матисса, Марке, рассматривал старые книги с тончайшим и запутанным золотым тиснением на переплетах и пересохшие рукописи.

В рукописях рылись неслыханно вежливые старики академического вида с подстриженными бородками.

Ни у одного из букинистов на набережных Сены я не видел тех кокетливых, как бы подмигивающих мужчинам журналов, которые получили общую кличку «ню». Их в Париже выходит довольно много. Это журналы «женской наготы». Они печатают сотни фотографий полуобнаженных или совсем обнаженных женщин с застывшей на губах призывной улыбкой.

Нет, букинисты с набережной Сены, видимо, не торговали такими журналами. Традиции Анатоля Франса еще сохранились здесь. Почти все букинисты помнили высокого учтивого старика со смеющимися глазами — господина Франса, сына книготорговца Тибо. Да, это был человек, умевший извлекать из старых фолиантов настоящие литературные клады!

Меня водил знакомить с букинистами молодой французский писатель и поэт, очаровательный человек, коммунист Пьер Гамарра. Пьер Гамарра — уроженец Тулузы. Он был застенчив, как школьник, трогательно ласков, но очень строг в своих литературных оценках.

После посещения букинистов он показал мне здание библиотеки Мазарини. Оно заросло плющом так густо, будто на плечи этого старинного дома была накинута зеленая шуба.

Потом в узенькой улочке он показал мне дом, где живет Пикассо,— очепь тесный и небогатый дом, где, должно быть, кроме Пикассо, жили только одни студенты.

Перед нашим отъездом из Парижа Гамарра зашел к нам в гостиницу, и мы подарили ему, кроме книг, еще большую банку с паюсной икрой и при этом смутились. Гамарра сказал, что до тех пор он только слышал об этой замечательной русской икре, но вот его жена один раз даже видела эту икру и несколько раз рассказывала об этом ему и мальчикам-сыновьям.

Он засмеялся, и, глядя на него, на его худое милое лицо и старый, но чистый костюм, я понял, что во Фран-

ции писательский путь к признанию не менее труден, чем во всех остальных странах, не считая, конечно, нашей страны. У нас, пожалуй, он даже слишком легок и прост.

Я совершенно не собираюсь передать в этих беглых заметках облик Парижа. Я был в нем мимоходом. Самое главное, что я вывез из этого изумительного города,— любовь к нему и желание изучать его все больше и больше.

Для этого нужно много времени, а его никогда не хватает. Времени всегда остается в обрез именно тогда, когда мы встречаемся с интереснейшими местами, людьми или явлениями.

Для познания Парижа, равно как и всего мира, человеку нужно свободное сердце, ясный разум, доброжелательство к другим народам и, конечно, отсутствие бахвальства и самомнения.

Нужно сердце, не отягченное недоверием и страхом, и разум, не знающий пристрастия и скептицизма. Люди, ищущие поводов для недовольства, никогда не узнают простой истины, что в конечном счете жизнь хороша.

Я был в Париже так недолго, что не имею права говорить о нем больше, чем сказано здесь. Но я оставил в нем частицу своего сердца. Это обстоятельство в какой-то мере может оправдать мои короткие заметки.

Париж существует как нечто цельное, огромное, залитое дымным солнечным светом, сверкающее блеском окон, витрин, листвы, головокружительно высокой голубизной неба и зеленью тех парков, где всегда пахнет весной — сначала подлинной, а потом той, что сочится с запахом фиалок из теплиц, цветочных киосков и кафе.

Говорят, этот запах можно услышать в Париже даже в сырые зимние дни.

В Версаль я попал в трескучий от сухих листьев сентябрьский день. Розоватый, едва тронутый линялым золотом дым подымался над кущами деревьев и отражался в застывшей воде бассейнов.

Где-то за спиной, разрастаясь и затихая, накатывался парижский прибой. Он усыплял немногочисленных посетителей версальских садов. Они дремали на легких деревянных скамьях, подставляя лица затушеванному туманом солнцу.

Вообще Версаль несколько запущен и довольно пустынен. Все покрыто налетом старости. Мутноватые стекла, почернелая позолота рам, изумительные по рисунку, но потерявшие блеск паркеты, легкая запыленность статуй, мебели и радужных стекол, неподвижность воздуха в залах — воздуха старого, сухого, пахнущего лаком, вода бассейнов, как бы подернутая тончайшей паутиной,— все это свидетельствует, что у правительства Франции не хватает средств, чтобы содержать в порядке эти величественные, единственные в мире ансамбли тронных и бальных зал, шелковых гостиных, зеркальных галерей, садов, террас, парядных капелл и мраморных лестниц.

Даже на знаменитом столе, где был подписан после первой мировой войны Версальский мирный договор, лежит пыль. Под ней тускло проступает великолепный узор инкрустации.

При взгляде на этот стол начинаешь понимать реактивный полет времени за последние годы.

Время в разные эпохи движется с разной быстротой. Во всяком случае, за последние сорок лет его движение стало молниеносным. Каждое пятилетие сделалось равным целому веку недавней идиллической жизни. Полет времени настолько головокружителен, что наше сознание отстает от него.

У правительства не хватает денег, чтобы поддерживать Версаль. Значительная часть ухода за Версалем падает на плечи частных лиц. Существует Общество охраны Версаля. Денег у этого общества мало. Оно устраивает в летние месяцы концерты и спектакли, используя в качестве декораций пышные залы и галереи Версаля.

Во время этих вечерних спектаклей Версаль как бы воскресает в прежней нарядности и озаряется тысячами огней.

Весь доход от этих спектаклей идет на содержание и реставрацию Версаля. В эту работу вложено много бесплатного труда художников, скульпторов, позолотчиков, резчиков по камню, мебельщиков и людей других профессий, связанных с сохранением Версаля.

Все эти люди — скромные патриоты. Если бы не они, то Версаль постепенно превратился бы в руины.

Тишина таких мест, как Версаль, известных всему человечеству, действует на нас с неотразимой силой. Прежде всего она вызывает мысль, как говорили в старину, о «быстролетности нашей жизни».

Поколения сменяются, а здания надолго переживают их. Только ступени лестниц заметнее всего стираются от человеческих шагов. В Версале мысли об отшумевших событиях и людях ходят следом за вами, как призраки.

Глубокая немота застоялась, как сумрачная вода в огромных бассейнах, деревья теряются во мгле. Падают сухие листья. Но никто уже не размышляет над их падением, как это делали наивные философы восемнадцатого века.

Единственный хозяин (правда, в будние дни) этих садов — тишина. Ее можно слушать без конца. Ее оттеняет далекий гул Парижа, похожий на равномерный шум исполинского водопада.

В Версале я был утром. А вечером я прочел в одной из парижских газет заметку о том, что на окраине версальских парков были найдены трупы безработного шофера и его сына, мальчика восьми лет. Отец, отчаявшись найти хоть какие-нибудь средства к существованию, застрелил мальчика и застрелился сам, как пишет газета, «в припадке умоисступления». Заметка была озаглавлена: «Ужасающая драма в Версале».

Тишина этих садов скрывала жестокое человеческое горе, скрывала просьбу маленького мальчика о милосердии. Никто из современников не услышал этой просьбы. Великие гуманисты Франции давно умерли: и Гюго, и Золя, и Ромен Роллан. От них остались только могилы с засохшими цветами.

— Такова жизнь! — как любят говорить французы.

А Версаль все равно прекрасен. Он властвует над человеческими сердцами и хранит в тени своих садов сырой запах корней и побегов — запах бессмертия. В Париже его не услышишь.

Однажды в нашу гостиницу на Монмартре пришли две элегантные женщины.

Они попросили вызвать вниз, в маленький холл, где шотландец, обливаясь потом, доигрывал партию в карты с богомольной уборщицей, двух советских писателей: Гранина и меня. За нами мгновенно взлетел в своем граненом лифте Пти-Пьер.

Он вознесся к нам на четвертый этаж с его темным коридором и запахом пыльной лаванды, как из рая в ад, сияющий золотыми пуговками и ослепительными зубами,

подобно маленькому купидону с румяных картин Гвидо Рени.

Победоносно глядя на нас, он сообщил о сказочном счастье, свалившемся в Париже на наши головы: две красивые, как Джина Лоллобриджида, русские дамы хотят нас видеть и ждут внизу.

По некоторым интонациям Пти-Пьера мы поняли, что он не считает нас вполне достойными для знакомства с этими дамами и что его, должно быть, смущает ширина советских брюк. Но, посмотрев на наши брюки, он успокоился и даже пропел какой-то куплет.

Должен сказать, что ширина советских брюк бурно и настойчиво обсуждалась всеми западными газетами, от Стамбула до Стокгольма.

Мы спустились в холл по лестнице (лифт, которому, очевидно, передалось волнение Пти-Пьера, немедленно застрял на четвертом этаже). Пти-Пьер шел впереди нас, как церемониймейстер. На третьем этаже он прогнал с лица улыбку. На втором этаже его лицо приняло надменное выражение, как у самого величественного привратника в Париже из отеля «Ритц».

Навстречу нам встали две русские женщины. Они обе были воплощением изящного смущения. Женщины оказались эмигрантками, двоюродными сестрами, увезенными из Томска в трехлетнем возрасте, давно уже получившими советские паспорта, сотрудницами парижского издательства, выпускающего книги по искусству.

Из газет они узнали о приезде русских писателей и пришли попросить автографы на наших книгах.

Обе женщины, особенно старшая, Лидия Николаевна Делекторская, прекрасно говорили по-русски. Их русский язык был чист, певуч, и это обстоятельство первое время нас несколько стесняло. Мы отвыкли от такого языка. Он нам казался излишне мелодичным. Говорить так мы уже не умели.

В тот день Лидия Николаевна стала помощницей нашего гида. Она превосходно знала Париж и всюду ездила с нами.

Наш же официальный гид — студент Сорбонны, русский юноша из эмигрантской семьи — был просто в восторге от помощи Лидии Николаевны.

Милый и добродушный, этот юноша был неслыханно ленив. Он ходил без пуговиц на пиджаке и в порванных туфлях. Наши сердобольные туристки штопали ему на

ходу в автобусе прорехи па локтях пиджака и пришивали к нему пуговицы.

Из-за своей исключительной лени гид-студент (звали его Сережей) предпочитал отмалчиваться и не давать назойливым туристам никаких объяснений.

Его спрашивали, например: «Что это за памятник молодой женщине с мечом в руке, вон там, на площади?» Гид невозмутимо отвечал: «Откуда я знаю? У французов мания ставить памятники всюду и кому попало».

Если кто-нибудь высказывал осторожное предположение, что это, по всем признакам, памятник Жанне д'Арк, то гид тотчас же соглашался и говорил, что это вполне правдоподобное предположение.

Дальнейшее наше пребывание в Париже было связано с Лидией Николаевной, с ее сдержанной, но открытой улыбкой, с ее быстрым изяществом движений, с ее постоянной тревожной заботой о нас и просто болезненной любовью дарить пам всякие маленькие красивые предметы, какими славится Париж,— от пестрых карандашиков до превосходных репродукций и от микроскопических записных книжек до набора пастельных красок для наших детей.

С ней мы были в Версале и в саду Тюильри, где тень от старых платанов пахнет левкоями и перезрелой травой. Мы были с ней на кладбище Пер-Лашез и в сумрачном Пантеоне.

С ней мы пили крепчайший кофе в маленьких рабочих кофейнях. С ней мы были около Триумфальной арки, где синий огонь вырывался из-под земли над телом Неизвестного солдата (мне всегда казалось, что этот солдат — боевой товарищ Анри Барбюса из его книги «Огонь»).

С ней мы чувствовали легкий подземный холод в Доме Инвалидов над саркофагом Наполеона, высеченным из карельского порфира.

С ней мы разнимали трех подравшихся мальчиков в сквере около Шапель. Их исцарапанные лица горели гневом стремительной драки. Они, как истые французы и кавалеры времен Ронсара, изысканно говорили Лидии Николаевне: «Да, мадам!», «Простите, мадам!» — и тотчас же разошлись в разные стороны, но все же напоследок показали друг другу кулаки

В Париже не хватало гаражей. Машины жили на улицах.

Эти тысячи и десятки тысяч спящих на улицах, лишенных крова машин вызывали почему-то глухую тревогу, как будто сейчас, среди ночи, может начаться война или воздушный налет и машины приготовились к бегству. Но бежать было бесполезно. Бежать было некуда. Атомная бомба сжала земной шар до величины яблока.

С Лидией Николаевной мы любовались на улице Риволи пожилым седеющим ажаном — регулировщиком уличного движения. Он стоял на перекрестке. Потоки машин — реки лакированных молний — проносились в пяти сантиметрах от ажана, но он мирно спал стоя, опустив на грудь усталую голову в синем кепи.

С Лидией Николаевной мы сидели на набережной Сены и смотрели, как Париж кутался в приближавшийся вечер. Свистливый буксирный пароход тащил мимо нас ярко-желтые, как закатное небо, баржи.

Девочка с каштановой челкой предлагала нам теплые от ее рук полумертвые цветы. Мы купили их и отдали Лидии Николаевне. Она отвернулась, и маленькая слеза скатилась на ее лаковую сумочку.

Она молчала. От воды Сены тянуло свежим запахом ивового листа, будто на Оке. И потом, когда мы шли в густых вечерних сумерках по набережной, Лидия Николаевна тоже молчала, и нищие цветы — цветы бедных парижских окраин и задворков — вздрагивали в ее руке.

В этот вечер мы уезжали из Парижа. Один из нас вскользь сказал, что мы многое видели во Франции, но так и не успели посмотреть, как живет обыкновенный француз.

— Я примерно так и живу,— сказала, помолчав, Лидия Николаевна и позвала нас к себе.— За исключением одного обстоятельства.

Мы взяли такси и понеслись по бульварам мимо церкви Мадлен с ее знакомой по рисункам колоннадой, мимо здания Гранд Опера, похожего на торт с завитками из окаменелого крема, через мосты, в сиянии перебегающих с места на место и все время отстающих огней, по обочине Люксембургского сада, дохнувшего в окна перегретой машины холодком шумящей листвы, и наконец остановились у обычного парижского дома с узкой лестницей и молодой консьержкой. Она тотчас же ввинтилась в нас своими пронзительными глазками.

В маленькой квартире комнаты были расположены на разных уровнях. Все окна, когда мы вошли, оказались распахнутыми настежь, хотя в квартире никого не было, кроме черного кота. Оказывается, окна не закрывались все лето.

По комнатам бродил теплый ветер.

Лидия Николаевна щелкнула выключателем. Вспыхнула люстра, и я невольно вскрикнул: комнаты были увешаны великолепными холстами, написанными смело и ярко, как то и подобает большому, хотя и неизвестному мастеру.

Среди холстов было несколько портретов Лидии Николаевны с надписью по-французски: «Lidia».

— Что это?! — спросил один из нас.— Что это такое?

Лидия Николаевна молча расставляла на столе бокалы вокруг бутылки темного вина. По легкому звону задетых невзначай бокалов можно было догадаться, что она взволнована и не отвечает, чтобы не выдать своего волнения.

Я подошел к картинам и на каждой в правом углу увидел небрежную подпись черной краской: «Матисс».

— Дело в том,— сказала наконец с усилием Лидия Николаевна,— что я была в течение более чем двадцати лет очень близким Матиссу человеком, его секретаршей и помощницей. Он умер у меня на руках. Эти картины он подарил мне. Часть из них я отослала в дар Эрмитажу. Остальные после моей смерти будут национальной собственностью. Какой человек был Матисс, я рассказать не могу. Нечего даже и пытаться. Лучше выпьем на прощание вина.

Я не мог отвести глаз от картин на стенах. Присутствие картин Матисса на стенах и свое присутствие среди них я ощущал, как некий новый, только что начавшийся праздник. Был еще неизвестен праздничный распорядок и незнакомы его традиции, но это был явный праздник открытия нового живописного мира.

В последние годы жизни Матисс устроил у себя в маленькой вилле на Ривьере комнату с сетчатыми стенами и держал в этой комнате множество ярких, волшебно раскрашенных тропических птиц.

Он подолгу рассматривал оперение этих птиц, чтобы научиться у природы ее способности к великолепной раскраске.

В этом поступке старого мастера была та простая мудрость, которая, соединенная с опытом и способностью к

упорной работе, сообщает человеку бесспорные черты гения.

Матисс был мужественным человеком. Он не оставлял кисти даже в тяжелейшие предсмертные годы, когда он был прикован к постели после операций и задыхался от астмы.

Мне хотелось расспросить Лидию Николаевну о Матиссе. Но я не решился на это так же, как и мои спутники. Мы молчали.

В тишине шумели ветки деревьев: окна выходили в сад. Тень от высокого цветка падала на лицо Лидии Николаевны. В самом наклоне ее головы чувствовалось одиночество.

Я осмотрелся. Кроме картин, вокруг было много прекрасных вещей. Срезанные цветы доживали свой век в теплой комнатной воде. Всюду лежали превосходно изданные книги.

Снова я подумал о большом и непоправимом одиночестве этой женщины. Матисс умер. Родина была потеряна давно.

Мы вышли. Надо было торопиться на вокзал. На бульваре Порт-Рояль было темновато от вечера и листвы платанов.

— Приезжайте в Россию,— сказал я Лидии Николаевне.— Хоть услышите, как шумят сосновые леса. Во Франции таких нет.

— Не знаю,— ответила она и болезненно улыбнулась.— Прошло уже сорок лет, а я Россию помню только потому, что очень часто вижу ее во сне. Но эти сны все какие-то расплывчатые...

До вокзала Сен-Лазар Лидия Николаевна молчала. Молчала она и на вокзале. Изредка она украдкой взглядывала на кого-нибудь из нас. В этом взгляде мне чудилась непонятная мольба и тоска.

О чем она безмолвно просила нас напоследок? О чем она могла нас просить? О милосердии, о том, чтобы мы считали ее своим, родным, русским человеком, несмотря на годы недобровольного изгнания.

Вокзальная суета и судорожные скачки стрелок на перронных часах не позволяли ей собраться с мыслями и сказать что-то самое важное.

Поезд тронулся. Лидия Николаевна шла у самого вагона, вытянув левую руку, крепко прижимая пальцы к пыльной стене вагона, как бы боясь расстаться с ним, не

обращая внимания на то, что кондуктор и какой-то человек в кепи с золотым галуном кричали ей, чтобы она отошла подальше от поезда.

Потом она сразу остановилась и прикрыла глаза единственным, что у нее было в руках,— маленькой лакированной сумочкой.

Всю ночь поезд дико грохотал и яростно рвался к океану, как будто там он забыл что-то самое дорогое.

В Гавре шумел ровный дождь, сливаясь с крутых крыш. В раскачавшихся от океанской волны гаванях сжимались и разжимались пятна машинного масла.

Мы прошли через залитый светом и похожий на ангар зал таможни на пустые и мокрые палубы теплохода.

Ночью я поднялся на шлюпочную палубу. Мне не спалось. Сквозь тихий гул Ла-Манша я услышал звон колоколов на плавучих бакенах и увидел несколько слабых зарев. То на французском берегу светились бессонные маяки.

И снова у меня, как перед встречей с Парижем, а теперь из-за расставания с ним тяжело забилось сердце.

Ялта, апрель 1959 г.

ЖИВОПИСНАЯ БОЛГАРИЯ

Мне придется начать этот небольшой очерк о Болгарии с короткого замечания по поводу слова «шума».

«Шумой» по-болгарски называется листва. На примере этого слова становится заметным совпадение смысла слова с его звучанием. Явление это в жизни любого языка встречается не так уж часто.

Листва, действительно, почти все время шумит. Весной и летом она шумно трепещет от ветра, а осенью собирается в кучи и трещит под ногами.

Я упоминаю об этом потому, что приехал в Болгарию в разгар осеннего «шума», в пышную «цыганскую осень» — соперницу нашего русского «бабьего лета». Поэтому я увидел страну — поразительно живописную и разнообразную по своим ландшафтам — в такой ясности осеннего воздуха, что издалека был заметен каждый

высохший лист винограда, окрашенный в побледневшее золото или темную киноварь и пронизанный спокойным солнцем.

В Болгарии сохранились старые монастыри — бывшие оплоты в борьбе народа с турецким владычеством. Стены монастырей расписаны фресками. Особенно хороши фрески великолепного художника-примитивиста Зографа.

Я видел в одном из монастырей вблизи города Тырнова, как в низкое окно церкви проникла виноградная лоза. Листья ее пожелтели к осени. Они кое-где прикасались к фрескам Зографа, и их нельзя было отличить от светло-золотого сияния фресок. Внутри церкви висели, зацепившись за резной дубовый алтарь, большие кисти черного винограда.

В разговорах со мной болгарские товарищи сокрушались, что я приехал поздно — вот-вот начнутся дожди. Я же был счастлив, что увидел страну в византийской парче, в «шуме» всех оттенков.

К счастью, сухая осень тянулась долго. Мне повезло еще и потому, что я увидел Болгарию после уборки урожая.

На полях кое-где еще снимали хлопок, но уже гудели по селам людные базары, крутрогие волы с синими, как море, глазами свозили последнюю ботву, женщины пряли на порогах, сельские «читалища» — читальни — были переполнены посетителями — детьми и молодежью, жарилась на черепицах рыба, бубны с колокольчиками буйно звенели за стенами крестьянских домов — начиналось время осенних свадеб. По сельским площадям бродили цыганки в ярких шальварах и навязывались со своим счастливым гаданием, мальчишки бросали петарды, а ослики, негодуя на мальчишек, начинали лягаться и кричать свое оглушительное «и-и-а! и-и-а!».

Лучше всего писать очерки, считаясь главным образом со свободным течением материала. Поэтому как раз здесь уместно сказать еще несколько слов об осликах.

Этих терпеливых работников — перевозчиков всяческих грузов — в Болгарии, пожалуй, не меньше, чем грузовых машин — камионов. Это обстоятельство, несмотря на размах строительства, сообщает стране внешне обманчивый, несколько патриархальный облик.

Вся страна — в живом кипении строительства. Строят заводы, дороги, водохранилища, города, курорты, и строят крепко, действительно на века.

О строительстве я расскажу позже, пока же надо закончить начатый разговор.

Ослики трудолюбивы и трогательны. Они старательно идут по обочинам дорог, моргают длинными детскими ресницами и задумчиво хлопают пыльными ушами.

В горах на Старой Планине мы встречали шеренги осликов, нагруженных дровами. Они шли совершенно одни, без погонщиков, повинуясь переднему ослу, не останавливаясь без нужды и даже не пытаясь пощипать траву. Они были «при деле» и относились к своему делу вполне добросовестно.

В музее в городе Пловдиве хранится так называемое «Золотое сокровище из Панагюрищ» — восемнадцать выкованных из чистого золота кубков и амфор с барельефами, изображающими эллинских богов и сцены из «Илиады» Гомера (в Болгарии его называют Омаром).

Это — ювелирная работа неведомых и гениальных мастеров эллинской эпохи.

Сокровище это было найдено недавно, в 1949 году, тремя братьями — землекопами Дейковыми, когда они копали глину для кирпичного завода около деревни Панагюрище.

Золотой клад светится в полутемном зале музея, как маленькое солнце, и бросает свой отблеск на все вокруг. Глядя на него, я был далек от всяких определений и сравнений, но на следующий же день где-то в предгорьях Родопов солнечный луч осветил склоны гор, уходившие во мглу, и вся даль вокруг поднялась и засверкала из этой мглы нагромождением золотых вершин, как сокровище из Пловдивского музея. И это сокровище вдруг показалось мне олицетворением осенней Болгарии.

В Болгарии много истории погребено под землей. Несомненно, что до сих пор в земле лежат еще никем не открытые, несмотря на повышенный интерес болгар к прошлому своей страны, руины городов, храмов и многочисленные остатки некогда богатых и разнообразных культур. Болгария была дорогой народов, местом их длительных стоянок.

В первые дни жизни в Болгарии я многих болгар принимал за историков или археологов, независимо от того, кем они были на самом деле — писателями или виноградарями, студентами или агрономами. Все они зна-

ли свою историю и разбирались в ней, и это, конечно, свидетельствовало о любви к своей стране и своему народу.

Национальное сознание рождается не только в борьбе за независимость, но и в ощущении подлинной жизни своей страны, в ощущении кровной связи с народом во все эпохи его существования, в знании и охране своего языка, быта, народного искусства.

Болгары — большие патриоты. Но вместе с тем это люди, легко овладевающие всем ценным в культуре других стран и обращающие это ценное на потребу своему народу.

К Болгарии с полным правом можно отнести слова поэта Волошина:

Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата!
От римских гемм и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.

Раскопки, планомерно начавшиеся после утверждения в Болгарии народной власти, уже дали несколько находок мирового значения.

В конце войны вблизи города Казанлыка была открыта фракийская гробница. Фреска в этой гробнице была написана художником, равным по силе величайшим мастерам Возрождения.

На фреске изображена тонкая женщина с прекрасным и бледным лицом. Она сидит в кресле, а рядом с ней, в другом кресле,— прислоненный к спинке, почерневший труп ее мужа. Она держит его за руку, и эти две сплетенные до локтей руки производят потрясающее впечатление. Ее рука полна нежнейшей жизни, она просвечивает легкой розоватостью крови, а его рука черна, как обугленная на костре виноградная лоза.

В глазах у женщины — любовь и ужас. Позади кресел стоят высокие и тонкие лошади с тревожными глазами. Лошади написаны серой и зеленоватой краской. Это изображена, как объяснили мне, особая, сейчас уже не существующая порода «фракийских лошадей».

В этой фреске можно найти начала нескольких живописных течений (вплоть до импрессионизма), которые появились на много веков позднее.

Над гробницей построено полусферическое бетонное здание, чтобы предохранить фрески от сотрясений и досту-

па наружного воздуха. В гробнице стоят сейсмографы, сложные термометры и другие приборы, следящие за состоянием воздуха и температуры. В Болгарии памятники истории и культуры охраняются с необыкновенной тщательностью.

Я не собираюсь описывать все исторические примечательности Болгарии,— их очень много. Поэтому я вкратце расскажу только о руинах римского города «Никополиса вблизи Дуная», и, пожалуй, не столько даже о самих руинах, сколько о стороже этих руин.

Руины можно назвать «Восточной Помпеей». Они очень хороши, эти высеченные из мелкозернистого серозеленого камня колонны, фризы, архитравы, форумы и театры, густо заросшие желтым лишайником.

Сейчас этот город — столица таких же серых, как и камни, маленьких ящериц. Вдали синеют Балканы, и ветер шумит в ветвях одинокой дикой сливы.

Среди руин затерялась низкая каменная лачуга. Около нее доцветают простецкие бархатцы, внутри стоят старенькая раскладушка и грубый дубовый стол, а на нем — кувшин с водой, прикрытый ломтем серого хлеба. Все свободное место вокруг раскладушки завалено обломками скульптур и заставлено фракийскими амфорами с римскими монетами. Монеты эти такие тонкие, что кажутся сделанными из бумаги.

В лачуге живет замечательный человек — крестьянский дед Иордан Чолаков. Он охраняет эти руины со времени первых раскопок.

Дед Иордан, когда нанялся сюда сторожем, навсегда ушел из родной деревни и сам себе назначил: не покидать этих величавых римских останков до самой смерти.

Низенький, седой, похожий на серебряного ежа, с красным обветренным лицом, дед Иордан восторженно говорит о руинах, где ему знаком каждый завиток каменного аканфа.

Дед Иордан, пожалуй, не хуже ученого-археолога знает историю Никополиса и все, что связано с этим огромным городом — аванпостом Рима в дунайских степях.

Дед кричит. Он глуховат. Глаза его сияют счастьем. Он ласково держит за руку посетителя, стараясь передать ему свой бурный интерес к этим развалинам, где жизнь отшумела навсегда.

Он прожил здесь в каменной лачуге уже тридцать лет. Иногда к нему приходит из дальнего села пожилой сын и приносит еду. Сын стесняется отцовского энтузиазма, но все же посматривает на старика с любовью.

Сын никогда не остается ночевать. Тридцать лет—день и ночь — Иордан прожил здесь совершенно один. Приезд редких посетителей (Никополис лежит в стороне от горных дорог) для старика — великий праздник.

Мы уезжали из Никополиса в сумерки. Бледная равнина, заросшая полынью, была бледнее неба, где уже зажглась первая звезда. Свет ее несмело отразился в маленьком водоеме. Там на дне что-то белело, должно быть, плита с римской надписью.

Кроме памятников древней истории, в Болгарии осталось много следов войны 1878 года. Болгары их свято хранят.

Самый величественный и грозный памятник русской армии 1878 года на Балканах — это, конечно, Шипка.

Представление о ней связано у нашего поколения с картиной художника Верещагина «На Шипке все спокойно». Связано с безропотно замерзающим русским солдатом. Он в продувной шинели. Обледенелый башлык стоит коробом. И это вовсе не гренадер, не герой с батальных картин, а довольно невзрачный и, может быть, даже слабосильный мужичок Тамбовской или Псковской губернии — под стать несчастному солдату Хлебникову из купринского «Поединка». Его подлинный героизм ясен каждому, кроме него самого.

Когда подъезжаешь к Шипке по крутым и извилистым дорогам среди облетелых лесов, то могучие хребты Планины поворачиваются перед тобой то спиной, то боком, то возникают впереди, пробиваясь сквозь вечерний дым отдельными, рдеющими на закате зубцами своих неприступных вершин. Тогда невольно думаешь, куда только не заносила история простого русского солдата,— от Парижа до Эгейского моря (в Болгарии его зовут Белым морем) и от Керманшаха в Малой Азии до фьордов Норвегии.

Когда мы поднялись на Шипку, уже наступал вечер. Шипкинский гранитный лев на памятнике русским солдатам смотрел, нахмурившись, вдаль, где тонула внизу, в тумане знаменитая Долина роз.

Под ногами осыпался шифер. Подъем к вершине был

крут и труден. Машина выла всеми частями. Вот-вот, казалось, она начнет сползать по осыпям в пропасть.

Дул резкий ветер, нес колкий реденький снег. Он цеплялся за камни и угнетенную ветрами траву. От снега вершина Шипки походила на голову ветерана с седыми висками.

Только здесь, в угрюмости ледяного горного вечера, можно было представить себе, какой великой отрадой была в таких местах победа, и понять, несмотря на разрыв во времени, причины нашей победы под Сталинградом.

Есть города, которые почти невозможно описать последовательно и связно,— такая сложная и живописная у них топография. Во всяком случае, на такое описание потребуются месяцы и годы.

Читая о таких городах, трудно представить их себе, если нет под рукой карты.

Таков город Тырново. Я прожил в нем три дня, но до сих пор не могу воспринять его как полную реальность. Как будто давным-давно здесь играли старинную пьесу, потом автор, актеры и зрители умерли, а декорации сказочного города остались. Они повисли над отвесным извилистым ущельем реки Янтры и висят так уже века, выцветая на солнце.

Тырново — это дома, легко взнесенные один над другим среди обрывов и пропастей, это мосты, неожиданно перелетающие через реку из тоннеля в тоннель, это рыцарские башни, караван-сараи, великолепный музей, остатки древних колонн с надписями, монастыри с богатой росписью, предместье Арбанаси, где старые дома грознее крепостей. Двери этих домов так густо, ряд к ряду, обиты гвоздями с большими шляпками, что при нападении никаким топором нельзя было расщепить такую дверь. Можно было только сломать топор.

Тырново — это причудливые очаги в домах, выступающие этажи, деревянные решетки на окнах, зал мэрии, где была провозглашена конституция Болгарии, столовые горы со всех сторон горизонта. Это пригородные корчмы, где пьют «червоне» вино, которое не уступает рейнвейну, закусывают его сыром и поют монотонные песни.

Это, наконец, ночи, шумные от ровного и непрерывного голоса реки, и великое множество огней, неясно освещающих сказочный фасад этого города.

По пути из Тырнова в портовый город Бургас строятся новые дороги, так же как почти по всей Болгарии. Строит их преимущественно молодежь. Я присматривался к тому, как работают болгары, к стилю их работы, как принято теперь говорить.

Болгары работают внешне неторопливо, без суеты и видимой спешки, без шума, но быстро и умело.

В Болгарии многие шоссе вымощены брусчаткой. Она гораздо долговечнее асфальта. Шоссе сделаны так тщательно, что машина идет по ним гладко, как по лучшей бетонной дороге. На такую пригонку брусчатки нужно много времени, а между тем дороги быстро растут.

Промышленное строительство отличается теми же качествами. Я не буду писать о нем потому, что строительство заводов по существу мало отличается от нашего,— болгары берут наш передовой опыт и прибавляют к нему свои навыки и свое спокойствие.

Новым для Болгарии является строительство курортов. Из Тырнова мы проехали через Бургас на новый курорт. Называется он «Солнечный берег». Он лежит далеко к югу от широко известного курорта «Золотые пески».

Путь из Тырнова был долог, и мы приехали только к вечеру. Курорт построен на больших дюнах (впервые я видел на Черном море такие высокие дюны, не уступающие дюнам Балтики), в местности недавно еще совершенно пустынной и дикой.

Год назад здесь не было ни одной хижины, но зато было множество змей. Когда началось строительство курорта, то со всей Болгарии привезли сюда несколько вагонов ежей, выпустили их, и змеи совершенно исчезли: ежи их съели за какой-нибудь месяц, не больше. Я свидетельствую, что не видел ни одной змеи.

Курорт построен по образцу новейших — просторных и комфортабельных — курортов Запада. Главная задача всех зданий курорта,— будь то гостиницы, отдельные виллы, рестораны, бары, читальни, кафе, служебные помещения и все прочее,— приблизить человека к природе, к дюнам, к морю.

Гостиницы только двухэтажные и одноэтажные. Каждая комната выходит в лоджию, и потому ветер, шум волн, брызги прибоя и запах степных трав легко проникают во все комнаты.

Курорт построен по проектам молодых болгарских архитекторов. Здания отличаются, я бы сказал, элегантной

простотой. Они вызывают ощущение новизны и легкости формы при строгой пропорциональности. Архитектура соответствует назначению каждого здания и каждой вещи.

Все здания курорта будто построены из легкого коралла бледных и приятных расцветок. Кое-где замысел архитектора соединяет их с вещами из далекого прошлого этого поморья: с большими эллинскими амфорами, со старинными решетками, с немногими украшениями, свидетельствующими о богатстве вкуса.

Особенно хороши павильоны, построенные женщинами-архитекторами.

Весь этот огромный курорт, со всеми его зданиями, множеством образцовых дорог, парком, благоустроенными пляжами, водопроводом и подсобными домами, был построен меньше чем в год.

Мы приехали в октябре. Курорт был уже закрыт на зиму. Это, между прочим, придавало ему особую прелесть.

Шум сухих тополевых листьев, летящих и день и ночь по ветру, пустынность, шелест тамариска на песках, накат тяжелых волн на пляжи, темные, непроглядные вечера и врезавшийся в них ослепительными неоновыми огнями ресторан на дюнах, его совершенно безлюдные и холодноватые по-осеннему залы (кроме нас, на курорте было еще несколько случайно застрявших гостей, в том числе — негры из Гвинеи), музыка никелированной американской машины «рок-н-ролл», вежливые кельнеры во фраках, изумительное белое вино «мозел» — такое холодное, как будто оно было изготовлено вьюгой, а за окнами — далеко в морской тьме — слабые огоньки рыбачьего порта Несебр (бывшей Мессемврии) на острове, окруженном ветрами и бурунами.

В длинные вечера несколько застрявших посетителей курорта собирались рядом с комнатой, где мы жили, в тесном и теплом баре. Там горел камин. Люди читали книги, пили турецкий кофе и сливовицу, играли в карты, иногда спокойно спорили. Когда входил кто-нибудь снаружи, все подымали головы и прислушивались.

Песок шуршал о стены, и шум волн становился все торжественнее. Разыгрывался шторм. Огни в Несебре начинали испуганно моргать.

Высокая девушка с яркими глазами сидела, поджав ноги, в глубоком мягком кресле и читала «Святую неделю» Арагона. Каждый раз, когда открывалась дверь, она

улыбалась беспредельному морскому гулу. Было видно, что эта девушка радуется самому существованию жизни, и потому все, глядя на нее, тихо улыбались. Особенно застенчиво и нежно улыбались ей молчаливые гвинейцы.

Наш спутник — болгарский писатель, удивительно сердечный и деятельный человек — рассказывал нам об этом поморье, еще недавно бывшем безлюдным и пиратским, о том, что маленький порт Несебр, куда мы обязательно съездим завтра, объявлен городом-музеем и что лежит он вовсе не на острове, а соединен перешейком с материком, и что по этому перешейку проходит шоссейная дорога. Через перешеек иногда перекатывается волна.

Ночами я часто просыпался, но без всякой досады на бессонницу, а даже с радостью. Астма, или, как говорят болгары, «задух», тихо ушла от меня здесь, в Болгарии, и как бы осторожно прикрыла за собою дверь. Я дышал свежо, бесшумно, незаметно и впервые за последние годы чувствовал прелесть свободного дыхания.

Казалось, ночная прохлада превращалась в огромные пространства этого целебного воздуха, а море равномерным разбегом своих волн гнало его к берегам.

Каждый, кто читал Грина, представляет себе описанные им, но несуществующие города Зурбаган, Гель-Гью или даже целую небольшую страну Лилиану.

Биография Грина не дает оснований думать, что он был в Несебре. Но сходство этого порта с гриновскими городами поразительно. Признаться, я не очень верил, что в мире есть такие гриновские города. Я только хотел, чтобы они были и своей живописностью украшали и облегчали существование людей.

Несебр — это каменный небольшой остров. Он, правда, соединен с материком дамбой. В тихую погоду в заливе около дамбы плавают сотни медуз, и видно, как по дну озабоченно ползают крабы, прячась за жестянки от консервов и ржавые сплющенные бидоны.

Весь Несебр можно обойти за час.

Он начинается крутым въездом с полуразрушенными крепостными воротами и крепостными стенами.

Пожалуй, лучше всего можно составить представление о Несебре, если выбрать небольшую часть пейзажа, хотя бы кусок той же крепостной стены, и тщательно рассмотреть его. Тогда, как под увеличительным стеклом, откроется много не замечаемых с первого взгляда вещей.

Что можно увидеть?

Прежде всего вы заметите в крепостной стене замурованные арки со сложным орнаментом. Он выложен из тонкого византийского кирпича. Ясно, что раньше здесь была византийская базилика, но потом ее использовали как часть крепостной стены.

Рядом с одной из замурованных арок пробиты дверь и окно в темноватое помещение внутри стены. Там стирает белье в цинковом корыте красивая пожилая женщина с седыми волосами. Белые волосы у нее заплетены в две косы и свернуты на затылке тяжелым узлом.

Вместо порога у входа в это помещение положена расколотая мраморная плита. На плиту поставлен очаг (мангал), и на нем жарится самая вкусная на земном шаре рыба сафрид сегодняшнего, утреннего улова. Налево от двери проросла сквозь землю корявая маслина. Вернее, не сквозь землю, а сквозь утоптанную щебенку, мраморную крошку и давным-давно высохшую траву с твердыми, как железо, желтыми колючками.

Кажется, что этой маслине не меньше тысячи лет, а сероватый налет на ее листьях — просто библейская пыль, занесенная сюда ветром из земли Ханаанской.

Потом, подняв голову, вы замечаете в крепостной стене остатки колонн из розоватого мрамора с глубокими желобками — каннелюрами. По каннелюрам проворно бегут рыжие муравьи: по одной каннелюре только вверх, а по другой — только вниз, как на автострадах с односторонним движением. Вверх муравьи бегут порожняком, а вниз каждый муравей тащит один кристаллик сахарного песку. Ясно, что здесь происходит бесшумной грабеж среди белого дня. Но хозяйка дома этого не замечает.

Но где же хозяйка?

Надо поднять голову еще выше, и вы увидите, что к крепостной стене прилеплена пристройка, похожая на маленький глухой балкон. Он сколочен из такого побелевшего от старости дуба, что на нем остались только скрученные твердые жилы, а древесина давно превратилась в труху и высыпалась. Вообще все дома в Несебре построены из такого выветренного и просоленного дерева, что оно приобрело цвет старой меди.

В этой деревянной пристройке (или, вернее, в гнезде) пробито окошко. Из него выглядывает хозяйка — девочка в красном платье. Ее косы свисают наружу так низко, что если поднять руку, то можно дотронуться до них. Вы говорите ей о грабителях-муравьях. Она высовывается, ви-

дит вереницы муравьев, начинает дуть на них, вызывает среди муравьев страшное смятение и заразительно хохочет.

На крошечном подоконнике рядом с этой легкомысленной хозяйкой горит в треснувшей вазе пылающая и никогда не догорающая герань.

От этого окошка к крюку в стене протянута веревка. На ней, прежде всего, висит жестяной фонарь. В нем свили гнездо ласточки. А затем на этой же веревке вялится рыба — чирус и паламида (как здесь говорят, «паламуд»).

Все дома Несебра увешаны, как увешивают разноцветными бумажными цепями елки, гирляндами вяленой рыбы — скумбрии, заргана (иглы-рыбы) и сафрида.

В Несебре вторые этажи домов выступают над первыми и поддерживаются дубовыми подпорками — эркерами. Улицы в Несебре узкие. Все это сделано потому, что остров маленький и городу некуда расти.

В Несебре было 48 византийских базилик. Некоторые из них хорошо сохранились. В одной из базилик с обвалившимся куполом Бургасский драматический театр ставил под открытым небом пьесу писателя Фигурейда об Эзопе под названием «Лиса и виноград». Режиссер этого театра пять лет учился в Ленинградской театральной школе и был страстным поклонником Мейерхольда.

Все рыбацкое население Несебра (другого населения там нет) собралось на этот спектакль. Выход в море в этот день был отменен. Все пришли со своими скамейками, сколоченными главным образом из остатков давно отслуживших «гемий»,— так в Несебре и в соседнем Созополе называют рыбачьи баркасы.

Все зрители были одеты по-праздничному, и, говорят, это было одно из красивейших зрелищ на всем побережье. Детей оттерли и умыли так безжалостно, что у них даже побледнел загар. Женщины в шумном шелку всё же пряли, не спуская глаз со сцены, а мужчины в особенно сильных местах пьесы отчаянно курили крепчайшие сигареты.

Некоторые старики оделись по-старому — туго повязали головы пестрыми платками, а концы платков спустили вниз на ухо. Это воскресило времена пиратов.

Пьеса «Лиса и виноград» довольно сложная. Поэтому я спросил режиссера, поняли ли ее зрители.

— Поняли великолепно,— ответил режиссер.— Больше месяца после спектакля эта пьеса обсуждалась всем насе-

лением Несебра с такой страстью, что, говорят, были даже драки.

Море обнимает Несебр со всех сторон — очень синее, очень прозрачное, кажущееся одновременно и древним и молодым.

Над морем непрерывно носятся, как будто в каком-то танце, большие буревестники.

Порт в Несебре маленький. В нем теснятся, постукивают бортами и поскрипывают рыбачьи лодки с узорными носами. Мол — в цветах невзрачного бессмертника.

Недалеко от порта ресторан «Одеса» (через одно «с»). Там подают жареную «на скара» (на сковороде) скумбрию, пьют болгарскую водку — ракию и турецкий кофе, жуют сыр и заедают его желтоватым крупным виноградом. Но можно заказать и кебабчи — соединение сжигающего все внутренности перца, терпкого аромата каких-то трав, прозрачных долек поджаренного лука и кипящего в жиру бараньего мяса. Такое кушанье можно есть, очевидно, только вернувшись на милую землю после десятибалльного шторма.

Под потолком в «Одесе» висит высушенная рыба — «морска лястовичка» (морская ласточка) с большими, как овальные крылья, распахнутыми плавниками. Это — редкая рыба. Она иногда приплывает к берегам Несебра из «Моря богов» — Архипелага и, по авторитетному мнению стариков, всегда приносит удачу.

К югу от Несебра есть еще один необыкновенный порт — Созополь (бывшая эллинская Аполлония). Он больше Несебра и в некоторых отношениях даже колоритнее его.

С Созополем произошел случай, пожалуй, единственный в истории городов Европы. Какая-то мультимиллиардерская американская кинофирма предложила болгарскому правительству продать ей Созополь за баснословные деньги, с тем что сначала в Созополе будет снят грандиозный исторический фильм, который окончится пожаром города, а затем пепелище будет расчищено, спланировано и на нем американцы построят фешенебельный курорт по типу самых дорогих курортов Флориды.

Конечно, болгарское правительство отклонило это наглое предложение. По-настоящему, в людей, появляющих-

ся с такими предложениями, надо тут же стрелять в упор, не задумываясь, как это делают простодушные жители Техаса, стреляя в актеров на экране, если они бездарно играют.

Расположение Созополя среди бухт и островов так же причудливо, как и Несебра.

С балкона нашей комнаты на втором этаже были видны три бухты, несколько мысов и скалистые острова. Около островов ветер часто проносил вереницы белокрылых гемий.

В противоположность жителям Несебра, созопольцы называют свои гемии «кораблями». Это звучит даже величественно: «Сейчас корабли уходят в море», или: «Корабли застигнуты ветром около мыса Эмине».

Да, но я сбился. Я хотел рассказать о том, что все три бухты, видимые с балкона, всегда были в разном виде и состоянии: в одной стоял совершенно лазурный штиль, в другой веселая рябь бежала вкось к берегу, а в третьей волны уже пенились и шумели, толкаясь у скал. Как разнообразны берега Созополя, так же разнообразна их защита от ветра.

Однажды мы сидели в портовой таверне с двумя знаменитыми здешними капитанами — Георгием Тумбатеровым и Георгием Каранковым. Капитаны выпили немного ма́стики[1]. Шел деловой разговор о штормах,— они загоняют иногда их корабли в Ялту и Батум.

В разгар беседы в таверну вошел застенчивый мальчик лет семи и молча остановился рядом с Тумбатеровым. Он смотрел на отца умоляющими глазами.

— Ну что? — спросил Тумбатеров.— Разве пора?

— Отец,— ответил мальчик, и вдруг на глазах его блеснули слезы,— все корабли уже снимаются.

Тумбатеров вскочил, наспех попрощался с нами и вышел из таверны, держа за руку мальчика. Он не мог опоздать. Опоздание в морском деле так же позорно, как трусость.

И тут же мы увидели, как за окнами таверны начали проплывать, держа курс на красный мигающий маяк, белые в свете неоновых городских фонарей, стройные, невесомые, почти призрачные гемии. На борту одной из них

---

[1] Мастика — сорт водки.

стоял мальчик и приветливо махал рукой в сторону таверны,— должно быть, нам.

По живописности старых зданий и улиц Созополь не уступает Несебру. В Созополе еще недавно на скалах, над самым морем и прибоем, стояли ветряные мельницы с полотняными крыльями в виде латинских косых парусов. Говорят, что эти белые машущие крылья мельниц были видны издалека с моря и придавали Созополю особое очарование.

Сейчас мельниц уже нет, но в Созополе остался мастер-столяр, знающий их устройство. Сейчас он делает замечательные модели этих мельниц.

Мы были у этого мастера в гостях. Его дом стоит на волноломе. Неожиданно мастер, стесняясь, заговорил о русской литературе. Он любит ее, и любит по-настоящему. Он цитировал наизусть Лермонтова и Чехова, Достоевского и Горького и, мне кажется, ни разу не ошибся.

Трудно было соединить в своем сознании модели древних мельниц с парусиновыми крыльями, стоявшие прямо на полу, с томиком стихов Михаила Светлова — одного из любимейших в Болгарии наших поэтов. Томик лежал на грубой деревянной полке.

У каждого такого города, как Созополь, есть свой «добрый дух». Добрый дух Созополя носит имя и фамилию. Это художник Яни Хрисопулос.

Он живет в узком и самом высоком в Созополе доме в три этажа, как в маяке. Дом этот называется «Созопольским небоскребом».

Яни Хрисопулос зарисовал все дома Созополя. Нет почти ни одного уголка города, не затронутого его кистью или карандашом.

В Болгарии я видел еще многое: город Старую Загору, самый музыкальный город в стране, и необычайный Пловдив с его тремя гранитными высокими холмами, прорывающимися среди плоской равнины, с его «золотым сокровищем» и домом, где жил Ламартин; видел предгорья Родоп, огромные водохранилища и, наконец, Софию — город, который все время находится в движении культуры и передовой мысли, город горячей молодежи и сосредоточенного труда. Но об этом я еще буду писать.

Пока же приходится кончать этот очерк, и так несколько затянувшийся, и поблагодарить замечательных людей, которые помогли мне узнать и полюбить Болгарию: писателей Ангела Каралийчева, Станислава Сивриева, Серафима Северняка, Славчо Чернышева, Веселина Андреева, Дмитрия Мефодиева, художника Яни Хрисопулоса, поэтессу Ладу Галину, работницу Союза писателей Марианну Пенчеву и многих других товарищей, в частности шофера Александра Атанасова, которому никогда не изменяло спокойствие, кроме тех случаев, когда он с гордостью показывал мне лучшие места своей страны.

Ялта, декабрь 1959 г.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

От первой встречи с незнакомыми местами всегда взволнованно бьется сердце. Бьется от неизвестности, от ожидания всяческих неожиданностей, похожих на маленькое чудо, от иного воздуха и иного света, чем тот, к которому ты привык у себя на родине.

Так я волновался, впервые увидев Советскую Латвию. Поезд подходил к Риге. Чуть светало. Вокруг простиралась зима,— теплая, приморская, присыпанная легким снегом.

Я открыл в вагоне окно. В купе ворвался острый воздух. Он принес с собой запах подмерзших сосновых иголок, тающих льдинок и горьковатого дыма из сельских домов. Там еще горел в окнах свет. Хмурое небо низко простиралось над землей. Под его пологом где-то далеко пели петухи, выкликая рассвет и солнце.

Но солнце так и не показалось из-за седой мглы. Я не жалел об этом. Тогда же, при первой встрече, я понял, что прелесть латвийской зимы и заключается в этом как бы старинном, слегка потемневшем снеге, в этой серебряной мгле, в каком-то особенном уюте этой зимы, когда навстречу ей трещат камины и возникают под шум огня детские сказки и взрослые сны.

С этим ощущением только что распустившейся сказки, с ожиданием мимолетных встреч, задевающих сердце, я ехал из Риги на Взморье.

Радостное предчувствие не обмануло меня. Там, в снегах, подмытых прибоями, в гуле сосен над дюнами я написал одним дыханием, как бы одним вздохом, книгу, названную потом «Золотой розой».

Если можно быть благодарным целой республике, как человеку, то эту благодарность к Латвии я все время ношу у себя в сердце.

Близится новый год, и я хочу говорить о поэзии, наполняющей эту республику,— удивительной поэзии Юга и Севера, слившихся здесь воедино.

В чем Север?

В затуманенных далях, в чистых красках, в бледных, но великолепных закатах над Рижским заливом. В спокойствии людей, в русых девичьих косах, в улыбке серых глаз, в вереске, в молчаливых лесах и древнем воздухе Старой Риги.

А Юг — в звонком неудержимом смехе женщин, во влажных морских ветрах, в цветах, что не отцветают всю зиму в латышских домах, в ярких разноцветных печах, в самом колорите жизни.

Такие печи поразили меня своей живописностью в загородном крошечном и очень гостеприимном доме старого латышского писателя Роберта Селиса — доме, построенном до последней доски руками самого писателя.

Я не пишу связный рассказ о Латвии. Я просто свободно вспоминаю и потому прошу простить меня за отрывочность моих слов.

Мы, люди, устроены «очень смешно» (как сказали бы дети), иной раз воспоминания, лишенные даже намека на событие (или, если хотите, намека на сюжет), не оставляют нас всю жизнь. Они дают ей какое-то дополнительное звучание, дополнительную легкую краску.

Так на всю жизнь я запомнил утро в Дубултах, когда я один вышел из маленького дома на дюне на берег залива, долго слушал шум волн, шорох оседающего снега и тонкий звон в прибое маленьких льдинок, освещенных слабым розовым светом северной зари.

Новый год подходит к Советской Латвии. Пусть он принесет много сказок латвийской детворе, много сердечных счастливых волнений девушкам и юношам, а людям всех возрастов — от юности до старости — глубокое сознание ценности жизни и ценности своего труда.

Таруса-на-Оке, декабрь 1960 г.

ГОРОДОК НА РЕКЕ

Вообще ошибочные мнения бывают обычно очень живучими. Они существуют сотни лет и с трудом выветриваются из нашего сознания.

До революции все маленькие города было принято считать захолустьем, где жизнь течет скудно и сонно. И теперь это представление о маленьких городах, так называемых райцентрах, почти не изменилось. Считают, что они, конечно, далеко отстают от больших городов и по культуре и по благоустройству.

Самое название «райгород» и «райцентр» дает богатую пищу для шутников и зубоскалов. Они называют их «райскими городами» и «райскими центрами» и острят по поводу того, что в этих городах мало признаков земного рая.

Все это — болтовня.

Я живу в одном таком маленьком городе на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет между берез и сосен черемуха.

Городок этот вплотную входит в сельскую жизнь. Гул тракторов по окрестным полям сливается с пронзительными требовательными гудками окских буксиров. Обширные огороды окружают городок буйной зеленью, цветением картошки, запахом помидорных листьев. С берега Оки во все стороны открываются сияющие дали, близкие и далекие планы лесов — от светлых и серебрящихся под солнцем до загадочных и темных, сохранивших в своей глубине журчанье ручьев и шумящие кроны столетних дубов и сосен.

Но городок хорош не только этим. Он хорош своими людьми — талантливыми и неожиданными, трудолюбивыми и острыми на язык. Я просто перечислю нескольких жителей этого городка, и станет ясно, что слова о захолустье не выдерживают критики.

Если бы были живы такие писатели, как Лесков или Мельников-Печерский, то городок на Оке дал бы им богатую пищу для рассказов о простом и замечательном русском человеке.

Лесков написал как будто анекдотичный рассказ о тульском мастере Левше, который подковал блоху. Но это совсем не анекдот и не забавный случай. В каждом городке есть свои Левши. Есть они и в нашем.

Живет в нем слесарь Яков Степанович — изобретатель и поэт по душе. Он может сделать все,— как говорится, «и небо и землю». Из всякого металлического лома и утиля он собрал мотоцикл, изобрел машину для посадки деревьев в лесах и, между прочим, склепал проволокой сломанный зубной протез одному старичку. И тот носил его еще много лет. Потом, говорят, этот протез взяли в краевой музей как образец тончайшего мастерства.

Яков Степанович — человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела и неслыханно скромный.

Есть еще в нашем городке печник Митя, слабый здоровьем и насмешливый, кладущий печи по своему способу — виртуозно и быстро. Оказывается, в печном деле есть свои секреты, свои законы, и нет у Мити ни одной печи, похожей одна на другую.

Никто так точно, как он, не знает законов тяги и нагрева кирпичей, не знает всей сложности русской печи и всей практичности «унтермарка». Споры Мити с другими печниками, все его разговоры о печах слушаешь, как живописное исследование, иной раз — как поэму. По словам Мити, мастер без выдумки, без воображения есть «фитюлька» и халтурщик.

Таких мастеров с воображением есть много в любой области. Человек сам создает вокруг своей работы поэтическое состояние. От этого работа спорится и просто сверкает в его руках.

Есть плотники, работающие топором с такой чистотой, что стук топора под их рукой звучит как бравурный марш.

Есть столяр Николай Никитич — знаток птиц. Больше всего он любит делать скворечники и птичьи клетки. Каждая вещь, что выходит из его рук,— «игрушка». Его клетки — это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями, балкончиками и верандами. В этих клетках, будь они немного побольше, хочется пожить и человеку. Они обточены, нарядны и воздушны.

Николай Никитич сам ловит птиц по веснам на так называемый птичий клей секретного состава. Он смазывает им ветки деревьев, и птицы просто прилипают к этим веткам без всякого вреда для себя.

Николай Никитич больше всего любит щеглов — разноцветных и нарядных птиц, похожих издали на порхающие цветы. Очевидно, от нарядности этой птицы и произошло слово «щеголеватый».

Голосам птиц Николай Никитич подражает, не имити-

руя их, а придумывая иной раз слова и целые фразы, которые лучше всего передают пенье и чириканье птиц. Так, чиж, по словам Николая Никитича, поет: «Пили кофе, пили ча-а-ай!», щегол кричит: «Стриг-лик, стриг-лик», а щур никак не может признаться своей подруге в любви и только заикается: «Влю-влю-влю-влив-влив».

В городке есть вышивальщицы, если можно так выразиться, с европейским именем. Их работа восхищала зрителей на разных выставках, особенно на международной выставке в Брюсселе.

Вблизи Оки живут знатоки речного дела — промеров фарватера, постановки бакенов и буксировки барж при малой воде.

Да всех не перечислишь. Живет у нас бывший корабельный врач — быстрый и строгий старик, большой знаток музыки, обладатель богатой исторической библиотеки. Есть садовод, ухитрившийся вырастить в срединной России субтропические деревья.

К городку этому давно тяготеют художники и писатели. В какой-то мере он уже становится литературным и художественным подмосковным центром. Хотя и небольшим, но все же центром.

Имена Поленова, Крымова, Борисова-Мусатова, Ватагина, скульптора Матвеева тесно связаны с городком. На многих полотнах этих художников вы увидите самые трогательные уголки нашего городка.

В городок часто приезжают работать и подолгу живут в нем писатели и поэты, особенно молодые. Сплошь и рядом можно услышать из открытых окон, из садов и палисадников разговоры и споры о Пикассо или последней книге Каверина, о Сарьяне и пьесе Арбузова.

В этом городке жил незадолго до смерти замечательный наш поэт Заболоцкий. Он оставил несколько прекрасных стихотворений о городке, о ясности окружающей природы — очень русской, очень мягкой и очень разнообразной. Особенно хороши «Вечера на Оке».

В очарованье русского пейзажа
Есть подлинная радость, но она
Открыта не для каждого и даже
Не каждому художнику видна.

. . . .

И лишь когда за темной чащей леса
Вечерний луч таинственно блеснет,
Обыденности плотная завеса
С ее красот мгновенно упадет.

Вздохнут леса, опущенные в воду,
И, как бы сквозь прозрачное стекло,
Вся грудь реки приникнет к небосводу
И загорится влажно и светло.

. . . .

И чем ясней становятся детали
Предметов, расположенных вокруг,
Тем необъятней делаются дали
Речных лугов, затонов и излук.

Я не называю имени этого города только потому, что такой городок не один в нашем Советском Союзе. Если приглядеться к любому городку и пожить в нем, то окажется, что он удивительно интересен, характерен, жизнь в нем разнообразна, в нем много культурных людей, и, кроме того, он кровно связан с историей страны. Тогда не будет и мысли о несколько обидном термине «захолустье».

Но если все-таки вам интересно, о каком городе я писал, то, пожалуй, я назову его. Это — Таруса. Та самая Таруса, что лежит где-то на краю калужской земли. Туда вы теперь можете доехать на автобусе или приплыть по Оке на новейшем быстроходном катере...

Извините за этот беглый очерк. Но если за ним последует ряд очерков от жителей таких городков о своих людях и родных местах, то моя цель будет достигнута.

1961

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАПИСИ

К этому человек, должно быть, никогда не привыкнет — остановить такси в березовой роще под Москвой, выйти, чтобы послушать в последний раз, как шумит по деревьям дождь, через тридцать — сорок минут сесть в реактивный самолет и спустя пять часов выйти на жарком аэродроме итальянского города Турина. Об этом городе ты ни разу в жизни не думал и почти ничего о нем не знаешь, кроме того, что Турин — бывшая столица Сардинского королевства. Так, по крайней мере, нас учили в гимназии.

Но до Турина была еще Прага, был черепичный Цюрих среди плавных альпийских предгорий, были Альпы — сплошное курчавое море облаков, лишь в одном месте разорванное снеговой пирамидой Монблана. Потом самолет качнуло над озером Комо, а Милан встретил нас знойным порывистым ветром.

От Милана до Турина мы летели над сочной и плоской Ломбардией на удивительно милом самолете. У нас это сооружение назвали бы, очевидно, «самолетом районного значения».

В тесноватую кабину набилось много народу. То были преимущественно крестьяне со своей деревенской поклажей. Один старик даже вез в корзине огненного петуха. Вид у петуха был наглый, а у его хозяина — испуганный. Старик, должно быть, боялся, что петух запоет.

Женщины тараторили с необыкновенной быстротой и что-то вязали. Через пять минут после отлета мужчины закурили, достали бутылки с вином и начали перекидываться в кости.

В кабине пахло кофе и почему-то сеном. Мы пролетали над Новарой. Мне было приятно думать, что в самолет проникает запах новарских цветущих полей. На самом деле это было, конечно, не так.

Стюардесса, вопреки обыкновению, не виляла модными бедрами по проходу между пассажирами, а продиралась, засучив рукава, с чашками кофе, нанизанными на пальцы.

Это была не обычная стильная стюардесса с улыбчивыми глазами, а простая краснощекая девушка с реки По, с тучных полей, убегавших под крылья машины.

Самолет походил на дилижанс. Он раскачивался на воздушных ямах, как на ухабах.

В Турин мы прилетели на конгресс Европейского сообщества писателей. Конгресс был созван в связи с очередной годовщиной объединения Италии. Объединение произошло в Турине. Поэтому и конгресс собрался в этом городе.

На аэродроме в Турине нас встретил маленький стройный человек, весь серебряный от ровной седины. Седой человек оказался сотрудником Европейского сообщества писателей. Звали его Альдо Леви. Он был отставным адмиралом итальянского флота.

Редко я встречал людей таких внимательных, сердечных и исполнительных до последней мелочи, как этот адмирал-еврей. По этой последней причине он был вынужден при Муссолини скрываться в лесах Сицилии.

Адмирал свободно владел почти всеми европейскими языками, изъездил весь мир, и потому мы были тронуты тем, как охотно он тратил уйму сил и времени на то, что-

бы исполнить каждое наше желание, даже если оно с точки зрения положительного человека могло показаться наивным и легкомысленным.

Был такой случай. Перед поездкой я достал в Москве планы Милана и Турина. Как-то вечером моя дочь — молодая женщина, которой были свойственны веселые поступки,— взяла карандаш, закрыла глаза, опустила острие карандаша на план Турина и сказала:

— Вот это место ты сними обязательно! И вот это — тоже. И это. И привези снимки!

Она поставила несколько точек на планах Турина и Милана. В Милане ей повезло — кончик карандаша попал на великолепный дворец Сфорца, а в Турине, наоборот — на тюрьму и кавалерийские казармы.

На второй день после приезда в Турин, когда мы ехали на конгресс в низкой машине, как бы навсегда присевшей для прыжка, я, смеясь, рассказал об этом адмиралу Леви. Адмирал необыкновенно взволновался и обрадовался. Обрадовался и шофер. До них обоих «дошла» эта выдумка. Они оба сочли ее весьма интересной и даже поэтичной.

Пока я сидел в зале конгресса, адмирал изучал с шофером мой план города с отмеченными местами.

Тотчас после заседания мы сели в машину и помчались по улицам, пестрым от обилия цветов и разноцветных тентов над кофейнями. Мы мчались к тюрьме и казармам. Адмирал беспокоился. Он считал мой план Турина устаревшим и боялся, что теперь на месте тюрьмы и казарм уже выстроены новые дома.

Но нам повезло. Все было цело. Я снял тюрьму с распятием на воротах и снял казарму, где у входа стояли строгие часовые. Адмирал попросил, чтобы я снял отдельно и этих красавцев часовых. Они были очень польщены и позировали так торжественно, будто стояли в почетном карауле у дворца самого президента.

Вся улица играла от ветра и солнца. И все мы, включая солдат, были очень довольны этим небольшим происшествием.

Во время пребывания в Турине мы жили не в городе — слишком жарком,— а в нескольких километрах к западу от него, в лесистых и прохладных предгорьях Пьемонтских Альп, в местности под названием «Эремо». Там к старому католическому монастырю его владельцы пристроили

недавно гостиницу. Называлась она «Резиденция Романья».

Кажется, мы, писатели разных европейских стран, были первыми жильцами этой гостиницы — пустой, светлой, гулкой и очень тихой.

За окнами моей комнаты по свежему зеленому склону тянулись кудрявые фруктовые сады. Крестьяне косили между деревьев траву. Запах сена наполнял все комнаты гостиницы. Он был более острым и терпким, чем запах нашего русского сена. Должно быть, в этом итальянском сене было много пряных и горьковатых горных цветов.

С Пьемонтских Альп все время налетал легкий ветер. Шумели вековые каштаны. На старой кампанилле у моего окна время от времени дребезжал колокол. Где-то поблизости вдохновенно рыдали ослы.

По утрам меня будило пение молодых монахинь. Они парами шли под моим окном в соседнюю церковь. Увидев меня, они опускали головы и начинали петь громче.

Невдалеке от «Резиденции Романьи» на обочине пустынного шоссе скрывался под тенью ореховых деревьев маленький «ристоранте». Я часто ходил туда пить кофе и долго просиживал за столиком во дворе «ристоранте», разглядывая прохожих, пыльные машины, студентов, проносившихся на мотороллерах вместе со своими подругами, и полицейских с белыми портупеями через плечо. В чужой стране это занятие было увлекательным.

Каждый раз ко мне подходил маленький ворсистый ослик с колокольчиком на шее. Он долго стоял, навалившись на меня всем телом, и дожидался сахара. Время от времени он хлопал меня по руке пыльным ухом. То ли он напоминал мне о своем существовании, то ли отгонял мух. Во всяком случае, он хлопал ушами очень часто и постукивал при этом копытцами.

Однажды ослик не рассчитал расстояния, ударил ухом по чашке кофе на столике, перевернул ее и облил скатерть и мои брюки. На ослика это не произвело никакого впечатления, но хозяйка «ристоранте» страшно раскричалась и обрушила на голову ослика жестокие проклятья.

Через некоторое время я узнал, что этот безмятежный «ристоранте» был местом тяжелой драмы. В нем застрелился прекрасный итальянский писатель Павэзэ — человек, измученный войной, благородный и непримиримый.

В последние годы жизни его преследовала мысль, что

ни один человек не может до конца понять другого и не может быть понят этим другим. То была драма человека сложного, тонкого, встревоженного жизнью и бессильем слов для выражения своего внутреннего мира. Все мы знаем в той или иной мере это бессилие, все проходили через это испытание. Но Павэзэ не мог его вынести и так и ушел из жизни непонятым.

Турин — автомобильная столица Италии. В нем расположен грандиозный завод «Фиат».

Это, конечно, не просто завод. Это самостоятельное государство со многими учреждениями и свойствами суверенной страны.

Завод нельзя обойти. Его можно только объехать на машине, но и это займет много часов. Объехать на машине все огромные, теряющиеся в дымке цеха, где работу выдает только тихий гул автоматов. Да и весь завод с его инженерами и рабочими — сплошной исполинский автомат.

Недаром директор завода синьор Валетта похож на конквистадора времен покорения Америки. Это — низенький молчаливый человек с железными глазами, рассчитавший, очевидно, всю свою жизнь по секундам. Он холодно и несколько принужденно вежлив.

Он подарил нам патефонные пластинки с записью песенки, сочиненной каким-то поэтом «для завода «Фиат». Передавая нам эти пластинки, синьор Валетта снисходительно улыбался. Он как бы хотел сказать, что вот, мол, приходится ради рекламы мириться даже с поэзией и музыкой, хотя совершенно ясно, что это занятие преимущественно для бездельников.

После закрытия конгресса в старинном ресторане-дворце среди тенистого парка был устроен для делегатов прощальный ужин.

Ужин этот на целых два часа как бы перенес нас в обстановку восемнадцатого века.

Случилось это потому, что над Турином в тот вечер прошла грохочущая гроза. В городе погас свет. Вспышки бенгальского небесного огня вырывали из мрака то длинные массивные колоннады на Пьяцца-Кастелло, то конные статуи героев и королей, то перевернутые ветром столики кафе, летящие вдоль улиц салфетки, битое стекло и листья каштанов.

Пышные залы дворца-ресторана погрузились во мрак. Ветер распахнул окна. Блеск молний безнаказанно метался по старинным картинам, серебрёной мебели и встревоженным лицам гостей.

В парке за окнами трещали сучья деревьев и водопадом низвергался ливень.

Я сидел у окна с чешской писательницей Майеровой — мужественной и бесконечно доброй женщиной. Несмотря на возраст и болезнь, она приехала в Турин из Праги на машине.

Мы говорили о молодых чешских и русских писателях, о том, что им надо дать возможность поездить как следует хотя бы по Европе.

— Писательство,— сказала Майерова,— это знание. А знание дает человеку, в числе других качеств, способность к бесконечному разнообразию ощущений. Даже гроза здесь, в Турине, ощущается не так, как в Карловых Варах. Хотя бы потому, что мы знаем о множестве вековых ореховых деревьев, окружающих Турин. Поэтому все время чудится запах ореховых листьев, промокших от дождя.

Электричество погасло надолго. Кельнеры начали зажигать свечи в старых позванивающих люстрах и канделябрах.

Трепетание теней и дрожащие язычки огня сразу перенесли нас на два столетия назад. Даже лица писателей — депутатов конгресса — стали какими-то таинственными и более выразительными.

Из Турина я уехал на крайний северо-запад Италии, в бывшее герцогство Аосту.

Десять дней, проведенных в свежей и нежной долине Аосты у подножья величайших альпийских вершин Монблана, Маттергорна и Монте-Розы, прочно оторвали меня от городской жизни.

Тишина стояла до самых вершин гор и еще выше — до бледного от снегов высокого неба. Только ветер, хлопавший створками жалюзи в окнах гостиницы, и сонный рокот реки Дора́ нарушали эту тишину. Да еще голоса детей.

В долине Аосты я жил в маленьком городке Сен-Висенте — типичном не итальянском, а французском провинциальном городке. Рядом была Савойя.

К вечеру на главной улице собирались жители городка, чтобы попить кофе за крошечными столиками на узеньких тротуарах, посудачить и посмотреть на приезжих.

А посмотреть стоило. Через городок в сторону Альп проносились, приседая, машины — длинные, низкие, бесшумные, сверкающие ослепительными лаками всех возможных цветов.

В машинах сидели люди, одетые ярко и пестро, как попугаи, преимущественно во все красное или во все желтое. Это были альпинисты. Такие яркие костюмы они носили, чтобы их легче было найти в случае несчастья на горных снегах и глетчерах. Красный и желтый цвета видны очень далеко. Даже лыжи у альпинистов были ярких цветов — зеленые, оранжевые, красные и черные.

По узкой улице проносились машины с альпинистами и бегали с озабоченными мордами одни и те же добродушные псы. Через три дня я уже знал всех их в лицо.

В Сен-Висенте я жил в гостинице «Биллия». В ней останавливались главным образом миланские купцы, миллионеры и крупные игроки.

Рядом с гостиницей расположилось казино с рулеткой и другими азартными играми. Рулетка эта была, кажется, единственной в Италии.

Казино соединялось с гостиницей подземным ходом. На его мраморных стенах висели картины новейших художников.

Впервые я столкнулся с теми, кого мы называем капиталистами. Я наблюдал их в казино, ресторанах, ночном кафе, в обширных холлах гостиницы и на улицах городка.

В большинстве своем это были скучные и надменные люди с дурными манерами. Любой носильщик, кондуктор пульмана или чистильщик сапог вел себя с гораздо большей непринужденностью и достоинством.

Собственно, ничего не изменилось с тех пор, как Бунин написал своего «Господина из Сан-Франциско».

Та же холодная пустота расчетливого ума, вера во всемогущество доллара и лиры, надменность и стандартное модное веселье или, вернее, погоня за тем, что должно было бы быть весельем, но никогда им не бывает. Веселье рекламируется, как кока-кола. А какое же истинное веселье нуждается в рекламе!

Особенно резко бросалось в глаза это принужденное веселье в ночном кафе, где дочери и жены миллионеров и мультимиллионеров танцевали в красном дразнящем полу-

мраке с наемными партнерами. То были смазливые и хищные юноши с ослепительными проборами и искусственно бледными лицами. Некоторые из них гримировались под «битников» — грязноватых, неуклюжих и развязных.

По-настоящему миллионеры оживлялись только в казино за столами с рулеткой.

Казино — это сиреневый туман сигарет, сквозь который проступает витиеватое золото люстр и светятся драгоценные камни на пальцах и шеях женщин. Почему-то все эти камни кажутся здесь фальшивыми. Может быть, потому, что молодые женщины (за редкими исключениями) избегают бывать в казино, а за игорными столами рядом с мужчинами сидят пожилые женщины и старухи с дряблой кожей.

Чаще всего в казино я видел именно старух. Иногда они комкали платки и плакали. Зрелище дряхлой плачущей женщины невыносимо. Даже крупье отводили от них глаза.

То обстоятельство, что в казино я почти не встречал молодых женщин, вызвало у меня внезапный прилив благодарности к ним. Очевидно, свежесть, девичество, изящество несовместимы с залами, где жадность и азарт людей и порожденное ими низменное волнение приобрели чисто внешнее отталкивающее выражение.

Казино — это глухой гул людской толпы. В казино не разговаривают, но волнуются. И вот оказывается, это безмолвное человеческое волнение порождает тревожный и незатихающий шум.

Этот гул прорезают лишь беспощадные и бесстрастные возгласы крупье: «Ставок больше нет!» После этого возгласа только быстро жужжит, подскакивая, шарик и тотчас происходит стремительная и почти незаметная выдача выигрышей.

Крупье работают, как лучшие в мире фокусники и жонглеры. Их движения точны и четки. Они должны помнить все ставки и никогда не ошибаться. Они должны чуть показывать зубы в деланной улыбке и не спускать глаз с рук игроков. Это — адская по напряжению работа, и потому крупье меняются каждые два часа.

В трехстах метрах от дымного и бессонного казино пустынная дорога выводила меня сквозь заросли в долину. Там пенилась река, озерами цвели анемоны, пели птицы,

стояли на перекрестках молоденькие каменные мадонны и кто-то клал к их ногам охапки свежей травы. В дощатой таверне веселый мальчик наливал мне в толстый стакан густого сицилийского вина, а старая мохнатая собака приносила в зубах все одну и ту же вчерашнюю измятую газету.

Вдоль реки,— вернее, не реки, а потока бешеной пышной пены,— по едва заметной тропе среди скал я добирался до римского моста.

Вокруг не было ни души. Река кипела под ветхим настилом. Вблизи на скале стоял старый замок. Его двор зарос выгоревшей травой. На стене сохранилась бледная фреска. На ней рыцарь помогал подняться с земли молодой женщине с печальным и нежным лицом.

Леса вокруг источали бальзамический воздух. Старый пастух заходил во двор замка и, присев на ступеньку, ел хлеб с сыром и запивал свой завтрак вином из глиняной фляги. Своих овец пастух оставлял за стеной замка.

В узкую калитку вместе с пастухом всегда протискивался, боясь отстать от хозяина, невероятно лохматый пес необычного розового цвета.

Пастух всегда садился рядом со мной, а пес ложился вдалеке, у самой калитки, не решаясь подойти ближе. Оттуда он смотрел на меня смеющимися глазами и, заигрывая, отмахивался от меня лапой. Потом, осмелев, он начинал медленно подползать ко мне, вежливо брал мою руку в свою жаркую пасть, чуть прикусывал ее, но тотчас отпускал, растягивался у моих ног и начинал старательно подметать хвостом каменные плиты двора.

— Он играет с вами,— говорил пастух, мешая французский и итальянский.— Прочь, Волкано! Не пыли в лицо синьору.

Этого пастуха я встречал в замке три раза. И каждый раз он с такой радостью угощал меня вином, что я не мог отказаться и улыбкой благодарил его.

Пастух уходил, а я ложился на сухую траву. От каменных стен замка тянуло тысячелетней теплотой.

Я долго лежал, глядя в небо Италии с летучими облаками, которые так легко и точно умели писать художники Возрождения. От облаков исходил на землю мирный свет и тишина.

Бóльшую часть своего времени в Сен-Висенте я так и проводил у римского моста и в замке. Я с неохотой возвращался в «Биллию», ощущая как оскорбление те по-

спешные и низкие поклоны, которые отвешивали мне привратники и мальчики-лифтеры. Я ощущал эти поклоны как оскорбление именно потому, что все эти люди так же кланялись миллионерам и игрокам и, может быть, принимали и меня за представителя этой пустой породы людей.

Но как только уборщица Романья — ясноглазая и смешливая уроженка Пармы — узнала, что я русский из Москвы, тотчас все изменилось. Со мной здоровались радостно и почтительно и начали протягивать мне по-дружески руку.

Альпы синели и дымились совсем недалеко. Но чтобы подойти к ним, как говорится, «на вытянутую руку», надо было поехать в ближайший альпийский поселок Червинию.

Дорога туда живописна и вместе с тем однообразна, как все красивые горные дороги.

В горных странах — у нас ли на Кавказе, в Карпатах, в Апеннинах или на Балканах — красоты часто повторяются. Крутые повороты, мосты, синеватый дым над долинами, сосны на скалах, исполинские зубцы, присыпанные снегом,— все это есть в любой горной стране. Не повторяются только люди и постройки. Здесь разворот огромный — от дагестанских аулов и деревянных ступенчатых изб в Татрах до швейцарских шале — уютных и пылающих изо всех окон и балконов традиционной геранью.

Автобус-пульман шел осторожно, все время покрикивая. Его крики повторяло со всех сторон печальное эхо.

С каждым поворотом становилось холоднее. Бешено мчались по обочинам серо-зеленые ручьи, взбивая пену. Горы делались круче, зловещее, чернее.

Кое-где у дороги стояли «альберго» — маленькие гостиницы для туристов, все в рекламах вермута и джина.

Потом перед нами открылся отвесный, уходящий в небо, совершенно голый склон без единого деревца и кустика. По нему десятками белых растрепанных ветром нитей падали с высоты тонкие водопады. Они лились почти вплотную один около другого. Их отделяло друг от друга расстояние не больше чем в три-четыре метра. Это делало склон горы похожим на те тяжелые занавеси из стеклянных нитей, какие часто встречаются в тавернах на окраинах Рима и Афин.

Червиния оказалась поселком довольно угрюмым. Стены гор скрадывали свет. Его явно не хватало для полного освещения городка.

В Червинии множество горных проводников. Они очень театральны в своих фетровых шляпах, со связками капроновых канатов на плечах и с блестящими ледорубами.

Из холодного кафе я долго смотрел на пропасти Маттергорна в сером снегу. Около одного крутого гребня горы была видна оранжевая черточка,— это, очевидно, шли альпинисты.

Рыжая девушка подала мне кофе, села рядом и начала читать какой-то роман в заманчивой обложке. Изредка она щелкала языком, неодобрительно качала головой и что-то говорила мне быстро и убежденно. Я, конечно, ничего не мог ей ответить. Так и не дождавшись ответа, она с осуждением похлопала меня по руке, лежавшей на столе, как бы говоря: «Эх ты, дурачок, дурачок!» Потом обняла меня за плечи, засмеялась и ушла за стойку. Там она снова принялась за свой роман.

Лились за окнами водопады. Когда кто-нибудь открывал дверь в кафе, я прислушивался. Я ждал, что услышу шум этих десятков водопадов. Но они лились в полной тишине.

Над Маттергорном уже клубилась мгла. Там начиналась метель. Я видел через окно, как женщины на улице закутывали головы теплыми платками.

Я достал блокнот с изображением Миланского собора и начал писать письмо в Тарусу,— именно в Тарусу, а не в Москву.

Я вспомнил, как стоят над Окой летние розовеющие облака. Исполинский Маттергорн с его смертоносными лавинами показался мне грозным и неуютным. Я подумал о том, что ни за что не полез бы на его клыкастую вершину. Очевидно, я человек долин, лесов, мягких линий горизонта. Горы больше всего привлекают меня в виде громад и башен кучевых облаков.

Из Сен-Висента я ездил на один день в Милан — посмотреть «Тайную вечерю» Леонардо.

Это случилось — именно случилось — в сумрачном и пустом зале монастырской трапезной при церкви Санта-Мария делле Грацие.

Писать о «Тайной вечере» невозможно. Она производит впечатление чуда. Это впечатление остается на всю жизнь.

Ее можно или принять сразу и безвозвратно, как событие твоей собственной жизни, или остаться холодным и поторопиться выйти из трапезной на жгучую и переполненную светом улицу. Так и было с несколькими посетителями.

Фреска покрыта, как все драгоценные и старинные вещи, легким тускловатым налетом. Она просвечивает через него, как через слой теплой воды.

Я часто слышал слова: «Увидеть Неаполь — и умереть!» или «Увидеть «Вечерю» Леонардо — и умереть!»

Эти слова, конечно,— выражение неудержимого пафоса, но и по сути своей они неверны.

После встречи с «Тайной вечерей», как и со всяким великим произведением искусства, хочется не умереть, а жить,— жить, если бы это было возможно, без утомления, без ущерба, чтобы увидеть всю красоту мира во всех ее выражениях — от красной крымской земли до картин Ван-Гога и от лилового Эгейского моря до белой зари над Олонцом.

Я не стесняюсь высказать эту простую мысль. Я чувствую наследие предков, их стремление к совершенству жизни. В Милане я прикоснулся к стенам театра Ла Скала с нежностью лишь потому, что эти стены видели прекраснейших людей. Прежде всего Байрона и Стендаля.

Но я дотронулся не только до стены театра Ла Скала. Возвратившись из Милана в Сен-Висент, я с благодарностью дотронулся до пыльного кузова пульмана, возившего меня в Милан, и пожал руку загорелому и спокойному водителю Нино.

Я знал, что больше никогда в жизни не увижу ни этого пульмана, остывшего в тени акаций, ни водителя Нино, но, к своему удивлению, не испытывал особого огорчения,— впереди были новые дороги и встречи.

В Милане меня приютил на один день представитель общества «Италия — СССР» доктор Иван Зеленкин.

Маленьким мальчиком родители увезли Зеленкина из Новочеркасска в Италию, но он еще смутно помнил Россию и считал себя коренным донским казаком.

В его холостяцкой квартире стоял на круглом столе

посреди гостиной медный тульский самовар — символ потерянной родины.

Доктор был прост в обращении, приветлив и хорошо, хотя и с легким акцентом, говорил по-русски. Управляла докторской квартирой веселая и крикливая прислуга Эмма — неистовая патриотка Милана. По ее словам, все лучшее в мире было только миланское,— только «миланэзэ».

По случаю приезда гостя из Москвы доктор созвал ближайших друзей. Эмма накормила нас тяжеловатым и сытным миланским обедом. Во время обеда из коридора в столовую вошли на цыпочках четыре мохнатые собачки разных цветов — черная, за ней — рыжая, потом — белая и позади — бежевая.

Собачки чинно сели около стола. Они не скулили и ничего не просили. Они только смотрели на нас преданно и умоляюще. Но это не помогло.

— Виа! Виа! — строго прикрикнул доктор, и собачки так же покорно удалились, как и пришли, соблюдая тот же порядок — сначала черная, а за ней — рыжая, белая и позади — бежевая.

Собачки побыли в коридоре минуты две, снова в том же порядке вернулись к столу, опять были изгнаны, опять вернулись и упорно проделывали это круговращение, пока не окончился обед.

Поэтому и разговор за обедом шел как бы циклами,— от одного возгласа «виа!» до другого.

Говорили о нашей поэзии, о Пастернаке. Потом — «виа!» — и разговор перешел на конгресс Европейского сообщества писателей в Турине. Снова «виа!» — и началось обсуждение картины «Рокко и его братья». Опять «виа!» — и молоденькая прелестная американка Джуди, соседка доктора, рассказала о том, как делаются золотые туфли на «шпильках» — те самые, какие были у нее на ногах.

Для большей наглядности Джуди сняла золотую туфлю и пустила ее по рукам.

Бронзовые волосы Джуди висели на затылке «конским хвостом». Ее глаза были салатного и несколько туманного цвета, а пышные и короткие юбки погромыхивали при каждом движении.

Кроме Джуди, за столом сидели молодой инженер — знаток советской поэзии — и какой-то очень ласковый и очень едкий старичок. Он все время добродушно кивал головой, но ни с чем и ни с кем не соглашался.

Доктор и все его друзья очень дружно показывали мне Милан в меру того короткого времени, которое я мог провести в этом городе. Дело в том, что Милан не был вписан в мою итальянскую визу. Поэтому я мог быть в Милане только днем, но не мог в нем ночевать. Вечером мне пришлось возвратиться в Сен-Висент.

В Милане меня не покидало ощущение, что в отдаленной юности я жил в этом городе и когда-то уже чувствовал неподвижный и желтоватый жар его улиц.

Знаменитый собор стоял в лесах. Его реставрировали, и леса придавали этому фантастическому зданию еще более величественный вид.

Мы смотрели на собор со стороны прославленной миланской «галерии» — огромного пассажа, своего рода архитектурного чуда прошлого века.

Вся «галерия», терявшаяся вдали, была густо заставлена ресторанными столиками. Среди них приходилось лавировать, чтобы никого не задеть. Джуди шла впереди, легко изгибаясь, покачивая своими пышными юбками.

Позже, когда мы медленно проходили залы и дворцы замка Сфорца, я почувствовал внезапное удушье, будто мне зажали рот широкой горячей ладонью.

— Астма! — сказал доктор Зеленкин.— Едем сейчас же домой. Я сниму этот припадок. Вы должны знать, что в Европе есть два города, где астматикам нельзя жить,— Милан и Мадрид.

Я не знал этого.

Дома доктор дал мне яркие зеленые пилюли. Я тотчас уснул в шезлонге среди бегоний, а через полчаса проснулся без всяких признаков астмы.

Доктор и все его друзья так же дружно проводили меня до автобуса в Сен-Висент.

Доктор явно загрустил. Его расстроили мои рассказы о Москве и родном Новочеркасске.

Автобус мчался по темнеющей автостраде среди полей, маленьких рощ, разливов и мелкой и тихой воды. За городом Аквилой он резко свернул в сторону Альп.

Мимо проносились еще не остывшие заросли, темные замки на крутых холмах. В глубине отдаленных долин то появлялись, то исчезали снега на вершинах Монте-Розы и Маттергорна. И над всем этим вечереющим миром висел в небе бледный месяц. Его свечение было таким ясным, будто на земле совершенно исчез воздух.

Я дремал и только по громкому эху, повторяющему пение клаксона, догадался, что автобус уже вошел в предгорья Альп.

На следующий день после возвращения в Сен-Висент я уехал в Турин, а оттуда улетел в Рим.

Воздушная глубина за окнами самолета казалась не синей, а черной. Тирренское море поблескивало внизу, в бездне, как чешуйчатый щит.

На щите вдруг нестерпимо сверкнула прилипшая к нему золотая песчинка. Мой сосед — сухощавый итальянский профессор с профилем Данте — показал мне на эту песчинку и внятно сказал:

— Монте-Кристо! Дюма!

Внизу в безбрежном океане воздуха и воды острой точкой горел маленький остров Монте-Кристо. Владельца этого острова Дюма выбрал героем своей очередной полувыдумки, своего увлекательного романа, в котором много наивных страстей и простодушия.

Старая Европа плыла под самолетом — частица нашей удивительной планеты, окруженной сиреневым сиянием, старая Европа, где родилось, возмужало, страдало и радовалось сердце. Оно стремилось передать всем, кто слышал его биение, тревогу жизни и красоту земли.

Стюардесса в сером обтянутом платье — тонкая и длинная, как земляная оса,— принесла на подносе горку разноцветных конфет в таких ярких обертках, будто веселый художник пробовал на них новые краски. Появление конфет означало, что самолет начинает спускаться. Обычно у пассажиров от смены давления возникает шум в ушах. Конфеты ослабляют этот шум, а иной раз совсем его устраняют.

Слух вернулся ко мне вместе со вкусом патоки и барбариса. Я слышал, как стюардесса произнесла с непременной заученной улыбкой знакомое слово:

— Чивитавеккья!

Самолет шел уже довольно низко над морем вдоль итальянского берега, освещенного заходящим солнцем. Был ясно виден этот сухой желтоватый город с резкими тенями в глубине аркад, разорванный прибоем на части каменный мол, спящие пароходы без единой струйки дыма из труб и красноватый воздух на площадях.

Да! Старая Европа вся целиком — до последних клоч-

ков материка, до последнего изгиба маленьких бухт — наполнена воспоминаниями, сжимающими сердце.

Вот Чивитавеккья — город, где полтораста лет назад настойчивый искатель счастья Стендаль служил французским консулом.

Лучше всего он сказал о себе сам: «Подлинное мое ремесло — писать романы где-нибудь на чердаках».

В Чивитавеккье он целые дни напролет читал и читал. Чтение было для него самой милой и напряженной работой. Он научился извлекать со страниц древних авторов мысли столь современные, что их можно было применить ко всему: и к новейшей политике, и к скучному характеру своего помощника по консульству — старичка итальянца.

Старичок делал за Стендаля всю его консульскую работу. Стендаль же изредка, и то главным образом из любопытства, принимал капитанов кораблей, застрявших в этом скучном итальянском порту.

Стендаль часто ездил из Чивитавеккьи в Рим и полюбил дорогу через скудную равнину, ограниченную далекой стеной Апеннин.

Уединение в Чивитавеккье было плодотворно для Стендаля.

Может быть, уединение нужно время от времени всем людям, особенно писателям. Оно очищает сердце и сообщает счастливую длительность нашим мыслям и чувствам.

В Рим мы прилетели в сумерки.

Новый римский аэровокзал расположен на равнине вблизи моря. Он геометричен и прозрачен.

На аэровокзале было много патеров, монахов и монахинь. Они ждали самолета на Брюссель, где происходил какой-то католический съезд.

Патеры охотно и весело болтали с красивыми стюардессами, а пожилые монахини достигли совершенства в искусстве поджимать губы. Почти у всех монахинь губы были сжаты так крепко, будто из них выдавили всю кровь. Снаружи осталась только полоска синеватой кожи. Из-под ряс монахинь виднелись крепкие, хорошо начищенные ботинки. Кирпичный румянец лежал на выпуклых щечках. По внешнему виду монахини были вполне добротными старыми девами — мастерицами по вышивке и изготовлению спагетти.

Молодые монахини казались застенчивыми и часто краснели. Даже короткий, но пристальный мужской взгляд бросал их в краску и вызывал преувеличенный блеск в глазах.

Что касается монахов, то они элегантно подпоясывали свои грубые власяницы капроновыми веревками, а иные подъезжали к аэровокзалу на мотороллерах.

Вообще у нас до сих пор существуют превратные представления о многих вещах на Западе. Мы удивляемся, когда видим ласковых и доброжелательных кондукторов автобусов, шутливых и заразительно хохочущих на посту полицейских, детей, внимательных к взрослым, шоферов такси, у которых, как это ни странно, всегда находится сдача.

От аэродрома до Рима тянулась туманная низина. По ней мчался рой белых и красных автомобильных огней. Они отражались и дробились в глубине маслянисто-черной трассы.

С быстрым шумом пролетали по сторонам темные платаны. Казалось, что они прячут в своих вершинах ветер и выпускают его на свободу только в те мгновения, когда стремительно равняются с нашей машиной.

Рим разливался огнями все шире, казалось,— до самых Сабинских гор.

Иногда вместо мерного пения асфальта под колесами гудели каменные плиты,— быть может, остатки дорог времен цезарей.

Внезапно на плавном закруглении улицы мимо нас пронеслись пинии, подкрашенные алым огнем световых реклам. Мы начали огибать могучий овал Колизея.

За ним уже пылал Рим современный.

У некоторых городов, кроме звуков, общих для всех человеческих поселений, есть еще звуки, принадлежащие только им одним.

О таких городах говорят, что у них есть свой голос. Большей частью он звучит под сурдинку.

Каков же голос Рима? Мне кажется, что это шорох и плеск фонтанов. Я не буду говорить о пенистом фонтане Треви. Не было ни одного описания Рима за последние двести лет, где бы не упоминался этот фонтан.

В Риме я полюбил фонтан на Навонской площади и

еще один безвестный и скромный фонтан около холма Яникул.

Около этого фонтана всегда сидела молчаливая старуха — продавщица цветов. Цветы у нее были самые простые, каких множество и у нас в России,— пионы, гвоздики, львиный зев и даже ноготки.

На Яникуле часто дул ветер. Малейший порыв его относил в сторону брызги фонтана. Дети с хохотом пробегали под этими брызгами. Вода в фонтане была зеленоватого цвета, как в лагуне.

Старуха держала цветы в большом эмалированном ведре. Фонтан все время орошал цветы. От этого они казались ярче и душистее. Сама же старуха сидела подальше от брызг под большим полотняным зонтиком и вязала красный грубый шарф.

Я сел невдалеке от нее и долго рассматривал каждого мальчишку и каждую девочку, игравших около фонтана, и всех людей, что сидели на скамейках в тени деревьев.

Далеко над мглой мерцал купол святого Петра.

Старик в сером нейлоновом костюме лежал на скамейке и спал, прикрыв лицо газетой. По газете пощелкивали брызги. Рыжий слепец в шляпе с петушиным пером сидел на складном стуле и торговал зубочистками.

Мальчик со светлыми легкими волосами попросил у старухи граненый стакан и принес в нем слепому воды из фонтана. Потом выполоскал стакан и принес воды мне, хотя я его об этом и не просил.

Я поблагодарил его по-русски. Он подпрыгнул на месте от восторга и что-то меня спросил. Я ответил наугад:

— Москва!

Тогда он протянул мне руку, потом умчался с пустым стаканом, зачерпнул из фонтана воды и принес ее старухе с цветами. Она подарила ему за это маленькую красную гвоздику. Мальчик побежал со всех ног к дальней скамейке, где читала книгу молодая женщина в трауре. Он отдал ей гвоздику, она приколола ее к платью на груди и поцеловала мальчика.

Мальчик схватил женщину за руку и начал изо всех сил стаскивать ее со скамейки.

Она засмеялась и поднялась. Мальчик подвел ее ко мне и сказал с горящими глазами, что я — из Москвы!

Мерно шуршал фонтан.

Женщина отколола гвоздику, засунула ее в маленький нагрудный карман моего пиджака, взяла мальчика за

руку и ушла. Фонтан как бы рванулся ей вслед, швырнув множество брызг. Тогда она и мальчик обернулись и помахали на прощанье мне и фонтану.

Все плескалась зеленоватая вода. Мимо прошли веселые студенты в таких узких брюках, что было непонятно, как они могли натянуть их на ноги.

В четыре певучих тона пропел автобус-пульмап. И я подумал о том, что все-таки хорошо жить на свете бродягой, от случая к случаю.

Несколько лет назад я увидел в Риме Навонскую площадь — Пьяцца-Навона.

Приближался вечер. Боковой солнечный свет придавал зловещую живописность старым фасадам домов и воде, широкими струями лившейся из фонтана в бассейн.

Пьяцца-Навона показалась мне живым воплощением старой Италии с ее карнавальными тайнами, пышной скукой и необыкновенными страстями. Страсти эти возникали от мимолетного взгляда, но сплошь и рядом приводили к катастрофам.

Невдалеке струился Тибр. Плакучие ивы полоскали в его мутноватой воде узкие листья.

За Тибром возвышался крутой приземистый замок святого Ангела. Солнце покрывало багрянцем его ноздреватые стены.

Я когда-то уже писал, что в 1930 году увидел в самом неожиданном месте — в селе Гришино, на реке Пре, на границе Мещорских лесов — картину неизвестного художника, относившуюся, очевидно, к концу восемнадцатого века. Картина изображала Пьяцца-Навона в Риме. Поэтому и в первый раз, когда я увидел эту площадь, и сейчас, когда я ее увидел во второй раз, я вспомнил Гришино и запах багульника с окрестных болот.

Гришино было селом насквозь русским. На его песчаных улицах росла ромашка, клокотали черно-золотые петухи, и ласковые старухи всё охали, всё сокрушались о тяжкой людской доле.

Так эта площадь соединилась в моих мыслях с рязанской деревней и теплыми налетами смолистого ветра из сосновых лесов.

Сейчас, во второй раз, я попал на Пьяцца-Навона поздним вечером. Несколько знакомых итальянцев, в том числе превосходный переводчик русских книг Пьетро Цветаремич — вольный, веселый и беспечный человек,— пригласили меня поужинать на Пьяцца-Навона.

Вся площадь была заставлена столиками и превращена в сплошной ресторан. Только по обочинам были оставлены на мостовой узкие проходы для пешеходов и экипажей (проезд машин по площади был по вечерам запрещен).

Экипажи медленно двигались мимо столиков, покрытых пышными скатертями, уставленных оплетенными бутылками с вином и букетами цветов, уже немного увядшими от духоты.

Мы сидели за столом, освещенным только уличными фонарями и большой и слепой желтой луной. Она висела над соседней церковью в мглистом летнем небе.

Рядом с нами щелкали бичи веттурино и отчетливо цокали по мостовой подковы.

Мы пили вермут и всякие другие вина. Они пахли чуть горько. То был подлинный сок итальянской земли — кремнистый, сухой,— сок земли, омытой густыми и теплыми морями.

Цветаремич говорил о дружбе, возникшей на расстоянии. С нами сидел библиотекарь книгохранилища по истории искусств во Дворце Венеции Паоло Падовани. Это был скромный и ласковый человек, хорошо знавший нашу литературу.

Книги роднят людей. Я в сотый раз убедился в этом в ту ночь на Пьяцца-Навона, когда три человека, далекие друг от друга по месту своей жизни, люди с разными биографиями, воспитанием, темпераментом, разными познаниями и разным языком, были близки друг другу, как люди одного общего дела.

Может ли возникнуть дружба, когда видишь человека впервые? На этот вопрос мне ответил Цветаремич несколько позже в письме из Рима.

«Я думаю,— писал он,— что когда возникает обоюдная симпатия, основанная на проникновении в какую-то созвучную зону другого человека, то она вполне оправдывает звание друга, несмотря на краткость знакомства».

Луна зашла за церковную башню. Таинственная ночная тень перерезала наискось площадь. Где-то далеко прозвонил колокол. Мы разошлись.

Потом у себя в смешном, очень узком номере гостиницы около виа Венета я долго оттягивал сон, долго слушал ночной Рим. Сон мне казался по меньшей мере преступлением.

Все же к утру он одолел меня. Но я вскоре проснулся от шума воды из шлангов. Поливали улицы. Метались по стенам солнечные зайчики, отброшенные сильной и холодной струей. Зелень виллы Боргезе еще дышала ночной прохладой.

Днем я вылетел в Москву через Брюссель.

На длинном пути нас всегда тревожит ожидание случайности. К сожалению, никак нельзя догадаться, что эти случайности принесут с собой — досаду или удачу?

Во время итальянской поездки одна из таких случайностей возникла в Риме,— мы узнали, что лететь в Москву нам придется не через Париж, как мы надеялись, а через Брюссель.

Мы, естественно, огорчились, обозвали про себя «битником» человека, доставившего нам билеты, а потом, уже в римском аэропорту, долго с недоверием смотрели, как за стеклянной стеной авиавокзала механики разогревали паяльником какие-то части в моторе нарядного бельгийского самолета общества «Сабена». На нем мы должны были лететь в Брюссель. Конечно, мы предпочли бы Париж и французскую «Каравеллу».

Самолет был небольшой, изящный, и взлетел он с таким же бешеным ревом, как и все самолеты, но грациозно и весело. Он как будто вспорхнул на воздух и даже заплясал на воздушных волнах.

Он оказался очень быстрым, этот легкомысленный самолет. Стюардесса с лицом восходящей кинозвезды едва успевала сообщать пассажирам о красотах земли, проносившихся внизу за слоем облаков: «Остров Корсика», «Лазурный берег», «Прованс», «Страсбург».

Так, играя, мы домчались до Бельгии, прорезали сверху пелену облаков, и вдрут под нами закачалась, как на праздничной ярмарочной карусели, веселая разноцветная страна. С воздуха казалось, что ее построили из кубиков дети на стриженой и очень зеленой траве.

В пустынном и непомерно просторном брюссельском аэровокзале выяснилось, что самолет на Москву пойдет только завтра днем и нам придется больше суток прожить в Брюсселе.

Мы обрадовались, но тут же испугались,— у нас не было бельгийской визы и не было денег, кроме тех грошей,

которые мы оставили на последний короткий перелет из Парижа в Москву.

Но визы нам выдал бесстрастный жандарм в высоком, как вавилонская башня, кепи (при этом он незаметно сфотографировал наши паспорта), а деньги на жизнь, на гостиницу и такси нам тут же выдало, как это и полагается, агентство воздушного общества «Сабена».

Меня как «размагниченного интеллигента» все время смущала в Брюсселе мысль, что «Сабена» на нас ничего не заработала, а может быть, наоборот, даже добавила свои деньги. Успокоил меня только вид служащих «Сабены»,— они просто сияли, будто мы не могли доставить им большей радости, чем прожить за счет их фирмы целые сутки в несколько старомодном и несколько патриархальном Брюсселе.

В Брюсселе я убедился, что привычка вспоминать стихи с годами у меня не прошла. В Брюсселе я часто повторял прочитанные еще в 1914 году стихи Северянина:

О, Бельгия, ты светозарна!
Твоих городов карусель
Под строки Эмиля Верхарна
Кружит, кружевея, Брюссель.

Но перед нами Брюссель промелькнул отнюдь не в светозарном, а в несколько туманном пространстве. И я понял, что этот туман и есть постоянный воздух Фландрии. Может быть, поэтому особенно яркими, будто только что вынутыми из прозрачной воды, представлялись цветы в корзинах у цветочниц и в брюссельских садах.

Гостиница — чистая, но поблекшая — попахивала старой мебелью и корицей.

В уличных кафе сидело много пожилых женщин. К ножкам столиков были привязаны дремлющие собаки.

Во многих кино шла картина «Ночи Европы». Я пошел на нее. Я вошел в зал во время сеанса. Девушка, совсем невидимая в темноте, подошла ко мне, взяла за руку и, освещая электрическим фонариком свои стройные ноги, провела меня на место.

На экране среди всяческих эстрадных номеров и рок-н-ролла возник стриптиз. Красивая перетонченная женщина в трауре медленно раздевалась, отбросив только что прочитанное и, должно быть, печальное письмо. Из-под ресниц ее медленно текли очень блестящие слезы.

Может быть, потому, что женщина в трауре была

очень красива, нежна и беспомощна, зрелище стриптиза оказалось совсем не сексуальным.

Я вышел. Уже спустился вечер. Неяркий свет заливал улицы. Я свернул в темный кривой переулок. Кое-где в маленьких узких витринах стояли аляповатые статуэтки знаменитого мальчика — «Манекен писс» — и висели желтые, серебряные, черные и золотые брабантские кружева для туристов.

В глубине переулка слышался странный шум, похожий на отголосок церковной службы.

Я пошел на этот шум и неожиданно попал на большую квадратную площадь, обставленную высокими средневековыми домами.

Фасады этих домов из темного, почти черного камня были освещены снизу неяркими фонарями. Мне показалось, что на дома наброшено богатое золотое кружево, «Что это? — невольно спросил я себя.— Что за чертовщина?»

Но это было действительно так. Я стоял на Золотой площади Брюсселя. Впечатление кружева из тяжелого литого золота, опутавшего дома, было вызвано тем, что орнаменты на фасадах, нарядные наличники окон, лепные гильдейские гербы, завитки колонн и балясины балконов были позолочены.

Золото на черном камне придавало зданиям загадочность и превращало ночь в золотой сумрак.

Безмолвные толпы стояли по краям площади и прислушивались к словам торжественной мессы. Ее служил среди площади под бархатным балдахином седой кардинал.

На балконе одного из зданий стоял в луче света молодой человек в простой военной форме.

Десятки длинных и причудливых исторических флагов времен восстания гёзов, испанских войн и Тиля Уленшпигеля спускались с длинных флагштоков, выдвинутых из верхних окон домов. Флаги шуршали. До них можно было дотронуться рукой. Ткань флагов была мягкой и теплой.

— Что здесь происходит? — спросил я человека в кепке, надетой набекрень, и явно выпившего. Он покачнулся, схватился за мое плечо, утвердился таким образом на ногах и совершенно трезвым голосом ответил, что сегодня — праздник независимости Бельгии, что молодой человек на балконе — бельгийский король (человек при этом таинственно подмигнул), что месса окончена и сейчас на-

чнется перекличка городов Бельгии — участников борьбы за независимость.

Все стихло. Невидимый мерный голос сказал откуда-то сверху, из глубины площади:

— Сейчас будет говорить Антверпен!

Антверпен произнес несколько слов, чтобы уступить место Намюру. После Намюра говорил Льеж, а потом — все достославные города Бельгии.

Каждую короткую речь городов перекрывал отдаленный орудийный салют, как будто над Брюсселем медленно катились по облакам гремящие ядра.

Лишь только стихал салют, тотчас возникал переливающийся звон многих колоколен.

Впервые я услышал знаменитые бельгийские серебряные колокола. Они звенели мелодично и нежно. Их перезвон наполнял, очевидно, все ночное пространство Бельгии от Северного моря и Брюгге до Лувена и Боринажа.

Звонила, перекликаясь, вся страна. Звонила по строгим и торжественным мелодиям бельгийских колокольных композиторов и звонарей.

После переклички городов в Брюсселе начался праздник. Выражался он в том, что брюссельцы танцевали всюду: на мостовых, на тротуарах, в скверах, во дворах и за освещенными окнами домов.

В кафе, куда я зашел, медленно танцевала с мальчиком тончайшая девушка с синими фламандскими глазами.

На стене кафе висело скромное объявление. Оно извещало посетителей, что в этом кафе бывали Верхарн, Ван-Гог, писатель Роденбах — певец умирающих фламандских городов — и великий и туманный Метерлинк — создатель «Синей птицы».

И снова мне вспомнились слова из полузабытых стихов:

О Бельгия, синяя птица
С глазами принцессы Мален...

Наутро мы вылетели из Брюсселя в Москву. Мы шли над Северной Европой на большой высоте, обходя исполинские башни белоснежных кучевых облаков. Они тянулись до самой Москвы.

Я думал о том, что много видел, но, как всегда, мне было мало этого. Сколько бы человек ни видел, ему всегда мало. Так и должно быть. Нам нужна вся земля со всеми ее заманчивыми уголками. Мы хотим видеть весь мир.

Недавно я прочел историю об одном маленьком английском мальчике. Он собрал в копилку несколько шиллингов и решил купить на эти деньги океанский пароход «Куин Мэри». Он пошел со своими шиллингами к капитану «Куин Мэри», но после этого посещения долго плакал, как плачут иногда взрослые над своей разбитой мечтой.

Вот так же и мы, взрослые, мечтаем о целом мире, как мечтал этот мальчик об океанском пароходе.

Но у мальчика было перед нами одно преимущество: капитан «Куин Мэри» был так тронут горем малыша, что подарил ему великолепную модель этого корабля.

А горести взрослых никого так сильно не трогают, и никто не вздумает подарить нам земной шар.

1962

ТРЕТЬЕ СВИДАНИЕ

Впервые я попал в Польшу в 1901 году, маленьким мальчиком. Меня возила туда моя бабушка Вицентина Ивановна — очень строгая на вид, на самом же деле неслыханно добрая.

С бабушкой мы были в Белостоке, Варшаве и Ченстохове.

Несмотря на то что я хорошо помню эту поездку, она все же представляется мне сейчас каким-то далеким видением.

Второй раз я попал в Польшу во время первой мировой войны. Мы отходили под натиском немцев от Келец к Брест-Литовску и дальше к Барановичам.

Восточная Польша запомнилась как сыпучие пески, скрип колес, старые распятья на перекрестках и темные осенние ночи.

Было безветренно, тихо. По горизонту постоянно разгорались и дымили зарева, но ночи все же были настолько темными, что помогали думать, когда я лежал в санитарной фурманке, укрывшись шинелью.

Мне выдали старую кавалерийскую шинель. Она стала верным моим другом, эта длинная шинель из грубого сукна. Я быстро согревался под ней в сентябрьские ночи.

Шинель попахивала махоркой и кожей. Но от нее не

воняло йодоформом, как почти от всех шинелей. За это я ее особенно ценил.

Никогда до тех пор я так подолгу не смотрел в мерцающее ночное небо, как в ту осень, лежа в фурманке среди польских болот и полей. Должно быть, поэтому Польша всегда вспоминалась мне потом вся в венках спящих созвездий.

Звезды как бы благословляли эту измученную страну. Каждый раз я с неприязнью встречал заспанный рассвет. Его нельзя было остановить даже на несколько минут. Он был враждебен своей неизбежностью.

Однажды около городка Бялы я подобрал на свою фурманку и подвез до железной дороги беженцев — старика и девочку лет двенадцати.

Старик был так стар, что даже не отвечал на вопросы — только слабо отмахивался костлявой рукой, а девочка — светлая, тихая, какая-то вся золотистая — тоже молчала.

В ответ на расспросы она только опускала глаза — большие и грустные. В них как будто отражались сухие осенние васильки. Дно зрачков было выгоревшего синего цвета с легким блеском.

Звали ее Гражина.

Впечатление золотистости создавалось, должно быть, светлыми косами девочки с застрявшими в них стебельками соломы (очевидно, девочка ночевала с дедом где-нибудь в чужой стодоле) и ее выцветшей желтой жакеткой с большими оловянными пуговицами.

Время от времени я следил за взглядом девочки и видел то же самое, что и она,— отдаленные песчаные бугры, желтые заросли суренки и старые вязы при дороге. Они трещали от воробьиного крика, как костры.

Я видел, как заметно побледнело синее поутру небо и по нему разлилась зеленоватая вода усталости. Очевидно, небо измучилось вместе с землей, все время содрогавшейся от канонады.

Изредка девочка кончиком белой косынки вытирала слезы в уголках глаз.

У меня в груди все болело от жалости к ней. Но чем я мог ее успокоить?

Напоследок, прощаясь, девочка прошептала: «Дзенькуе бардзо»,— и улыбнулась. Смущенная ее улыбка пока-

залась мне воплощением всей этой милой страны: ее как будто остановившихся, медленных рек, береговых плакучих ракит и каких-то — тоже тихих и полудетских — рассказов о глубоко закопанном счастье.

После этого прошло больше сорока лет. В 1961 году я приехал в Польшу в третий раз.

Можете мне не верить — это меня не обидит,— но мне кажется, что я снова встретил в Польше ту девочку, которую подвозил на фурманке на безлюдной станции Бяла. Только теперь ей было не двенадцать лет, а, должно быть, все восемнадцать. Она, конечно, выросла, но осталась такой же тоненькой и стеснительной.

Я встретил ее вблизи большого портового города Гданьска, в местности, называвшейся Оливой.

Там, в старом костеле среди парка, был знаменитый орган. Иногда в костеле устраивались концерты органной музыки. Для этого в Оливу приезжали лучшие органисты из разных мест Польши и Европы. Концерты происходили по ночам, когда в костеле оканчивалась служба.

Мы пошли на концерт органиста из Кракова.

Сырая ночь постукивала по земле редкими каплями, падавшими с листьев. Как всегда ночью, сильно пахли заросли петунии. Я заметил эти пышные заросли около костела еще днем, когда приходил брать билеты на концерт. Петунию высадили национальных польских цветов — красную и белую.

Ночь была освещена смутным электрическим заревом близкого Гданьска и огромного Гданьского порта,— настолько освещена, что можно было разглядеть лица людей, ожидавших у входа в костел начала концерта.

Я слышал и видел много органов. По своей архитектуре они большей частью носили черты готики. Леса стрельчатых труб, рвущихся в небо, и отсутствие украшений были характерны для них.

Есть органы аристократические и простонародные. Особенно суровы и даже как будто пахнут хлебом и постным маслом органы в глухих местностях Польши. В пустых и небогатых костелах они звучат, как музыка пастушеского христианства, еще не извращенного насилием, ложью и властью.

Из аристократических органов я помню орган в одной из церквей Праги. На нем когда-то играл Моцарт. Орган

этот был совершенно белый. Этот цвет соответствовал юности Моцарта и его живому и светлому характеру.

Орган — лучший из духовых инструментов. Богатство его тонов, трагическая мощь его голоса, сотрясающего небо, быстрый переход от грома к лепету песни — все это удивительно и почти загадочно.

Я люблю и органистов, но мало их знаю. Большей частью это скромные незлобивые люди, иной раз чуть глуховатые. На них смотришь с почтением и завистью — эти бедно одетые музыканты свободно распоряжаются небесными бурями и звенящим пением женщин.

Орган в Оливе был один из немногих, где готика уступала место барокко. Богатая резьба покрывала его. Деревянные ангелы с золочеными трубами в руках стояли по его сторонам. В мажорных местах, во время «Аллилуйя!», начинал работать какой-то старинный механизм, ангелы подымали трубы к небу, и из них вырывался ликующий вопль.

В костеле зажгли слабые люстры. Невдалеке от меня села худенькая девушка лет восемнадцати с длинными, блестевшими светлой бронзой милыми косами.

Я посмотрел на девушку. Она вскинула строгие глаза. Дно зрачков у нее было василькового цвета с зеленоватым блеском.

Это, кажется, была та девочка со станции Бяла! Нет, конечно, не та! Но, может быть, даже наверное — ее внучка. Она казалась мне теперь, как и сорок пять лет назад, наилучшим воплощением нежности польской женщины. Говорят, этой нежности нет равной.

Какие-то полузабытые стихи — не помню чьи — возникли в памяти:

Нежнее, чем польская панна,
И, значит, нежнее всего.

Орган начал петь очень тонко. Звуки его как бы щебетали и перепархивали с ветки на ветку. Что это могло быть?

Я снова взглянул на девушку. Она отчеркнула что-то в программе маленьким ногтем и мельком посмотрела на меня.

Я тотчас нашел это место в программе. Органист играл пьесу (имя композитора я забыл) под названием «Пение тропических птиц».

Я никогда не думал, что орган может издавать такие тончайшие переливы.

Девушка-подросток снова взглянула на меня, но уже с тревогой, будто стараясь припомнить, где мы встречались. Лицо ее стало растерянным. Конечно, она не могла ничего вспомнить, потому что в первую нашу встречу ее еще не было на свете.

Она опустила голову, уже не слушая музыку. И даже крик труб, возвестивших пришествие радости, не вывел ее из задумчивости.

Орган затих. Костел опустел. Слушатели исчезали во тьме. Снаружи стояла осенняя ночь. Она все гуще наполнялась прохладой — с Балтики задувал полуночный ветерок. Сильнее пахли петунии. Сердце щемило от слабой боли. Все прекрасно, все хорошо! Чего же ему все еще нужно, этому беспокойному сердцу? О ком жалеть? Если жалеть о всех хороших людях, промелькнувших мимо, то не хватит сил довести до конца эту жизнь. А ее нужно разумно и с пользой прожить.

Я даже не пытался увидеть в беспорядочном свете автомобильных фар мою девушку — олицетворение сердечности и простоты. Уж в чем-чем, а в ее сердечности я был уверен.

Во время третьего свидания с Польшей я решил проехать по тем местам, где был во время первой мировой войны. Но когда я увидел новую Варшаву, восстановленную из бесконечных, тянувшихся до горизонта пирамид битого кирпича, стекла и известки, увидел этот блистающий город, возродившийся в полном смысле слова, «как феникс из пепла», я на время отложил свою поездку в места стародавних боев.

Героизм народа особенно виден в облике новой Варшавы. Каждый час дает пищу для удивления.

Поразительно, что целые части города, такие, как, скажем, Старе Място (Старувка), воссозданные по памяти, по старым обмерам, чертежам, снимкам, по рисункам Каналетто, снова наполнились красками и воздухом истории и стали уже не гениальной подделкой, а подлинником. Народ вдохнул в новые здания их прежнюю живую душу.

Рядом с новой Старой Варшавой раскинулась совершенно новая Молодая Варшава — легкая и светлая. В ней дома походили на океанские корабли, насквозь просвечен-

ные солнцем и прохваченные воздухом. По всем признакам, за их стенами шла разумная и спокойная жизнь людей, узнавших истинную цену своей независимости, своей культуре и гуманной силе.

Цену этому поляки узнали, столкнувшись лицом к лицу со смертью, с черными ужасами освенцимов, гетто, майданеков, во время Варшавского восстания, в неистовой и, казалось, безнадежной схватке с армиями бесноватого фюрера.

Сейчас в Варшаве во всем — в отдельных людях и семьях, в беседах и даже, кажется, в осеннем светлом небе — разлито то спокойствие, какое помогает жить и пользоваться дарами культуры.

Это спокойствие Варшавы привлекает и дает человеку, даже приезжему, как я, иностранцу, возможность неторопливо воспринимать все вокруг.

Это спокойствие я почувствовал сразу, в первый же свой варшавский день, когда вечером приехал в Жолибож, залитый свежестью Вислы, к переводчику своих книг на польский язык, точному и обязательному человеку Ежи Енджеевичу.

Постепенно за вермутом выяснилось, что он не только переводчик и знаток литературы, но и моряк, объехавший Европу, и знаток Венеции и старого венецианского театра, и знаток еще многих неожиданных вещей.

Куда бы я ни попадал потом, это состояние спокойствия и душевной ясности не покидало меня: и в усадьбе писателя Ярослава Ивашкевича, где темно от вязов и тесно от книг, и в саркастической и тонкой обстановке дома поэта Антония Слонимского, и в простой комнатке поэта Ежи Фицовского — сына моего лучшего товарища по Первой киевской гимназии. Всюду и везде.

Каждый человек оборачивался ко мне самой неожиданной стороной, вызывал выжидательную улыбку.

Ежи Фицовский — передовой поэт и знаток старой Варшавы, был, кроме того, редким знатоком цыганской жизни и таборной поэзии, как бы полномочным представителем в Польше этого свободолюбивого и романтического народа.

Знатоком старой романтической Варшавы был и пожилой поэт Антоний Слонимский — человек насмешливый и мягкий, проживший сложную жизнь. Он поражал своей необыкновенной наблюдательностью. Благодаря ей он постоянно выхватывал из тянущейся, как по конвейеру, жизни один замечательный кусок за другим. Но каждый та-

кой кусок в его рассказах — даже самый веселый — был чуточку окрашен печальной добротой и снисхождением к человеку.

Однажды Антоний Слонимский рассказал, как около его дома в Аллее роз (варшавская улица, где останавливался когда-то Александр Блок) к нему подошел маленький соседский мальчик и задал ему простой, но совершенно современный вопрос.

Надо заметить, что в Польше, как и всюду на Западе, некоторые магазины носят определенные названия.

Вблизи дома, где живет Слонимский, есть обувной магазин под названием «Антилопа». Маленький сосед доверчиво взял Слонимского за палец и спросил:

— Пан Антоний, я знаю, что такое «анти», но я не знаю, что такое «лопа». Может быть, вы объясните мне?

Слонимский ласково и как-то грустно рассмеялся, рассказывая это.

Сам он напоминал англичанина — худощавый, сдержанный, как будто одинокий среди всех.

И квартира у него была какая-то диккенсовская. Мне все казалось, что в ящиках его письменного стола обязательно лежат коричневые дагерротипы Домби-сына, Давида Копперфильда в старомодном цилиндре, Урии Гипа и самого Чарльза Диккенса с раскрытой книгой в руке.

Мир Диккенса устоял от мировых войн и катаклизмов. Добросердечие этого мира не могли убить современные варвары. Он оживал то в стихах Тувима, то в повестях Ильфа и Петрова, Гайдара и Каверина, то в словах самого хозяина дома.

У Слонимского есть прекрасная «Элегия еврейских местечек». Я знавал эти местечки еще во время первой мировой войны. В них было много добродушия и печальной веселости. Теперь такие местечки остались, очевидно, только на картинах Марка Шагала.

С Ярославом Ивашкевичем мы учились в одни и те же годы (в начале века) в разных киевских гимназиях, я в Первой, а Ивашкевич — в Четвертой.

Он в какой-то мере и сейчас остался киевским гимназистом. И я до сих пор замечаю в себе гимназические черты. Это нас и сдружило. Строгая и несколько утомленная настроенность Ивашкевича, его неожиданный юмор — он роняет его как бы невзначай,— его страсть к скитани-

ям по земле, соединенная с высоким патриотизмом, его служение литературе и всепонимание — все это соответствовало тому представлению о старшем товарище, которое почему-то сложилось у меня по отношению к Ивашкевичу, хотя мы с ним ровесники.

Усадьба Ивашкевича Стависко вблизи Варшавы напомнила мне о том, чего я никогда не видел, а только представлял себе по рассказу Мериме «Локис». Сыроватый парк, тихая роща, старопольский обжитой дом со множеством книг и вещей разных эпох и стран, затянутые паутинным туманом пруды, аллея, по которой бредут, поддерживая друг друга, две старухи, простая трава и простые цветы в этой траве, которые обнаруживают себя волнами лекарственного запаха.

А в доме — чуть сумрачном от обилия вещей — должны бы по всем признакам происходить всякие таинственные случаи.

Один такой незначительный и веселый случай произошел в столовой за крепким чаем — «гербатой».

Вокруг стола сидела вся милая семья Ивашкевича, когда в комнату неслышно вошла очень маленькая и строгая девочка. Едва доставая до стола, она приподнялась на цыпочки, потянула к себе фарфоровую сахарницу, молча выбрала из нее весь кусковой сахар, сложила себе в фартук и, ни на кого не глядя, ушла.

Ивашкевич пристально смотрел на эту сцену и, очевидно, старался разгадать таинственное поведение девочки. В глазах у него зарождался смех.

Сумерки быстро сгущались в углах больших комнат. В тишине были слышны только семенящие шаги уходившей девочки. Как будто она одна жила в этом доме.

Невольно хотелось спросить: «Что это значит?» — будто в детском этом поступке заключался некий неуловимый смысл в духе рассказов Кафки.

В Польше я часто чувствовал то трудно определимое состояние, какое в книгах мы называем «подтекстом». Как будто существовали две Польши: совершенно реальная, повседневная и рядом с ней — иная, немного таинственная, полувидимая и полуслышимая.

«Тут что-то есть!» — говорил я себе порою и вспоминал Джозефа Конрада, Александра Грина и других людей. Примесь польской крови наградила их безудержным воображением и умением извлекать из жизни ее подспудное очарование.

Я видел в Варшаве фильм Ивашкевича «Мать Иоанна из монастыря ангелов». Сила человеческих страстей, безжалостных и заслуживающих сострадания, ощущается в этом фильме очень мучительно. Фильм обрамлен необыкновенным, почти ирреальным по своей скупости жестким пейзажем.

Все в Польше было действительностью. Но стоило приглядеться, и в этой действительности появлялись еле заметные сказочные черты.

Например, у Перро, да и у Андерсена, нет сказки о маленькой старенькой королеве-музыкантше, что с благоговением приезжает за тридевять земель послушать знаменитый концерт или посетить родину великого композитора

В Стависко я увидел на рояле фотографию бельгийской королевы Елизаветы с ее дарственной надписью — старая королева приезжала в Польшу на шопеновские дни и навестила Ивашкевича.

Композитор Лист писал художнику Делакруа об одном отрывке из Второго концерта Шопена: «Кажется, что слышишь голос непоправимой утраты, настигающей человека среди ни с чем не сравнимого блеска природы».

Делакруа дружил с Шопеном. Он называл композитора «восхитительным гением». Он написал портрет Шопена. Этот превосходный портрет — на нем Шопен изображен уже больным и встревоженным — висит в Лувре, а копия его — в Желязовой Воле, в доме, где Шопен родился.

Это маленький, будто дремлющий дом. В комнатах пахнет разогретой на солнце сосновой смолой, горячими травами, лениво летают белые бабочки и садятся на изогнутые спинки старинных кресел. Несмотря на незатихающую игру рояля, в доме очень тихо.

Мы вышли из затененных комнат в парк и очутились среди того ни с чем не сравнимого блеска природы, где нас могла настигнуть, по словам Листа, непоправимая сердечная утрата.

Я плохо знаю и воспринимаю музыку. Но когда слушаю Шопена, то кажется, что он умеет придавать оттенок радости каждой печали и долю грусти любой радости. Он как бы уравновешивает крайности нашего состояния и примиряет их в одном благородном спокойствии.

Мы приехали в Желязову Волю в жаркий августовский день. Небо было заполнено вереницами круглых маленьких облаков, будто только что вылепленных из свежего белейшего снега. Они без конца плыли, расходились, снова сходились и таяли над нами, как в медленном небесном полонезе.

Их непрерывное движение не мешало солнцу расточать на землю полуденный жар. Парк был прорезан стрелами света. Он вырывал из тени листья неизвестных деревьев и чашечки незнакомых цветов.

Парк был засажен растениями из разных стран. Их привозили сюда почитатели Шопена, сажали и уезжали, не зная, приживутся растения или нет. Но большей частью они приживались.

Я люблю бывать в местах, связанных с памятью замечательных людей. Из-за этого мне однажды пришлось крупно поспорить с недавно умершим американским поэтом Робертом Фростом. Этот едкий и умный старик сказал тоном, не допускавшим никаких возражений, что он ненавидит всякие мемориальные места и ни капли бы не пожалел, если бы их и вовсе не было на свете. Речь шла о пушкинском заповеднике в Михайловском. Мне кажется, что в этом случае восьмидесятивосьмилетний поэт хотел блеснуть своей «левизной».

Я, наоборот, очень ценю те острова спокойствия, где можно немного одуматься и стать самим собой. Особенно я люблю такие места, как Михайловское, как тургеневское Спасское-Лутовиново, толстовская Ясная Поляна, чеховская Аутка и шопеновская Желязова Воля.

Люблю за то, что, попадая в эти места, мы невольно начинаем думать об удивительных людях, живших здесь. Мы как бы возвращаемся к ним после разлуки, жестоко растрепав в препирательствах с жизнью память о них и нашу любовь к ним.

Они —полузабытые — вновь оживают в тех местах, где, может быть, эхо до сих пор хранит их голоса.

Каждое посещение таких мест связано с мыслью о случайной и вместе с тем плодотворной роли расстояний в жизни людей.

Вот Шопен! Тихая Желязова Воля, где он родился. Потом Варшава, переезд на Запад, в Париж, свита блестящих друзей, Жорж Санд и Болеарские острова — такие далекие от этих польских фольварков и «мястечек». Острова, горящие в синем золоте Средиземного моря и не сгораю-

щие, как неопалимая купина. Но на них сгорело сердце Шопена.

Сердце Шопена! Оно было привезено в Польшу в серебряной урне и замуровано в одну из колонн костела Святого Креста (Свентего Шшижа) в Варшаве.

В 1961 году я долго искал в этом костеле на Краковском предместье колонну с сердцем Шопена, но никто не мог мне ее указать.

Какой-то старик подвел меня к надгробию писателя Болеслава Пруса, но о сердце Шопена он ничего не знал.

Показала мне колонну только школьница лет двенадцати — худенькая и болезненная.

Теперь я могу сказать точно — сердце Шопена замуровано во второй от входа левой колонне. Его трудно найти, так как надпись плохо видна и закрыта бело-красными лентами от венков.

Надпись сделана с той стороны колонны, которая обращена к главному залу костела. Увидеть ее трудно еще и потому, что к колонне вплотную придвинуты высокие черные скамьи для молящихся

За Вислой против Варшавы раскинулось бывшее предместье Саска Кемпа — Саксонская роща. Это обширный парк, где вместо аллей протянулись тихие улицы с небольшими живописными домами.

У меня осталось впечатление, что в Саской Кемпе живет много добрых и неторопливых людей.

Мы тщетно разыскивали там с шофером такси Финляндскую улицу. Жители Кемпы удивлялись, когда мы расспрашивали их об этой улице. У них был такой вид, будто мы шутим или втягиваем их в розыгрыш. Шофер терял терпение и все чаще повторял: «Вот холера!» Возглас этот совершенно не вязался ни с мирным видом жителей Кемпы, ни с красотой улиц и приветливостью домов.

Я убеждал шофера, что в конце концов мы благополучно выйдем из этой передряги с Финляндской улицей потому, что свет — не без добрых людей. Но шофер мне не верил.

Он считал, что вся беда — в слишком быстром росте Варшавы. Каждый день появляются новые дома, улицы, новые названия улиц, и люди просто не успевают знакомиться со своим родным городом.

Я попросил его остановиться около сухой маленькой старушки. Она стояла на тротуаре и не решалась перейти

через пустую улочку, как будто то были Елисейские поля в часы «пик». Шофер насмешливо хмыкнул, но все же остановил машину.

Старушка вся расцвела, заулыбалась и приветливо закивала головой на мой вопрос о Финляндской улице. Охотно, даже предупредительно она ответила, что безусловно не знает, где Финляндская улица. И ее брат-бухгалтер, который живет через два квартала отсюда, тоже не знает. Но он знаком с паном Ежи Трусевичем, а пан Трусевич живет на Пятой улице (налево) и, кажется, знает, где эта Финляндская улица. Во всяком случае, старушка слышала что-то в этом роде.

Старушка даже вызвалась показать нам дом, где живет пан Трусевич, но при условии, что мы пойдем с ней пешком, так как она боится ездить на этих чадящих «зварьованых таксувках».

Я поблагодарил старушку. Шофер тоже поблагодарил, но тут же сказал сквозь зубы: «До дьябла!» — и рванул машину.

Нам повезло. Примерно через полчаса мы наткнулись на Финляндскую улицу. Она оказалась такой тенистой и приятной, что шофер вместо упоминания «холеры» снял кепи и вздохнул.

На этой улице живет вдова замечательного польского художника Зигмунта Валишевского. О нем я писал в своей книге «Бросок на юг».

Впервые я увидел работы Валишевского в 1923 году в Тифлисе. Я предполагал, что многие его картины хранятся здесь, на Саской Кемпе, в тихом доме на Финляндской улице.

Я не ошибся. Ванда Валишевская показала нам замечательные, первоклассные работы художника, хранившиеся необыкновенно бережно в комнатах простых, свежих, отличавшихся корабельной чистотой и как бы собравших в одной призме все обилие света с протекавшей вблизи Вислы.

Пани Ванда взволнованно и как-то нежно рассказывала нам о Валишевском. Она называла его Зигой, и так начали называть его и все мы — настолько он был прост и близок каждому из нас.

Я втайне обрадовался тому, что художник был таким, каким я его представлял,— очень простым, застенчивым, очень ребячливым и обладавшим качеством, свойственным всем одаренным людям: способностью работать много и

упорно, как будто шутя, но очень серьезно, ни в чем не изменяя тем священным законам живописи, которые он сам открыл и выразил.

С недоумением и презрением он уступал дорогу крикунам и зазывалам, боясь хотя бы на миг очутиться рядом с ними на тех ярмарках, где торгуют живописью, как маргарином.

Больше всего в его характере меня обрадовала ребячливость. Пожалуй, это качество — одно из самых привлекательных, отпущенных таланту. Ребячливы были Гейне и Пушкин, Бернс и Багрицкий, Моцарт и Пикассо. Хорошо бы составить список веселых и легких людей в искусстве и изучить их жизнь, чтобы найти те грани, которые сообщили такой бессмертный свет их творениям.

По тонкости и легкости рисунка, его меткости и характерности, по удивительной расцветке — то нежной, то густой, как ночная ровная синева,— картины Валишевского очень своеобразны, они никого не напоминают.

Часто среди потока света, цвета и линий в его работах возникают неожиданные антракты — страдание и печаль.

Но тут же рядом вновь звучат волны нарядной музыки, как на концерте, изображенном им на фреске в Вавеле, на потолке средневековой башни со странным названием «Куриная лапка».

Валишевский не только пейзажист и жанрист, но и твердый и беспощадный портретист.

Разнообразие живописи Валишевского так велико, что кажется — он пытался закрепить в красках и рисунке все, что непрерывно видели его глаз и воображение. И это ему удалось.

Из Варшавы мы проехали в Люблин.

Сорок шесть лет назад меня, военного санитара, застала в Люблине поздняя весна, вся в лиловых облаках сирени и в ее сладком запахе.

Казалось, что под тяжестью лиловых кистей могут обрушиться каменные ограды. Сирень наваливалась на них изо всех сил, изнемогая от собственной пышности. Такого сиреневого разлива я еще не видел. Даже костелы внутри были все в сирени. Сонмы зажженных праздничных свечей чуть мерцали сквозь сонмы прохладных цветов, похожих на шляпки маленьких филигранных гвоздей.

Под сводами гулко летали шмели, привлеченные сиреневым запахом. Они подымались по солнечному лучу, се-

дому от ладана, к нише. Там стояла задумчивая мадонна с гроздью сирени в руке.

Не знаю, может быть, это происходило от молодости, но с тех пор Люблин всегда оставался для меня полным весенней прелести. Все дело в восприятии. Что касается людей, воспринимающих жизнь острее и сильнее, чем она дает для этого поводы, то я за них. Я за тех, кто владеет этим богатством и умеет его находить.

Люблин, конечно, изменился. Он стал чище и строже, на его окраинах вырос большой и прекрасный университетский город. Но общий облик Люблина остался таким же привлекательным, каким я его запомнил в годы юности.

Все тот же величавый замок украшает вход в город. Все так же среди путаницы старинных сводчатых проходов, улочек и поворотов стоят старинные доминиканские костелы. Все так же из открытых дверей «кавярен» дивно пахнет только что смолотым кофе. И все те же любопытные мальчики восторженно и почтительно ходят по пятам за приезжими иностранцами. Сейчас иностранцами были актеры негритянского ансамбля из Республики Мали. Мне казалось, что высокие и стройные, как тростник, негритянки заняли у люблинских полек их улыбку, вкрадчивость и тихий смех.

Все те же вековые деревья обрамляют пустынные переулки, по которым мы шли на свидание с молодым люблинским воеводой.

На его письменном столе стоял бронзовый бюст Пушкина. Воевода — в недавнем прошлом рабочий и партизан — вскользь рассказал нам, как он бежал из «лагеря смерти» Майданека. Потом он вынул записную книжку и показал, даже с некоторой гордостью, адреса всех писателей, художников и ученых, живущих в Люблине.

Пользуясь этой книжкой, воевода время от времени обходил дома этих людей, чтобы несколько минут поговорить, выпить «филижанку кавы», узнать новости, выяснить, как будто невзначай, в чем человек нуждается, и помочь ему.

— Настоящие люди искусства,— сказал, смущаясь, воевода,— всегда слишком скромны. Они ничего для себя не просят. Приходится таким способом («в тен спосуб») узнавать, что им мешает жить.

Очевидно, за эту заботу о своих горожанах люблинцы отзывались о воеводе с доброй улыбкой и говорили с ним

запросто. Сам же он на своем высоком посту, к счастью, ни на йоту не утратил уважения к высокой культуре и к людям искусства. Воевода был удивительно демократичен. В Польше я вообще почти не видел злых и надменных по самой своей природе бюрократов. Это одно из многообещающих качеств этой страны.

С нами ходил к воеводе старый польский писатель Яворский — человек, на редкость преданный литературе.

Давным-давно в небольшом городе Холме (Хэлме) Яворский на свой страх и риск почти без денег начал издавать литературный журнал «Камена».

Старый, повидавший виды номер «Камены» с переводом отрывка из «Колхиды» Яворский подарил мне и только снисходительно улыбнулся в ответ на мое удивление.

— Полистайте,— сказал он.— Тут вы найдете почти всех новейших писателей Польши. И всего мира.

Теперь «Камена» издается в Люблине.

Я представил себе редакцию «Камены», когда она была еще там, в Холме.

В этом маленьком городе я провел один день во время первой мировой войны. Он поразил меня множеством парикмахерских (непонятно, кого там брили и стригли,— жителей в Холме было немного) и бывших униатских церквей. В редакции «Камены», кроме Яворского, было, очевидно, не больше двух сотрудников из местных литераторов. Вазоны с фуксией стояли на подоконниках. Окна выходили в старый сад. Тишина нарушалась только дребезжанием пролеток и плачущим пением мальчиков из соседнего хедера.

Такой я представляю себе редакцию «Камены» в Холме и, очевидно, не очень ошибаюсь. Во всяком случае, я был бы счастлив, если бы мне привелось работать в таком журнале и в такой провинции. Потому что нет, по-моему, более благородного и бескорыстного дела, чем создание очага литературы в глубине страны, почти всегда в этом отношении обездоленной. Как говорят поляки, «сто лят» (сто лет) пану Яворскому за его самоотверженный труд.

Перед отъездом из Люблина мы пошли в замок, но оказалось, что он закрыт и можно посмотреть только старую часовню-каплицу с обветшалой византийской росписью.

Лестница в каплицу высечена в толще холодной крепостной стены. Ступени у лестницы — высотой почти в полметра. Подыматься, а особенно спускаться по этой лестнице было трудно.

Византийский стиль — литой из золота, угрюмый, застывший, как стоящие коробом ризы священников, всегда казался мне воплощением бесчеловечности и жестокости.

Византийская пышность гнет головы к земле. Она давит, как чугунный венец. Она рождена властолюбием и гордыней.

Солнце было изгнано из византийской земли. И не только солнце, но и веселье, игра ума, телесная красота — все, что радовало вольный дух человека.

Я видел в Киеве в древнейшем Софийском соборе торжественные службы. Слов нет, это было и грозно и впечатляюще. Гремели клиры. С монотонной угрозой иереи возглашали молитвы. Жар сотен свечей как бы расплавлял золотые митры и многопудовые оклады икон.

С этих икон, как из узилищ, испуганно смотрели молодые богоматери, до одури окуренные ладаном, оправленные в старые жемчуга и смарагды.

На самом деле они были смуглыми и дикими, как козы, девочками, бегавшими босиком по жаркой иудейской земле. Их заперли в каменные капища, гневно восхваляли и грозили людям карами за обуревавшее их неверие в непорочное зачатие Христа.

Я воспитался в крепкой любви к свободе. Поэтому я, естественно, не мог восхищаться Византией и ее сухими канонами.

Сейчас, конечно, наивная моя неприязнь к Византии прошла. Многое я начал принимать — византийские базилики, мозаику, Айя-Софию в Стамбуле.

Айя-София показалась мне огромной, как мир, как вся земная сфера. Было страшно стоять там. Исполинский купол непонятным образом висел под небом.

Бывший вместе со мной в Айя-Софии писатель, робкий человек, сказал мне:

— Давайте лучше уйдем. Это слишком величественно и потому тягостно.

Много византийских базилик с полуразрушенными, узорно выложенными кирпичными стенами я видел в болгарском городке Несебре (бывшей Мессемврии), расположенном на крошечном полуострове Черного моря.

Они стоят, эти базилики, на самом берегу, веками слушают непрерывный шум моря и спят непробудным каменным сном.

В люблинской каплице остались только потускневшие фрески. Вопреки моему предубеждению, я увидел богатый орнамент, знакомых по киевским соборам крылатых серафимов и прекрасные расписные колонны, похожие на кроны пальм.

От предубеждения моего мало что осталось. Лишний раз я убедился в несостоятельности предубеждений, свойственных главным образом молодости.

Но откуда в Люблине Византия? Это оставалось загадкой. В часовне, кроме нас, было еще двое польских художников — муж и жена. Они собирались снимать копии с этих фресок.

Молодой художник с трудом, путая польский, русский и французский языки, рассказал нам, что часовня эта построена королем Владиславом Ягелло в начале XV века и расписана мастером Андрейкой из Москвы.

В замке было мертвенно тихо и гулко. Кроме нас и художников, здесь не было ни души. Только черный и очень пыльный пес вылез из будки во дворе и гремел цепью, пытаясь стащить через голову старый ошейник. Он был так этим занят, что не обратил на нас никакого внимания.

У ворот замка нас ждала машина. Около нее сидел на корточках, как всегда что-то проверяя, пожилой шофер в очках с железной оправой — пан Ежи, добрый дух нашей поездки по Польше.

У него было множество достоинств, не говоря, уж конечно, о том, что он был, проше пана, первоклассным, как бы спаянным с машиной шофером.

Кроме того, он знал Польшу, как свою комнату в Варшаве. Ни разу за всю дорогу он не посмотрел на карту.

Это был спокойный старый солдат, получивший восемнадцать ран куда хотите, за исключением, «пшепрашам паньства», раны в зад.

Пана Ежи несколько раз расстреливали. Он видел такие вещи, от каких леденеет кровь. Он был в числе первых освободителей Освенцима. Его машина тяжело буксовала на дороге, пропитанной кровью расстрелянных женщин.

Когда пан Ежи рассказывал об этом, то впервые за поездку у него затряслась голова и он сбавил скорость.

Мне кажется, что такого отзывчивого и деликатного человека, как пан Ежи, нет другого в Польше.

Вряд ли у него были какие-нибудь недостатки. Мы заметили только один, и то совершенно пустяковый: пан Ежи не выносил «автостопов».

Термин «автостоп» придется объяснить. Он не всем известен. В Польше вы можете купить особую книжку с отрывными талонами. Книжки эти выпускает государство. Книжка дает вам право остановить любую машину, и если у шофера есть свободное место, то он обязан подвезти вас до любого пункта, который лежит на его пути. За это вы даете шоферу талон. Шоферы, набравшие определенное количество талонов, премируются мотоциклами и деньгами.

Обладатели такой книжки с талонами называются «автостопами». Их много машет своими книжками по обочинам польских дорог.

Добряк пан Ежи недолюбливал «автостопов» за неясность их психики. Дьявол его знает, какой попадется «автостоп» и что у него на уме! Поэтому мимо «автостопов» пан Ежи проносился на бешеной скорости.

Пан Ежи жил одиноко, очень скромно, много читал, а в свободные дни ездил на своем старом мотоцикле удить рыбу на Вислу где-то около бывшей крепости Модлин.

Мне так и не удалось поехать с паном Ежи на рыбную ловлю. Но мы обсуждали эту поездку с ним так тщательно, что теперь мне кажется, что я все-таки ездил с ним на Вислу и удил рыбу в старых крепостных рвах Модлина — глубоких и подернутых ряской, где водятся, проше пана, караси, жирные, как свиньи.

Еще в Варшаве Ярослав Ивашкевич просмотрел наш маршрут по Польше, подумал и сказал:

— Прежде всего надо ехать в Казимеж. Правда? Очаровательный, малюсенький (в этом месте голос Ивашкевича приобрел неожиданную певучесть) старый городок. Я туда езжу из Варшавы только на пароходе по Висле. Правда?

Не один Ивашкевич, но и многие знакомые поляки вставляли в разговор это слово «правда». Очевидно, оно соответствовало выражению «это так!». Непонятно почему, но это маленькое слово заставляло вас слушать собеседника гораздо внимательнее, чем если бы этого слова

не было. Оно как бы ставило абзацы и расчленяло речь на сжатые куски.

Поэтому из Люблина мы поехали в Казимеж — маленький город-музей на тихой и совершенно уснувшей Висле. По ней бесконечно долго шел, останавливался и снова шел против течения старый буксирный пароход. Мы уже уезжали из Казимежа, а буксир все еще добродушно пыхтел около городка, не обижаясь на лодки с подвесными моторами. Они его легко обгоняли.

Не тот ли это буксирный пароход, о каком мне рассказывали в Варшаве?

Варшавяне завидовали мне — тому, что я скоро буду в Кракове, и там, конечно, увижу в Вавельском замке знаменитые гобелены. В Польше их называют «арасами».

Когда немцы подходили к Кракову, гобелены были сняты и упакованы. Их надо было увезти во что бы то ни стало. Но не было машин. Армия отступала. Немцы яростно рвались к городу. В небе тучами висели фашистские авионы, население бежало, и казалось, гобелены обречены на гибель.

Тогда-то в Вавеле и появился пожилой капитан буксирного парохода, застрявшего в Кракове из-за отсутствия топлива для машины. Он пришел в Вавель и предложил сотрудникам немедленно перенести гобелены к нему на пароход, а топливо он как-нибудь добудет. «История умалчивает», как капитан достал топливо, но арасы погрузили на буксир, и он медленно, лавируя среди затопленных барж, сгоревших мостов, садясь на мели, с неимоверным трудом снимаясь с них и упорно уклоняясь от авиабомб, пополз вниз по реке к Сандомежу. Там надо было перегрузить гобелены на железную дорогу и отправить в спасительный тыл.

Будь я на месте кого-нибудь из польских литераторов, я описал бы это удивительное плавание — на волосок от гибели и пожаров, в постоянном страхе за ветхую машину, в обстановке отступления и полного неведения, что делается у тебя за кормой.

Успокаивала только река — все такая же плавная, задумчивая, отражавшая облака и старые ивы. Но ни ивам, ни облакам не было, к сожалению, никакого дела как до людей, капитана и матросов, так и до арасов, лежавших в трюме.

Буксир останавливали, требовали от капитана, грозя оружием, чтобы он выкинул гобелены и взял военный

груз. Но капитан, сжав зубы и не отвечая на ругань и даже на стрельбу, вел бускир дальше — метр за метром, пока не доставил гобелены в Сандомеж. Оттуда они были вывезены для сохранения в Канаду.

После войны Канада долго не возвращала их, долго тянула,— трудно было, конечно, расстаться с этим богатством. Но в конце концов Канада сдалась, и сейчас все гобелены висят на прежних местах в залах Вавельского замка.

Первое впечатление от них удивительное. Как будто искуснейший мастер разбросал по стенам свежие травы, цветы, статуи, ткани, мужественных героев, кокетливых пастушек, оружие, пернатые шлемы, пенистые каскады, утренние зори и армады облаков, несущихся по старинному небу на всех парусах к счастливой Аркадии.

В Вавеле начинаешь понимать силу этого как будто замкнутого в себе гобеленного искусства. И становится особенно значительным подвиг старого буксира, спасшего для Польши и для всего мира эту бесценную живопись.

Казимеж не город, а средневековая игрушка.

Его костелы, замки, его «каменицы», лабазы и аркады, его уют и предания, остатки живописной местечковой нищеты, поля, обступившие город и веющие сухими и душистыми травами,— все это как бы погружено в тишину, в солнце, в пустынность и дает отдых усталым глазам. И сердцу. Поэтому у Казимежа так много верных приверженцев.

Из Казимежа мы поехали в Ченстохов. Тусклый, но душный осенний день распростерся над Польшей. Одна тихая «весь» сменялась другой. Ощущение быстрого хода машины перешло в оцепенение. В небе накапливались тяжелые облака, потом шумными полосами начали набегать дожди, вихри, и гром заворчал, уверенно двигаясь к нам из потемневших далей.

В Ченстохов мы въехали уже в темноте, под проливным дождем.

Рассказывая о Ченстохове, мне придется повториться. О Ченстохове я уже писал.

Я хочу повторить о Ченстохове то, что, может быть, неизвестно части читателей. А именно, что Ченстохов — это цитадель католичества в Польше, священная Мекка для верующих поляков, в особенности для крестьян. Это

место, где никогда не гаснет огонь фанатизма. Но жар этого фанатизма уже не так силен, как шестьдесят лет назад, когда меня привозила в Ченстохов моя бабушка. То была странная бабушка. Она одинаково верила в Христа, Магомета и Будду, но не выносила фанатизма и ханжества.

В Ченстохове на холме Ясна Гура высится старинный католический монастырь-крепость, выдержавший осады татар, турок и шведов. До сих пор в стенах монастыря торчат круглые ядра. Только опытный человек может сказать, какие ядра турецкие, а какие шведские.

В этом монастыре хранится величайшая католическая святыня — икона Ченстоховской богоматери («Матка боска ченстоховска») с разрубленной татарской шашкой щекой. Лицо ее поражает сухостью и полным отсутствием выражения. Ее считают чудотворной и в честь ее совершают пышные и многолюдные службы.

Было бы еще понятно, если бы люди несли свое поклонение к ногам юных и грустных мадонн — таких, как Сикстинская или Мадонна Литта. Здесь же оно кажется неоправданным.

Но так или иначе, к иконе стекаются десятки тысяч паломников, обычно осенью, как раз когда мы приехали в Ченстохов.

Служба около иконы начинается в четыре часа утра. Тогда раздвигается под звуки органов, пение клиров и перезвон серебряных колокольчиков золотая завеса, закрывающая икону на ночь. Этот момент считается самым торжественным, и на него все хотят попасть.

В старой и зажитой ченстоховской гостинице портье разбудил нас в три часа ночи. Шел дождь. Темнота тяжело лежала над провинциальным Ченстоховом, похожим на старые русские губернские города. В этой темноте медленно, будто увязая в ней, звонили колокола на Ясной Гуре.

На окнах в гостинице висели пестрые, крикливые занавески. Из закрытого на ночь ресторана тянуло холодным чадом горелой баранины. Из номеров слышался мужской храп, перемешанный с плеском воды в умывальниках и громким шепотом женщин, собиравшихся в костел.

Их беспокоил дождь. Он не шумел равномерно за окнами, как полагается дождю, а как-то небрежно, будто раздавая пинки и пощечины, шлепал по тротуару и по

лужам то тут, то там. После каждого шлепка он затихал и прислушивался к недовольным голосам. А услышав, как его бранят женщины, начинал злорадно барабанить по окнам, торопя богомолок, выгоняя их на холод и мокроту, в эту неуютную ночь.

К костелу подымалась широкая аллея из густых и низких лип. Последние уличные фонари остались позади. В аллее стоял непроглядный мрак. Мы слышали вокруг шорох сотен ног и затрудненное дыхание многих людей. В их хрипах и кашле как бы заключались вся невыспанность и сырость этой ночи, усталость, болезни, покорное терпение.

Пан Ежи шел с нами, как человек опытный, бывший здесь не раз. Машинам запрещалось приближаться к костелу ближе чем на километр. Поэтому мы оставили свою у подножья Ясной Гуры.

Это обстоятельство огорчало пана Ежи. Оно нарушало его понятие о вежливости по отношению к нам: как-никак, а все-таки иностранцам. «Непшиемность!» — но ничего не поделаешь. Пан Ежи только вздыхал.

Когда глаза немного привыкли к темноте, впереди на смутном небе проступили качающиеся кресты. Их несли перед процессией.

Темнота и дождь искажают размеры вещей. Сейчас кресты казались высокими и грозными, как будто именно на этих самых крестах были распяты на Голгофе Христос и разбойники.

Гравий трещал под ногами паломников, как трещал когда-то под тяжкой обувью римских легионеров, ведших Христа на казнь. По долгу службы легионеры отшвыривали с дороги бесноватых нищих, пытавшихся ударить Христа, в то время как он тащил, изнемогая, собственный крест.

Сколько раз еще в детстве мы видели эти мрачные и кровавые сцены Христовых страстей. Видели на полотнах и фресках величайших художников и на лубочных, грубо раскрашенных литографиях «для народа».

Неожиданно толпа запела,— очевидно, было уже недалеко до монастыря. Люди пели глухо, всхлипывая. Сквозь всхлипыванья все чаще слышались слова: «Матка боска ченстоховска, змилуйся над нами».

На небе не было еще признаков рассвета, но вокруг все стало яснее. Свет исходил как будто от земли и мокрой травы.

Мы вошли в браму (ворота) монастыря, прошли вдоль его выщербленных стен и проникли в костел.

Мы опоздали. Золотая завеса уже была раздвинута. Икона — вся в цветах, свечах и серебряных амулетах — сверкала впереди, в дымном сумраке храма, бесстрастная и неживая.

Орган пел ей хвалы, и те же хвалы шептали вокруг сотни людей всех возрастов, даже маленькие дети.

Много лет назад я был в этом же костеле, в этот же час и на такой же службе. Я был испуган тогда, жался к бабушке, и мне казалось, что я совсем один в этом мире среди непонятных опасностей и враждебных людей.

Сейчас же я не испытывал ничего, кроме желания побольше увидеть и получше запомнить все, что происходило вокруг в этот дождливый день в том Ченстохове, куда я никак не думал попасть еще раз в своей жизни.

Мы вышли из костела. Дождь перестал, но раннее утро было еще пасмурное, сырое, пропитанное запахом недавнего дождя.

Во дворе монастыря под низкой аркадой шла общая исповедь. Большая толпа монотонно и слитно шептала о своих грехах. Все эти грехи были одинаковы и как бы давным-давно узаконены. Но все же иногда раздавался болезненный крик. Все настораживались, очевидно, ждали истерического покаяния в каком-нибудь особенно тяжком и смертном грехе.

Впалые глаза загорались жадностью и любопытством. Люди сбивались вокруг кающегося, подымались на цыпочки, чтобы увидеть его, хватались цепкими пальцами за плечи передних, вытягивали жилистые шеи и громко дышали.

Казалось, толпа была готова ринуться на грешника или грешницу и растерзать их. Но бесстрастный ксендз, видевший многое на своем веку, слегка подымал руку, говорил что-то успокоительное, и напряжение разряжалось глухими женскими рыданиями. Тогда становилось ясно, что никакого греха не было и вообще его нет, а есть горе беспомощного и жалкого человека. И никакие силы никаких покаяний этому горю не смогут помочь.

Хотелось поскорее уйти из этой юдоли темного страдания. Много больных изнуренных людей и калек протискивалось к иконе, чтобы повесить около нее символ своей болезни — серебряное сердце, серебряные почки, серебряные ноги и руки.

Мы вышли на крепостные валы. Они тянулись вокруг монастыря вдоль глубокого рва, густо заросшего деревьями. В ветвях шумел сырой ветер.

По ту сторону рва на высоких постаментах на уровне валов, по которым мы шли, стояли преувеличенно большие чугунные скульптуры, изображавшие страсти Христовы — весь путь на Голгофу, распятие и снятие с креста.

Молодая наша спутница смотрела с недоумением на эти жестокие и грубые статуи, на то, как по распущенным железным косам Марии Магдалины, склонившейся у ног Христа, бежали, будто по водостокам, струйки воды. Снова начинался дождь.

Я подумал о нашей спутнице, подумал, что глаза, излучающие столько радости, не должны смотреть на этот «сад страданий и казней».

Мы ушли. В ларьках на площади и перед монастырем мы увидели разноцветные свечи, обвитые золотыми полосками, и купили их.

Пан Ежи объяснил нам, что это «громовые свечи». Их зажигают во время грозы и ставят на окна, чтобы молния не попала в дом. И наша молодая спутница повеселела — свечи выглядели очень нарядно.

Перед нами открылась большая унылая низина с корявыми соснами, плоская, как плаха, и будто присыпанная золой.

Бывают же на земле такие безрадостные места — пыльные и угнетающие своим сухоточным однообразием, места, к которым целиком относятся слова: «Глаза бы мои на них не глядели».

На этой низине стоят вдоль дороги дома в два этажа. Расставлены они редко, вокруг них нет ни цветов, ни деревьев. Своим видом они только усиливают уныние этой земли.

Тотчас за домами тянутся вдаль, уходят в равнину прямые и бесконечные улицы из толстой колючей проволоки. Они теряются в тумане. Домов на этих проволочных улицах нет.

На огромных квадратах земли, ограниченных этой проволокой, видны сгоревшие и разрушенные бараки, длинные, как товарные поезда.

Проволока приклепана в несколько рядов к высоким столбам с тонкими, согнутыми, как у рахитиков, шеями.

Шеи эти стальные. Они согнуты внутрь и тоже оплетены проволокой. Это западня. Перелезть через такую ограду изнутри невозможно. По проволоке еще недавно шел смертельный электрический ток.

Первое время больше всего думаешь о жильцах домов на краю дороги. Выселили из этих домов не всех. Часть жильцов почему-то не тронули, и они жили здесь все время со своими детьми и стариками. Жили в нескольких шагах от места, где каждый день убивали тысячи людей — просто так, без всякой причины, убивали ради убийства.

В домах, должно быть, было слышно все — и крики убиваемых, и выстрелы, и собачий лай немецких команд.

Да... Первое время все думаешь о мирных семьях, живших в этих домах. Все думаешь об этом. Может быть, они сходили с ума? Это было бы естественно. Они же всё слышали и еще должны были объяснять детям, что происходит за толстой проволокой, где висят на перекрестках «улиц» таблички с номерами бараков, с рисунками безглазого черепа и надписью: «Внимание! Смерть!»

Вот хорошо! Хоть за это спасибо! И люди бросались на проволоку, чтобы скорей умереть.

Одна только ночь, проведенная в таком доме, была, должно быть, как последний круг Дантова ада, как кошмар, когда тебе засыпают песком горло, а ты не можешь ни крикнуть, ни вырваться.

Отсюда, от этих мирных домов, начинался «лагерь смерти» Освенцим — лагерь убийств, удушений, пыток, отчаяния, неслыханных зверств.

Но не будем так тяжело оскорблять зверей. Ни один зверь не способен на подлости, какие совершали здесь дикие существа, считавшие себя людьми,— выкормыши фашистской тирании.

При въезде в «лагерь смерти» стоят ворота с кощунственной для этого места надписью на немецком языке о том, что «труд делает человека свободным».

За воротами — приплюснутое к земле здание с широкой низкорослой трубой. Это крематорий. В нем сжигали заключенных. Кажется, что эта труба выросла на крови, как жирный красный гриб.

В крематории — железные ржавые транспортеры, покрытые какими-то твердыми наростами. По этим транспортерам подавали в жерла печей трупы задушенных газами и расстрелянных.

Сейчас жерла стоят открытыми, как беззубые пасти исполинских допотопных гадов, ждущих добычи.

Несмотря на то что за стенами крематория сверкает солнечный день, здесь темно, душно, люди спотыкаются о железное оборудование смерти, о ломы, о какие-то цепи. Железо почти непрерывно и мучительно гремит.

И так странно было видеть, как молодая женщина, закусив губы и опустив глаза, положила в желоб транспортера охапку влажных пурпурных гладиолусов. Она склонилась над желобом так низко, как мать склоняется над колыбелью ребенка.

Старая женщина, стоявшая рядом со мной, торопливо отвернулась.

— Боже,— сказала она.— Если бы он мог знать...

Кто он и что он мог бы знать? Отец или брат этой молодой женщины был, должно быть, сожжен здесь. По этому заржавленному желобу палачи сбросили его в огонь. И может быть, этот человек был вторым Юлием Словацким, или Венявским, или Витом Ствошем (о нем речь будет впереди).

Об Освенциме много писали. Он сохранен для того, чтобы мы никогда не забывали о чудовищной жестокости, на какую способен человек. Не забывали о двуногом исступленном животном, принадлежащем, к сожалению, к тому же разряду живых существ, к которому принадлежим и мы.

Освенцим — сгусток подлости. Как она могла так расцвести в наш век рядом с самыми высокими творениями человеческого духа?

Западная цивилизация попала в руки убийц. Великие ученые работали на массовое истребление. Человечество должно не гордиться ими, а проклясть их на веки веков.

Может быть, не стоит сохранять Освенцим? Может быть, лучше забыть о нем? Потому что трудно человеку жить и работать, когда тысячи хороших и добрых людей задушены без всякой вины тут же, рядом с нами.

Человечество получило еще один страшный удар в сердце. Теперь черный и пропитанный кровью фашистский застенок уничтожен. Но все же то тут, то там он напоминает о себе. Все время выползают из каких-то мусорных нор фашистские фюреры разных оттенков, но одинаково лживые и наглые. И до тех пор, пока они не

будут уничтожены или обезврежены, у человечества не будет ни покоя, ни мирной жизни.

Во имя великих и поруганных ценностей, моральных и эстетических, которые нам доверили, во имя будущего, во имя того, чтобы оно просияло на идущие за нами поколения светом, теплом, уважением к человеку и к жизни, просияло дыханием свободы, чтобы в каждой, самой малейшей крупинке жизни и в самом легком душевном движении человека были признаки спокойствия и счастья,— во имя всего этого надо освободить мир от фашистских диктаторов.

Так вот — стоит ли сохранять Освенцим? Должно быть, да. Хотя бы ради тех мыслей, какие он вызывает.

Все, что осталось от Освенцима, похоже на галлюцинацию. И эта песчаная земля, что вдруг оседает под ногой в тех местах, где были закопаны трупы, и горы женских волос и детских туфель, и ржавые наросты на проволоке (кажется, что это не ржавчина, а засохшая кровь), и уныние чахлых рощ, где много обгорелых сосен (здесь убитых сжигали на кострах), и фотографии молодых обнаженных женщин, идущих на расстрел, и черная виселица, за которой догорает осенний закат.

Невыносимо хочется бежать отсюда, бежать к мирной жизни, к огням, смеху, музыке, любимым книгам и друзьям.

В Освенциме я испытал внезапный озноб, гнев, стеснение сердца. Даже когда машина вынесла нас в вечерние затихшие леса и в окна дунуло запахом хвои и свежей воды, мы еще не могли вздохнуть полной грудью.

В 1916 году, во время первой мировой войны, наш санитарный отряд остановился однажды на ночевку в местечке Загнанске, недалеко от Келец. К Загнанску вплотную подходили невысокие горы. Была зима, и горы покрылись топким снегом.

Рано утром, умываясь во дворе, я заметил вдали, на горах сельский костел. Мне захотелось пройти к нему.

На мое счастье, мы собирались простоять в Загнанске еще несколько часов, у меня было время, и я пошел по узкой извилистой дороге в горы к костелу.

Мы обычно запоминаем самые значительные случаи из своей жизни. Но вот сейчас, когда приходится много вспоминать, я обнаружил, что некоторые обстоятельства,

внешне ничем не замечательные, не имеющие даже права называться событиями, тоже оставляют в сознании долгий след и, конечно, в какой-то мере помогают тому внутреннему процессу, какой называется «формированием человека».

Таким «обстоятельством» оказался этот простой зимний день. Впервые в сплошном потоке трудных и торопливых дней появилась наконец передышка, и я мог побыть наедине с собой.

Костел стоял на вершине горы, вдали от селений. В нем могло поместиться, по-моему, не больше десяти-пятнадцати человек. Он был окружен сугробами и крепко заколочен.

Я обошел его вокруг. Замерзшие листья потрескивали под ногами. И все время лениво кружился снег. Он опускался на каменную скамью около костела, на чей-то могильный камень и на всю окрестную зимнюю даль.

В дверях костела было прорезано маленькое окошко. Стекло в нем было выбито. Я заглянул в окошко и увидел несколько старых скамей, алтарь, растрескавшегося деревянного Христа, бессильно уронившего голову в терновом венце, а под стеной за алтарем — старые знамена. Их было несколько. На всех знаменах виднелись изображения сломанного черного креста и таких же терновых венцов, как на голове Христа.

Я побродил около костела, потом сел на каменную скамью, прислонился к спинке, опустил наушники на шапке, поднял воротник шинели и даже задремал.

Меня усыпило торжественное, как церемониальный марш, падение снега и окрестная тишина. Только на юго-западе, в стороне фронта, изредка слышались раскаты орудий.

Давно я заметил, что открытые тихие дали всегда вызывают спокойствие и желание подвести итог пережитому, найти в себе и в своей жизни нечто равноценное этим далям, прежде всего — ясность, свойственную прекрасной земле.

Никого вокруг не было, и потому эти мысли можно было выразить только улыбкой. И я чувствовал ее на своем лице. Я улыбался отдаленным воплям петухов, едва слышному звону льда в ведрах с водой — их несла под горой крестьянка в красной шали,— слабому стуку топора все там же, внизу, и торопливой воркотне снегирей.

Мог ли я тогда подумать, что через сорок с лишним лет опять увижу эти знамена из Загнанского костела, но увижу в маленьком городке Анджееве около Кракова?

Из Освенцима мы поехали в Краков. По дороге мы остановились в Анджееве.

Городок этот известен великолепной коллекцией солнечных часов, собранных местным жителем астрономом Пшипковским.

Отец этого Пшипковского — провинциальный доктор, увлекался астрономией и выстроил рядом со своим жилым домом в Анджееве маленькую обсерваторию. Сын доктора-астронома, теперешний хранитель музея — большой, добродушный человек,— по общему мнению, был очень похож на Пьера Безухова из «Войны и мира». Что бы ни говорили скептики, но точный литературный образ обладает великой силой. Пьер Безухов вымышлен, его никто не видел и не мог увидеть, и все же он для миллионов читателей совершенно реальное лицо. Он даже реальнее многих наших знакомых.

«Пьер Безухов» — пан Пшипковский, близорукий и несколько смущенный этим обстоятельством,— ввел нас в большую комнату с застекленными шкафами. В них хранились десятки солнечных часов.

Я всегда представлял себе солнечные часы в виде простого, но громоздкого сооружения. Такие часы ставятся под открытым небом на площадях или в парках. Здесь же были собраны маленькие и очень красивые солнечные часы разных видов и форм. Большинство их сделано из меди.

От Пшипковского я впервые узнал, что есть целая наука о солнечных часах и называется она «гномоника». Пан Пшипковский показал нам такие маленькие солнечные часы, что они помещались на ладони. При этом Пшипковский заметил, что все египетские обелиски — не что иное, как стержни солнечных часов, и что упоминание о солнечных часах есть еще в Библии.

Потом он повел нас в свою прекрасную библиотеку и с гордостью показал первое издание коперниковского трактата.

В углу библиотеки стояли старые знамена. Я где-то уже видел такие знамена. Но где?

И я вспомнил заброшенный костел около местечка Загнанска, медленный снег и эти же знамена в сумрачном свете зимнего дня. То были зеленые и красные зна-

мена с изображением грубо сломанного деревянного креста и терновых венцов.

В библиотеку вошла мать Пшипковского — Софья Эдвардовна, очень живая и подвижная старая женщина, свободно и без всякого акцента говорившая по-русски.

Я спросил, что это за знамена, и сказал, что видел точно такие же знамена, но это было очень давно... и где? В ту минуту я не мог припомнить. Уж очень это было давно.

— Их можно было увидеть только в Загнанске,— твердо сказала Софья Эдвардовна.— Это знамена польских повстанцев тысяча восемьсот шестьдесят третьего года. Почти вся наша семья участвовала в восстании. Вы были когда-нибудь в Загнанске?

— Был, но очень давно.

Тогда Софья Эдвардовна рассказала, что много лет эти знамена хранились в заброшенном костеле в Загнанске. Костел этот стоит в пустынном месте.

Тогда я вспомнил до мельчайших обстоятельств тот час, когда я сидел на скамье около костела и снег валил вокруг громадными хлопьями. Вспомнил рассеянный свет, нисходивший с низкого неба.

Сквозь хмурость зимнего дня внизу, в долине, светились зеленые семафоры на полустанке.

В такие дни в домах бывает особенно уютно. Очень громко стреляют дрова в печах, очень шумит огонь, очень вкусным кажется кофе. И очень желанной становится размеренная и тихая жизнь с перекличкой петухов, подсвистыванием синиц, дымком, приникающим к крышам, и неожиданным лиловым подснежником, найденным на прогалине около дома.

Я долго смотрел на этот день, сидя на скамье. Я готов был благодарить кого-то за то, что этот день существует.

Как бы желая отрезвить меня, на юго-западе загремела сильная канонада. Очевидно, сейчас придется запрягать фурманки, седлать коней и отходить дальше — на Скаржиско и Ивангород.

Я пошел к полустанку. Мне хотелось окружить эту мирную деревню, эти горы и буковые леса непроницаемым для войны магическим кругом, спасательным поясом из плотного воздуха. Он легко останавливал бы и отбрасывал снаряды и пули.

Я усмехнулся ребяческим своим мыслям.

Краков — красивый город, но мне кажется, что в нем не очень уютно жить. До сих пор чувствуется, что он долго был под скучной властью австрийцев. На его улицах можно встретить много чинных и наглухо запертых людей.

Есть такое пошловатое выражение «супружеская чета». В Кракове вы можете наглядно убедиться, что это такое. В особенности в праздничные дни. Тогда по улицам важно шествуют «супруги» с «супругами». Каждая «супружеская чета» не прогуливается, а самодовольно несет себя и несет на себе, как на магазинной витрине, все, чем она имеет право, по собственному мнению, гордиться: дорогое пальто и перчатки, трости с серебряными набалдашниками, новые ботинки и меховое манто (на «супруге»).

Я не хочу сказать, что такое впечатление производит большинство краковян. Нет, конечно. Их не так много, этих тяжеловыйных людей. Но нигде в Польше, кроме Кракова, я таких людей не встречал. Потому они и бросаются здесь в глаза.

Но хватит о них!

Вообще же в Кракове уже много веселой и талантливой молодежи, художников, много рабочих из Новой Гуты, ученых. Не будем отравлять впечатление от этого редкого по красоте города неприятными встречами.

Лучше пройдем по пустынным «плянтам», где ярко по осени цветет пурпурный шафран, по рабочим окраинам, где люди словоохотливы и ласковы, зайдем в Мариацкий костел посмотреть алтарь гениального скульптора и резчика по дереву Вита Ствоша, побываем на острых студенческих спектаклях, войдем, как в святилище, в сумрачные залы Вавеля, где на стенах цветут знаменитые гобелены — арасы, а в крипте под алтарем собора стоят два саркофага — черный с прахом Мицкевича и белый с прахом Словацкого.

Со стен Вавеля открываются голубеющие пространства, похожие на старую географическую карту, когда топографы еще рисовали на картах города, мосты, мельницы, корабли и где-нибудь сбоку — амуров, дующих в раковины, чтобы вызвать благоприятный ветер для моряков.

Со стен Вавеля видны разноцветные полосы полей, отдаленные рощи, трубы и дымы Новой Гуты. К югу, где-то далеко над горизонтом, как бы висят низко, над самой

землей, какие-то горы. Может быть, это тучи, а может быть, Татры.

В определенные часы на башню Мариацкого костела подымается трубач и трубит на все стороны света. Но пение трубы обрывается на половине мелодии в память трубача, убитого татарами во время одной из польско-татарских войн.

Татары пустили в трубача целый рой поющих стрел. Трубач упал, не допев своего сигнала.

В Кракове сохранились традиции. Это хорошая черта народа, любящего свою страну и ее прошлое.

Но есть традиции и странные, как, например, особое богослужение для женщин, собирающихся родить. Есть и нарушение традиций — выставка новейшего церковного искусства в одном из краковских костелов. Там вы можете увидеть церковный сюрреализм и даже угодную богу абстракцию.

Краков — город художников и художнической молодежи с неизбежным для нее увлечением новаторством.

В общем, это здоровая молодежь. Молодежь иной и быть не может. Молодежь всегда была беспокойной, всегда была занята спорами и выдумками, всегда будоражила стариков.

Вершины Татр были слегка присыпаны снегом. То тут, то там снег дымился от ветра. Тогда начинали шуметь черные горные ели и на асфальтовое шоссе со стуком сыпались большие шишки. Белки перелетали с ветки на ветку, распушив хвосты.

В Закопане шли упорные дожди, стало холодно, и мы вскоре уехали с юга Польши на ее крайний север — в Гданьск и Сопот.

В день отъезда по Закопане весь день носилась гуральская (горская) свадьба. Впереди скакал молодой горец в белых брюках с нашитыми на них черными шнурами. Время от времени он останавливался и играл на трубе. За всадником с песнями, хохотом и звоном валом валил свадебный кортеж.

Прохожие останавливались и смотрели с восхищением, но не на невесту, а на подругу невесты — дружку, девушку сверкающей красоты. Гибкая, высокая, в зеленой шелковой юбке и пестрой шали, она смущенно смеялась. Ее гортанный переливающийся смех действовал на зрителей, как колдовство.

Прохожие шли следом за свадьбой и не спускали глаз с этой девушки. Только на выезде из города они останавливались и нехотя возвращались. Но на лицах у них долго еще оставалась счастливая и удивленная улыбка. Очевидно, странные мысли появлялись у них в голове: что вот, мол, они много колесили по свету, видели много городов и тысячи всяких людей, но никак не думали, что в отдаленном и маленьком горном городке в Польше на границе с Чехией встретят девушку, не уступающую самым прославленным красавицам мира. Очевидно, такое же впечатление произвела бы Галатея, если бы она ожила и прошла перед нами по улицам скучноватого городка своей крылатой, легкой походкой.

Все кажется серым — очень гладкое и холодное море, облака, озябшие деревья с понурой листвой и пустынные пляжи. По ним надо долго идти до уреза воды. По пути можно набрать кусочки темного янтаря.

Все вокруг серое, и только паруса рыбачьих шаланд — оранжевые, зеленые, красные и черные — веселят однообразную даль Балтики. Изредка слой облаков утончается, и сквозь него белым пятном пробивается солнце. Но и этого достаточно, чтобы в море вдруг появились синеватые отблески.

На длинной дощатой пристани в курорте Сопоте пусто. Там с разных сторон задувает ветер да ходит с озабоченным лицом престарелый рыжеватый пижон с маленьким транзисторным приемником. Этот прибор висит у него на ремне через плечо, как фотографический аппарат, и играет разные джазы.

Пижон с приемником быстро ходит взад и вперед до пристани. Он нетерпелив. Звуки джаза тянутся за ним, как нитка. Иногда она обрывается, приемник замолкает, и вступает в свои права морская тишина. Тогда слабые всплески мелких волн кажутся прибоем.

Пижон, бегавший по пристани, развлекая джазами самого себя, был воплощением пошлости и пустоты.

Но вскоре на пристани появился еще один престарелый тип под стать первому пижону, но с той только разницей, что пижон был круглолицый и рыжий, а новый посетитель пристани вытянутым своим лицом напоминал людей с картин Эль Греко. Его веки были надменно полуприкрыты. Несмотря на холод, он был в шортах. От взгляда на

его голые волосатые ноги день почему-то казался холоднее, чем был на самом деле. Пижоны изысканно поздоровались друг с другом.

— Счастлив быть вашим слугой,— сказал один.

— Я послушный ваш раб,— ответил другой.

— Я не знал, что шановный пан такой любитель легкой музыки.

— Да простит меня пан Едвабный,— ответил первый пижон,— но джаз не есть легкая музыка.

— Фешенебельное развлечение! — сказал тип с длинным лицом.— А скажите, джаз не расстраивает ваши нервы?

— Я не отстаю от века,— несколько язвительно заметил пижон с приемником.

В это время приемник щелкнул и вдруг запел:

О, алуэттэ!
О, алуэттэ!
Та-та-то-то-ти-ти-там-там!

— Весь Париж,— сказал человек с длинным лицом,— сто лет поет эту песенку. Даже рамолики, кушающие овсянку. И склеротики, не помнящие своего имени. Весь Париж!

— Не дай бог, чтобы пана Едвабного постигла такая участь. Мое нижайшее почтение шановному пану. До лучших дней.

Человек с приемником вздернул плечами, будто поправляя свой кургузый пиджачок, отошел, и грянул бравурный марш, очевидно, в честь катера «Олимпия», подходившего к пристани.

— Старый башмак! — с сердцем сказал пан Едвабный.— Подумаешь, знаток музыки! Нажился на подтяжках, рыжий пес!

Я был на стороне пана Едвабного. Но поскольку он явно рассчитывал на длинный разговор со мной, то я предпочел уйти. Я сделал вид, что очень заинтересован тем, как пристанет «Олимпия». Она пришла из Гдыни и отходила в Гданьск.

«Олимпия» привезла только пятерых пассажиров, и в их числе мальчика с большим ленивым котом.

Кот лежал на руках у мальчика, как одалиска. Он томно свесил голову, будто артист, усталый от поклонниц и славы.

Пижон включил приемник, как говорится, «на полную железку», и тот заревел «Очи черные». Глаза у кота обезумели. Он с воплем отчаяния вырвался из рук мальчика и помчался, распластываясь, на твердую землю. Мальчик помчался за ним, а молодой матрос с палубы «Олимпия» кому-то крикнул:

— Опять этот варьят[1] играет на своей машинке! Кто до Гданьска? Отходим! Кто до Гданьска?

Я поднялся на палубу катера. Очевидно, по случаю холодного дня других пассажиров не было.

Мы отчалили. Пижон включил по случаю нашего отъезда тягучий вальс.

В море катер начало покачивать. Я смотрел на балтийскую воду — она была оловянного цвета, но очень прозрачная. В ней плавали веточки водорослей. Под днищем катера было хорошо видно песчаное дно.

Очень давно, лет тридцать назад, я прочел в каком-то журнале статью под названием «Архитектура кораблей». Кажется, это была статья Корбюзье.

Люди очень долго не замечают и не признают новой красоты. Понятие красоты с течением времени изменяется и расширяется. Древние греки не знали красоты неонового света, а мавры — красоты океанских пароходов.

На новую красоту людям нужно открывать глаза. С детских лет мы знали, что парусные корабли красивы даже своими названиями: фрегаты, баркантины, клипера — и названиями отдельных бесчисленных частей корабля и такелажа: шканцы, штирборт, бизань, кабестан, кливер, топенант. Но нам не приходило в голову смотреть как на произведения искусства на железные пароходы. Мы видели в их конструкции только утилитарные и совершенно необходимые вещи, пока нам не открыли глаза, и мы с бьющимся сердцем вдруг заметили мощные изгибы железных бортов, могучие трубы, просторные палубы, ряды сверкающих иллюминаторов.

Разговор об архитектуре кораблей происходил на Гданьской судостроительной верфи.

На этой верфи шаг за шагом можно проследить рождение корабля, начиная от ребристого скелета и кончая готовым кораблем, только что спущенным на воду.

На верфях (по-польски «сточнях») нас окружали океанские громады. Мы поднялись на одну из таких гро-

---

[1] Варьят — сумасшедший.

мад — на так называемую «рыболовную базу» «Печенега», построенную в Гданьске для СССР.

По существу, это был не корабль, а морской дворец. На «Печенеге» было все, что нужно человеку для культурной жизни, в том числе и большой зал для кино и спектаклей.

Существует неписаный закон: чем тяжелее условия плавания, тем больше должно быть на корабле комфорта.

«Печенега» плавает в северных водах, у берегов Канады, Исландии и Гренландии. Поэтому на ней удобно и просторно. Мощь ее машин и мощь стройного корпуса создают у экипажа «Печенеги» уверенность в своем корабле.

Так почти незаметно рождается мысль о неразрывной связи технических качеств корабля с его внешним видом. Так рождается эстетика кораблей, отрицающая все лишнее и утверждающая только необходимое. И вот оказывается, что эти ясность и простота архитектуры сами по себе являются эстетическим фактором, сами по себе величественны, гармоничны и не требуют никаких украшений.

Наоборот, любое украшение ощущается как ненужное пятно. Оно просто нестерпимо.

В каюте капитана «Печенеги» мы пили шерри-бренди. Капитан рассказывал о последнем рейсе корабля в те воды, где рождаются туманы и айсберги, где у людей обостряется чувство родины.

На Гданьских верфях я долго смотрел, как работают судостроители. В большинстве это потомственные заслуженные пролетарии — спокойные и независимые. Самый их труд, самая манера их работы вызывали удивление. И уважение. Все это были подлинные мастера. Было совершенно ясно, что никто, кроме них, не мог бы так уверенно справиться с этой сложной работой.

Сознание собственного достоинства и собственного рабочего таланта делало их несменяемыми хозяевами этих верфей. И не только верфей, но и всей страны.

Туманные, сырые равнины балтийской Польши, какая-то неподвижная река вся в зарослях увядшего стрелолиста, а за рекой — замок-монолит Мальборг, приют крестоносцев.

Там в подвалах стоят очаги — на них целиком жарили на огромных вертелах быков и диких вепрей. Там горячий ток воздуха бьет из решетчатых отверстий в полу — сред-

невековых калориферов. Мы останавливались на этих решетках, чтобы согреться.

Архитектура замка сурова, безжалостна. Такой замок, должно быть, может выдержать взрыв атомной бомбы.

Между двух крепостных стен, окружающих замок, растут огромные кусты бузины с красными ягодами, стоит сладкий запах облетелой листвы и в углу чернеет виселица — старая, источенная червем, готовая вот-вот рухнуть. При взгляде на нее вспоминаешь, что никогда еще на земле не было полного счастья и благодатного покоя.

Но такое время придет. Не может не прийти.

По дороге из Гданьска в Варшаву тихий туман лежал над полями. В этом тумане придорожные березы казались призраками. И если бы не дети, спешившие в школу — маленькие девочки и мальчики с пачками книг,— то последним впечатлением от Польши были бы эта тишина и туман.

Мы взяли в машину и довезли до какого-то городка двух школьников, двух мальчиков с веселыми и смущенными глазами. Они быстро о чем-то трещали и шмыгали носом — жест всех мальчишек на всем земном шаре.

Когда мальчики сошли, шофер, не оборачиваясь, сказал:

— Вот кому интересно жить. Правда?

А я подумал о странном совпадении: мое знакомство с Польшей почти полвека назад началось с того, что я подвез на фурманке девочку со стариком, а сейчас, уезжая из Польши, мы подвезли двух мальчиков. Я не знаю народных поверий, но, очевидно, такие встречи с детьми к добру? Кто знает?

Село солнце, и на горизонте возник купол света. Мы подъезжали к Варшаве.

Надо было прощаться с Польшей, с ее сердечными людьми, верящими в свое умное будущее.

И снова пришло знакомое всем скитальцам чувство — будто ты оставил часть своего сердца в покинутой тобой стране. Но, вопреки всем естественным законам, ты не обеднел, а, наоборот, стал богаче.

1963

ОГНИ ЛА-МАНША

(Английские заметки)

Я только что вернулся из Англии, но некоторые впечатления этой поездки настолько уже отстоялись, что о них можно писать. Хуже всего, конечно, писать по первому впечатлению. Тогда рисунок получается слишком резким, как сырая масляная краска на холсте. Все выпуклости еще сильно блестят. Они еще не смягчены дымкой времени и слабого забвения.

Дымка времени, очевидно, похожа на тот мягкий голубоватый туман, каким наполнены долины сельской Англии. Эта дымка придает величественные расплывчатые очертания дубовым рощам, навсегда покинутым Робин Гудом. Она сообщает темный и глубокий тон воде озер и замедленных рек, украшенных стаями лебедей. В этой дымке выглядят призрачными даже бесчисленные замки. Они как бы построены из ноздреватой пемзы. Длинное время покрыло их стены старческим румянцем. Кажется, что такой замок можно легко поднять и подержать на ладони.

В Англии время почему-то кажется спокойным, несмотря на то что история страны полна тревог и кровавых событий.

Сейчас в Лондоне пескоструйными насосами смывают со старых зданий черноту времени — патину истории. Иным это нравится, иным нет. По-моему, светлый, как бы восковой, Лондон приятнее недавнего черно-белого и несколько траурного города.

Англия оказалась страной неожиданной. Первая встреча с ней сразу же разрушила мои привычные представления, сложившиеся еще в юности и, несомненно, связанные с временами Констебля, Вальтера Скотта и Чарльза Диккенса. Вместо багрового тумана — «смога» — Лондон был залит океаническим воздухом и вполне респектабельным солнцем. Даже громада собора святого Павла представлялась в этом воздухе перенесенной сюда из Флоренции. Неожиданными оказались и англичане — шутливые, простые и обязательные люди, обладающие вежливой точностью и хорошей памятью на свои обещания.

Но все же туман не исчез из Лондона. Как-то мы разговорились о тумане с шофером такси, и, он, подумав, сказал:

— Если хотите увидеть наш знаменитый туман, то я заеду за вами в гостиницу поздним вечером и отвезу вас на тот берег Темзы («тем берегом» он называл правый берег реки). Оттуда вы увидите Парламент и Вестминстерское аббатство в тумане, таком красном, как натертый кирпич.

Вечером мы вышли из такси и облокотились на мокрый гранит набережной. На Темзе начался прилив, и длинные барки уже не полулежали на илистом дне, а покачивались на взволнованной воде вместе со множеством неярких речных огней. Перед нами в летучем дыму, неведомо откуда струившемся вдоль Темзы и неведомо откуда подсвеченном тяжелым красным пламенем, величественно плыло каменное привидение Парламента. И гулко, на весь Лондон, казалось, на весь «туманный Альбион», забрызганный холодными атлантическими прибоями, били башенные часы Биг-Бен.

В гостинице я часто просыпался среди ночи, но не зажигал огня, чтобы посмотреть на часы, а ждал боя Биг-Бена. И каждый раз у меня сжималось сердце от чувства затерянности в чужой и не всегда понятной стране, от ощущения бесконечно уплывающей, как ночная вода, тугой темноты. Куда уходит время? К какому концу? К какому пределу?

Чтобы уснуть, я начинал вспоминать по старой привычке разные стихи. Сначала Верхарна:

Вокзалов едкий дым, где светится мерцаньем,
Серебряным огнем скорбь газовых рожков,
Где чудища тоски ревут по расписаньям
Под беспощадный бой Вестминстерских часов...

Или печальные стихи о старом Сити:

Когда пронзительнее свиста
Я слышу английский язык,
Я вижу Оливера Твиста
Над кучами конторских книг
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда,—
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода...

В конце концов мне удавалось уснуть, но сон был непрочен, как проблеск английского утра, что зарождалось в сумраке ненастных берегов.

В Британском музее я рассматривал акварели знаменитого английского мариниста Тёрнера и был поражен

множеством аспектов низкого ветреного неба и дождевых облаков, заполнявших его гениальные картины. Нет, не слишком уютной была жизнь на этом острове, куда заплескивали ненастья всего нашего полушария!

Но, повторяю, нам повезло, и страна, согретая октябрьским солнцем, как бы улыбалась про себя чужестранцам, пораженным теплотой и сочностью ее светло-зеленых пастбищ и садов. В маленьком палисаднике в Лондоне, стиснутом черными глянцевитыми кирпичами, я видел дозревающий инжир — совсем как у нас в Крыму, где-нибудь на окраине Ялты. В Стратфорде в саду жены Шекспира Анны Хэтауэй — очень светлом и небогатом — пахло свежо и нежно незнакомыми, должно быть, тропическими цветами. Этот запах спящего столетиями сада проникал в светлые деревянные комнаты дома и смешивался с запахом старой английской полировки. Лестницы в этом доме скрипели беспомощно и жалобно под ногами туристов, будто говорили с укором: «Зачем вы топчетесь там, где проходил Шекспир! Вы же знаете, что по своей скромности и детской застенчивости он уступает вам дорогу на узких поворотах и очень смущается при виде бородатых босых битников и извивающихся молоденьких леди с руками, глубоко засунутыми в карманы коротеньких брюк».

Может быть, я не прав, считая Шекспира таким застенчивым. Но самая обстановка Стратфорда-на-Эйвоне располагает к такому представлению. Во всяком случае, я уверен, что Шекспир смутился бы, встретившись с Бернардом Шоу. Этот решительный и ошеломляющий ирландец кого угодно мог поставить в тупик.

В Англии я все время как бы примеривал страну к Бернарду Шоу, но он не очень в ней помещался. Ему было тесно. Его насмешливый ум требовал вольных прыжков. Но чем дольше я жил в Англии, тем яснее становилось, что Шоу — подлинный великий англичанин по своей внутренней сути, по своей ястребиной мысли, неумолимому сарказму и непрерывным взрывам. Это был «пороховой заговор» в одном лице. Взрывов его иронии и мысли можно было ждать в любую минуту дня и ночи. Любая строка могла взлететь на воздух и надолго восхитить вас или ошеломить.

Спектакль Шекспира («Генрих Пятый») в Стратфордском королевском театре — в новом здании, которое как бы охраняют среди затененной реки эскадрильи невозму-

тимых лебедей,— был несколько странен. Он казался нам, чужестранцам, не совсем реальным, подобно холодноватым и туманным улицам этого городка, его пустынному уюту и увядшей черной розе на паперти церкви, где похоронен Шекспир. Спектакль о короле — завоевателе Франции был несколько странен потому, что бурное, всегда на границе гнева и горя, шекспировское действие, пыл героев, их горячность, слезы и смех были как бы заперты наглухо в стенах театра, где голубовато и спокойно светились, исполняя свой долг, дежурные лампочки, и зрители — вежливые и сдержанные — почти не аплодировали самой превосходной игре.

В этом театре вот в такую обманчиво тихую ночь надо бы увидеть великую трагедию Шекспира о леди Макбет — трагедию предательства, крови и женской красоты, запутанной в преступлениях. Я подумал об этом и невольно вспомнил стихи нашего прекрасного писателя и поэта Бориса Лапина, героически погибшего во вторую мировую войну. Вспомнил его удивительные стихи, чем-то неуловимо, но крепко связанные с Англией, с Шекспиром:

Солдат, учись свой труп носить,
Учись дышать в петле,
Учись свой кофе кипятить
На узком фитиле.
Учись не помнить серых глаз,
Учись не ждать небес,
Когда придет твой смертный час,
Как твой Бирнамский лес.

На обратном пути из Стратфорда в Оксфорд меня преследовал этот образ Бирнамского леса,— он шел на нас, он зловеще возникал в ночной мгле громадами своих качающихся черных вершин, он угрожал железным скрежетом листвы, трепещущей от атлантического ветра. Только в Оксфорде среди спокойствия колледжей и благожелательных ученых эта тревога прошла — нет, Бирнамский лес еще не двинулся!

Из Стратфорда мы возвращались в Лондон через Оксфорд и заночевали в этом древнем университетском городе, похожем на большое, вымощенное плитами подворье монастыря.

В гостинице было безмолвно, светло, стены ее были затянуты тонкими выцветшими коврами. В уютном холле смущенно краснел электрический камин и успешно бо-

ролся с пронизывающим холодом ночи. Мы вспоминали названия старинных харчевен, встреченных в дороге, и почему-то радовались этим названиям, как будто взятым из романов Стивенсона или Вальтера Скотта: «Глаза оленя», «Крикливый петух», «Пивная пена». Радовались, очевидно, потому, что давно не встречали таких старомодных и добродушных названий.

В харчевнях с такими названиями должно было быть сухо, светло, пахнуть вереском или лавандой, должны были ярко гореть, источая лучистую теплоту, старые керосиновые или газовые лампы, а к ужину поджаривалась на очаге жесткая свинина.

Англия несколько старомодна. Особенно это заметно в одежде среднего англичанина, лондонского клерка. Когда в «столице клерков» Сити кончается работа, все улицы внезапно отодвигаются во времена Теккерея и Питта. Тысячи клерков, одинаково одетых, в одинаковых черных костюмах, одинаково черных котелках, с одинаковыми черными, туго свернутыми зонтиками в руках бодро расходятся по домам, и кажется, что у них в карманах позванивают шиллинги, а у иных, наиболее бедных, даже фартинги, на которые ничего, собственно говоря, нельзя купить.

Сложность английской денежной системы может привести в отчаяние. Почему фунт стерлингов делится не на десять, а на двадцать шиллингов, а шиллинг делится на 12 пенсов,— и неизвестно и непонятно. Почему в пенсе четыре фартинга? Каково достоинство фартинга, вы сможете понять, пожалуй, лишь в том случае, когда вам в сердцах скажут, что ваша паршивая жизнь не стоит и одного фартинга.

Так вот, есть Сити, где в тусклых стенах банков и контор медленно вращаются, позванивая в сейфах, несметные, накопленные веками богатства Англии.

Однажды с империала вишнево-красного автобуса я с радостным изумлением увидел в Сити узкий дом, похожий на коробку от сигар, поставленную на попа, с вывеской на фасаде «Домби и сын».

Нельзя, конечно, думать, что в этом беглом очерке о внешних чертах Англии можно хотя бы в сотой доле исчерпать тему этой поездки. Нужно еще написать о многом, но прежде всего о людях — от блестящих профессоров Оксфорда до не менее блестящих шоферов и матросов. Эти строки — это отрывки, первые впечатления.

И одно из сильнейших впечатлений — английский ландшафт.

К Оксфорду мы подъезжали к вечеру. Над очень пологими, волнистыми холмами Англии разгорался закат. Такого я никогда не видел в жизни. Он был необыкновенного тускло-желтого и приятного цвета, без всяких оттенков, как одна огромная небесная пелена. Если бы это сравнение не казалось искусственным, то я сказал бы, что закат над Оксфордом носил цвет спелого банана. Сквозь него кое-где просвечивал тоненький свет звезд. Кущи дубов и вязов, огромных, как библейские шатры, возникали на этом закате, и это походило на фантастическое траурное шествие деревьев.

Дали Англии окрашены так воздушно, будто они нанесены на фарфор самой тонкой кистью и самой светлой краской. И всюду среди рощ, полей и дорог часто цветут шиповник и репейник — герб Англии.

Ландшафты Англии наполнены тускло светящимся воздухом. Это обстоятельство должно было вызвать к жизни художника, который стремился бы передать этот воздух родной земли. И такой художник появился. Это был Уистлер. Он наполнил Англию блеском прибрежных вод, красками гаснущего заката, голубизной морских затиший, разгорающимся к ночи широким сиянием огней и их отражений в неподвижных портовых затонах.

Таков пейзаж Англии. Но не всегда. Иной раз в нем полыхает червонная медь, бронза, пурпур и зловещий мрак океанской ночи. В таких красках возникает Англия на картинах Тёрнера — гениального художника, скитальца морских берегов. Я невольно завидую ему. Скитаться по берегам Англии — занятие порой веселое, а порой и грустное. Я испытал его, и то чуть-чуть, только на берегах Темзы и около ее устья. Но и этого оказалось достаточно, чтобы увлечься изучением «туманного Альбиона».

От Вестминстерского аббатства до городка Гринвича (где проходит первый меридиан) ходят речные катера. С их палубы открывается медленный разворот Темзы от города до доков, до чудесного и тихого Гринвича, где таверны тянутся живописными рядами, перемежаясь с классическими зданиями знаменитой обсерватории, морского колледжа, морского музея и госпиталя.

Сидеть на висящей над Темзой террасе таверны — одно из интереснейших занятий в мире. Нужно только

пить кофе, пряный чай, виски или кока-колу и смотреть. Смотреть, и перед вами, как на волшебной ленте, пройдет мировая морская дорога — непрерывная цепь океанских кораблей, лайнеров, корветов, угольщиков, лесовозов и нефтевозов, буксиров и парусников с такими высокими мачтами, что они режут верхушками пелену низких облаков.

— Вот смотрите,— сказала нам хозяйка таверны «Яхта», француженка из Лиона (глаза ее блестели, действительно, как в кипучем Лионе),— идет корабль под вашим советским флагом. Очень красивый мужчина. Смотрите!

По Темзе, закрывая далекий берег Сити, величаво проходил мимо башен Тауэрского моста белоснежный «красивый мужчина» — гигант лесовоз «Мезеньлес» с надстройками и широкой трубой, вынесенными на корму.

Матросы за соседним столиком стали махать кепками. «Рашн, рашн!» — кричали они и приветливо улыбались нам. «Мезеньлес», медленно разворачиваясь по изгибам реки, ушел в отдаленный дым, к родным нашим северным берегам.

Потом мы бродили по ярко-зеленым, будто весенним (несмотря на октябрь) паркам Гринвича. Голуби садились нам на руки и заглядывали в глаза, выпрашивая зерна. Работяги буксиры гнали перед собой легкую волну, и было слышно, как в старых домах корабельные часы отбивали мерные удары. Тишина прошлого стояла над знаменитым Гринвичем.

В Англии я видел много людей разных профессий и классов — от строительных рабочих, собиравших против наших окон в гостинице огромный дом, как собирают часы, до герцога Веллингтонского, и от доброго и скромного издателя Коллинса до милого одиннадцатилетнего мальчика-лифтера Роджерса. Я никак не мог привыкнуть к тому, что он вправду служит и отдает заработок матери.

Уезжая из Англии, я по просьбе радиокомпании Би-Би-Си сказал по радио несколько прощальных слов и упомянул о Роджерсе. Это вызвало большое оживление среди мальчиков-лифтеров и посыльных в районе Сент-Джеймс-стрит и Риджент-стрит, а Роджерс решил по этому случаю привести в порядок свои вихры и вымазал их целой банкой бриллиантина. Это нисколько не помогло, вихры по-прежнему стояли у Роджерса дыбом, но он был счастлив.

Нигде, как в Англии, я не видел такой выпуклой разницы между людьми разных классов. Это расслоение сразу же бросалось в глаза даже самому равнодушному человеку.

Прямой поезд Лондон — Париж отошел из Лондона с вокзала Виктория поздно вечером. В Дувре море хлестало в набережные. Вагоны вкатили на нижнюю палубу парохода-парома, закрепили цепями и канатами. Молодой полисмен сообщил, что нам повезло: только сегодня закончилась забастовка команд буксирных пароходов, а то мы бы просидели в Дувре неизвестно сколько дней. Беседуя с нами, полисмен поигрывал тонкими никелированными наручниками и все норовил показать на любом желающем пассажире, как они захлопываются. Но желающих для этого опыта не находилось.

Ночью вагон качало. В Ла-Манше бушевал шторм. Вагон испуганно лязгал, дергался, трещал, звенел буферами и, казалось, собирался вот-вот броситься за борт. А в борт упорно колотили холодные негостеприимные волны.

Среди ночи в каюту ко мне постучал стюард.

— Извините, сэр,— сказал он мне,— но вы рискуете проспать огни Ла-Манша и огни Дюнкерка.

Я понял, что это, должно быть, новая традиция, возникшая после мировой войны,— смотреть на огни Ла-Манша и Дюнкерка. На огни города, где произошла величайшая военная драма, где была окружена гитлеровцами и сброшена в море английская армия.

Ее удалось спасти. Все, что могло плавать, было брошено в Дюнкерк на спасение людей. Берега Ла-Манша были покрыты тысячными толпами, вылавливавшими из воды оглушенных и полузадохшихся людей. Корабли подходили к мелким местам английского побережья, но не останавливались, а тотчас разворачивались и с ходу шли обратно в Дюнкерк за новыми отрядами людей. Солдаты сотнями прыгали с палуб в воду и добирались до берега по горло в воде. Им бросали канаты, круги, доски.

Я вышел на палубу и невольно отступил: из кромешного мрака, со стороны Европы, плыли навстречу нашему пароходу ослепительные горы сверкающего хрусталя, тысячи бессонных пульсирующих огней. Навстречу плыл белый исполинский пожар, охвативший весь горизонт.

Это и были невиданные огни Дюнкерка и Ла-Манша, пылавшие, как неопалимая купина, в том месте, где сгорели от чудовищных бомбежек полки молодых англичан.

Вокруг меня на палубе молча стояли люди и неподвижно смотрели на эти огни — неугасимые огни над могилами тысяч неизвестных солдат.

Я оглянулся. Маяки Ла-Манша горели напряженно, пристально вглядываясь в туман, за которым, как за крепостной стеной, лежала Англия.

1964

ДОРОГА ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Мусорная вода около нашего парохода зашевелилась, будто кто-то сильно подул на мусор, и из-под него вылезла стальная серая черепаха — американская подводная лодка.

Лодка двинулась малым ходом к причалу. Она шла неуверенно, как слепая. Она слишком близко прошла около нашего парохода. Пассажиры в испуге сбились к одному борту.

Тогда лодка вдруг взвыла и завизжала так зло и пронзительно, будто ей начисто отдавили хвост. Старый рыбак, ехавший с нами на остров Капри, плюнул в сторону лодки и сказал:

— Бешеная дура!

Лодка забурлила винтами и медленно втиснулась в строй таких же серых американских подводных лодок. Они тесно стояли у каменной стенки в Неаполитанском порту.

После этого наш маленький белый пароход — «алискаф» (так здесь зовут пароходы на подводных крыльях) — начал осторожно выбираться из порта.

Налево чернел замок Кастель-Нуово, за ним — остров Искья — родина красивых открыточных рыбачек, а впереди начали подыматься берега Капри.

Этот остров, сложенный из сиреневого гранита, нехотя выползал из воды, пока не стали обозначаться на его береговых скалах обсохшие водопады, или, вернее, «цветопады», желтой бугенвилеи.

Этот удивительный цветок привез в Европу с островов Тихого океана французский капитан Бугенвиль.

Следует с уважением относиться к памяти Бугенвиля. То был бескорыстный колониальный моряк. Он возил не золото, не жемчуг, не рабов, а нежные цветы, особенно не надеясь нажить себе на этих цветах состояние.

У меня давнишнее пристрастие к картографическому описанию разных мест земли. И в этом рассказе я тоже не могу уйти от картографии, в частности от разговора о географических названиях.

Иные названия пленяют своей красотой, иные вызывают отвращение — главным образом те, что были рождены человеческой глупостью, тщеславием или сентиментальностью.

Вы, возможно, встречались в своей многострадальной жизни с такими пошлыми названиями, как «долина грез», «храм воздуха» или «дворец бракосочетаний». Пошлость обладает могучим свойством проникать под самые крепкие черепные коробки и разрастаться в ядовитые лишаи. Чем дальше, тем больше пошлость затопляет землю мутными волнами. Пошлость — удел недалеких и самодовольных людей.

На Капри я встретился с явлением, которое было не только пошлостью, но и оскорблением всему расстилавшемуся вокруг прекраснейшему миру. Дело тоже было в названии. Но в каком? Для этого нужно кое-что разъяснить.

Остров пересекала с востока на запад — от гавани Марина-Гранде до гавани Марина-Пиккола — выбитая в скалах дорога.

У этой дороги, кроме ее разнообразной красоты, были свойства самого приятного в мире заповедника. Заповедника не растений и редких минералов, а заповедника запахов — то густых, то свежих, как только что выпавший легкий весенний снег.

Эти запахи побеждали своей смолистой целебной силой все, что до тех пор встречалось на земле, побеждали, должно быть, даже мифические запахи рая. Если бы нам было дано хоть раз надышаться райским воздухом, то мы надолго унесли бы на своих губах радостную и жадную улыбку.

Только великий поэт, такой, как Гёте, мог описать этот воздух. Гёте сумел рассказать о том времени суток, когда «не пылит дорога, не дрожат листы»,— ины-

ми словами, рассказать о всемирном молчании вечера, созданном для успокоения измученного человеческого сердца.

На этой дороге вы могли почувствовать себя Икаром. Вы могли мысленно проноситься в струях воздуха над блаженной страной. Вы могли остановиться на мгновение, чтобы дотронуться до слабо пахнущих листьев лимона, но тут же увидеть на обочине дороги отвратительную табличку — указатель с черной надписью колючими готическими буквами: «Дорога имени Круппа».

Дорога имени Круппа! Тогда гасло небо. Сжималось в комок беспомощное сердце.

Дорога имени Круппа! Одного из величайших убийц, фабриканта «стальной смерти», сносившей тысячи голов простым щелчком осколка. Крупп построил эту волшебную дорогу для своих прогулок — немецких филистерских «шпациров». Построил на свои нечистые деньги и в свою честь. Это было невыносимо, невозможно, цинично. Европа вся еще была в крови и гари после недавней войны. Бесноватый и взвинченный голос Гитлера как бы звучал еще на каждом повороте этой дороги.

И мне вдруг вспомнился встреченный на днях в ресторане на Марина-Пикkола грузный человек. Ему прислуживал веселый темноглазый мальчик Паскуале.

В глазах Паскуале я заметил в тот день страх и почтительную злобу. За столиком сидел, положив на скатерть сжатые жилистые кулаки, рыжий старик с лицом завоевателя.

Пальцы его были покрыты твердыми рыжими волосами. Фазанье перо, заткнутое за ленту его шляпы, дрожало от ветра. Старик все время сжимал и разжимал кулаки. Он, очевидно, сердился.

Внезапно он вырвал фазанье перо и выбросил его за окно.

Спутница старика — молоденькая женщина-итальянка, почти девочка, в коротких и сильно измятых лиловых шортах — вздрогнула и опустила глаза.

Ложечка с мороженым задрожала и забилась в ее руке. Старик сжал ее кисть своими косматыми пальцами и грубо осмотрелся вокруг, как единственный владетель этого синего мира и этой девчонки.

За дальним столиком засмеялся длинный негр, а я усмехнулся. Тогда старик ударил с размаху кулаком по столику, что-то пробормотал по-немецки, встал и, не до-

жидаясь своей спутницы и не оборачиваясь на нее, промаршировал военным шагом к выходу. Он был, видимо, взбешен.

Молодая женщина испуганно опустила голову. Она испугалась не только ярости старика, но и хохота молодых загорелых рыбаков. Они удили со скал около ресторана маленьких беспомощных осьминогов.

Когда старик проходил мимо рыбаков, они начали подсвистывать ему вслед, как возницы подсвистывают лошадям, чтобы заставить их скорее помочиться. Глаза рыбаков были черными от злобы.

Ко мне подошел хозяин ресторана — маленький сутулый итальянец, гордившийся передо мной своим знакомством с Максимом Горьким, и сказал вполголоса, показав глазами на старика:

— Говорят, что это один из сотрудников Круппа. Опасный человек.

Я хотел ответить ему, что мне наплевать на всех сотрудников Круппа, и поодиночке и вместе взятых, но у меня, к сожалению, не хватило итальянских слов, чтобы выразить эту мысль. Но хозяин, очевидно, понял и, пятясь, поспешно закивал головой.

Девушка в лиловых шортах пересела за дальний столик, закрыла глаза рукой и заплакала. И мне вдруг стало жаль эту беспомощную и, очевидно, неопытную наложницу. Она недавно еще радовалась, что устроилась при этом старике на фешенебельном Капри хоть на несколько дней. Ей было жаль до слез тех тысяч рваных, разбухших лир, которые давал ей рыжий старик,— они даже не помещались в ее сумочке. Ей было жаль ежедневных катаний в Анакапри или на Виллу Тиберия, жаль ужинов на Монте-Соляре или в самом дорогом ресторане «Квисисана», жаль роскошных купальных халатов с рисунками художника Даля.

Тогда бывшая с нами русская спутница — мы звали ее «русской иностранкой»,— изъездившая весь мир, сказала:

— Какая гадость эта дорога Круппа! Надо переиначить ее.

— Переименовать?

— Ну да! — согласилась она и покраснела. Она сердилась на себя за то, что начала забывать русский язык. И тут же спросила, как будто все уже было решено.— Как мы ее назовем? Дорогой Гёте?

Я не согласился. По-моему, гораздо лучше было назвать эту горную дорогу именем Генриха Гейне. Гёте был слишком величав. Недаром Гейне, обращаясь к Гёте, называл его «ваше высокопревосходительство».

Дорога эта, хотя и кремпистая, была весела и лирична. Казалось, что по ней непременно проходила некая порывистая красавица в зеленой шляпе и обронила здесь свою узкую перчатку, пахнущую жасмином. Та женщина, с которой так смущенно познакомил нас Гейпе. Где? Когда? Давным-давно в старой гостинице на водах, в городе Лукке.

Глаза ее от цвета шляпы приобрели легкий зеленоватый перелив. Никто не мог сказать, как называется цвет ее глаз, кроме старого суфлера из Луккского театра. Он утверждал, что это цвет хризопраза — драгоценного камня, приносящего счастье только одним артистам.

Мы решили назвать дорогу именем Гейне за удивительные стихи, похожие на его искрящийся взгляд, за смертельный яд его слов, за беспредельпую нежность, за убийственный смех над глупцами всего мира, за его беспокойное сердце.

И мы тотчас принялись разрабатывать фантастический план действий. Прежде всего надо было выбрать на скалах вблизи дороги гладкие места, небольшие плоскости, на которые можно было бы нанести масляной краской новое имя дороги. Таких плоскостей мы нашли много.

Было решено, что Паскуале прочистит эти гладкие места шкуркой, а «русская иностранка» напишет на них новое название дороги: *«Виа Генрих Гейне»*. Старые дощечки надо было убрать в течение одпой ночи.

Затем события начали бы разворачиваться очень быстро. Через день ранним утром у нового названия дороги уже толпились бы в недоумении первые прохожие.

Потом по дороге промчались бы на мотороллерах чины городской полиции.

У каждого столба, где уже не было табличек, а только зияли дыры от гвоздей, они останавливались бы, качали головами, потом долго искали бы в кустах старые таблички, но ни одной бы пе нашли. Все таблички мальчишки побросали в море.

Полицейские прокричали бы мальчишкам несколько угроз и уехали, а мальчишки свистели бы им вслед.

А через несколько дней приехал бы из Рима известный

итальянский писатель, он подсел бы к нам в ресторане на Марина-Пиккола, и глаза его смеялись бы. Он бы обнял Паскуале: «Ты настоящий итальянец. Даже старый Гарибальди угостил бы тебя за это мороженым».

И он заказал бы для Паскуале три порции мороженого — фисташкового, ананасного и миндального.

И мы, взрослые, позавидовали бы Паскуале.

Вскоре я уехал. Вблизи дороги я увидел совершенно неожиданный в этой сухой земле голубой цикорий. У нас в России он цветет целыми полями. Но здесь я обрадовался этому невзрачному цветку.

Подчиняясь какому-то неясному чувству родственности, я сорвал несколько стеблей и засунул их между страницами книги как напоминание о Капри, печальном Генрихе Гейне и лазурной жаре Средиземного моря.

Ялта, декабрь 1966 г.



Очерки

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

В вечернюю золотящуюся пыль уходили херсонские степи. Шла мертвая зыбь. Низко висело солнце, воспаленное и тусклое, над древним, малахитовым морем, и теплый сухой ветер дул откуда-то с юга, с анатолийских берегов.

В сумерках проходили мимо унылых берегов какого-то острова. Лихорадочно дрожали созвездья, скрипели реи, и мерно дышала машина.

С рубки, с высокого капитанского мостика, кто-то крикнул:

— Березань.

Хлопнул флаг и пополз вниз по мачте.

Все обнажили головы.

Рулевой в стеклянной рубке повернул обветренное, крепкое лицо и долго глядел в сторону острова.

Там — лейтенант Шмидт, поднявший восстание Черноморского флота. Над телом Шмидта и его товарищей-матросов прошла на рысях артиллерия и сровняла, изрыла могилу копытами лошадей.

Лейтенант Шмидт. Его потрясающая клятва на севастопольском кладбище — все силы свои и все разумение свое, жизнь свою отдать делу возрождения родины! Говорят, что лейтенант Шмидт как трибун был выше Жореса. Когда он говорил на суде, часовые отставили винтовки и плакал старый полковник — председатель суда.

«Я умру в счастливом сознании, что тот столб, к которому вы меня привяжете для расстрела, будет пограничным между рабской и свободной Россией».

Кто-то из бывших на суде сказал: «Я никогда не забуду его лица, его проникновенных глаз, его гордой осанки, его — «светлого трибуна», с душою ребенка, который перед смертью так трогательно и просто вспомнил Христа».

Шмидт — это воплощенная воля, это та непоборимая сила духа, перед которой или склоняются, или бледнеют от стыда за свое безволие. Безоружный, он приезжал на военные корабли и призывал их к восстанию. Его выслушивали, его молча, почтительно провожали старые адмиралы, невольно преклоняясь перед его смелостью, доходившей до безумия.

Восстание «Очакова», ловушка, последние дни в тюрьме...

Остров затянулся туманом — серой недвижной мглой. Тускло стояли громадные звезды, и, высоко неся белый мачтовый огонь, мы уходили в мглистые дали, в необозримое пространство вод.

Был пустой прохладный день. Было это в глуши, в затерянном уезде Орловской губернии. Шуршали хлеба, на дорогах стояла белая, густая пыль. Я остановился в большом селе, с улицей в три версты и старой церковью на выгоне. Остановился передохнуть у начальника почты.

Сидел в душной комнате с низкими потолками и бальзамином на окошцах, со стенами, оклеенными пожелтелыми, старыми номерами «Русского слова», и перелистывал захватанный руками толстый альбом с открытками. Дошел до последней страницы — и вдруг словно острой бритвой полоснуло по сердцу.

На последней странице была наклеена карточка лейтенанта Шмидта. И тут же рядом его Клятва. Я перечел ее. И сразу стало сознание того, что вся эта жизнь, разменянная на мелочи, все эти глухие, тяжелые годы, отмеченные неопределенной тоской и ожиданием,— все это не настоящее, половинчатое. Я понял, что смутное ожидание — это была тяга к той бодрой, свободной и ликующей жизни, к которой всех нас звал Шмидт.

Я уехал вечером. Гудели под ветром сосновые леса. Хотелось думать о нем, о человеке, создавшем из своей жизни одну из самых сильных и печальных легенд.

Это было в прошлом году в Севастополе, ровно за год до перевезения тела Шмидта.

Цвел в садах миндаль, осыпал то снежными, то бледно-алыми цветами дорожки, стояла крымская весна, прозрачная и тихая. У Херсонеса сонно шумели прибои, по вечерам золотыми цепями огней дрожала в вечернем тумане

Корабельная сторона и бродили по небу бледные лучи прожектора. Я жил три дня на Соборной в том доме, где часто бывал Шмидт. Хозяйка дома хорошо помнила его и говорила о скромном, застенчивом, молчаливом лейтенанте.

Тогда я понял, что Шмидт — это человек, рожденный и воспитанный морем. Море приучает глаза к широким горизонтам и приучает ум к смелым и свободным построениям. Я думал о том, как суровый, застенчивый человек ковал в себе страшную силу воли, носил и берег свою чистую веру в человека, во имя которого его расстреляли. Когда я думал об этом, мне казалось, что Шмидт неотделим от моря, от свежих ветров, от застенчивой и чистой приморской весны...

1917

№ 314527

Зовут его Джемс Лейстер. Он американский моряк. Вот уже две недели, как он, попыхивая американскими сигаретками, сидит целые дни в батумском союзе моряков или редакции «Маяка», внимательно изучая одинокий портрет лейтенанта Шмидта. С легким изумлением смотрит на обстановку — простой кухонный стол и садовую скамейку (больше в редакции ничего нет), и лицо его расплывается в широкую теплую улыбку. Умное, внимательное, измученное двадцатилетней работой лицо

Он приносит свои статьи — короткие, меткие, стремительные американские статьи. И переводчик — русский рабочий, проживший десять лет в Чикаго, почесывает затылок и говорит, что они написаны «очень уж хорошо, литературно».

Лейстер — не коммунист. Он член союза индустриальных рабочих мира, судовой механик. Тем более поучительна история его пребывания в России.

В Шанхае он был списан с наливного парохода («танкбот», как он говорит) за столкновение с администрацией. Он много слышал о России. Жажда увидеть эту сказочную страну, где у власти рабочие — те, которые там, на дальнем Западе, живут на окраинах — мусорных кучах гигантских городов; такие же рабочие, как он, Джемс Лейстер, с мозолистыми, тяжелыми руками,— жажда увидеть эту необычайную страну была чересчур велика.

Без денег, без нужных бумаг он едет в Харбин, оттуда в Читу, Иркутск, Москву, Ростсв, Новороссийск и Батум. Он колесит по России без языка, жадно всматриваясь, жадно прислушиваясь к каждому звуку-слову, изучая все новые, такие для него необыкновенные лица.

Когда он рассказывает о России — весь в клубах дыма,— в глазах у него исчезает холодный американский блеск, и они становятся добрыми, ласковыми, как у диккенсовских дедушек. Да он и впрямь дедушка — ему уже лет за пятьдесят.

Бережно, как драгоценную реликвию, как какие-то небывалые, высохшие цветы, он достает из кармана кучу мандатов, пропусков, бесплатных билетов, раскладывает аккуратно их на столе и говорит только два слова: «Интернешен солидарити».

Эти бумаги — все помощь русских рабочих. Ему давали их, чтобы устроить бесплатные проезды, чтобы избегать формальностей, чтобы облегчить этому пилигриму в советскую мекку его паломничество. Действительно, это «интернешен солидарити» — международная солидарность.

Теперь он возвращается в Америку, чтобы рассказать. «Рассказать своим» — это цель его жизни, его настойчивая идея.

— Они ничего не знают и никому не верят, потому что все миссии, и «Гуверы», и журналисты не хотят или не умеют рассказать настоящую правду.

Он везет с собой эту настоящую правду, туда, в страну желтого дьявола, в дымные порты Нью-Йорка и Орлеана. Везет как некий редкий дар, известный пока только ему одному.

Он вошел во все мелочи нашего быта.

Со смехом он жалуется на свою квартирную хозяйку, которая каждый день требует, чтобы он пошел в милицию и прописался.

— Propisalsja yesi,— говорит он и смеется. Он никак не может понять, зачем это нужно.

Он — пролетарий. Он никогда не подписывает своих статей. Как у пролетария у него нет имени. Под статьями он четко пишет: «S. W. W. Card № 314527», то есть член союза индустриальных рабочих мира № 314527. И в этом — он весь.

Батум, 1922 г.

ВСЯКИЙ ХЛАМ

Память сыграла со мной скверную шутку. Я забыл имя этого писателя. Может быть, вы напомните мне его,— он рассказал о человеке, скупившем всю пыль и мусор в старой ювелирной мастерской.

Дело было в Париже.

Мастерскую не прибирали несколько лет. Пыль лежала геологическими пластами. Ее собрали, сожгли в тиглях, и из них закапало жидкое чистое золото.

Это — из области литературы.

А вот — случай, бывший у меня на глазах.

В Тифлисе есть Дезертирский базар. Это название историческое. Во время последней империалистической войны с Турцией дезертиры продавали на нем казенное имущество,— пояса со штемпелями полков, гимнастерки и солдатское белье из желтой бязи. Очевидно, дезертиров было много.

В 1923 году на этом базаре устраивались веселые аукционы,— американская комиссия помощи армянским беженцам распродавала старье, полученное из Америки. Старье было зашито в тюки и запломбировано. Вскрывать его до продажи не разрешалось. Покупали «втемпую» — каждый тюк за червонец.

При мне один армянин купил тюк в надежде найти в нем малопоношенные костюмы. Тюк был наполнен старыми цилиндрами. Больше там не было ничего — ни пуговицы, ни кусочка ткани,— ничего, только цилиндры всех цветов — черные, серые и коричневые,— слегка полысевшие от старости и пахнущие застарелым бриллиантином.

Базар надрывался от хохота. Но армянин сказал спокойно:

— Чего вы смеетесь, шайтан вас знает. Цены нет этому товару!

И он был глубоко прав. Вскоре я встретил на проспекте Руставели первую женщину в фетровой шляпе, блестящей и простой,— это шествовал по Тифлису цилиндр, переделанный искусными местными мастерами.

Я убедился, что ничего не умирает. Закон превращения вещества стал ясен для меня, как для индуса закон переселения души.

Да, все уходит и снова приходит, даже старые, осмеянные всеми калоши. Безжалостно выброшенные на помойку, они возвращаются к вам новенькие и скрипучие, как два черных лакированных домашних зверька.

Здесь мы, как принято выражаться, «вплотную подходим к вопросу об омоложении резины». Что делают со старой калошей? Ее терзают. Но об этом стоит рассказывать подробнее.

Прежде чем рассказать о мытарствах калоши, я должен произнести наконец слово «утиль». Я пишу об утильсырье.

Пирамиды отбросов на свалках превращаются в пирамиды червонцев.

Древняя пословица: «Не все то золото, что блестит» — доказала свое право на существование.

Что же делают с калошами? Их собирают, старые калоши, и привозят на завод. Здесь начинается ряд жестоких действий.

Прежде всего отдирают медные буквы, ваши инициалы, и срезают заплаты. Потом старые калоши загружают в машины, и к ним очень долго после этого не прикасается человеческая рука.

Первая машина тщательно моет калоши, вторая — рубит их на крупные куски вместе с байковой подкладкой, третья — рубит на мелкие куски, а четвертая машина «съедает» всю байку, снова промывает изрезанную в кашу калошу и выбрасывает ее вон.

Эту кашу пускают в вальцовые станки. Они ее тискают и прессуют в плотную массу. К ней прибавляют свежий каучук, и из этой смеси делают новые калоши. Так заканчивается омоложение старых калош.

Омоложение резины! Сколько нервов, выдумки и хитрости потратила Северная Америка, чтобы найти способы этого омоложения!

Шина, автомобильная шина — герб САСШ — требовала омоложения.

У Америки нет своих каучуковых плантаций. Плантации в Бразилии — в руках Англии, в Индокитае — в руках Англии, на Яве — в руках Англии. «Милостивый американский бог» расположил САСШ в тех широтах, где каучук не растет.

Поэтому призрак каучуковой войны между Америкой и Англией давно уже бродит над Тихим океаном.

Поэтому американцы много сил своего гуттаперчевого ума потратили, чтобы найти способ омоложения резины.

БЕСЦЕННЫЙ ЧАКАН

Я видел в Госторге выставку всяческих отбросов, из которых делают прекрасные вещи. Я с радостью узнал старых знакомых. Они вызвали во мне пласты воспоминаний.

Я помню мальчишек, продающих пучки камыша пассажирам поездов Севастополь — Москва. Они называли его «чакан». Это были крепкие стебли с черной макушкой, похожей на валик пишущей машинки.

И вот я снова увидел этот чакан (иначе его зовут «рогоз»). Специалист по утильсырью бережно держал макушку чакана и говорил, что этому растению нет цены потому, что его можно использовать «на все сто процентов».

Он взял макушку и стал вытаскивать из нее светло-коричневый легчайших пух. Он обтрепал лишь десятую часть макушек, а пух лежал уже высокой горкой,— так фокусник вытаскивает из бутылки сотни метров шелковой ткани.

— Если к этому прибавить очень немного, всего процентов тридцать, старой шерсти,— сказал специалист,— мы получим сырье для прекраснейшего фетра. Производство уже налаживается. Валенки — легкие и прочные — из чакана будут стоить два рубля.

Он показал мне фетр из чакана. Он рвал его изо всех сил, мял и тянул, но фетр был тонок, прочен и не поддавался злым намерениям специалиста.

В корнях чакана спрятан крахмал — больше сорока процентов, его волокно крепко, как джут, а из листьев плетут циновки.

— Фетр из чакана не хуже, чем из тончайшего мериносового руна. Теперь считайте,— кило руна стоит девять рублей, а тонна чакана — сорок рублей. Есть разница?

Заросли этого необыкновенного растения с татарским, веющим Азией и степями названием есть всюду по берегам широких медленных вод: в устье Волги, в плавнях Днепра.

Нить воспоминаний не обрывается,— она приводит к Сухуму. Конечно, если вы бывали в Сухуме, вы будете

с восторгом говорить о мимозах, жаре, тропических садах и фруктовом базаре, но никак не о сухумском пляже. Нет ни грамма песка,— только крупный круглый голыш, которым море играет, как бильярдными шарами. Лежать па нем трудно: он впивается в тело, и человек, вставший с пляжа и идущий в воду, становится похож на пятнистую гиену. Это неприятно.

Теперь я узнал, что этот голыш так же крепок, как английская сталь.

Мне объяснили, что на цементных заводах в шаровых мельницах, дробящих горную породу, работают стальные шары. Мы покупаем их за границей. Оказалось, что эти шары из дорогой заграничной стали вполне можно заменить круглым и отполированным волнами морским голышом. Залежи его громадны, неисчерпаемы, катастрофически велики — это вы знаете сами. Сейчас начата его заготовка там, в Сухуми, где он злит курортников, в Батуми, на берегах Каспийского моря.

КСТАТИ О РЫБЕ И КОСТИ

Летом балаклавские рыбаки, за отсутствием рыбы, уходят в море бить дельфинов. Когда они возвращаются, сдав дельфиновый жир на салотопенные заводы, жены не пускают их домой, пока они не отмоются и не переоденутся. Отвратительный запах исходит от их одежды и от моторпых баркасов, перевозивших битых дельфинов. После каждого выхода в море баркас прожигают паяльником и заново красят, чтобы убить этот запах.

Но рыбаки очень часто, содрав с дельфина кожу и срезав лучший жир, туши бросают в море, и они плавают у берегов, вызывая общее негодование. Никто толком не знает, что туши дельфинов, как и другая падаль, дают прекрасные удобрительные туки и техническое масло.

Рыбьи головы, хвосты и прочие части рыбьего тела, выбрасываемые на свалку даже на некоторых консервных заводах, годятся для переработки на рыбью муку — прекрасный корм для скота.

Кстати, о рыбе. Рыбья чешуя — весьма неприятная штука. Она скользкая и липкая,— прилипнув к языку, она портит настроение. Заграница платит за эту противную чешую большие деньги. Из нее делается искусственный жемчуг,— желтоватый, розовый и белый,— тот самый жемчуг, что при свете электрических ламп кажется живым

существом и чья розоватость напоминает нам летние рассветы над морем.

Так происходит превращение вещей.

Позади деревень, за огородами, в оврагах белеют вымытые дождями костяки лошадей, собак и коров. В пустынях скелеты драмадеров указывают, как маяки, дорогу; у нас скелеты лошадей указывают близость жилья.

И вот эта «полевая» кость, как и всякая другая кость — из столовых и пресловутых помоек,— идет на изготовление мыла, глицерина, стеарина, клея и желатина.

Знаете ли вы, что мраморная белизна сахара, чей разлом похож на искрящийся снег, зависит от этих костей? Их пережигают в уголь и через него пропускают сахарное сусло.

А голубые магические экраны кино, где дым броненосца «Потемкина» сменяется ледоходом на Миссисипи? Тонкая и изящная кинопленка, пахнущая лабораторией и культурой, рождена из костей. Кости, рога и копыта дают желатин, а желатин — пленку.

Даже простая пуговица на пальто рождена костью.

Вы окружены изделиями из рогов и копыт, не подозревая этого. Вы причесываетесь гребешком из рога, курите из рогового мундштука, милиционер, снимая вас с трамвая, дает свисток из рогового свистка. Из рогов и копыт делают краски, удобрительную муку и роговую муку для закалки стали. Конечно, это не все. Я многое пропустил.

ЭЛЬДОРАДО ОТБРОСОВ

За использование государственных денег не по назначению полагается суд. Но как судить крестьян, которые соломой льна-кудряша засыпают выбоины на проселочных дорогах, чтобы телега не вытряхивала душу? Разве они знают, что из этой соломы делается чудесная бумага «верже»! Они ездят по бумаге верже, сивые их лошаденки-«мыши» топчут ее подковами. Богатство вопиет из-под тележных колес.

А костра — шелуха этого же льна-кудряша, которую жгут в русских печах, содержит в себе целлюлозу, ту целлюлозу, без которой не может существовать бумажная промышленность.

Крестьянин до последнего времени знал, конечно, что «каждая веревочка в хозяйстве пригодится», но не знал, что веревочку можно обменять на новенький трактор.

Колхоз дает ему первое понятие об этом. Колхоз будет собирать отбросы и получать взамен «фордзоны» и «клетраки». Старый скупщик отбросов — кулак и жмот,— менявший ценнейшее тряпье на гнилые груши, безвозвратно ушел в туман истории. Его уже нет.

Что такое крапива? Бурьян. Худая трава. Здесь народная мудрость дала осечку. «Худую траву из поля вон»,— это верно, но «вон» не на свалку, а на фабрику.

Появилась научная станция по исследованию лубяных волокон. Она не побрезговала крапивой. Она разъяла крапиву на части и выяснила: волокно крапивы прочно, как лен, и годится для изготовления простой ткани. В крапиве много чистой целлюлозы. Из крапивы можно делать бумагу.

Что такое отдубина? Зловонная жижа, остающаяся после дубления кожи. Но вот недавно трест «Дубитель» собрал вагон этой зловонной жижи и отправил на Пензенскую бумажную фабрику. Фабрика изготовила из отдубины бумагу, на которой я, между прочим, пишу этот очерк. Бумага плотная, чистая, чуть желтоватая. Хорошая бумага.

Биржевые отделы иностранных газет пестрят экзотикой. Акции сдобрены пышными именами — «Рио Тинто», «Эльдорадо», «Валонея», «Квебрахо». Последние два имени — названия дубильных веществ. Это кора деревьев, содержащих много танина. Танин дубит кожу. В рассказах морских писателей вы нередко встретите запах копры — запах дальних плаваний и старых кораблей. Копра — это тоже дубильное вещество. Древесина дуба и дубовая кора — тоже.

Но только теперь узнали, что простые дубовые опилки, которыми посыпают полы в трактирах, дают прекрасный дубильный экстракт. Дуб крепит кожу, а опилки наших северных берез и лип мягчат ее. Так север, отмеченный мягкостью и расплывчатостью красок, противопоставлен крепким дубовым сокам юга.

Человека, который расскажет, что у него на глазах растаял старый тулуп, в лучшем случае примут за пьяного. А между тем это верно. У старых заношенных овчинных тулупов и полушубков химическим путем уничтожается кожа — мездра и остается только чистая шерсть. Нет нужды говорить, что в работу идет и все шерстяное тряпье. После отбивки пыли машиной «чекер» машина «волчок» раздирает тряпье на волокна, потом шерсть расчесы-

вают, и, чистая, пушистая, падающая светлыми волнами, она смешивается со свежей шерстью и идет на прядильные фабрики.

Я сознательно не говорю о консервных банках (из них выплавляют олово), о хлопчатобумажном тряпье (идет на бумагу), о битом стекле, старых канатах, жизнь которых так же почтенна и просмолена, как жизнь старых моряков, о растоптанных ботинках и металлическом ломе,— как это используется, знают все.

Но меня занимают картон и удобрения.

Бумага неприхотлива. Ее делают даже из отдубины и крапивы. Ее делают из водорослей, из вязкой речной тины. Весной, после разлива рек, она высыхает на лугах пластами, похожими на войлок. Из нее делают не только бумагу, но и картон. Этот картон пропитывают каменноугольной смолой, посыпают песком, и получается кровельный толь. Он не ржавеет, не пропускает воду, не требует окраски и не горит,— он лучше железа. Так вязкой тиной кроют крыши домов и мастерских.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Может ли крутизна морских берегов принести ущерб сельскому хозяйству и какое отношение имеет пища птиц к удобрению полей?

Да, крутые морские берега приносят ущерб сельскому хозяйству, а пища птиц играет громадную роль в его развитии.

Очень просто. Лучшие удобрения для полей — помет морских птиц. Он называется «гуано». И лучшее гуано вывозится из республики Перу в Южной Америке, потому что у берегов этой республики лежат высокие скалистые острова с плоскими вершинами. Птицы, питающиеся рыбой, гнездятся на этих скалах. Плоские скалы задерживают гуано, дождь не может его смыть. Оно сохнет на солнце, его собирают десятками тонн и вывозят для продажи.

У нас, в СССР, скалы полярных берегов и островов, где обосновались крикливые «птичьи базары», слишком отвесны, и дожди смывают гуано в море.

Птицы питаются рыбой. Эта птица оставляет в гуано больше всего драгоценного для удобрения азота.

Но выход найден. СССР заменяет гуано морских птиц

пометом голубей, чаек и домашней птицы. В последнее время начался вывоз его за границу.

Последний штрих. Рабочие обтирают машину тряпками. Каждый видел, как кочегары слезают с паровозов на больших остановках и протирают маслянистые шатуны и поршни. Тряпки обычно выбрасываются. Недавно один из заводов собрал эти жирные тряпки и сдал их в Госторг. Госторг продал их во Францию. Оттуда сейчас же пришел новый заказ на тряпки,— французы выжали из этих тряпок уйму машинного масла, очистили его и пустили в работу.

Теперь, когда поезд проносит меня мимо гигантских городских свалок, ржавых от жести и сверкающих то тут, то там спектральным сиянием битого стекла, я знаю, что это богатства, лежащие втуне, мы всё еще ленивы и нелюбопытны.

Только сейчас сбор утиля пошел по-настоящему.

Мой сосед, маленький мальчик Димушка, еще не умеющий выговаривать букву «р», пришел ко мне за старой жестянкой и объяснил, что «жестянку отнесет в детский сад к тете Маше, потом ее отдадут в союз, потом пришлют трактор и потом будет много хлеба».

Я отдал ему жестянку и заодно — черновик этого очерка. И буду отдавать и дальше.

1930

ЗОНА ГОЛУБОГО ОГНЯ

Рабочий, с виду мальчик, небрежно сбросил со лба на глаза черные очки и низко нагнулся над железной балкой. Тотчас рядом с ним упала на землю с гулом и шипеньем ослепительная колючая звезда. Голубое пламя полилось по заводскому двору нестерпимой дрожью.

Звезда раскололась на части, отдельные иглы отлетели с треском и звоном, желтый дым окрасился в цвет морского утра — слегка фиолетовый, очень свежий, каким бывает солнце, пропущенное через хрустальную призму. Синие фейерверки автогена загудели во всех концах двора. Первая смена вступила в работу.

Рабочий был похож па лаборанта. Он сидел над горелкой, не шевелясь, как ученый за микроскопом. Черные очки, сосредоточенность и бледное лицо увеличивали

сходство. Изредка медленная капля пота стекала на железо и так же медленно таяла, оставляя бледное пятнышко соли.

Рабочий отнял горелку, на железе вздулась кровавая рана разреза. Рабочего звали Николаем Грибковым. Ему было восемнадцать лет. Он резал автогеном металл.

Сосредоточенность его казалась излишней. На балке линия разреза отмечалась жирной белой чертой,— скривить было трудно. Сосредоточенность, конечно, объяснялась не этим. Из горелки рвалось пламя трех цветов. По краям оно было желтое, в середине — голубое, а при самом выходе из горелки — расплавленно-белое. Хорошую сварку давало пламя средней голубой зоны. Надо было ловить это пламя, следить за шириной огня, устранять дрожь руки. Эти навыки сварки въелись в сознание так крепко, что Грибков перенес их на резку металла.

Он резал и повторял про себя слова инструктора: «Работайте только средней зоной огня, работайте только синей зоной огня! Иначе вы не добьетесь доброкачественной сварки. Работайте только синей зоной огня».

Бессмысленное повторение одних и тех же слов — признак усталости. Грибков устал, но не от работы. Усталость пришла после случая в кино «Нептун». Усталость, раздражение и необъяснимая тоска.

Он работал и не заметил, что на железном щите с надписью: «Не смотри на пламя — испортишь глаза» — чья-то рука косо вывела мелом:

«Грибков — вор».

Выхлопные трубы дышали размеренно и часто, как дровосеки. Близорукий инженер-немец рассматривал через очки, как через лупу, плакат об экскурсии на Волховскую гидростанцию и задумчиво сосал сигару.

Завод гудел, как всегда. В этом гуле были непрерывность потока, скольжение невидимого конвейера, двигавшегося сквозь пар, пламя горнов, хлопанье молотов, запах кислот и шипенье автогенной сварки.

Конвейер выбрасывал мощные ребристые трансформаторы и хрустальный мир электрических ламп, сверкающих блеском прозрачного серебра.

Завод гремел по Москве и завоевал орден Ленина, а на заводе гремела ударная бригада сварщиков-комсомольцев имени Макса Гельца.

Грибков пришел к бригадиру Штейну. Штейн ругался в конторке с мастером-плановщиком из-за нарядов.

— Что тебе, Грибков? — спросил Штейн и взглянул, как всегда, исподлобья.

— Почему вы, честные комсомольцы, держите в своей бригаде вора? — глухо спросил Грибков.

— Какого вора?

— Да вот меня.

— Брось, Грибков. Ты же знаешь, как ребята к тебе относятся.

— Почему вы, честные, держите вора? — упрямо повторил Грибков. Он повторял эти слова несколько раз, настойчиво, зло, и губы его дрожали все сильнее.

Штейн взял его за локоть и повел в цех:

— Брось, успокойся. Как можно из-за такой чепухи...

На железном щите слова «Грибков — вор» кто-то замазал и белела новая надпись:

«Мерзавцу, стремящемуся оклеветать нашего товарища и внести разлад в бригаду, мы дадим такой урок, что он вспомнит свою прабабушку, как живую».

Слова «как живую» были зачеркнуты и рядом было написано «как таковую».

Штейн улыбнулся, стараясь скрыть улыбку от Грибкова.

В январе в сварочном цехе вышла задержка с трансформаторами.

В январе бывший сварщик Штейн, работавший в контрольном отделе, услышал по радио доклад о производственных коммунах. Громкоговоритель противным голосом изложил устав этих коммун. Штейн быстро схватывал сущность вещей, забывая о внешней их форме. Таково свойство поколения, выросшего после революции.

Сын часового мастера — Штейн в наследство от отца получил любовь к точным механизмам. Изменились только масштабы. Отец, выросший в тесноте и вони гетто, возился с часами, как аптекарь с унциями, а Штейн дышал воздухом революции и любил громадные механизмы заводов.

Он обошел сварочный цех, подумал, собрал комсомольцев и предложил им устроить ударную производственную коммуну.

Устав коммуны был очень прост: заработок поровну, за работу отвечают все. Штейн ушел из контрольного отдела, где получал двести рублей, в сварщики. Не только

он, но и другие комсомольцы сознательно шли на понижение заработка. Не в этом было главное. Дело было в том, чтобы «показать класс» и внедрить в жизнь новые методы работы.

Цеховые скептики сулили провал. Скептицизм неистребим, как ирония. Скептицизм даже нужен,— при столкновении со скептиками бригада развязывала скрытую в ней энергию и удесятеряла удары — снаряд, как известно, взрывается при столкновении с препятствием.

Через короткое время бригада превысила нормы производительности труда на семьдесят процентов. Потом скептикам нанесли второй удар: заработок бригадников начал перегонять заработок скептиков, копавшихся каждый над своей «операцией».

Цех сдался, поглядел и вынес резолюцию: семьдесят процентов! Ну и дьяволы, как взялись за сварку!

Старикам было обидно. Мальчишки вставляли им перо за пером и учили ударной работе.

Возникло соревнование. Возникла вторая коммуна из беспартийных.

Штейн взял в свою бригаду трех беспризорников. В их числе был и Николай Грибков.

В кино «Нептун» шла картина «Курс — норд».

За Яузой в дыму и беспорядке кирпичных стен стыл закат, похожий на линялые полотнища оконченного праздника. В закате была одна только первая зона огня — багровая.

От беспризорности у Грибкова осталась любовь к живописным лохмотьям. Никакие убеждения не действовали. В город он выходил в рваной прозодежде и носил ее легко и уверенно. Каждая заплата и каждая дыра были не обыкновенными заплатами и дырами, а ранами и шрамами большого трудового дня. С завода он уходил, как с места боя.

Кино «Нептун» было хорошо знакомо. В годы беспризорности Грибков очень часто вертелся у кассы и говорил нарядным женщинам в светящихся чулках:

— Тетя, не заставляйте себя просить, дайте пять копеек сами.

Сейчас Грибков — сварщик и рабфаковец — стал в очередь.

Он засунул руки в карман и насвистывал «Марш Бу-

денного». Он был полноправным гражданином, спокойным зрителем и оценщиком новой картины.

Милиционер с острыми серыми глазами, худой, как скелет, узнал Грибкова. Сомнений не было,— конечно, «Сверчок», имевший два привода за карманные кражи.

Женщина, стоявшая перед Грибковым, уронила сумку. Грибков быстро нагнулся, чтобы поднять ее, но милиционер схватил его за плечо. Грибков вырвался:

— Ошибся, мелитон. Не с тем дело имеешь!

Милиционер свистнул. Грибкова забрали. Все это видел подручный Петин из малого сборочного цеха. На следующий день пошли разговоры, что Грибкова арестовали за попытку украсть дамскую сумочку.

— Врете, черти,— сказал Штейн и поехал с двумя бригадниками в милицию.

Штейн возмутился. Грибков не вор и не может быть вором. Где доказательства?

Доказательств не было.

— Что же вы, товарищ? — сказал Штейн начальнику отделения.— Вся бригада с беспризорными работает, делает из них сознательных граждан, а вы нам все дело срываете.

Бригадник и староста Николаев — единственный старик в коммуне — угрюмо посмотрел на начальника отделения через очки в железной оправе и сказал сердито:

— Невежливо это, товарищ.

Начальник смутился, и Грибкова отпустили.

Жизнь бригад не течет так легко и безбурно, как думают иные присяжные описатели. Бригады не работают «с улыбками, гармошками и песнями» и далеки от хвастливых выкриков насчет закидывания шапками. Мутное море хвастовства иногда кипит вокруг стен завода, но завод строг и сосредоточен.

Бригады не верят хвастунам и не любят самомнительных людей. Человек шумит, а на подварке, глядишь, его трансформатор и даст течь. Грош цена таким разговорщикам.

У бригады имени Гельца был свой завистник. Кто он — бригада не знала, но догадывалась: кажется, один из мастеров. Семьдесят процентов и полное отсутствие брака не давали ему покоя. Зависть грызла его.

Случай с Грибковым завистник решил использовать, чтобы подорвать бригаду. Он пустил по цеху в качестве пищи для разговоров наивную тему.

— Вот глядите, какие у них ударники. Не рабочие, а карманные воры.

Тема потерпела провал. Тогда завистник начал раздувать слух, что в Ленинграде у трансформаторов, выпущенных бригадой, лопнули швы. Бригада взволновалась. Этот разговор был уже посерьезнее. В Ленинград послали представителей.

Оказалось, что часть швов разошлась, так как трансформаторы безобразно перевозили, роняли. От такого обращения лопнул бы не только хрупкий трансформатор, но и паровой молот.

Бригада была ни при чем — это было ясно каждому, но все же комсомольцы решили особенно тщательно относиться к подварке.

Когда трансформатор готов, его паливают водой и испытывают под давлением — нет ли течи. Потом испытывают на масло. Если течь есть, трансформатор «подваривают». После подварки трансформатор переходит из сварочной в другие цеха.

Грибков долго не мог успокоиться. Он всегда был одним из самых сдержанных бригадников, никогда не гнался за большим рублем и ни разу не нарушил мерный и непрерывный ход работы в цехе. Он варил, молчал, и ему все казалось, что рабочие, прячась за гулом горелок, говорят о том, что он вор.

Он видел, как Штейн бился с другим беспризорным, Васькой Петухом. Васька тосковал,— то просился в другие цеха, то хотел вовсе бросить завод,— иногда он прислушивался к шуму завода и толкал Грибкова:

— Слышь, море шумит.

Васька был по натуре «летун».

Комсомольцы внимательно поглядывали на обоих. Штейн морщил лоб и задумывался, как бы подойти к ним поубедительней и помягче: у обоих надо было загладить память о прошлом. Вся бригада была привлечена к этому делу. Очень медленно и осторожно им удалось втянуть беспризорных в культурную работу и послать их учиться.

Однажды в сварочную пришел инженер Братин. Он предложил всем бригадникам точно изложить на бумаге весь процесс сборки, сварки и подварки трансформаторов. Изложили. Тогда Братин сказал:

— Обдумайте каждый всю работу шаг за шагом и внесите поправки.

И Грибкову и Ваське до сих пор казалось, что работа в цехе однообразна, строго рассчитана и ничего в ней переменить нельзя. Думать над ней, по их мнению, было делом инженеров. Теперь предлагали думать им самим.

Грибков вырезал горелкой в донышке трансформатора дыры. В ламповом цехе он видел штамповочные машины. Они хрюкали, как сонные чугунные свиньи, и вырезали в листах золотой латуни ровные и частые дыры.

Грибков предложил дыры в донышке штамповать машинами. И скорее и чище.

Братин выслушал его строго. На сухом его лице Грибков пе заметил ничего, кроме внимательности, а через неделю в сварочный начали приходить донышки со штампованными дырами.

Как-то, придя в цех, Братин сказал:

— Вы получили премию. Хотите поехать с экскурсией на Волховстрой?

Грибков покраснел. Васька свистнул и налег на рационализацию. Николаев совсем смутил его:

— Будешь лучший ударник — пошлют тебя кругом Европы на теплоходе. Читал в «Известиях»?

— Нет, не читал.

— А ты почитай, летун.

Тогда Васька придумал стол для сварки швов.

Штейн добился экономии в пять тысяч рублей, отменив контрольный листок, носивший название «форма 457». Листок этот путался под ногами и мешал работать. Сварщик варит 40 швов. Раньше на каждый шов составлялся контрольный листок. После сварки каждого шва листок надо было передавать контролеру. Сорок швов — сорок листков. Листки терялись, с ними было много возни. Штейн отменил эти листки и ввел один листок на весь трансформатор.

Рационализаторская работа увлекла всех. Она была особенно наглядной и точной.

С Ладоги дул ветер. К вечеру вокруг белых фонарей закружился первый снег. Он шел недолго, таял, тонул в Волхове и стекал мелкими каплями по голубым окнам гидростанции.

Грибков сидел в красном уголке. Тихо, но очень мощно гудели турбины. Голос громкоговорителя заглушал ше-

лест газет. Станция Коминтерна передавала в эфир рапорт комсомольской бригады имени Макса Гельца.

Грибков слушал, радовался и удивлялся. Там, на заводе, жизнь шла в ежедневной борьбе, в ежечасных заботах, и за ними не было так отчетливо видно всех достижений, как со стороны. Рапорт подводил итог. Он свел всю работу бригады к нескольким точным формулам.

«Бригада поставила своей задачей воспитать коммунистические отношения к труду».

«Производительность труда бригадников превысила норму на 70%».

«Зарплата всех членов коммуны, независимо от квалификации, совершенно одинакова и превышает зарплату наиболее квалифицированных рабочих».

«У коммуны нет ни одного прогула и ни одного опоздания».

«Брака нет».

«Вслед за бригадой весь сварочный цех значительно улучшил работу».

«Бригада обучает четырех чернорабочих, делая из них высококвалифицированных сварщиков».

«Вся бригада постановила не покидать завод до конца пятилетки».

«План на 1930/31 год, данный администрацией, бригада увеличила вдвое».

«Бригада обязалась выполнить пятилетку в два с половиной года и свое обязательство сдержит».

Грибкову казалось, что рабочие гидростанции и молодой техник, сидевший в красном уголке, смотрят на него с добродушным почтением. Это сильно смущало. Хотелось поскорее удрать.

Через час отходил поезд на Ленинград. Грибков взглянул сквозь ноябрьскую ночь на здание Волховской станции. Оно пламенело голубым огнем, как средняя зона автогенного пламени, и пульсировало током, лившимся через трансформаторы на гигантские заводы Ленинграда.

Голубой и спокойный купол огня был виден из окна вагона очень долго. Ненастная ночь разбивалась об этот блеск, как разбивается птица, налетая на фонарь маяка.

1930

РАЗГОВОР О РЫБЕ

На этикетках для сардинок изображено густое, как синька, море и багровые рыбаки, выволакивающие сеть. Лимонного цвета солнце блистает над этим идиллическим ловом, и пестрые флаги пароходов расцвечивают веселый горизонт.

Таков труд рыбаков в представлении бездельников.

Действительность не такова. Море редко бывает приятным, как курортное озеро, а рыбаки не скалят весело зубы. В действительности — мутные волны, ветры разных румбов и баллов, раздражающая мокрота повсюду, растертые сетями пальцы, кровавые пузыри и запах рассола, острый, как нашатырь, но полезный для легких. Так ловят сардинку.

У нас сардинку приготовляют из хамсы — обильной рыбки, живущей большими стаями. Весной эти стаи, похожие с самолетов на исполинские оловянные реки, льются мимо берегов Азова, Крыма и Одессы и застревают в узких бухтах.

В Балаклаве бывают годы, когда хамса стоит так густо, что можно воткнуть в воду весло, точно вилку в хлеб. От собственного обилия рыба задыхается и гибнет. Иногда северный шторм разрывает и комкает эти реки хамсы и уносит их к югу, к берегам Турции. Тогда среди крымских рыбаков начинается паника.

Хамса — универсальная рыба. Ее солят, маринуют, коптят, из нее делают сардинки. Ее маслянистый и соленый запах вызывает представление о черноморской весне, о Керчи, о городах, омываемых мутными волнами и уютных, как театральные макеты. Ее свинцовый блеск сродни окраске миноносок.

Фирина идет, как хамса,— серебряными Волгами, Дунаями, громадными движущимися полями. Когда она появляется в Одесском порту, все набережные заполняются семействами рыбаков и кошками. Семейства сообща ловят фирину сетями, похожими на исполинские зонтики. Сеть опускают в воду при помощи доморощенных блоков. Блоки визжат. Кошки воруют фирину и дичают от улюлюканья и побоев.

Когда в дни лова фирины проходишь через порт, из-за чугунных пушек, из-за пакгаузов и ржавых якорей зеленым огнем блестят злые кошачьи глаза. Идешь, как на сцене перед толпой враждебно настроенных зрителей.

Но не на фирине, конечно, и не на хамсе построены планы рыбных трестов. Это — мелочь, хотя бы и очень прочно вросшая в приморский быт.

Трестам нужна красная рыба, рыба частиковая, многомиллионная, теряющая индивидуальность, перерастающая в товар, в цены, в центнеры. Это — сельдь, судак, вобла, белуга, треска, горбуша, кета,— прущие по весне баснословными косяками в устья рек и закупоривающие узкие протоки.

Советский Союз богат рыбой. Еще в средние века Московия славилась черной икрой и осетрами. Цари дарили иноземным послам для удивления пудовых карасей из зауральских озер и бронзовых стерлядок.

Во времена гоголевские появился «лабардан», иначе треска. «Лабарданом», а не только пресловутыми борзыми щенками, давали взятки. Селедка, наравне с картошкой, прочно вторгалась в быт. Тысячи крестьян пошли за рыбой, рабочие артели в течение столетий обрастали традициями и навыками.

Промыслы росли. Путины гремели от Каспия до Мурмана, диктуя цены и обещая рыбным складам России и заграницы обилие своего холодного и ценного товара. Биржи нервничали из-за керченской сельди и камчатского сальмона. Иностранные пароходы везли в трюмах во льду бочонки с зернистой икрой, обернутой в пергаментную бумагу. Бочонки обрастали инеем. Этот груз считался таким же нежным, как живые цветы или фрукты. Икра была признана наилучшим кормом для человечества,— в ней были спрессованы ценнейшие питательные вещества.

Первая мировая война обрушилась на промыслы тяжелым штормом. В гражданскую войну промыслы — особенно каспийские — напоминали разинскую вольницу. Обозы браконьеров разбивали таборы около заповедных вод и опустошали омуты — «ямы», где стояла красная рыба. Ее глушили ручными гранатами и травили ядом. Сети истлевали на берегах.

Восстановление промысла началось примерно с 1922 года. Были объявлены районы заповедных вод и поставлена надежная охрана.

Рыбное хозяйство вошло в русло точного плана. С большим размахом начались работы по разведению рыбы,— мальки перевозились на самолетах. Пошла горячая по-

стройка рыбачьих судов. На севере начался траловый лов. За границей заказали десятки тралеров.

С соседними странами были заключены конвенции, положившие конец хищническому лову. Возникли мощные рыбацкие кооперативы и рыбные тресты.

Наконец с промыслов был изгнан хитрейший частник, и началась коллективизация рыбачьих хозяйств.

Научные институты развернули интереснейшие работы. Они занялись составлением точных карт движения рыбы, мест ее размножения, поисками новых рыбных россыпей.

Консервные заводы перешли к работе с полной нагрузкой. Началась постройка новых заводов на Черном море, на Севере и на Дальнем Востоке.

На Дальнем Востоке впервые начали работать плавучие консервные заводы.

Вобла — подруга революционных дней, надежная пища 1919—1920 годов — сменилась более питательными и тонкими сортами. Теперь на заграничных выставках блестит розовое и маслянистое мясо нашей лососины, черным жемчугом набухает в фарфоровых банках зернистая икра и красной крупной смородиной просвечивает икра кеты. Гигантские стерляди лежат на прилавках, окрашенные в серую синеву каспийской воды, и сотни коробок со скумбрией, омарами и бычками создают причудливые пирамиды этикеток.

Далекие рыбные промыслы снабжали в старое время рыбой только свой район,— в Москву, в центр страны, рыба не попадала.

Только в последнее время тихоокеанская рыба появилась в Москве.

Своеобразие наших рыбных районов так велико, что заслуживает целых томов для своего описания.

Начнем с Севера.

Начнем с Мурманского побережья, где теплая лента Гольфштрема приносит мягкие зимы и неслыханные стаи трески. Перед треской идет маленькая рыба — майва. В движении рыбных стай есть закономерность. Так, на Черном море перед ходом скумбрии идет фирина, а на Дальнем Востоке перед ходом горбуши идут передовые крупные рыбы, своего рода квартирьеры. Рыбаки зовут их «гонцами».

Треска геологическими пластами движется около дна. Достаточно опустить бечевку с крючком, чтобы подцепить рыбу за хвост, за брюхо, за жабры.

Поморы в поисках рыбы и зверя открыли человечеству полярный архипелаг, что нисколько не умаляет заслуг Нансена и Амундсена. Поморы нашли остров Грумант (Шпицберген) и Новую Землю.

Кроме трески, Север дает навагу с костями, прозрачными, как желатин,— рыбу, оставшуюся от ледникового периода, дает дельфинов и зверя.

На Севере не только один Мурман богат рыбой. Несметные стаи рыб гибнут естественной смертью в устьях сибирских рек. На Лене начат промысел около Булуна. Он короток, как якутское лето, но дает ценнейшую рыбу — лососину.

Дальше идет Камчатка, Охотское море и Приморье. Они гремят на весь мир своей горбушей и селедкой иваси. Дальневосточные воды стали приманкой для хищников.

Не только японцы и американцы, но и норвежцы приходили к пустынным и туманным берегам Камчатки и брали баснословные контрабандные уловы. Сейчас охрана береговых вод усилена, хищничать нельзя, и японские рыбные фирмы скупают участки с торгов во Владивостоке. Провалившиеся на торгах подымают шум на всю Японию и требуют смены правительства. Отсюда видно, что наши рыбные богатства в тихоокеанских водах достаточно велики.

Перечисляя промыслы, мы движемся по часовой стрелке. Стрелка идет к Аральскому морю. В зное, в песках, в горячих туманах лежит это индиговое море, полное рыбы и камышовых зарослей.

За Аралом — наша рыбная гордость Каспий, усеянный промыслами, увековеченный, каждый год весной привлекающий к себе внимание всей страны.

Сердце Каспия — Астрахань. Это мутная Азия, сети, клепка, соль и рыба. Каспий — это стерлядь, белуга, осетр и все то, что называется красной рыбой. Это и частиковая рыба: селедка, вобла, лещ и сазан. Но знаменит Каспий сельдью и воблой.

Сорта каспийской сельди очень разнообразны. Есть сельдь пузанок, есть волжская, есть синеморская, есть черноспинка, залом, бешенка, долгинская и астрабадская. Когда сельдь идет густо, то один невод захватывает ее иногда пятнадцать вагонов.

До половины XIX века селедку не ели. Ее даже считали вредной, дурной рыбой. Первый человек, начавший есть ее в соленом виде, был академик Бер. С тех пор лов сельди начал расти с чудовищной быстротой, началась сельдяная горячка, едва не окончившаяся катастрофой — сельдь перестала ловиться, она была вычерпана.

Понадобились строгие меры, чтобы восстановить сельдяные стада.

И сельдь и вобла — проходные рыбы. Это значит, что они живут в море, а в реки приходят только метать икру. Ход бывает осенний и весенний,— по этому ходу и существуют две главные путины. Самый мощный ход — весенний.

Дальше стрелка идет к Азовскому и Черному морям. Это старые моря, старые знакомцы. В донских гирлах, обнесенных кое-где ржавыми цепями, свинцово и тихо стоят заповедные воды. Нет такого рыбака на всем побережье от Ейска до Кагальника и от Мариуполя до Таганрога, будь он трижды честным человеком, который не мечтал бы половить хотя бы раз в заповедных водах.

Под Таганрогом браконьеров звали «крутаями». Это было еще до революции. Они шли в гирла на легких байдах с парусами и веслами. В заповедных водах они на ходу закидывали сети, делали круг и уходили, выбирая сети. Уловы были баснословны, но не шли впрок,— рыбаки пропивали их и проигрывали в кости в таганрогских кабаках.

Не всегда, но очень часто их настигал сторожевой катер. Тогда частая пальба оглашала взморье, и единственное спасенье было в том, чтобы выброситься на берег и удрать от стражи, оставив ей байду, сети и улов.

Азовское море славится судаком и селедкой, знаменитой керченской селедкой. Когда в гирлах она идет мимо парохода,— кружится голова. Бесшумное движение сотен тысяч и миллионов рыб,— движение стремительное, стихийное и длящееся часами,— вызывает трепет.

Если вы услышите над морем глухой шум водопада,— значит, идет рыба. Шумит не она, а исполинские стаи чаек, висящие низко над водой белыми облаками. Чайки дают знать на берег о ходе рыбы,— может быть, поэтому рыбаки считают убийство чаек величайшим преступлением.

Человек, застреливший чайку, становится отщепенцем, зачумленным, его выбрасывают из общества.

Наконец, Черное море, где рыбные промыслы носят на первый взгляд декоративный характер. Я уже говорил о хамсе и фирине, но не говорил о чудесных рыбах — скумбрии, камбале и кефали. Это рыбы теплых морей. Даже внешний их вид ясно говорит об этом,— в них много сиреневого, синего и густо-золотого цвета.

Кто ловит по берегам Черного моря? Украинцы — знаменитые рыбаки из Збурьевки и Херсона, с Кинбурна и Одессы — потомки «потемкинцев», вольнолюбивые и язвительные, смелые и полные достоинства, как английские шкипера.

Греки из Балаклавы — листригоны или пиндосы — воспеты многими писателями и поэтами.

Кроме греков и украинцев, на Черном море ловят турки из Анатолии,— коричневый и безропотный народ, украшающий свои фелюги, как невесту.

Черноморские рыбаки — особое племя, родственное левантийцам. Это смесь всех береговых племен и всей храбрости, воспитывавшейся веками у жителей моря. Жизнерадостность их рождена трудом, базарами и солнцем. Язык их сочен, как южные арбузы.

Рыбаки и рыбная ловля воспеты в литературе с древних времен. Вспомните Аксакова, Куприна, Ибаньеса, Лоти, Джека Лондона, Чехова, Пришвина.

Вспомните каприйских рыбаков, с которыми рыбачил Ленин. Они называли Ильича «синьор дринь-дринь». Объясняется это прозвище вот чем: на Капри ловят со шлюпок на длинные бечевки, опуская их с грузилом на дно. Когда рыба возьмет, то толчок передается пальцам в виде электрического разряда: «Дринь-дринь». Так объясняли рыбаки Ильичу. Он смеялся каждый раз, когда клевала рыба, и кричал: «Дрпнь-дринь».

Он умел отдыхать, а ведь нет лучшего отдыха, как ловля рыбы в солнечное и тихое утро у скалистых берегов, окрашенных румянцем йода и водорослей. Свежесть и соль пропитывают легкие, а в драгоценной прозрачной воде бронзой и огнем сверкает пойманная макрель.

Отдых этот непередаваем,— его нужно испытать самому.

Воды всюду прекрасны: и на юге, и в тишине и песках наших северных лесов, и в зное Арала.

1930

ПОГОНЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ

Над Баку воет мрачный норд. Пыль взвивается над городом, как извержение. На тесном базаре ветхозаветные старцы уныло продают «беликюм».

«Беликюм» — это жвачка. Бабочка, напившись соков неведомого растения, превращается в кокон. Кокон полон смолы. Его покупают и жуют от нечего делать. Этот кокон называется «беликюм».

Сначала я расскажу о «беликюме», а потом о норде. Вообще же, чтобы не вводить читателя в заблуждение, я должен оговориться, что этот очерк я пишу о работе института прикладной ботаники и новых культур.

«Беликюм» показался подозрительным — он был тягуч и эластичен. Его исследовали и нашли в нем примесь каучука. Клубок начал разматываться. Выследили бабочек, откладывавших каучуковые коконы. Оказалось, что бабочки живут на корнях растения хондриллы и питаются соком этих корней. В корнях хондриллы был каучук.

Началась погоня за хондриллой. В одном Закавказье разыскали несколько ее сортов. Но каучука не получили,— все попытки были неудачны. «Беликюм» обманул.

Известно, что настойчивость ученых чудовищна и может вывести из себя даже самого спокойного человека. Поиски продолжались.

В песчаных пустынях Средней Азии нашли наконец новые, лучшие сорта хондриллы и добыли из них каучук. Корни песчаной хондриллы покрыты шишками и наплывами, как кости ревматика. В этих наплывах и лежит каучук.

Хондриллу нашли, но этого мало. Надо ее сделать домашней. Всем известно, что домашние куры, так же как и домашние свиньи, приносят гораздо больше пользы, чем дикие. Этот закон распространяется и на растения. Приручить их труднее, чем дикого кабана. Это искусство тонкое, требующее большого опыта, настойчивости и выдержки. Растению нельзя ни в чем уступать, иначе оно выйдет из повиновения.

О том, как приручают растения, лучше всего говорит история каучукового кустарника гваюлы.

Ни одна страна в мире не съедает столько каучука, как Соединенные Штаты. Там из каучука выделывают сорок тысяч разных изделий. Каждый американец, даже ре-

бенок, требует около трех кило каучука в год. Четыре пятых каучука идут на автомобильные шины. Поэтому Северная Америка лихорадочно ищет новые каучуковые растения.

В степях Техаса был найден кустарник, седой, как полынь,— гваюла. В его стеблях, листьях и корнях был заключен каучук. Добыть его из гваюлы оказалось очень легко: он не растворен в соку растения, а лежит в стволе и листьях в виде сухих частиц.

Кусты гваюлы вырывают целиком из земли, прессуют, сушат, перетирают в порошок и порошок этот растворяют в воде. Легкий каучук всплывает белой пеной. Ее пускают через вальцы, из них выползает тонкая каучуковая лента.

Способ добычи был найден. Тогда началась упорная работа, чтобы подчинить гваюлу культуре. Оказалось, что избыток влаги уменьшает количество каучука в гваюле. Когда много влаги, растение начинает бурно расти, а каучук в нем накапливается только во время покоя.

Было сделано все, чтобы не нарушать покоя этого кустарника. Его тщательно берегли от чрезмерного роста, не давали ему много пить и сторожили его дремоту. Для посева и уборки гваюлы сконструировали машины. Придумали даже очень тонкую машину, которая сама, не причиняя никакого беспокойства кустарнику, собирает с него семена.

Но гваюлы Америке мало. Благочестивый Форд, вздыхающий о всеобщем мире, решил, что гваюла может подвести Америку во время новой войны. Гваюла дает каучук через четыре года. Во время войны некогда ждать, пока это медлительное растение накопит в себе каучук. Во время войны нужны военные темпы.

Форд начал поиски растения, обладающего военными качествами,— такого, которое давало бы каучук через год. Таким растением оказался ластовник. Во Флориде — влажной и пышной, как и ее название,— Форд открыл опытную станцию, где бессмертный старец Эдисон колдует над ластовником и применяет к нему потогонную систему.

Опыты Эдисона обставлены, как военная тайна. Плантации ластовника закрыты для всех,— там Америка готовится к будущим войнам.

Советские ученые приручают хондриллу. Гваюлу привезли к нам из Америки в 1925 году уже домашней. Ее

семена высеяли в разных частях Союза. Гваюла прекрасно взошла, стойко переносит морозы и дает обильные плоды. В этом году она уже созреет и даст первый каучук.

Теперь о жестоком норде, несущем на Баку самумы пыли. Баку — гигантский город в желтой, растрескавшейся от зноя пустыне. Он окружен глиной и горами, серыми от копоти.

От норда Баку могут спасти только леса. Но какие же деревья согласятся расти на этой страшной земле, под дикими ветрами и ошеломляющим солнцем! В Баку нет деревьев. Воробьи собираются на трех тополях около вокзала, воробьи со всего Баку,— больше им негде собираться,— и подымают шум, заглушающий пыхтенье паровозов.

Ученые из Института новых культур утверждают, что Баку может быть спасен от нордов. И не только Баку, но и города Донбасса, открытые со всех сторон степным ветрам, пыли и газам с гигантских металлургических заводов. Спасет их айлант.

Айлант — красивое дерево. Оно, как это ни странно, не боится дыма, газов, заводской копоти и засухи. Из угара и норда оно ухитряется высасывать какие-то драгоценные для своего роста вещества.

В Пенсильвании, в Северной Америке, угольные районы покрыты рощами и парками из айланта.

Вокруг Баку должна быть создана защитная зона из айлантовых лесов.

Леса в СССР однообразны: береза, ель, сосна, береза, ель, сосна, и так до бесчувствия. Нужны новые породы. Нужно брать деревья в Америке, в Азии, в Африке — всюду — и пересаживать их к нам в подходящий климат и на подходящую почву. Это не прихоть, это необходимость.

Мы все в глубине души испытываем страх перед истреблением лесов. Земля лысеет. Уничтожение лесов идет быстрее, чем они растут. На первый взгляд нет выхода из этого тупика. Но это не так, выход есть прекрасный.

А нам, на наши северные протяжения и широты,— как хотите, но только не просторы («просторы» слишком комнатное слово, чтобы передать действительное величие этих ошеломляющих пространств),— надо перенести деревья, которые быстро растут и дают прекрасную древесину.

Есть бальзамическая пихта — она растет в высоту на пятьдесят сантиметров в год. Есть сербская ель — в двадцать четыре года она дает деревья высотой в шесть метров. Есть сибирская лиственница и румелийская сосна. По сравнению с нашими тихоходами, елями и соснами, эти деревья — рысаки.

Есть деревья, высасывающие, как губка, болота. Их надо сажать в Белоруссии. Полесские болота неизмеримы, как небо. Я бывал там и на всю жизнь унес память об этих угрюмых далях, об этих лабиринтах воды и трясин, где смерть, безлюдье и мертвая тишина на каждом шагу на многие километры.

Канадский тополь и лиственница могут отсосать десятками тысяч насосов эти болота и выпитую воду выбросить, как пар, в пространство.

Есть деревья для солончаков и деревья для песков. В степях нужно сажать можжевельник и белую акацию, а на солончаках — тамариск.

Растения пришли к нам с юга. Юг — это исполинский конденсатор растений, родина тепла и человеческой культуры.

Юг черен от нагромождений листвы, где золотым слитком сверкает плод померанца. Глаза ботаников обращены к югу, как стрелка компаса стремится к ледяным пустыням Арктики.

Поэтому Институт новых культур ищет новые растения на юге.

Есть несколько очагов культурных растений, и все они совпадают с очагами цивилизации. Индия, Афганистан, Персия, Анатолия и Закавказье — родина ржи, пшеницы и льна, Китай и Япония — родина ячменя, овса и проса, побережье Средиземного моря — родина маслин и инжира, Абиссиния и, наконец, Мексика, Перу и Чили — родина картофеля, кукурузы, табака и хлопка.

Институт прикладной ботаники и новых культур отправляет в эти страны свои экспедиции. Они ищут растения, нужные Советскому Союзу. Директор института профессор Вавилов определил задачи института точно и коротко:

«Мобилизовать растительный капитал всего земного шара и сосредоточить в СССР весь сортовой запас семян, созданный в течение тысячелетий природой и человеком».

Эти слова звучат, как золотая латынь,— скупо, веско и торжественно.

Экспедиции института дают иногда «жестокие» результаты. Терпеливый селекционер бьется десятки лет, чтобы вырастить какой-нибудь сорт растения, например засухоустойчивую пшеницу, а экспедиция привозит готовые семена этой самой пшеницы. Труды селекционера идут прахом, но вместо разочарования он испытывает радость.

Экспедиции уже привезли в СССР множество семян новых растений: гваюлы и других каучуконосов, эфироносов, текстильных, кормовых и масличных растений.

Где были экспедиции института за последние годы? Я перечислю лишь несколько стран.

В Монголии, где экспедиция прошла караванным путем пять тысяч километров. Она нашла новый овес и пшеницу и собрала семена тысячи культурных растений.

Афганская экспедиция изучила всю историю ржи и вывезла семена семи тысяч растений. Экспедиция в Анатолию и Сирию привезла семена десяти тысяч растений, а экспедиция в страны Средиземного моря — двенадцать тысяч растений. Она работала полтора года. Между прочим, она привезла фотографии тысячелетних масличных деревьев.

Одна из крупнейших экспедиций — это экспедиция в страны Латинской Америки. Она привезла каучуковые растения и неслыханное множество семян новых сортов картофеля (сто видов), кукурузы, бобов и других растений.

Экспедиция на Памир в 1927 году нашла в холодных горных областях на высоте в три тысячи метров заросли кормовой травы — люцерны. Были собраны семена. Их отправили на север, где они должны взойти и дать урожай.

Я не буду продолжать этот блистательный список экспедиций. Довольно и этого. Американцы для своих научных экспедиций строят богатые яхты, сверкающие хрусталем и красным деревом. Наши экспедиции дешевы и скромны. Очень часто участники их ночуют в сараях и загонах для скота, считая тропические звезды и прислушиваясь к сопенью коров.

Привезенные семена высевают и пробуют на опытных полях института — от Полярного круга до границ Афганистана и от Владивостока до границ Литвы.

Институт, изучая растения, сделал много любопытнейших открытий. Некоторые из них на первый взгляд парадоксальны, например открытие растений «короткого» и «длинного» дня.

На севере, где белые ночи и летний день лежат между двух зорь, южные растения не вызревают. Почему? Не торопитесь отвечать. Вы скажете, конечно, что для южных растений на севере мало тепла, и попадете впросак.

Вовсе не от недостатка тепла, а, наоборот, от избытка света.

Летние дни на юге короче северных, и южное растение изнемогает от света, чахнет от него, ему нужна густая южная ночь. Институт сделал пробу. Он искусственно затенил южные растения, посаженные на северных землях, и получились поразительные результаты,— растения начали прекрасно вызревать. Так вызрел в СССР хлопчатник из Индокитая, дающий волокно, неотличимое от шерсти, так вызрела на севере южная репа.

Первыми начали погоню за растениями американцы. Они рыщут по всему миру и находят в Китае персики весом в полкило, а в Тибете — овес на камнях гор, где растут только лишаи.

Эпопея этих поисков заслуживает своего Джека Лондона. Американский ботаник Рок проник в горный Сиам, где до него не был ни один белый. Рок слышал, что сиамцы добывают из неведомого растения масло, которым вылечивают проказу. Рок играл в прятки с опасностями, риск неотступно шел за его спиной, но растение было найдено, и семена его Рок привез в Америку.

Американцы нашли сахарный тростник, легко переносящий зиму, растение, клубни которого дают крепкий клейстер для аэропланных пропеллеров, и дикие арбузы в пустыне Калахари.

Американцы нашли сахарный тростник, легко переносящий морозы. Это понятно,— Америка съедает сахара столько же, сколько иные страны хлеба. Есть страны, где каждый человек съедает восемьдесят два кило сахара в год, например Сандвичевы острова.

Через пятнадцать — двадцать лет Советскому Союзу попадобится от шести до тринадцати миллионов тонн сахара в год. Сахар будет стоить не дороже хлеба. Но свекла не может дать эти горы сахара,— свекла растет только на Украине, в полосе лесостепи. Сахара не хватит.

Нужны новые сахаристые растения, и они уже найдены. Прежде всего это «сладкие палки», сахарный тростник. У нас есть своя Арктика и свои тропики — батумское побережье. Первые пробы доказали, что яванский тростник хорошо вызревает в Сухуме и Батуме.

Потом — кукуруза и сорго. Кукурузный сахар — самый дешевый. Он особенно хорош для фруктовых консервов. Громадные плантации кукурузы можно разбить около Днепростроя, где будут созданы фруктовые консервные заводы. Сорго прекрасно растет в южных степях и по берегам Азовского моря.

Пока только один завод во Владикавказе добывает из кукурузы и сорго сахар и сироп. Собираются строить второй большой завод около станции Беслан.

Синие цветы цикория напоминают о кофейном паре. Пар пахнет заморскими странами, а наивный цикорий скромно растет в полях срединной России. Он наивен и прост,— он растет на скудной земле, не страдает от холода и не боится вредителей. Цикорий может давать хороший сахар. Завод Шенебека на Эльбе первый начал изготовлять цикорный сахар. Этот опыт должен быть перенесен в СССР.

Осень на Украине, на берегах Азовского моря пахнет свежестью и перезрелыми дынями. На многие километры лежат золотые бахчи, чуть седоватые от паутины. В куренях вздыхают беззубые сторожа-старики. Они сжимают арбузы трясущимися руками и по легкому треску узнают их вкус и зрелость. С моря приходят просмоленные байды и грузят горы арбузов в Севастополь, Ростов и Одессу.

Бахчи — это сахарные плантации. Крестьяне варят из дынь сладкий мед — бекмес. В некоторых сортах дынь — восемнадцать процентов сахара, а в арбузах и тыквах — двенадцать процентов. Тыква с одного гектара дает четыре тысячи кило сахара.

Так идиллические баштаны с идиллически воспетыми сторожами превращаются в сахарные плантации, и веянье индустриального века смывает сонный прадедовский покой баштанов.

На сухумском базаре продают куски лиловой кожи. Ее покупают на сантиметры. Кожа, если ее пожевать, очень острого и приятного вкуса. Это алыча, спрессованная мякоть дикой сливы. Из нее делают острую приправу к жир-

ным азиатским блюдам и туземную горчицу — соцобели. От соцобели спирает дыханье и глаза наливаются кровью.

В 1922 году я уснул в горах около Цебельды, в громадном заглохшем саду, похожем на девственный лес. Синева, доведенная до блеска, стекала с гор свежими волнами. На лицо падали с исполинского дерева маленькие оранжевые плоды алычи. У них был сладкий и немного терпкий вкус.

Я не знал тогда, что вот этот плод нужен нашему полярному северу, как хлеб. Я не знал, что полярные путешественники ценят его дороже золота потому, что алыча — надежное средство против цинги.

Есть сорта алычи, которые вытягиваются вверх тонким и ровным стволом в четыре метра и лишь в самом верху дают крону. Эти сорта до войны вывозились из Сухума во Францию для украшения версальских парков.

Так дикое растение приобретает биографию.

Я знал человека, воспринимавшего все окружающее только обонянием. Он был близорук и рассеян. Рассеянность сродни глухоте, человек рассеянный не прислушивается к звукам. Поэтому вся жизнь для него состояла из запахов. Вечера пахли пылью и дождем, море — льдом, а чернила — ржавчиной. Как моряк видит береговые огни на полчаса раньше всех пассажиров, так он улавливал запахи на полчаса раньше обычных людей. Он был дегустатором запахов. Я вспоминаю о нем, когда пишу эти строки об ароматических растениях.

Экзотика преследует меня по пятам. Первое растение — это айован. Оно родом из Индии, но его можно очень легко разводить в Средней Азии. В нем много тимола. Тимол асептичен. Он обеззараживает, и потому из айованового сока делают мыло и зубную пасту.

Французский писатель Пьер Амп написал книгу «Песня песней», как бы продушенную насквозь. В ней он описывает парфюмерное производство на юге Франции. Он много пишет о лаванде.

Лавандовое масло идет в духи и на приготовление лака. Сухие цветы лаванды сжигают и окуривают их дымом меха́ и ткани от порчи. Жестокий запах нафталина, преследующий нас каждую осень, можно заменять едва заметным и теплым запахом лаванды. Лаванда дает крепкий мед. Она растет в южных странах на солнечных склонах гор.

Ее собирают в полдень, в безветренные и знойные дни, иначе половина запаха улетучится. Сухие цветы лаванды сильно пахнут несколько лет. Их рассыпают под коврами.

У нас лаванда прекрасно может цвести на крымской Яйле и на побережье Черного моря, от Новороссийска до Туапсе.

Голландия — классическая страна тмина. Хлеб с тмином, сыр с тмином, ликер с тмином — этот обычай пошел из Голландии. Раньше зерна тмина очень легко опадали от ветра. Пропадала большая часть урожая. Голландцы вывели сорта тмина с неопадающими зернами. Так в корне был изменен закон природы.

Захолустная герань — символ мещанского уюта,— краснеющая, как засидевшаяся невеста за чисто протертыми окошками, может, оказывается, заменить розовое масло. Герань родилась в Алжире. Алжир изнемогает от зарослей герани и ее настойчивого запаха. Вся ценность герани — в пахучих листьях.

Наконец, ирис и померанец, принесенные к нам из Флоренции и Калабрии, дают тончайшие ароматические экстракты для духов.

СССР может легко и в сравнительно недолгий срок наладить экспорт запахов. Запахи легко превращаются в валюту.

Я сознательно не упоминаю о серебристой мимозе. Заросли ее тянутся вдоль железнодорожной линии Батум — Ланчхуты. Эта мимоза — прекрасный дубитель. Я не упоминаю о кормовой траве тефф из Абиссинии. Она растет даже на песке. Я не упоминаю о новых сортах пшеницы и о многом другом. Работы института, даже изложенные скупым телеграфным языком, могут занять толстые тома по пятьсот — шестьсот страниц.

В сентябре начинается листопад. Страна бывает покрыта золотом и синевой. Тихие дожди листвы шуршат под холодным солнцем, и Москва-река несет ворохи листвы. Листва пахнет винными пробками.

Как умирает лист? У основания черенка нарастает пробковый слой, он отделяет лист, и при первом же легком ветре или утреннике лист падает, кружась, на землю.

Тонкий пробковый слой шуршит под ногами. На сорокалетней березе двести пятьдесят тысяч листьев. Они ве-

сят тридцать два кило. Гектар березового леса отряхивает с ветвей каждую осень тридцать две тысячи кило сухой листвы. Сколько пробки, которую никак нельзя использовать, гниет в лесах!

Настоящую пробку добывают из коры пробкового дуба. Классические страны пробкового дуба — Испания и Алжир. Но есть пробковый дуб и в саду Смецкого, под Сухумом. Рощи пробковых дубов есть под Кутаисом. Этот дуб прекрасно растет не только в Закавказье, но и в Крыму.

Поиски пробковых деревьев начаты недавно. Но уже нашли на Дальнем Востоке и на Украине бархатное дерево. Его кора дает пробку, луб — желтую краску, а древесина — упругие лыжи и части самолетов. Нашли пробковый берест, на котором слой пробки лежит кольцами.

Нас окружают неслыханные богатства. Жизнь растений берет нас в плен, как сумрачные и пышные заросли. В ней спрессован драгоценный материал. Его хватит на сотни книг и на многие часы работы. Неподвижное растение заражает нас действительностью. Скука растворяется в свежих запахах, усталость проходит от прохладного прикосновения листвы, гениальная мысль заключена в прирученной гваюле. Поэтому я посвящаю этот очерк всем, кто не видит романтики нашей эпохи и оплакивает пафос недавних лет. Есть пафос борьбы и пафос упорной и талантливой работы. Есть романтика Перекопа и романтика селекции. И то и другое равноценно.

1930

В ПРИФРОНТОВОМ КОЛХОЗЕ

Дорога шла по дну широкой балки. Пахло степью — горькими травами, сухой полынью, чабрецом. Ночь пришла внезапно, как всегда на юге, и водитель вел машину на ощупь. Пора было остановиться на ночлег, но вокруг не было ни одной хаты, ни одного человека. Только на краю земли часто вспыхивали бесшумные зарницы — отблески далекого ночного боя.

Потом в небе зачернел одинокий шест колодца — украинского «журавля». У колодца кто-то осторожно курил в руку.

— Эй,— крикнул водитель,— земляк! Где бы тут заночевать?

К машине подошел дряхлый старик с охотничьим ружьем.

— Ночевать, надо думать, негде,— ответил он ласково,— кроме как в моей хате. Я колодец стерегу в степи.

— А далеко до твоей хаты?

— Да туточки, за бугром.

— Ну садись, показывай дорогу.

Старик сел, кряхтя, в машину. Глаза его хитро поблескивали в темноте. Ехали мы долго, давно миновали бугор, а стариковской хаты все не было. Водитель начал ворчать.

— Зараз будет,— успокаивал его старик.— Ночью всегда дорога длинная.

Неожиданно в темноте появились вооруженные люди.

— Стой! — строго крикнул старик.— Приехали. Показывайте документы, товарищи!

Старик схитрил и вместо своей хаты привел нашу машину к колхозному патрулю. Нас вежливо попросили выйти, привели в правление колхоза и проверили при свече документы.

— Не взыщите,— сказал, улыбаясь, председатель колхоза — маленький молчаливый человек по фамилии Халупняк.— Мы всех проверяем. У нас день и ночь конные объезжают дороги, у нас каждый колхозник обязан быть бдительным. Ну, раз вы свои, то устраивайтесь, а мы вас покормим.

Был уже час ночи, но вокруг хаты, где мы остановились, началось оживление. Старая колхозница принесла кувшин молока, босой мальчик — краюху свежего белого хлеба и миску меда, а сам Халупняк разложил на столе брынзу, украинскую колбасу и вытащил из кармана пачку махорки.

Колхоз «Маяк», куда мы попали, самый обыкновенный колхоз области. Он не миллионер, но надеется после войны стать миллионером. У него две тысячи гектаров пшеницы и подсолнуха, сады, виноградники, породистый молочный скот, каракулевые овцы, около трехсот лошадей и множество птиц — уток, гусей, кур, индюшек.

Но сейчас колхоз живет напряженной военной жизнью. Он похож на вооруженный лагерь. «Все для армии» — так сказал нам Халупняк и так думает каждый колхозник. Сущность подлинной народной войны заметна

здесь с особенной силой. Армия и народ неотделимы, неразрывны,— это по существу одно и то же.

Мужчины ушли на фронт. Женщины спешно убирают хлеб.

Работают все — от древних стариков до белобрысых мальчишек. Мальчишки — «хлопчики» — сменили взрослых и потому ведут себя, как взрослые: строго, с достоинством, без лишних разговоров. Все они — ездовые на уборке богатого урожая и, кроме того, разведчики. От их зорких глаз не скроется ни один подозрительный человек. Они знают каждый ров, где может спрятаться враг, и находят диверсантов быстро и безошибочно.

На следующее утро при нас две молодые колхозницы заметили в полях странного человека. Он был в комбинезоне, без шапки, весь в пыли и соломе. Увидев колхозниц, он лег. Они же нарочно остановили телегу и начали пить из крынки холодную воду. Человек в комбинезоне не выдержал. Он вышел из пшеницы и знаками попросил пить. Глаза у него были мутные, он шатался и только мычал. Женщины схватили его, связали вожжами, он сопротивлялся, но очень слабо. Человек этот оказался немецким летчиком. Его самолет был сбит нашим истребителем. Немец спустился на парашюте и два дня прятался в пшенице, пока не наткнулся на наших колхозниц.

— А вы не опасались, бабочки? — спросил наш водитель колхозниц.— Немец ведь был вооруженный!

— Мы думали, что он будет стрелять,— ответила нараспев одна из колхозниц.— Так и думали. А он не успел.

На уборку хлеба были брошены все. Уборка была трудная: зной, сухость, воровские налеты немецких истребителей, пытавшихся расстреливать колхозников пулеметным огнем. Но хлеб в «Маяке» был убран вовремя и вовремя обмолочен.

На следующий день, когда мы уезжали из колхоза, тот же старик, который нас задержал, сел в машину, чтобы показать нам дорогу до большого шляха.

— Война! — сказал старик задумчиво.— Мне много годов. Я еще в ту войну ранение получил. И я всем бойцам проходящим говорю: «Не отдавайте, сынки, тому немцу ни одного колоса пшеницы, ни кружки воды из наших колодцев, ни одной соломинки из нашего стога. Наше дело, как я понимаю, светлое, трудовое, и верх будет наш!»

1941

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Недавно части Красной Армии штурмом взяли город Белую Церковь на Украине. Мой дед — синеглазый кроткий старик, весь серебряный от седины, и мой отец выросли и долго жили в Белой Церкви. В детстве я там часто бывал. Поэтому мне трудно представить себе жестокий танковый бой па улицах этого города. Вернее, не на улицах, а в аллеях этого города,— в тихих и широких аллеях, заросших одуванчиками, теплых от солнца, пахпущих листьями тополя и укропом.

Представьте себе бой на улицах шекспировского Стратфорда или в каком-либо другом патриархальном городке Англии, где лондонец может услышать не только ночью, по даже днем шум листьев и протяжные крики петухов.

Белая Церковь — старинный город, бывшая столица украинских гетманов. Вблизи города раскинулись великолепные Александрийские сады, принадлежавшие некогда графине Браницкой — дочери Екатерины Второй. В этих садах бывали Пушкин и Мицкевич. Эти сады производили впечатление сказки. Высокие и пышные, они всегда были затяпуты легкой дымкой — то от солпца, то от дождя. Дикие олепи выходили из чащи, чтобы напиться у фонтанов. Фонтапы били прямо из травы, из кустов шиповника, из зарослей настурций. Эти сады подымались перед глазами в несколько ярусов, давали несколько световых и цветных планов, и казалось, что только кисть гениального Коро могла бы передать зрителю их очарование и таинственную глубину.

Через Александрийские сады протекает река Рось с прозрачной глубокой водой. Она вся заросла белыми лилиями. Во времена моего детства река в Александрийских садах была перегорожена заржавленными железными цепями, чтобы лодочпики не мяли лилии и не пугали лебедей, гнездившихся на этой реке. Около города Рось прорывается через стертые временем до основания Авратынские горы — отроги Карпат. И вот — в сердце степной Украины шумит горная река, переливается водопадами в гранитных красных берегах.

Раннее мое детство прошло в Белой Церкви, в этом городе, окруженном голубыми и золотыми полями Украпны. Оно осталось в памяти как теплая роса па ползучих цветах портулака, как сладкий дым соломы — ею топили

печи в городе,— как рассказы моего деда — бывшего николаевского солдата о походах во Фракию.

Дед все лето жил в шалаше на пасеке. Пчелы любили его, как он сам говорил, за его тихий старческий голос и за то, что он никогда не курил табак. Он пел мне, мальчику, дребезжащим голосом старинные песни запорожских казаков. Они дышали то степной меланхолией, то буйным весельем. Дед мой помнил еще то время, когда на Украине не было железных дорог и он возил с огромными обозами на серых волах соль и сушеную рыбу из Крыма в Киев.

В Белой Церкви было много ремесленников-евреев — часовщиков, шорников, сапожников, извозчиков. Это были добрые и веселые бедняки. Они постоянно дарили мне то конфеты из зерен мака, то глиняные свистульки, то переводные картинки. Каждый раз, когда моя мать садилась к роялю и среди вековых тополей на улице возникал торжественный звон струн, под окнами собирались все соседи-ремесленники, садились на траву и слушали, качая головами. Потом осторожно подъезжал старый извозчик Мендель, останавливался и, не слезая с козел, тоже слушал Шопена и Чайковского. Старая его лошадь тут же засыпала. Когда музыка кончалась, Мендель снимал картуз, вытирал им глаза и говорил матери:

— Вы — великая артистка! Дай вам бог жить до ста лет.

В июне, в день народного праздника Ивана Купалы, в те душные летние ночи, когда зарницы непрерывно мигают по горизонту и созревают хлеба в полях, по реке мимо города плыли венки из полевых цветов, и в венки эти были вставлены горящие свечи. Так гадали украинские девушки,— чья свеча дольше не погаснет, та девушка дольше проживет на свете.

Я бы мог еще много написать о прелести и поэзии этого города, но у меня нет места и времени.

Сейчас Белая Церковь взята. Племя немцев, профессиональных убийц, разрушило город, расстреляло в оврагах сотни кротких ремесленников, вырубило Александрийские сады. Но, как пел мой дед, нет такой черной тучи, которую бы не пробило своими лучами жаркое солнце Украины.

Украина возродится из пепла и снова зацветет, зашумит богатыми садами, песнями и великолепным трудом.

1944

КРЫМСКАЯ ВЕСНА

Наша армия вошла в Крым. Взят Джанкой. Взята Керчь. Над головами наших бойцов уже пылает в эти ночи низкое звездное небо Тавриды. Оно всегда встречало нас, северян, за Чонгаром, за Сивашом, в Джанкое и заставляло радостно биться сердца от сознания, что через несколько часов откроется перед глазами великолепная путаница синих севастопольских бухт, кораблей, желтых портиков, цветущего миндаля и блеснет в глаза родное Черное море — одно из прекраснейших морей на земле.

Мы знали, что Крым,— разрушенный, затоптанный сапогами немецких солдат,— снова будет нашей землей. Мы знали, что освободим его. Немцы гоготали в пышных парках, где мы любили каждое дерево, каждый поворот дороги. Немцы превратили в горы битой черепицы героический Севастополь.

Немцы осквернили священную землю Крыма. Но мы знали, что освободим Крым, наш Крым, где в синеве и блеске тонут обрывистые мысы и море подносит к их подножию палую листву. Тот Крым, где каждому из нас хотелось остановить время, чтобы не терять ощущения молодости. Где жизнь, как морское утро, была и будет освежающей, где она приближается к той черте, за которой явственно виден золотой век. Крым всегда был для нас землей труда, вдохновения и поэзии.

Крым весь овеян до последнего камня на дороге великими воспоминаниями. Здесь, в Гурзуфе, жил Пушкин. О Крыме он написал гениальные строки: «Редеет облаков летучая гряда». В Крыму Лев Толстой написал свои первые рассказы о замечательном русском солдате. Защищая Крым, погибли великие «матросские адмиралы» Нахимов и Корнилов. В Крыму началось восстание на «Потемкине», в Крыму боролся лейтенант Шмидт, и Чехов писал в своем белом доме на Аутке изумительные рассказы. Красная Армия брала Перекоп. Тысячи рыбаков, матросов, крестьян, выросших на крымской земле, дали своей стране, ее культуре много побед, любви к свободе и веселья.

Каждый, кто хотя бы раз побывал в Крыму, уносил любовь к этой каменистой земле на всю жизнь,— таким внезапным очарованием она обладала.

Наша армия вошла в Крым. Скоро весь полуостров, весь блистательный разворот его берегов от Керчи до Севастополя будет очищен от наглых и черных фашистских банд. Тяжелые залпы салютов прокатятся над столицей и уйдут в подмосковные леса, возвещая освобождение Феодосии, Судака, Ялты, Алупки, Балаклавы, Симферополя, Севастополя — всего Крыма.

Мы восстановим Крым. Его щедрая земля, прогретая солнцем, овеянная морскими бризами, поможет нам в этом. Снова тысячами отраженных береговых огней Крым будет колебаться в ночном море, цвести своими садами, сверкать своим солнцем, дышать целебным запахом виноградников и черноморской сосны.

Мы приветствуем освободителей Крыма. Мы гордимся ими. Мы завидуем им. Они первые ступили на крымскую землю. Им выпала на долю великая честь, великая слава и великая радость увидеть первыми крымскую весну, весну освобождения — туманный и свежий крымский апрель, когда весь Крым цветет, выбрасывает ежеминутно миллиарды листьев, побегов, цветущих венчиков. И перед этим весенним цветением освобожденной земли бойцы, выйдя к Черному морю, глядя на него, невольно снимут каски и вздохнут всей грудью: «Благословенные места! Теперь они навеки наши!»

1944

БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ

Инкерман. Последний туннель. Все бросаются к окнам вагона. Но, даже не глядя в окна, можно догадаться, что поезд подходит к Севастополю. Отражения воды бегут по потолку вагона, морской ветер вздувает занавески, гремит сигнальная пушка. Полдень! Синевой, блеском прибрежной волны, желтыми скалами, сухим огнем бьет в глаза, слепит Севастополь.

А потом — знакомый половине России севастопольский вокзал. Ильф писал о нем: «Севастопольский вокзал, открытый, теплый, звездный. Тополя стоят у самых вагонов. Ночь, ни шума, ни рева. Поезд отходит в час тридцать. Розы во всех вагонах».

В этих словах с необыкновенной сжатостью передан Севастополь. Прочтя эти строки, невольно хочется спро-

сить соседа: «Помните?» — и услышать ответ: «Да, конечно, помню. Тополя у самых вагонов. Какой это замечательный город!»

Таким мы помним Севастополь — город русской славы, боевых кораблей, памятников, фортов, заржавленных круглых ядер, застрявших в стенах домов, город бастионов, адмиралтейских якорей, Малахова кургана, цветущего миндаля и мягких, всегда немного таинственных вечеров.

Город великих адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова, город Пирогова, Льва Толстого, Матюшенко, лейтенанта Шмидта, Севастополь был и будет городом славы. Его слава — в великих традициях, в величавой его истории, в том, что Севастополь — гордый город. Он был гордым во времена обороны 1854 года, он был гордым в годы революции, и он остался таким же гордым и непреклонным в дни последней восьмимесячной осады — одной из самых суровых осад на земле.

Последние защитники Севастополя — моряки погибли на Херсонесском мысу, но не сдались. В последние часы у них хватило силы духа, чтобы, яростно отбиваясь от немцев, передавать из уст в уста с привычным юмором историю, случившуюся со старым пароходом.

Старый пароход одним из последних уходил из осажденного Севастополя. Команда его была уверена, что пароход рассыплется от первой взрывной волны — не то что от прямого попадания бомбы. И вот бомба попала в пароход, прошла через него насквозь, как через бумагу, пробила ветхое днище и взорвалась на морском дне. Команда подвела под пробоину пластырь, и пароход пошел своей дорогой.

Судьба этого парохода, может быть, подлинная, а может быть, выдуманная каким-нибудь шутником-черноморцем, веселила последних защитников Севастополя. Они до конца остались верными флотской традиции отваги и веселья. Даже умирая, они шутили.

Если бы немцы были способны понимать движения человеческой души, то этот смех привел бы их в содрогание. Они бы поняли, что, взяв Севастополь, они его уже потеряли, что бессмысленно думать о порабощении русских и что возмездие будет беспощадным.

Севастополь снова наш. Он расцветет с новым великолепием. Несколько месяцев назад, когда наши части стояли еще под Перекопом и не было наступления, группе

московских архитекторов и скульпторов было уже предложено готовиться к восстановлению Севастополя. Мы знали, что вернемся в Севастополь. Мы знаем, что огромным трудом и вдохновением снова создадим этот порт и город.

Но чтобы воссоздать его, нужно почаще вспоминать о том Севастополе, который мы все любили и знали. Он был живописен. В нем были явственно видны черты морского города, морской крепости, стоянки флота. Даже на улицах, удаленных от моря, все напоминало о нем — якорные цепи вместо перил, ракушки, трещавшие под ногами, мачты с шумящими по ветру флагами, особая приморская архитектура домов из инкерманского выветренного камня и лестницы — «трапы», соединявшие его нагорные улицы.

Морская поэзия здесь становилась жизнью, реальностью, бытом. Улицы, запруженные в сумерки матросами с кораблей, белизна одежды, скромное золото, разлетающиеся по ветру ленточки бескозырок, синие громады крейсеров, дым, визг сирен, сигнальные огни, плеск воды, взмахи прожекторов, крики лодочников, смех, песни — все это, смягченное южным вечером, давало ощущение приподнятости и праздничности.

Новый Севастополь будет еще более радостным и прекрасным, чем был прежний. Пусть все морские традиции и наша морская история найдут себе отражение в этом городе. Пусть к памятникам вождей и старых адмиралов прибавятся новые памятники — защитникам Севастополя, тем, кто его освободил, наконец, памятники великим мореплавателям, путешественникам, флотоводцам. В Севастополе должны быть памятники Ушакову и Лазареву, Миклухе-Маклаю и тем нашим летчикам, что выросли около Севастополя, на Каче. И, кроме того, должны быть памятники боевым кораблям.

Можно только завидовать архитекторам, скульпторам, инженерам, садоводам, художникам, плотникам и каменотесам, литейщикам и монтерам, которые будут работать над созданием нового Севастополя.

Слава былых времен находила свое выражение главным образом в бронзе и мраморе. Слава нашего времени найдет себе выражение не только в этом, но и в самом городе, в его зданиях, в его улицах, в его садах, в его заводах и культурных учреждениях, где все должно говорить о великой борьбе нашей страны за счастье, справед-

ливость, за народное богатство, за независимость и культуру.

Из этой борьбы мы выйдем победителями. В память этой борьбы и победы мы должны возродить наши города во стократ более прекрасными, чем они были, возродить, зная, что в этих городах будет жить счастливое поколение людей.

Бессмертное имя «Севастополь» знает весь мир — от Гренландии до мыса Горн и от Аляски до Сиднея. И это имя будет всегда сиять в веках, как символ мужества и любви к своему отечеству.

1944

ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА

В августе 1941 года мы уходили из Одессы. Лето стояло дождливое. Короткие и частые дожди перепадали над пустынным уже в те дни, но прекрасным городом. Теплый ветер, дувший с Босфора, мягкий «левант» мгновенно высушивал мостовые. От дождя оставался только знакомый всем, кто бывал в Одессе, запах нагретого моря и поздреватого желтого известняка. Из него, как из окаменевшей пены, выстроены одесские дома.

Мы уходили, но твердо знали, что скоро вернемся в этот город — богатый и жизнерадостный, заражавший своим весельем и бодростью всю страну.

За Тиличульским лиманом мы заночевали в степи. Водитель нашей машины не спал. Он сидел на подножке грузовика, курил и смотрел на запад, где в темном небе загорались желтые бесшумные огни.

— Опять налет на Одессу,— сказал водитель.— Там бой, а здесь тихо, только кукуруза шуршит.

Водитель помолчал.

— С ума я сошел, что ли? — спросил он сам себя.— Весь день только одно воображаю: как я вернусь до себя в Одессу, на Ланжерон. Буду идти медленно, каждую калитку потрогаю, каждую акацию поглажу, посмотрю,— может, она раненная немецкой ядовитой пулей. Вот так сижу и представляю себе, как малый ребенок. Смешно!

Никто ему не ответил. То, что он говорил, было совсем не смешно.

Я тоже представил себе, как я иду через всю Одессу па Французский бульвар, где в густых садах всегда кричат цикады и ветер шевелит солнечные пятна на дорожках. Иду через весь город, прогретый солнцем, на каждом шагу останавливаюсь, смотрю, вспоминаю — и от воспоминаний и морского сквозняка, дующего вдоль улиц, тяжело бьется сердце.

Вот угол Екатерининской и Дерибасовской. Здесь всегда по вечерам стояли цветочницы. В тазах с холодной водой лежали груды роз, пионов, сирени. На ветвях деревьев, над цветами висели горящие фонари. Рядом сверкало электричество, но старая традиция сохранилась,— цветочницы приносили с собой фонари, зажигали их, и мягкий свет смешивался с запахом цветов. Приморский бульвар. Старые платаны. Порт внизу, под откосами,— огромный, дымный. Брекватер, где с утра до заката одесские старики — насмешники и ворчуны — удили на «самодуры» веселую скумбрию.

Воронцовский маяк. Карантинная гавань. Отсюда еще в 1854 году Одесса дала первый отпор врагу. Здесь стояла батарея прапорщика Щеголева, когда к Одессе подошла эскадра Гамелена. Шесть часов батарея отстреливалась от трехсот пятидесяти вражеских орудий. Сначала из четырех своих орудий, потом — из двух и, наконец, из одного. Неприятельская эскадра ушла, озадаченная упорством русских.

Памятник строителю Одессы Ришелье. Одесситы зовут его запросто — «дюком». Дюк показывает бронзовой рукой на море, как бы восхищаясь его ширью и голубизной.

Городской театр. Пушкинская улица. В июле 1941 года дом, где жил Пушкин, был разбит бомбой. Остался только небольшой кусок стены с мемориальной доской. Прислонившись к стене, лежала сломанная акация. Листья ее еще не увяли, шумели от ветра и бросали тень на мраморную доску. В этом доме был начат «Евгений Онегин».

Мосты над портовыми спусками. Плоские испанские дома. Грохот знаменитых одесских окованных дорог. Флаг над таможней. Парки, аркады, живописные старофранцузские дома Пале-Рояля, фонтаны и — куда ни взглянешь — синяя стена моря.

Одесские базары. На них надо было приходить, чтобы смотреть и слушать. Смотреть на горы мокрых от росы помидоров, баклажан, перца, абрикосов, дынь, на глыбы

зеленоватой брынзы и плоскую камбалу на обитых жестью прилавках. Слушать брызжущие весельем разговоры продавцов и покупателей. Одесские базары с их шеренгами толстых рыбачек над корзинами с мелкой рыбешкой — фиринкой. И ласковый крик: «Вот для вашей кошечки, мадам! Вот для кошечки!»

Великолепная лестница к морю. Одесситы говорят, что такой лестницы нет во всем мире. И это не хвастовство, а правда. Историческая «Лондонская гостиница» с ее известными половине России седыми официантами. Прохладные подвалы, где продают зельтерскую воду, разноцветный блеск сиропов в хрустальных графинах. Запах горячих каштанов осенью, а весной — запах темных фиалок.

Эллинг в порту, паровые мельницы и заводы на Пересыпи. Ржавые якоря, запах нефти и рассола, лиманы с целебной грязью, широкие пляжи Лузановки, и надо всем этим — сухой свет южного полудня.

В Одессе шутили всюду — в учреждениях, на улицах, в трамваях, на базарах. Шутили остро, метко. Шутили от избытка жизнерадостности, талантливости, от избытка света и тепла.

Все в Одессе соединялось так счастливо, чтобы создать племя деятельных, талантливых и просвещенных людей. Одесса вырастила и воспитала плеяду писателей, поэтов, художников, политических деятелей, музыкантов, ученых, моряков.

Багрицкий, Вера Инбер, Катаев, Славин, Ильф, Петров, Олеша, Кирсанов — прирожденные одесситы. Количество рассказов и стихов, написанных об Одессе,— неисчислимо. Своеобразный жизненный материал переполняет Одессу. Нужно быть очень ленивым и равнодушным человеком, чтобы этого не заметить. Любой рассказ об Одессе, выхваченный наудачу, доказывает это.

Куприн прожил в Одессе недолго, но этого было достаточно, чтобы написать рассказ о старом одесском еврее, открывшем бином Ньютона и не подозревавшем о существовании Ньютона. Или превосходный рассказ о Сашке-музыканте из «Гамбринуса». А «Белеет парус одинокий» Катаева, где все, вплоть до высосанной лимонной корки, выброшенной морем, проникнуто особой прелестью одесской жизни!

И вот этот город, созданный для труда и веселья, нарядный и слегка легкомысленный, как большинство юж-

ных городов, осенью 1941 года был поставлен лицом к лицу с врагом. И Одесса не дрогнула. Веселье превратилось в ярость, жизнерадостность — в ненависть к врагу, шутливость — в мужество.

Одесса дралась жестоко, непоколебимо, упорно, не желая отдавать врагу ни одного камня, ни одного клочка своей земли. Вся гордость народа была воплощена в эти дни в защитниках Одессы. В первых рядах, в самых опасных местах, где поднятая пулями белая одесская пыль забивала глаза, рот, уши, были моряки, потомки потемкинцев и очаковцев, дети рабочих с Пересыпи и Молдаванки, сыновья шкиперов с херсонских шхун, сыновья рыбаков с Большого Фонтана, из Дофиновки и Овидиополя — веселое, независимое, отважное племя людей, воспитанных Черным морем.

Одесса нами взята. Еще не рассказана история ее мужества и ее страданий.

Одесса расцветает из пепла и развалин с непостижимой быстротой. Она снова зашумит над морем гудками пароходов, песнями, смехом, аккордами роялей и густой листвой садов.

1944

ЖИЗНЬ

Летом 1941 года мы лежали в степи около Тирасполя и смотрели сбоку, из-под локтя, как прямо на нас низко шли немецкие бомбардировщики. Земля была пересохшая, жаркая. В небе стояли серые облака. Я никак не мог избавиться от навязчивой мысли, что облака эти покрыты густой пылью, вздымавшейся с земли, от развороченных войной дорог.

Весь день облака гудели низким многомоторным ревом. Впервые тогда я почувствовал неприязнь к этим облакам, к закату солнца и грозовым тучам — ко всему, чем пользовались черные немецкие «фокке-вульфы», чтобы незаметно подходить к нам и обрушивать на землю свистящие бомбы.

Мы смотрели из-под локтя и ждали. Провыли бомбы, ахнула земля, загрохотали пыльные разрывы, и горячий осколок ударил рядом в землю. Я лежал и смотрел на него. Он отливал мертвой синевой, и его колючая рвапая

сталь казалась мне самым точным выражением немецкой злобы и подлости.

«Вот,— подумал я, как бы разговаривая с осколком снаряда,— ты должен был убить меня. Только для этого тебя отливали, обтачивали, заряжали взрывчаткой. Но ты взял немного в сторону и не выполнил своей задачи».

Осколок лежал на земле рядом с каким-то незнакомым мне простым цветком,— разве можно знать названия всех цветов, растущих на наших полях.

На тоненьком стебле висела гроздь белых очень маленьких кувшинчиков с желтым ободком. Такие цветы я видел у смородины. Но это не была смородина; это было невзрачное, простое растение. Оно чуть качалось от ветра, и вдруг я почувствовал его запах — горьковатый, свежий, напоминающий сумерки в лугах, когда потянет над летней землей холодком ночи.

Я потрогал стебелек, подумал: «Вот две жизни. Осколок — война, а цветок — это далекая сейчас для нас всех мирная жизнь, ради нее мы сражаемся, и ее мы носим в сердце».

Мы жили последние годы особой жизнью. За дымом и грохотом войны мы видели ясное небо, трогательные излучины наших рек, заросли лесов, дымок костра, видели все наше прошлое, родные дома, любимых людей. Не прожитое до конца счастье томило нас своей отдаленностью и оборванностью, но мы знали — все это вернется во сто крат более милое, чем раньше. Надо только сжать зубы и сражаться до последнего вздоха. Наш народ победил потому, что у него была за плечами большая и разумная жизнь, было счастье, были родная земля, любовь и труд, и еще потому, что мы, русские,— добрые и талантливые люди.

Как может отчаянно драться человек, у которого нет прошлого и нет любви! Только большая любовь рождает неистребимую ненависть. Мы это испытали на собственном опыте. И в новую, послевоенную жизнь мы пришли более мудрыми и спокойными.

Когда мы говорим о любви, мы знаем, что любовь — это не только один человек. Это — все, что окружает его, что связано с ним. Это — нечто гораздо большее, чем он. Это и книги, и споры, и встречи, и вся полоса жизни, через которую прошел любимый человек.

То же самое можно сказать о победе. Чувство победы трудно отделить от личных событий, встреч, слов, от соб-

ственных мыслей, связанных с холодными днями прекрасного мая 1945 года.

Каждый из пас помнит до мельчайших подробностей день пачала войны. Точно так же каждый помнит наступление победы.

Стояла глухая ночь — тот час суток, когда, по старинному поверью, растут во спе дети. В такие ночи из Москвы выветривается наконец дневная духота и дыханье лесов, сырых трав, цветущей где-то там, за городом, черемухи заполняет пустынные улицы. Холод ночи напоминает морскую свежесть,— кажется, что черноморский бриз обдувает Москву.

В такую ночь я проснулся от мальчишеского крика. Я прислушался. «Победа! Победа! Победа!» — звонко, задыхаясь, кричал кто-то снаружи.

Я вскочил, подошел к окну. Какой-то мальчик бежал по переулку, стучал в стены, в окна, кричал: «Вставайте,— победа! Война окончена! Вставайте!» В его голосе были явственно слышны слезы.

Всюду за окнами вспыхивал свет и виднелись полуодетые, растерянные от счастья люди.

Я оделся, вышел в ночной ветер, в сумрачную прохладу улиц, в радостную тьму этой единственной в жизни ночи. Уже шумели над головой невидимые флаги, рвались по ветру на запад, туда, где впервые за последние годы затихли разрывы и благословенная тишина прошла над полями сражений, усыпляя утомленных и счастливых бойцов.

Я прошел па Каменный мост, чтобы лучше увидеть весь разворот этой небывалой ночи. Улицы были еще безлюдны, но Москва сияла тысячами огней, тысячами освещенных окон,— как будто за стенами домов уже начался феерический праздник.

Передо мной занималась в холодном и чистом небе заря девятого мая. Густая, медленная синева проступала над главами кремлевских соборов и отражалась в тихой реке. Голубая звезда медленно умирала на востоке. Предчувствие солнца было в смутном блеске небольших облаков, заброшенных на головокружительную высоту над городом.

Кроме меня, на мосту было несколько прохожих. Они стояли у бронзовых перил и как будто чего-то ждали. Маленький седой человек в парусиновых брюках обернулся ко мне, протянул руку и сказал всего два слова:

— Ну, вот...

Он вздохнул, отвернулся и пошел вдоль моста. Потом остановился, взъерошил обеими руками волосы, засмеялся и спросил:

— Значит, живем, товарищи?

По мосту быстро шла, почти бежала молодая женщина. Она была без шляпы, без платка,— ветер растрепал ее легкие волосы. Она остановилась около седого маленького человека, схватила его за руки, поцеловала, засмеялась, метнулась дальше, поцеловала меня и так же быстро исчезла в синеве этой необыкновенной ночи. Короткий миг теплого, чужого, но милого дыханья, смеющиеся глаза, быстрые шаги, одинокая золотая ракета, пущенная каким-то взволнованным зенитчиком, ее отблеск в воде и внезапная волна прохлады, запаха листьев, весны, хлынувшая откуда-то из темных далей!

И ясная мысль, что вот это все, все эти частицы жизни — это и есть незаметное начало счастливых времен, начало той второй, прекрасной жизни, которую мы так долго берегли в своем сознании в годы войны.

Она здесь, рядом. Это ее первый проблеск. Она в каком-то внутреннем покое, в ощущении проснувшейся радости, в этих огнях, в заре, в возгласе седого человека, в мимолетном братском поцелуе, в величавых башнях Кремля и в том глубоком волнении, от которого кружится голова, как от предчувствия заслуженного и почти неправдоподобного счастья.

1945

ПИСЬМА ИЗ РЯЗАНСКОЙ ДЕРЕВНИ

1

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

Прежде чем углубиться в жизнь Солотчинского района Рязанской области, необходимо как бы «представить» его читателю, дать хотя бы беглое понятие об его характере и особенностях.

Если вы спросите местного жителя, чем отличается его район от других районов области, он вздохнет и ответит:

— Пески нас одолевают.

Район лежит па южной границе древпего оледепения, в том месте, где ледники, растаяв, оставили после себя гряды песчаных дюн, здешних «пясков» и «бугров».

Песчаные здешние земли очепь хороши для картофеля. Он вырастает на них крупный и вкусный, особенно розовые его сорта.

Где пески — там обязательно ива и лоза. А где лоза — там хорошие плетельщики из ивы, корзипщики и мебельщики.

В селе Заокском работает большая артель плетельщиков, в большинстве стариков. Называется она «Красная лоза». Изготовляет артель плетеную мебель и корзины самых разных видов и назначений, в том числе и большие овальные корзины, в которых здешние колхозницы собирают по лесам «колки», сухую сосновую хвою для топки печей. Хвоя эта дает сильнейший жар.

— Форменный кокс,— говорят о ней колхозники.— В печь заглянешь, так там такой пакал, что чугун можно расплавить.

Пески тянутся неширокой полосой между сосновыми лесами и луговой поймой Оки.

На песках все свое, особенное,— и трава, и кустарники, и птицы, и насекомые. Это как бы отдельный мир, живущий по своим законам.

Пески очень чистые и такие плотные, что по ним идешь, как по твердому полу. Но все же остаются следы. По ним можно узнать, где пробежала песчапая мышь, где гуляли по пескам чайки и где прополз любой, даже самый ничтожный жучок.

Пески — это великолепное доказательство приспособляемости растений к среде. Растет, например, па песках трава по названию «живучка». Ее пе так скоро и заметишь. Эта неприметная трава состоит из серо-зеленых шариков, похожих на туго закрывшиеся малепькие розы. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, то он пачпет очепь медленно поворачиваться, распрямит с одной стороны свои серые лепестки, обопрется на них и перевернется в конце концов корнями к земле. Корни тотчас начнут углубляться в песок, и необыкновенная эта трава будет продолжать свою жизнь, как будто ничего пе случилось.

На высоких дюнах каждый куст лозы протягивает к реке или к подпочвенной влаге черные прочные корни длиною в десятки метров. В иных местах па осыпавшиеся

песчаные крутояры можно взобраться, только держась за эти корни, как за канаты.

Обилие кремнистых песков и привело к тому, что вся эта местность стала родиной стекольных и хрустальных заводов. Рядом — Великодворье, Гусь-Хрустальный и другие места, давно прославленные своими стеклянными изделиями.

Хорошее стекло здесь не редкость. До сих пор по деревням ходит легенда о том, что первые здешние стекольные мастера отлили из хрусталя огромного гуся и будто бы этот гусь до сих пор хранится в музее современного стекольного завода в Гусь-Хрустальном.

Я спросил колхозника, который рассказывал мне об этом хрустальном гусе:

— А для чего же они его отлили?

— Как для чего! — удивился он.— Это, я считаю, с вашей стороны праздный вопрос. Для того, чтобы доказать силу и хитрость своего мастерства. Народ у нас, ежели заметили, с виду ничем не выдающийся. Сидит какой-нибудь человечек на лавочке, в ватнике, покуривает, весь он стеснительный, и разговор у него тоже стеснительный, а в этом человеке, бывает, заложен такой дар мастерства и техники, что он вам только дерево живое не сделает, а все остальное сделает. Посмотришь ему на руки,— пальцы у него будто не гнутся, а он этими пальцами винтик с булавочную головку выточит и к месту приладит. Вот говорят такие слова: «золотые руки». Неправильное это выражение. Золото что! Драгоценный металл, и боле ничего. На него такой дар, сколько ни рядись, не укупишь.

Пески считаются здесь бросовой землей. Правда, нет слов,— хороши для картошки, но больше ничего с них не возьмешь. Но вот оказалось, что в песках попадаются ценности совершенно неожиданные. Недавно пришла из «области», из областного города, бумага о том, что в нашем районе надлежит взять под охрану песчаные бугры в пойме Оки против села Пощупова, ни в коем случае эти бугры не раскапывать и не распахивать и растительность на них не истреблять.

Распоряжение это вызвало много толков и предположений, пока наконец не выяснилось, что в буграх этих знаменитый наш археолог Городцов вел раскопки, но их не закончил, хотя и нашел старинные погребения и много древних вещей. В этом году ждут возобновления раскопок.

Председатель сельсовета был обеспокоен. Бугры от деревни далеко,— нелегко будет уследить за их сохранностью. Главная беда — мальчишки.

— Это народ до того шустрый,— говорил председатель,— что только руками разводи да ахай. Был я намедни на лесном озере. От жилья, от лесной сторожки, оно в двадцати километрах. Кругом мшары, трясины, комарье. За грехи туда не полезешь. Пришел я на озеро, а там мальчишки! Рыбу удят. Прибегли за двадцать километров. Я так полагаю, что попади ты хоть на Северный полюс — и там обязательно какой-нибудь наш мальчишка сидит на льдине, трясется от страха, а чего-нибудь промышляет: тюленя караулит или моржа. И только, гляди, нос рукавом трет, греет. До того пронзительный народ,— прямо ужас!

Народ этот — мальчишки — действительно отличается необыкновенной «пронзительностью». Очевидно, под этим словом председатель сельсовета понимает свойство этих всезнающих и неутомимых граждан проникать всюду, куда только может проникнуть человек такого удобного роста.

Но не пески, конечно, составляют богатство района, хотя на них и хорошо родится картошка. Основное богатство — в лесах и лугах.

Леса эти, главным образом сосновые боры, зовутся Мещорскими. История этих мест и этих лесов теряется «в дыму столетий». Некогда через эти леса, через всю эту бывшую глухомань шел единственный тракт на Владимир, но по этому тракту ездить было рискованно: дорога шла по гнилым гатям над болотами, да и шалили на тракте «лихие люди».

Сейчас все это стало преданием. Вдоль бывшего тракта через леса тянется линия узкоколейки. Ее в скором времени будут перешивать на широкую колею. Станций на этой дороге немного. Станции эти больше похожи на лесные склады,— маленький поездок вползает в ущелья из свежих досок, бревен и березовых дров, сложенных штабелями. Пахнет смолой, березовым корьем и белой лесной гвоздикой. Этот запах преследует вас все время и заглушает даже запах угольного дыма из трубы старательного маленького паровоза.

В лесах этих много торфяных болот и озер. Во времена Александра II некий любитель-мелиоратор генерал Жилинский, занимавшийся осушкой Полесских болот, решил

осушить и Мещорскую лесистую низину. Экспедиция Жилинского работала много лет, прорыла в лесах около трехсот осушительных каналов, ухлопала на это огромные деньги, но цели не достигла. Осушенные земли требовали обработки, а обрабатывать их было некому. Население в Мещоре в то время было редкое, да и то почти поголовно болело и пропадало от малярии.

Земли заросли мелколесьем, каналы высохли, и так все это запустение и простояло до революции, когда Ленин заинтересовался огромнейшими торфяными богатствами, лежащими невдалеке от Москвы, в глубине здешних лесов. С тех пор началась их усиленная разработка, увеличивающаяся из года в год.

На правом, высоком и крутом, берегу Оки около села Новоселок есть старинный монастырь с такой колокольней, что, по образному выражению здешних колхозников, с нее «видно половину России». Некогда этот монастырь был крепостью, охранявшею от татар путь по Оке на Москву.

С колокольни этого монастыря виден почти весь наш район. Зрелище это выглядит так: извилистая серебряная полоса Оки, за ней луга, широкие, как море (в этих лугах, как на море, всегда дуют свежие ветры), знаменитые своим травостоем окские луга, великолепный край цветов и озер, вековых ив, диких уток и шиповника. Особенно хорошо это зрелище осенью, когда все луга от горизонта до горизонта покрыты сотнями стогов сена.

За лугами, за старицами — приютом щук и прочей рыбы — видна полоса песков с длинными, типично рязанскими селами (соседнее с нами село Заборье, к примеру, тянется на шесть километров). А за поясом песков стоят стеной во весь размах с севера к югу сосновые мещорские леса.

Но об этих лесах и лугах и о том, что в них сейчас происходит, разговор будет впереди.

2

ЛУГА

В первом письме я писал о том, что, прежде чем углубляться в жизнь того небольшого района Рязанской области, где я сейчас нахожусь, и заняться его сегодняшними

делами, нужно дать читателю некоторое понятие об особенностях этого района.

Я писал о здешней земле, о песках. Но пески занимают сравнительно небольшую площадь земель, хотя и сказываются на характере сельского хозяйства района и даже на климате. На песках он заметно суше и теплее, чем по соседству.

Кроме полосы песков, многие земли лежат здесь под лугами и под сосновым лесом. Главное здешнее богатство — это луга, луга знаменитой, известной по всей России поймы Оки.

По словам знатоков, разливы Оки оставляют па лугах такой же прекрасный ил, как и знаменитые в истории мирового сельского хозяйства нильские разливы в Египте. А если принять в расчет, что в здешних местах пойма Оки раскинута в ширину на семь, а местами и на десять километров и тянется на огромное расстояние вдоль русла реки, то становится совершенно ясно, какое великое значение приобретают эти луга для подмосковного молочного хозяйства и для заготовки сена. Пойма Оки действительно поит молоком Москву, по еще недостаточно. Те вереницы белых автоцистерн с надписью «молоко», что несутся на рассвете в Москву по Рязанскому шоссе,— это только начало будущего молочного потока из наших мест в Москву.

Луга вокруг Солотчи с каждым годом все заметнее, просто на глаз меняются, приобретают совсем иной облик, чем это было недавно, даже в прошлом году.

До революции луга вообще не пахали и ничего на них не сеяли. Собирали первый покос трав, потом, в случае удачного лета, второй покос — отаву — и этим хозяйственное использование лугов и кончалось. И пасли, конечно, на лугах стада.

Никто раньше и не помышлял о том, что на этой плодороднейшей почве можно сеять хлеб и разводить богатые и обширные огороды. Сейчас же большие пространства лугов превращены в поля, их засевают горохом, овсом, просом, а поближе к озерам и старым руслам рек, переплетающим карту лугов причудливой водяной сеткой, разбивают обширные колхозные огороды.

Сначала, конечно, местные мудрецы из тех, что любят предрекать погоду по всяким нелепым приметам и встречать в колья все новое и молодое, сулили гибель лугам из-за распашки.

— Да нешто льзя,— кричали они,— подымать на лугах целину? Никак нельзя! Никак! Полая вода всю верхнюю землю, весь, можно сказать, самый богатый слой смоет, а под ним что? Глина! Вот и вырастут у вас на той глине осот да колючки. Вот и получите вы заместо овса и гороха один шиш!

Слушая этих мудрецов, можно было подумать, что Ока несет свои вешние воды с такой же силой и бурностью, как какой-нибудь горный Терек. На самом же деле течение на разливе слабое и никакой земли оно не уносит, а, наоборот, отлагает на лугах пласты хорошего толстого ила. И из года в год на этом иле все пышнее разрастаются и вызревают и овсы, и горох, и помидоры, и капуста.

Другой разговор о том, что луга кое-где, конечно, стареют и требуют омоложения. Это — явление обычное.

Стареющие луга хорошо заметны на глаз. Трава стоит редко, в ней много сорняков — лопуха, колючек, полыни. Такие луга надо перепахать и засеять благородными травами, вроде клевера. Но вот этой работы пока что в нашем районе не видно.

Есть, конечно, в лугах так называемые семенные заповедные участки, где запрещено пасти скот, чтобы травы после цветения созрели и обсеменили соседние площади. Но этого мало. Местные колхозы налегли на посевы в лугах, несколько пренебрегая самими лугами, надеясь, по закоренелому нашему предрассудку, что «земля свое возьмет» и что «со всем разом не управишься».

Окские луга — особый край земли, очень разнообразный и богатый, хотя на первый взгляд они и производят впечатление зеленых и плоских, даже монотонных равнин. Но это очень обманчивое впечатление. В лугах есть песчаные холмы, дубовые рощицы, много озер с высокими берегами, заросли столетних ив и осокорей, много оврагов, болот, «островов», то есть мест, которые не закрывает полая вода, речных побережий. И все эти места характерны тем, что на каждом из них развивается своя, несколько отличная от соседних участков, растительность.

С давних пор и до наших, советских дней покос в лугах считается здесь всенародным праздником. В первый же день покоса, когда выходят, стрекоча, как исполинские кузнечики, сенокосилки, все луга запестреют от женских нарядных одежд и белых платочков. На покос колхозницы выходят в самых лучших своих платьях, а колхозники — обязательно в новых хороших рубахах.

Все население деревень, вплоть до детишек, уходит в луга.

Валами — от края до края земли — ложится сырое пахучее сено. А когда смечут стога, пойма Оки представляет необычное зрелище, особенно если смотреть на нее с правого, высокого, берега реки. Сколько хватает глаз, от одного горизонта до другого, тонущего в легкой мгле, стоят сотни и тысячи стогов. Это отчасти напоминает фантастический город. Да и вправду ведь,— каждый стог может быть домом для путника, застигнутого в лугах ночью или непогодой. Стоит вырыть в стоге небольшую пещеру, и в ней можно в тепле и сухости спокойно проспать всю самую ненастную и дождливую ночь.

За околицами многих здешних сел раскинуты большие государственные сенозаготовительные пункты. К ним непрерывно тянутся со всех лугов сотни телег с сеном, и зрелище это производит поистине величественное впечатление.

Но здешние луга дают стране не только превосходное сено, овощи, горох, просо и овес и служат пастбищем для хорошего молочного скота. Луга еще дают много лекарственных трав. Сбором их занимаются женщины и главным образом дети. Дети выискивают редчайшие заросли валерьяны или наперстянки в таких нетронутых и глухих углах, где и взрослому человеку трудно прорваться сквозь заросли шиповника или ежевики.

Что касается рыбных богатств района, то об этом нужен разговор серьезный. Из года в год рыбы становится все меньше, да и сама она мельчает. О стерляди на Оке уже нет и помину, а лет десять назад ее еще ловили в изобилии. Сами колхозники жалуются, что вода нынче стала «мертвая»,— там, где два года назад рыба била с пушечным грохотом, теперь тишина и только лягушки заводят свои стонущие песни перед дождем.

Рыбные богатства никак не охраняются. Обращаются с рыбой варварски и хищнически. Ее глушат толом, травят борной кислотой, а к тому же Воскресенский комбинат спускает в Москву-реку свои ядовитые отбросные воды и переводит рыбу не только в низовьях Москвы-реки, но и в Оке и во всех сообщающихся с Окой озерах и старицах. Уже не раз за последние годы мертвая рыба плыла по Оке целыми сутками.

По существу, величайшее это государственное преступление никого не заботит и не трогает. Некоторые местные

власти совершенно к этому равнодушны, быть может, потому, что сами занимаются хищническим истреблением рыбы.

Недавно я попал на луговое озеро со странным названием «Промоина». Это глубокое и прохладное озеро всегда славилось крупной рыбой, особенно лещами. Я вышел к нему и сначала ничего не понял — все берега были опоясаны широкой серебряной лентой. Я пригляделся. Это была лента из тысяч мертвых мальков, убитых толом.

Самое омерзительное в этом хищничестве заключается в том, что браконьер, взорвав тол, соберет две-три крупные рыбы, остальных все равно не достанет, но уничтожит при этом всех мальков и тем самым уничтожит одним ударом все рыбное население озера на несколько лет вперед.

При встрече с одним из представителей местной власти я рассказал ему об этом случае на Промоине. Я был возмущен, он же только что-то неопределенно хмыкал и отводил глаза, неохотно соглашаясь, что это, конечно, безобразие.

При разговоре нашем присутствовал паромщик с Прорвы Димитрий. Когда представитель власти ушел, Димитрий, озираясь, сказал мне вполголоса:

— Вы, Константин Егорыч, полегче бы разговаривали.

— Почему?

— Да как вам сказать. Ведь это он сам рыбу-то поглушил на Промоине. Вот те и заботливый хозяин. Нешто я могу быть к нему теперь с доверием. Да никак!

Примеров хищнического и нерадивого отношения к природным богатствам много. Всего и не расскажешь. Но характерна тенденция некоторых районных работников считать не стоящим никакого внимания все то, что не дает немедленного и броского результата, все то, что нельзя вставить в план в качестве «показателя» успеха и хорошей работы.

Отсюда такие явления, как гибель в лугах на берегу широкой реки Прорвы великолепной рощи вековых ив и осокорей, приводившей в изумление наших ученых-ботаников мощью и разнообразием деревьев. Рощу эту свели в два-три года начисто, и свели при этом хитро. Сердцевину ив нарочно поджигали, она выгорала, дерево или сохло, или сваливалось при первом сильном ветре, и тогда хищники с полным законным основанием рубили его на дрова. Все попытки спасти эту рощу ни к чему не привели и

были встречены местными властями как проявление донкихотства. «Подумаешь, большая важность. У нас есть задачи повыше. Нашли о чем заботиться!»

Как будто забота о красоте нашей земли, о целебном ее воздухе, о ее необыкновенном пейзаже, сыгравшем такую великую роль в развитии нашей культуры,— все это «плевое дело», не заслуживающее внимания солидных и весьма практически настроенных работников.

Я думаю, что это не так и что недалеко то время, когда мы будем охранять природу с такой же тщательностью, с какой работаем сейчас над повышением производительных сил нашей земли.

3

ЛЕСА

Недавно я узнал, что по решению Москвы наш район превращается в район молочного животноводства. Это ему, собственно говоря, и предписано от природы. Значит, луга снова завоюют свое прежнее первостепенное значение.

Удивительное все же наше время, идущее наравне с человеческой мыслью. Присущая ему точность и быстрота решений и выполнения задуманного производит впечатление происходящего на наших глазах чуда, почти сказки. Примеров этому множество. Достаточно вспомнить о насаждении лесных полос или о создании у нас в стране сухих и влажных субтропиков.

Если вдуматься в сущность наших народных сказок, то обнаружится, что одним из самых сильных элементов чудесного в представлении простого русского человека и будет эта быстрота свершения. «Сказано — сделано», «Он и оглянуться не успел».

Разговор о сказке в некоторой мере оказался кстати и для этого письма, в котором я хочу рассказать о втором богатстве Солотчинского района — о здешних лесах. Называются они Мещорскими.

Леса эти — некогда дремучие и непроходимые, составлявшие часть «великого лесного пояса», замыкавшего южные степи,— сохранили кое-где и поныне свой дремучий характер. Особенно по берегам тихо льющейся чистейшей реки Пры, где заповедные сосновые боры почти не затронуты человеком.

Леса эти разрослись на рудой песчаной земле, а, как известно, на такой земле вырастают сосны, удивительные по крепости древесины и по высоте,— те сосны, которые принято называть «корабельными».

Большинство здешних лесов — это светлые сосновые боры. Смешанного леса мало. Среди лесов раскинуты обширные «мшары» — сухие, заросшие мхами и невысокой осиной и березой болота, остатки древних ледниковых озер. Путь по мшарам всегда приводит к озеру. Озер в лесах много. Мещорский край — это своего рода край озерный.

В коротком письме невозможно рассказать о здешней лесной красоте, о блеске озер, целительном воздухе, зарослях дикой малины, о журавлиных пущах и волчьих дебрях.

Мещорские леса, по существу, леса подмосковные. Как хорошо сказала одна здешняя старуха колхозница, они «дышут па Москву издаля».

Это хорошие слова. Рядом с Москвой лежит, как сказал бы Пришвин, исполинская кладовая солнца и воздуха, и следовало бы сохранить ее и сберечь.

Перед войной, примерно в 1940 году, был уже утвержден проект превращения Мещорских лесов в государственный лесной заповедник. Но помешала война. Мне кажется, что следует, пока не поздно, оживить этот проект и взять здешние леса под строгую и тщательную охрану.

С каждым годом леса редеют. Обширные лысины песчаных унылых пустошей вклиниваются в недавно еще шумный и свежий разлив хвойной зелени. Идут, конечно, большие заготовки леса на строительный материал и просто на дрова. Кроме того, здешние леса страдают от пожаров.

За несколько лет до войны было опубликовано чрезвычайно важное правительственное постановление, запрещающее рубить лес по берегам наших больших рек, в частности по берегам Оки. Ширина запретной полосы была намечена в двадцать километров по обе стороны реки.

На следующий год после этого постановления я был в лесах всего в восьми — десяти километрах от Оки и увидел картину сплошной и довольно безобразно производившейся рубки.

В лесном хозяйстве нужно навести окончательный порядок. Я знаю здешних лесных работников. Я знаю, как они бьются, чтобы разрастались леса, чтобы спасти каждое дерево, и как у них иногда опускаются руки, когда

вся их забота о лесе, о лесонасаждениях натыкается на самоуправство некоторых лесозаготовителей.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу сказать, раз уж начался серьезный разговор об охране лесов. Вернее, не обстоятельство, а простой вопрос. Пусть он не покажется наивным.

Следует ли ради одного хорошего дела губить другое хорошее дело? И все из-за той же пресловутой «линии наименьшего сопротивления».

Пишу я это в связи хотя бы с тем, что наш районный центр решено превратить в маленький, но образцовый город. Идея прекрасная. Но за счет чего она будет частично осуществлена? За счет соседних лесов, конечно.

Уже отводятся массивы соседнего леса для вырубки на нужды этого строительства. Характерно, что в Солотче предполагается разбить большой парк культуры и отдыха. Один зеленый массив (лес) уничтожается, а рядом другой массив (парк) насаждается. Есть ли в этом большой смысл,— я не знаю. Во всяком случае, это дело требует проверки и более бережного отношения к лесам. Для чего же сажают леса на востоке и в ближайших от нашего района местах, чтобы вырубать их там, где они давно существуют, да еще на песках?

Я не думаю, чтобы авторам этого проекта улыбалось жить в новом прекрасном городке, засыпанном летучими песками. А они неизбежно «оживут» и двинутся на поля, как только будет сведен лес и нарушен почвенный покров.

Нельзя строить свою «местную политику» без соответствия с задачами всей страны, несколько вразрез с великими и поистине гениальными планами воссоздания лесов. Нельзя терять в своей самой повседневной работе широких перспектив.

Беречь леса, как величайшее народное достояние и как хранителей урожаев,— наш общий долг. Этим и вызваны, может быть несколько резковатые, мои слова. Но, как говорят здешние колхозники, «первая брань лучше последней».

4

СЛОВО СЕРДЦА

Здесь, в лесной и луговой глубине России, особенно ясным становится теперешнее «лицо» нашей страны. Быть может, потому, что отпадает городская занятость и тороп-

ливость, есть время вдуматься во все происходящее, простые истины приобретают особую выпуклость и убедительность. С детских лет, например, все мы слышали выражение о том, что в далеком будущем, когда наступят счастливые времена человеческой истории, люди наконец «перекуют мечи на орала».

В этих словах была заложена вековечная тоска трудового человека по своему мирному и прекрасному труду. Именно тоска, так как в прошлом никакой надежды на то, что мечи будут действительно перекованы на плуги, не было и быть не могло. Просто потому, что не было той могучей силы, которая объединила бы стремление всех народов к миру и сделала бы это движение за мир совершенно реальным.

Сейчас такая сила есть. Она называется советским строем и в сознании всех людей доброй воли существует как четыре сверкающих буквы — СССР.

Движение за мир захватило миллионы наших людей, миллионы колхозников. Небольшая часть этой всенародной массы обитает и работает здесь, в Рязанской стороне, но по этой части можно судить о настроении всей страны. Как в капле воды отражается солнце, так на небольшом этом клочке необъятной советской земли отражается умонастроение всего нашего народа.

Недавно здесь в сельском клубе было собрание в защиту мира.

На этом собрании я заметил одно характерное и хорошее свойство большинства деревенских ораторов. Они говорят очень конкретно, точно, исходя из фактов своей жизни, своего опыта войны.

Язык их по большей части своеобразен, образен, доходчив. О войне мужчины говорили как фронтовики, как солдаты, вынесшие на своих плечах всю ее тягость, а женщины как люди, хлебнувшие здесь в отсутствие мужей достаточно горя и совершившие великую работу для обороны своей родимой стороны,— говорили от сердца и со знанием дела. И лишних слов не тратили. Потому что в совершенно правильном понимании колхозника слово — это почти то же самое, что семя пшеницы, или гвоздь, или рубанок, то есть нечто такое, что существует в мире как действенное и созидательное начало.

Общая мысль всех этих разнообразных по форме речей была одна: «Никто не смеет мешать нам трудиться у себя в стране не только над ее процветанием, но и над тем,

чтобы именно отсюда, из нашей страны, исходила надежда для всего трудящегося человечества на мирную и справедливую жизнь».

А когда седой старичок-пасечник из соседней деревни сказал: «Мы — человеки доброй воли. У нас нет злого умысла за душой, и в том наша главная сила»,— то собравшиеся почувствовали, что эти слова полностью выражают их сокровенные думы.

Я слушал речи и смотрел в окно. Вечер спускался на луга и на отдаленный высокий берег Оки. Только что прошла гроза, и небо было в громадах уплывающих — то розовых, то пепельных, то синих — облаков.

Слышно было, как колхозницы, собравшись около брода через реку, сзывали из лугов медлительных телят. Шумели мокрой листвой вязы, ворчал уходящий гром. Где-то за оградой пели девушки:

Я люблю подмосковные рощи
И мосты над твоею рекой.
Я люблю твою Красную площадь
И кремлевских курантов бой...

На Оке бодро и требовательно прокричал буксирный пароход. На том берегу Оки — в Новоселках, в Константинове — зажглись прозрачные нити электрических огней.

И во всем этом было такое ощущение мира, спокойного труда, устойчивой осмысленной жизни, что с этим ощущением пришла твердая вера в то, что мы не дадим в обиду этот мир и никому не позволим поднять руку на труд и счастье всего передового и трудящегося человечества.

1950

ЗАПОВЕДНЫЕ ЗЕМЛИ И ВОДЫ

Прежде чем писать о недавно вышедшем двухтомном труде «Заповедники СССР», я хочу рассказать об одном разговоре со старым колхозником в Мещорском крае вблизи Москвы.

Почти каждое лето я бываю в этом лесном краю, в той его части, что лежит между большим изгибом Оки и Прой. Места эти — давно знакомые, исхоженные вдоль и поперек и удивительные своей подлинно русской прелестью, простой и даже как будто застенчивой,

В Мещорском крае у меня, как и у каждого старожила, много приятелей — шустрых мальчишек, пожилых колхозников и дремучих стариков. Старики не могут уже, понятно, ни косить, ни пахать и потому вырабатывают свои трудодни, сидя по шалашам да сторожа огороды или перегоняя паромы через тихие и глубокие старицы Оки. Бывает, за весь день перевезет такой старик пять-шесть человек да одну телегу, а разговоров по этому случаю хватает ему на целый день.

Если хотите узнать все колхозные новости, то идите на паром. Там уже наверняка всё знают, потому что каждый прохожий человек, перед тем как переправляться, обязательно посидит на лавочке около шалаша, покурит и расскажет все, что ему известно.

Самый осведомленный человек среди перевозчиков — это Тихон Родионович. Тихон Родионович — человек тихий, рассудительный и, как он сам о себе говорит, любит «предаваться некоторым мечтаниям». А в чем эти его мечтания — будет видно из дальнейшего рассказа.

Однажды летним утром я пришел на Старицу к Тихону Родионовичу, чтобы переправиться на луговой берег и идти на дальние озера, на так называемые Хвощи.

Утро было свежее, росистое. Едва трепетали светлыми листьями в синеве вершины осокорей. Но отражались осокоревые листья в воде Старицы таким белым блеском, будто на дне ее были навалены и шевелились от течения горы серебряных монет.

Я сел покурить около шалаша, и тут Тихон Родионович сказал мне:

— Говорят, в московских газетах про наш край пропечатали. Будто будет здесь заведена охрана.

— Какая охрана?

— Разнообразная,— ответил Тихон Родионович.— И по существу.

— Ты не темни, Тихон Родионович,— сказал я.— Выкладывай все, что знаешь.

— А зачем мне чистое дело темнить! — возразил Тихон Родионович.— Места у нас просторные, вольные. И даже, я бы сказал, несколько замысловатые. Взять, к примеру, ивы по Старице. Тут один ученый человек приезжал, так насчитал тех ив сорок сортов. А синий шпорник у Птичьего берега вымахал выше моего роста. Как лес, честное слово! И не подойдешь к нему нипочем,— в нем пчела так гудит, что за километр страшно. А боры! Ведь это же что

такое! Был я намедни на Лопуховском озере в лесах, ходил к племяннику на кордон. Замешкался дома, иду лесами уже к вечеру, и, понимаешь, неохота мне до кордона дойти. Сяду на просеке, посижу, покурю и послухаю. И про себя определяю. Вот глухарь с ветки сорвался, захлопал крыльями. А потом на озере журавль прокричал. И птаха какая-то непонятная посвистывает, будто меня к гнезду подзывает: «Подойди, мол, Тихон Родионович, глянь, как я гнездо выложила мхом. Это ли не работа?» А потом слышу — чегой-то шуршит у самых моих ног. Да так-то тихо. Шорхнет и затаится. Потом опять шорхнет и затаится. Я вгляделся,— гриб-маслюк из колеи вылез и веточку сухую сосновую раздвигает. Мешает она ему, видишь ли, глядеть на белый свет. Хара́ктерный гриб, настойчивый. Ты на него камень положи, так он тот камень обязательно сдвинет. Откуда только сила берется? Слушаю это я и поглядываю по сторонам. И думаю: дурак я косматый! Дожил до седины, а и малой доли не ведаю этих трав, что растут круг меня на вытянутую руку. Одну только бруснику и знаю. Да волчье лыко или, скажем, колоколец лесной. Погляжу на небо над просекой — и еще пуще себя ругаю. Зеленеет оно, как река, распростерлось над лесной глухоманью, над лесной тишью, и звезды в нем светятся. А я и прозвания тех звезд и происхождения не знаю.

— А охрана тут при чем? — спросил я.

— Погодь! Сейчас расскажу. Без толку не торопись. Так вот, вышел, говорят, закон об охране здешних вод, лесов, ив, всяких трав и самого воздуха. Чтобы существовало все это в полной неприкосновенности. Чтобы зверь и всякая птица жили тут вольно, без оглядки. А то их бьют и бьют,— податься некуда.

— А воздух к чему охранять? — спросил я.

— Как это к чему? — рассердился Тихон Родионович.— Наш край Москву обдувает своим легким воздухом, смолистым, луговым. Дышит и дышит на Москву, на столицу, издаля. Это, милый, великое дело — дать рабочему человеку целебное дыхание. Далеко надо глядеть в наше время. Следить, чтобы не скудела земля. Беречь надо всякую сущность, будь то рыба, или кряква, или дуб вековой. А то этим добром расшвыряться недолго, а потом иди ищи ветра в поле.

Я долго не мог выяснить, откуда пошел по всему краю слух об охране здешней природы, пока не нашел в старом

номере одной из московских газет небольшую заметку, набранную петитом. В ней говорилось, что в Мещорском крае предполагается создать государственный природный заповедник.

Тотчас вокруг этой заметки начали нарастать, как снежный ком, легенды и рассказы. В каждую такую легенду или рассказ колхозники вкладывали свое понимание природы, свое представление о ней как о могучем источнике жизни и красоты.

Потом мне привелось быть в нескольких заповедниках, в частности в Воронежском бобровом заповеднике на реке Усмани.

Я видел поистине героическую и самоотверженную работу людей, призванных оберегать природу и сохранить в нетронутом виде великолепные и характерные ландшафты заповедников Советского Союза.

Со знаменательного дня 16 сентября 1921 года, когда Владимир Ильич Ленин подписал декрет об охране памятников природы, за тридцать с небольшим лет в Советском Союзе создано много заповедников.

Есть заповедники, занимающие огромные площади (например, Сихотэ-Алинский в Приморье, охватывающий около двух миллионов гектаров земли), есть заповедники меньшие по своей площади, но каждый из них обладает своими глубоко интересными особенностями.

Книга «Заповедники СССР», по существу, первый большой труд об этих заповедниках. Тем более досадно, что эта прекрасно изданная книга выпущена таким маленьким тиражом (всего 10 000 экз.), тогда как она должна стать настольной книгой для каждого человека, любящего свою страну.

Значение этой книги особенно велико в наше время, в годы исполинских работ по пересозданию природы, когда человек восстанавливает естественные силы земли и перекраивает устаревшую карту России.

К концу XIX века опустошение земли уже приобрело угрожающие размеры. К этому времени на земном шаре было начисто и необратимо истреблено свыше двухсот видов животных.

Огромные величественные леса — хранители влаги — беспощадно уничтожались. Мелели и высыхали реки, портился климат, оскудевал и погибал животный мир. Полая

и дождевая вода смывала тысячи гектаров плодородной земли, лишенной растительного покрова. Ветры подымали на воздух целые материки, превращали их в тучи черной пыли и топили ее в океанах.

Началось грозное наступление сыпучих песков. Суховей сжигал из года в год беззащитную землю. Солнце переставало быть в этих умирающих землях благословением. Оно стало проклятием. Оно висело в мутном небе, как кровавый злой глаз коршуна, и изливало тяжелый убивающий жар — жар засухи и безводья.

Карл Маркс в своем письме к Ф. Энгельсу 25 марта 1868 года писал, что «...культура,— если она развивается стихийно, а не *направляется сознательно*... оставляет после себя пустыню...»

Дыхание пустыни коснулось всех областей земли. Алчная и злая воля капиталистов и их правительств вела человечество к гибели, уничтожая природу — основу жизни на земле.

Впервые планомерная и грандиозная по своему размаху борьба за сохранение и пересоздание природы началась у нас в Советском Союзе.

Мы, выполняя великий план преобразования природы нашей родины, сажаем огромные массивы лесов, меняем климат. Мы создаем внутри страны моря, орошаем засушливые степи, направляем в них мощные водные потоки, бесплодно уносившие в течение тысячелетий свои воды в океан.

В связи с осуществлением этих грандиозных планов особое значение приобретают заповедники. Теперь это не просто заповедные земли и воды в буквальном смысле слова,— заповедники становятся настоящими лабораториями природы, в которых люди науки решают крупные проблемы хозяйственного освоения и преобразования природы.

Из приведенной выше мысли Карла Маркса мы, советские люди, сделали правильный вывод; культура, направляемая сознанием человека, уничтожает пустыню и создает плодоносные области на месте недавних пустошей и перегоревших от засухи степей.

В двух томах книги даны описания почти всех заповедников СССР. Я лишен возможности перечислить здесь все те россыпи познавательного материала, которым насыщены эти два тома. Рассказать об этом трудно. Эту книгу должен прочесть каждый, кто любит родную природу.

Она дает не только представление о заповедниках и большой научной работе, ведущейся в них, но и заражает читателя той, если так можно выразиться, поэзией познания, поэзией научной деятельности, которая особенно ясно ощущается в работе натуралистов.

Но все же стоит, хотя бы вкратце, остановиться на некоторых заповедниках. Они раскинуты по всему пространству Союза,— от северного Кандалакшского заповедника до Астраханского заповедника в дельте Волги, где цветут лотосы, от Беловежской пущи с ее зубрами до Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье.

По мере чтения книги о заповедниках все сильнее начинаешь понимать, как удивителен, богат и великолепен Советский Союз. Мы знаем писателей, переносивших действие своих рассказов в выдуманные страны. Но какими жалкими кажутся эти вымыслы перед картиной подлинной русской природы.

Читая книгу о заповедниках, вы как бы совершаете увлекательное путешествие. Вы узнаете о десятках мощных гейзеров на Камчатке, открытых в 1941 году. Иные из них бьют на высоту пятидесяти метров струей в три метра толщиной и покрывают все окрестности слоем розоватого и жемчужного кремнезема. Узнаете о горячих реках, где среди жестокой зимы не умирают разноцветные причудливые водоросли, о лежбищах огромных сивучей — морских львов, о светлых лесах из каменной березы, похожих на яблоневые сады, где высокая трава закрывает подчас кроны деревьев, о соболях, несущихся толпами к столовой для работников заповедника, едва они заслышат отдаленный звонок к обеду.

Вы узнаете о снежных баранах, о жизни выдр, маралов и бобров, о леопардах Приморского края, о темнохвойных «плащах» лесов заповедников на Урале, о залежах драгоценных камней в минералогическом Ильменском заповеднике и о молодых тенистых лесных полосах-дубравах в Стрелецкой степи, которые вырастили и выращивают сотрудники Центрально-Черноземного заповедника, о тех больших работах по изучению и преобразованию природы, которые ведутся во многих заповедниках.

Среди заповедников совершенно особое место занимает Дарвинский заповедник на берегах Рыбинского моря. Обычно заповедники устраиваются в местах, где еще сохранилась девственная природа. Дарвинский заповедник,

наоборот, открыт там, где природа в корне изменена человеком. Он создан для того, чтобы изучить влияние огромного по размаху и последствиям вмешательства человека в естественную жизнь природы.

Большинство очерков о заповедниках написано простым и ясным языком, а иные очерки в этом смысле подымаются до подлинной поэтичности.

Выход книги о заповедниках — большой и ценный вклад в дело изучения Советского Союза. Книга о заповедниках с полным правом может быть названа подлинно патриотической. Она читается как увлекательный научный роман и дает прекрасное представление о русской природе, пленяющей наши сердца своей красотой и силой.

1952

<ЗА КРАСОТУ РОДНОЙ ЗЕМЛИ>

Мы неопровержимо доказали свою смелость в создании новых форм жизни.

Мы создаем будущее сейчас, сегодня, а не только говорим о нем и представляем его в туманном отдалении.

Итак, разговор будет идти о борьбе за наше будущее, но в тесной связи с одним печальным явлением сегодняшнего дня — безнаказанным опустошением нашей удивительной в своей прелести русской природы. Нужно твердо остановить тех, кто, как сказал один старый колхозник, «в ширь и в край мордует русскую землю».

Мы караем за хулиганство, за убийство людей, но порой равнодушны к убийству природы — той природы, что является величайшей силой в моральном и эстетическом развитии народа.

Русская литература, музыка, живопись, вся наша великолепная культура, наконец, история — все это неразрывно срослось с красотой русской земли. Она наложила отпечаток на формирование характера нашего народа — великодушного и талантливого, простого и мужественного.

Нет для нашего сердца милее края, чем Россия, чем ее свежие леса и перелески, поля и заливные луга, тихие реки, звон родников и светлые зори над росистыми зарослями...

Опустошитель земли — прежде всего явный хулиган, жестокий собственник по своей внутренней сути. В редком случае — это просто дурак.

Но прежде чем говорить об опустошителе, нужно сказать несколько слов о пособниках этого хищника и дикаря — о «прекраснодушных» людях, старающихся оправдать или не замечать это зло из-за боязни «вынести сор из избы».

Пусть сор гниет, пусть распространяет зловоние и миазмы, пусть грозит болезнями,— лишь бы не узнали и не осудили соседи, лишь бы все было шито-крыто. Вся отталкивающая житейская философия мещанства выражена в этой поговорке, в этой заповеди труса и лицемера.

Как можно бороться за красоту родной земли, за ее процветание, если самые вопиющие факты, приведенные вами, будут вызывать наигранную, недоверчивую усмешку и готовое возражение: «Ну, что вы! Не надо преувеличивать», или: «Ну и что из этого? Что же здесь особенного».

Конечно, что особенного в том, что закон, запрещающий сводить леса по берегам рек, сплошь да рядом нарушается при потворстве местных властей?

Что особенного в том, что из-за этого мелеют и иссякают реки, бесплодной становится земля, затягиваются илом водохранилища?

Что особенного в том, что леса вырубаются подчас хищнически и в большем количестве, чем об этом оповещают ведомственные отчеты?

Что особенного в том, что любое, даже маловажное учреждение если дорвется до строительства, то строит на триста тысяч рублей, а пакостит вокруг землю на три миллиона?

Земля у нас принадлежит всему народу, она — общенародное достояние. Мы все — хозяева этой земли. Мы вправе поднять свой голос против опустошителей земли и ударить их по рукам.

Это — не преувеличение и не пустые слова. Недаром за последнее время редакции газет получают множество гневных писем по этому поводу со всех концов страны.

Достаточно даже наспех, нигде подолгу не задерживаясь, проехать по стране, чтобы убедиться, что есть немало мест, где точит землю, как шашель точит дерево, распоясавшийся опустошитель.

За примерами ходить недалеко.

Этим летом я приехал в Тарусу — тихий городок на Оке. За Тарусой давно установилась слава одного из самых живописных мест Средней России. Густые смешанные леса, горы, звонкие речушки, соловьиные рощи, широкие дали, Ока и множество прекрасных и неожиданных аспектов русской природы издавна привлекали в Тарусу художников. Таруса стала приютом многих мастеров нашей живописи. Здесь жили и работали Поленов и Борисов-Мусатов. Здесь работали и работают художники Крымов, Ватагин и многие другие.

Таруса стала для нас тем же, чем для развития французской живописи деревушка Барбизон. Таруса вошла в историю нашего искусства как место плодотворного вдохновения.

Казалось бы, что красота здешней природы должна быть неприкосновенной. На деле же все обстоит иначе.

Леса по берегам Оки между Серпуховом и Тарусой вырублены. Оставлена, очевидно, только для вида своего рода лесная ширма — узкая полоска деревьев, за которой сквозят пустоши. На протяжении двадцати с лишним километров между Серпуховом и Тарусой перерытые и буквально поставленные дыбом берега Оки белеют огромными мертвыми осыпями карьеров каменоломен.

Раньше камень здесь добывали закрытым способом — под землей. Но его легче брать открытым способом, взрывая толом и уродуя неповторимые по красоте окские берега и уничтожая последние остатки прибрежных лесов.

Ясно, что открытый способ добычи камня выгоднее, чем закрытый. Но есть вещи, перед которыми выгода и «маленькая польза» должны отступить.

Кто возместит нам необратимую потерю прекрасного пейзажа, потерю красоты? Ее ведь не прикипешь на счетах и не занесешь в бухгалтерские балансы. Значение ее для живой души человеческой в тысячи раз больше, чем скрупулезная экономия.

Только люди, не помнящие своего духовного родства, люди, тупо равнодушные к культуре своей страны, к ее прошлому, настоящему и будущему, могут так безжалостно уничтожать ту высокую культурную ценность, что несут в себе природа, пейзаж и его красота.

В Тарусе — карьер против города, почти в городской черте, на мысе над Окой. Там был недавно чудесный сосновый лес. Леса этого нет и в помине. Весь день го-

родок сотрясается от оглушительных взрывов. Дребезжат в домах стекла, трескается и осыпается штукатурка. Но покой горожан не стоит, конечно, внимания. Камень важнее.

Самое удивительное и неправдоподобное заключается в том, что этим делом занимается высокое учреждение, призванное охранять природу,— Академия наук СССР. Карьер находится в ведении подсобной организации при академии — «Центракадемстроя».

Если даже Академия наук приложила руку к обезображиванию нашей земли, то что говорить о некоторых других учреждениях и организациях...

Я много дал бы за то, чтобы узнать имя того администратора, который приказал вырубить начисто на дрова великолепные вековые березы. Ими была в конце XVIII века обсажена в четыре ряда вся дорога от Калуги до Тарусы. До сих пор жители Тарусы и окрестные колхозники почти со слезами говорят об этом безобразии.

Для высоковольтной линии, проходящей вблизи Тарусы, вырублена в лесах просека, шире, чем Садовые улицы в Москве. Объясняется ли это необходимостью? Не знаю. Но с точки зрения здравого смысла никакой надобности в такой широкой просеке нет...

Вот всего два-три факта, касающиеся даже не целого маленького района нашей страны, а только небольшой части этого района. Какой же мартиролог уродования природы можно составить по всей стране! Сколько можно назвать рек или озер, где у всех на глазах глушат рыбу (уничтожая ради одной-двух крупных рыб тысячи мальков), травят ее ядами и ловят запрещенными способами. Рыбы становится все меньше — браконьер пронырлив и деятелен и проникает в самые глухие и заповедные углы.

Почти во всех случаях, когда мне приходилось сталкиваться с глушением рыбы, этим занимались представители местной власти, именно те люди, которым доверена охрана рыбных богатств.

Браконьерство, рубка деревьев, выламывание молодых посадок, уничтожение рыбы, отравление рек сточными водами фабрик и заводов, свинское загаживание природы, особенно пригородных парков, вытаптывание лугов — всему этому пора положить предел.

Природу надо заботливо охранять, мы же только делаем попытки, чтобы ее спасти.

Я думаю, нужен точный и строгий закон об охране земли, лесов, вод и самого воздуха нашей страны, ее животного и растительного мира,— закон о том, что всяческое уродование природы, уничтожение ее красоты и бессмысленное ее опустошение приравниваются к государственному преступлению. Нужно воспитывать у молодежи любовь и уважение к природе. Нужно предавать огласке все случаи поругания природы. Нужно карать за них невзирая на лица.

Нужно всеобщее усилие к тому, чтобы оградить нашу природу от разорения и обезображивания. Красота земли должна быть одним из могучих факторов при воспитании нового человека. Наша природа должна расцвести для новых времен во всем своем блеске и великолепии.

1955

ПИСЬМО ИЗ ТАРУСЫ

Есть у нас в стране много маленьких городов. В прежние времена их называли захолустными — все эти Новосили, Сапожки, Хвалынски и Тарусы. Отзывались о них пренебрежительно («медвежьи углы», «сонное царство», «стоячее болото») или, в лучшем случае, с некоторым снисходительным умилением перед их живописной провинциальностью — перед домишками с пылающей на окнах геранью, водовозами, церквушками, вековыми дуплистыми ивами и заглохшими садами, где буйно разрастались крапива и лебеда.

Жизнь в этих городах была большей частью действительно сонная, скопидомная и незаметная. Трудно было подчас понять, чем занимаются и как прозябают их обитатели.

Сейчас почти все эти города объявлены районными и стали центрами сельскохозяйственной жизни прилегающей к ним округи. Но несколько пренебрежительное отношение к ним существует и поныне.

Все, что будет рассказано ниже, относится к городу Тарусе Калужской области. Я беру этот город в качестве типического примера.

Таких городов, не нашедших еще своего настоящего места в нашей действительности, у нас немало. Живут эти города на крохи из «области», как бедные родствен-

ники, мыкаются, латают дыру на дыре и представляют собой грустное зрелище ничем не оправданной заброшенности.

А между тем у каждого из этих городов есть возможности как для своего благосостояния и расцвета, так и для того, чтобы внести долю в общегосударственную жизнь.

Чем объяснить непонятное безразличие к этим городам? Прежде всего леностью мысли и незнанием местных возможностей, вернее, пренебрежением этими возможностями во имя погони за журавлем в небе. А «журавль» этот для большинства областных и районных руководителей есть мечта о превращении каждого такого городка в могучий индустриальный узел, независимо от того, нужно это или нет и есть ли для этого необходимые предпосылки.

Руководители таких городов страстно мечтают о том, чтобы у них обязательно возникли большие промышленные предприятия, и полагают, что в этом одном и заключается смысл существования малых городов.

Мечтают они об индустриализации и добиваются ее не всегда по доброй воле. К этому их понуждают «вышестоящие товарищи» из области, а иногда из Москвы. Попросту эти вышестоящие товарищи не дают малым городам тех денег, которые необходимы им до зарезу по здравому хозяйственному смыслу. Не дают на том основании, что города эти лишены промышленного значения и потому как бы и вовсе не нужны.

Разговор всегда примерно один и тот же: «Если бы у вас были заводы или другие какие-нибудь предприятия, тогда дело другое. Тогда и были бы для вас молочные реки с кисельными берегами. А что вы из себя представляете? Что? Только картошкой и заняты. На что вам лишние деньги! Проживете и так, не помрете».

Я убежден, хотя бы на основании своего небольшого опыта жизни в таких городах, что почти каждый из них обладает скрытыми от скучного и нерадивого глаза возможностями. И именно в этих скрытых возможностях и коренится значение каждого города в общей жизни страны и в ее экономике. Нужно только эти возможности вскрыть, вытащить из-под спуда, открыть в нашей стране сотни существующих и неизвестных маленьких Америк — вот этих самых районных городов.

Попытаюсь сделать это по отношению к Тарусе.

Городок этот принадлежит сейчас к Калужской области (после того как его перебрасывали то в Тульскую, то в Московскую). Стоит он на высоких горах над Окой и над удивительными по своей широте и прелести луговыми и лесными заокскими далями.

У Тарусы есть своя слава. Издавна она была известна, с одной стороны, своими базарами, обилием хлеба, овощей и фруктов, яиц и битой птицы, с другой — красотой как самого города, так и его окрестностей. Эта вторая слава была сильнее первой.

Она была вполне заслуженной. Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу. В течение многих лет Таруса была как бы заповедником этого удивительного по своей лирической силе, разнообразию и мягкости ландшафта.

Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, здесь живут Крымов, Ватагин и многие другие крупные наши художники. Сюда каждое лето приезжает на практику молодежь из московских художественных институтов.

За художниками потянулись писатели и ученые, и Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки.

Из этих двух слагаемых — сельского хозяйства и природной красоты — и должен быть определен, как принято выражаться, «профиль» (а говоря по-русски, «облик») будущей Тарусы, пути ее развития и благоустройства.

Город нельзя оторвать от колхозной жизни. Он врос в нее всеми своими корнями. В Тарусском районе девятнадцать довольно мощных колхозов, но работа в этих колхозах поневоле происходит так, будто у нас нет никаких передовых методов в этом деле. Колхозы не электрифицированы.

Доказывать необходимость электрификации колхозов, конечно, нелепо, но все же я приведу маленький пример. Каждая доярка в колхозе, выдаивающая десять коров, может работать не больше пяти лет. После этого срока руки у нее слабеют, и она выходит из строя. Нужна электрическая дойка, но ее нет, так как нет энергии.

Рядом с Тарусой проходят три высоковольтные линии, одна даже в черте города, но никакими силами не удается

добиться постройки подстанции, чтобы дать ток колхозам и городу. На все хлопоты, домогательства и просьбы, на все бесспорные доказательства, что при электрификации колхозы Тарусского района легко добьются прекрасных урожаев и удоев и смогут, кроме того, начать переработку сельскохозяйственных продуктов на масло, сыр, консервы и прочее, Тарусе отвечают решительным отказом с той же вечной ссылкой, что у Тарусы, мол, нет крупных промышленных предприятий и потому электрическая энергия ей не нужна.

Не такое уж большое дело — постройка подстанции, а с ним бьются и мучаются уже несколько лет. В конце концов у людей опускаются руки и появляется мысль, что бороться за подстанцию, очевидно, бесполезно и бессмысленно.

Впечатление остается такое, что эта борьба за электрификацию района считается «в верхах» чистым донкихотством.

В самом городе работает жалкая электростанция, так называемая «тарахтелка», дающая ток только шесть часов в сутки, и то по неслыханно дорогой цене: два рубля четырнадцать копеек за киловатт-час.

В результате каждая организация заводит свою «карманную» электростанцию. Их в Тарусе набралась уже добрая дюжина, и они распыляют и сосут каждая сама по себе множество государственных средств.

Расцвет сельского хозяйства в районе немыслим без дорог, а их, по существу, нет. Вернее, они в таком ужасающем состоянии, что стали не средством связи между городом и колхозами, а средством (особенно осенью, зимой и весной) полного разобщения.

Все время приходит на память приобретшая уже более чем столетнюю давность мечта Пушкина: «Авось дороги нам исправят». Нет, не исправили и не исправляют.

На приведение дорог в порядок Таруса просит гроши — всего триста тысяч рублей. Ей же дают семьдесят тысяч. На эти деньги можно только кое-как залатать единственную связь Тарусы с миром (если не считать летнего сообщения по Оке) — дорогу из Тарусы в Серпухов. На ней ежегодно ломается столько машин и тратится впустую столько человеческой энергии, что потери от этого превышают, конечно, стоимость новой дороги.

Все это на языке бескрылых работников называется «разумным хозяйствованием», а на языке простых и нор-

мальных людей — глупостью (скажем мягче — недомыслием), граничащей подчас с преступлением.

Электричество и дороги — вот два важнейших звена, которые могут дать смысл здешней жизни и превратят беспомощное захолустье в цветущий край.

Мне могут сказать: пусть Таруса подождет. Но нельзя забывать, что оттяжка времени связана в геометрической прогрессии с оскудением.

Сельское хозяйство — это одно лицо Тарусы, требующее лишь небольшого внимания со стороны тех, кому поручена правительством и народом прекрасная наша калужская земля.

О втором лице города и района разговор придется вести в несколько популярном тоне, так как до сих пор этот вопрос «не доходит» до сознания большинства хозяйственников,— тех хозяйственников, весь жизненный кодекс которых определяется не задачами создания нового строя в нашей стране, не велениями народа, а одним только понятием выгоды. Что выгодно, что «рентабельно», что доходно — то благо, а все прочее есть гиль и занятие для чудаков.

Всем известно, что у нас каждый трудящийся имеет право на отдых. Но для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужны нетронутые, отдохновенные и живописные места. Такие места главным образом находятся на юге. Но у нас есть много людей, которые не променяют скромное очарование Средней России ни на какой ослепительный и несколько лакированный юг. Для иных мокрые гроздья черемухи в деревенском саду, отражение месяца в лесном озере и грибной воздух березовых чащ гораздо милее запаха магнолий и снежных вершин Кавказа.

Кроме того, далеко не все могут отдыхать в домах отдыха. Их быт и их режим стеснительны для людей, привыкших общаться с природой,— для художников, охотников, рыболовов. Да и, говоря откровенно, многих отпугивает тот несколько пошловатый и шумный стиль жизни, ставший почти обязательным для некоторых домов отдыха, с их постоянными танцульками, затейниками, флиртом и утомительным вынужденным соседством со случайными людьми. Что делать в таких домах отдыха человеку, склонному проводить свой отдых в сосредоточенности, в чтении, в наблюдении природы, в подлинном веселии или тишине?

Такие люди проводят отдых самостоятельно. Таруса как бы создана для такого отдыха. Недаром летом население города увеличивается вдвое за счет приезжих из Москвы, Ленинграда и других городов.

Второе лицо Тарусы — это город отдыха, но отдыха подлинного, полного. Места вокруг Тарусы поистине прелестны. Тарусу давно следовало бы объявить природным заповедником. Мы до сих пор упорно пренебрегаем красотой природы и не знаем всей силы ее культурного и морального воздействия на человека, забываем, что патриотизм немыслим без чувства родной природы и без любви к ней.

Прекрасный ландшафт есть дело государственной важности. Он должен охраняться законом. Потому что он плодотворен, облагораживает человека, вызывает у него подъем душевных сил, успокаивает и создает то жизнеутверждающее состояние, без которого немыслим полноценный человек нашего времени.

Соединение всех трех аспектов Тарусы — богатого земледельческого района, города отдыха и заповедника русской природы — вот путь к тому, чтобы тихий этот городок со всей округой ожил и занял свое законное и необходимое место в жизни нашей страны.

Как же выглядит сейчас этот город, обладающий такими своеобразными особенностями? Довольно уныло, чтобы не сказать больше.

В городе нет воды, нет водопровода. Жители берут воду из трех резервуаров, куда по трубам, построенным еще при Екатерине Второй, стекает вода из отдаленного ручья. Вода эта плохая, жесткая. По заключению экспертов, пить ее вредно, так как она вызывает болезни щитовидной железы (самая распространенная болезнь в Тарусе).

Резервуары устроены внизу, а город лежит на горах. Жителям приходится таскать воду на коромыслах иногда за два-три километра.

Зимой от резервуаров тянутся по обледенелым горам вереницы женщин, преимущественно дряхлых старух, запряженных в салазки. Они тащат на салазках кадки с водой, надрываются, скользят, падают, расплескивают воду и часто плачут от усталости и огорчения.

Вода здесь на вес золота. А готовый проект хорошего водопровода спокойно отлеживается на утверждении в Калуге, и деньги на постройку водопровода Калуга отпу-

скает (вернее, обещает отпустить) гомеопатическими дозами.

Стоимость водопровода — 1 300 000 рублей. Калуга же пока согласилась отпустить только 100 000 рублей.

Очевидно, постройка водопровода займет в лучшем случае тринадцать лет. Таковы калужские темпы, совершенно не те, конечно, о каких, захлебываясь, пишут газеты.

Кстати, надо заметить, что рыть колодцы в Тарусе бесполезно. Подпочвенная вода лежит очень глубоко, и колодцы к лету пересыхают. Поэтому колодцев очень мало.

Город обветшал. После революции в Тарусе не было построено ни одного дома, хотя сто двадцать семей рабочих и служащих ютятся в трущобах. Вот уже три года строится единственный трехэтажный дом. Нет денег, нет материалов. Все это достается с великим, непосильным трудом.

Об архитектуре этого дома не стоит и упоминать. Как говорится, «не до жиру, быть бы живу». Четыре плоских стены, крыша — и все. Таков этот «радостный» стиль.

Местные работники бьются как рыба об лед, чтобы хотя бы немного преобразить свой город. Но все их благие желания пресекаются страшным словом «смета». Смехотворная смета, на которую город едва-едва может влачить жалкое существование.

А в результате — больница без электрического света, пользоваться рентгеном нельзя, инструменты для сложнейших операций кипятятся на керосине. Единственная средняя школа помещается в трех домах, темных и тесных, а учеников в ней — восемьсот человек. Пекарня выпекает вдвое меньше хлеба, чем нужно, и город иногда, особенно летом, сидит без хлеба. Приходится привозить хлеб из Серпухова. Мусор валят где попало, нет средств вывозить его за город. Тучи пыли вздымаются на улицах во время ветра, как извержение.

Правда, городской садовник-энтузиаст разбил над Окой городской сад и постепенно обсаживает улицы липами и тополями. Но по следам садовника часто идут хулиганы и ломают высаженные деревца под улюлюканье, рев гармошки и хохот.

Нравами Таруса похвалиться не может. Но это общая беда всех небольших городов. Милиция предпочитает вести себя уклончиво.

О культурной работе трудно говорить,— на нее нет денег. Из ничего ничего не сделаешь.

Меня могут обвинить в том, что я выношу сор из избы. Да. Его давно пора вынести и сжечь, а не прятать под спудом и отравлять им жизнь талантливых и честных советских людей. А таких людей в Тарусе много — и великолепных садоводов, и энтузиастов-учителей, и мастеров, которые действительно способны подковать английскую блоху. Недаром от Тарусы до Тулы — родины лесковского Левши — не так уж далеко.

Печальнее всего обстоит дело с охраной природы. Тут столько бестолочи и безобразия, что не знаешь, с чего и начать.

Леса, преимущественно колхозные, уничтожаются. Через несколько лет их почти не останется.

Недавно произошел такой случай. Один из колхозов до зарезу нуждался в веревках, а купить их было не на что (смета такой расход не предусматривала). Тогда колхоз продал на корню свой колхозный лес под сплошную вырубку. И прекрасный лес пропал.

Закон о водоохранных лесах не соблюдается. Леса тают на глазах, и в связи с этим закономерно вступает в силу закон эрозии — вымывания и распыления плодородной почвы. На днях здесь прошел ливень. Он длился около суток, и Ока превратилась в бурый поток густой глины. Тысячами тонн она уносила в течение нескольких дней смытую ливнем плодородную почву, и, пожалуй, не было ничего зловещее этого зрелища опустошения земли.

Что говорить о красоте ландшафта, если в черте города работает огромная каменоломня. Она взрывает берега Оки толом, валит береговые леса, необратимо обезображивает пейзаж, расшатывает сильными взрывами дома, оглушает жителей города.

Надо полагать, что, очевидно, наличие каменоломни с ее запасами взрывчатки в самом городе очень «рентабельно», а до красоты пейзажа и жителей города хозяйственникам нет дела. По их мнению, все, кто пытается говорить об этом, или враги, или сумасшедшие. Выгода прежде всего.

Все берега Оки от Серпухова до Тарусы и Алексина сносятся и уродуются каменоломнями, грохочут взрывами, и больно видеть стиснутую этой опустошенной, поставленной дыбом землей прелестную усадьбу и музей худож-

ника Поленова. Непонятно, как хозяйственники до сих пор не взорвали и ее. «Подумаешь, какая невидаль Поленов. Чего-то там мазал красками».

И, наконец, последнее, о чем следует не говорить, а просто кричать,— это о безобразном обращении с Окой — чудесной, второй после Волги нашей русской рекой, колыбелью нашей культуры, родиной многих великих людей, именами которых гордится с полным правом весь наш народ.

Мало того что берега Оки опустошают с какой-то, я бы сказал, садистской яростью, но и воду ее безнаказанно и систематически отравляют калужские и алексинские заводы. Рыба или уходит (как ушла совсем из Оки стерлядь), или гибнет массами. С некоторых пор пойманная в Оке рыба начала пахнуть одеколоном — от сточных вод парфюмерной фабрики в Калуге — и еще какими-то химическими и убийственными запахами.

Заводы ведут себя попросту нагло. Очевидно, они почитают себя государством в государстве. Никакие приказы, никакие меры не помогают.

Большего наплевательства по отношению к своей стране и народу, большего безразличия к своей стране и ее природным богатствам трудно себе представить.

Все, о чем я рассказал выше,— дело людей с холодной кровью и мертвыми глазами. Они еще есть. Но все это легко исправимо. Необходимо внушить всем работникам, что не всегда выгода является единственным мерилом в деле построения коммунизма и превращения Советского Союза в богатую, тучную, красивую страну с великолепными пастбищами и лугами, лесами, чистыми реками, богатыми полями и легким свежим воздухом.

Необходимо полное внимание к малым городам. Надо превратить их из бедных родственников в полноценных граждан и дать простор развитию всех их возможностей.

Превращение Тарусы в город органического слияния передового сельского хозяйства с городом отдыха, превращение района Тарусы в заповедник исключительного по своей живописной силе русского ландшафта — все это осуществить легко. Было бы только желание. Но откладывать это дело нельзя, так как через несколько лет уже будет поздно.

1956

ПРАВ СТАРЫЙ ЛЕСНИЧИЙ

Года два назад в маленьком приморском ресторане ко мне подсел пожилой моряк, должно быть механик или боцман. Было душно. Ветер изредка пробегал по улице, поднимал занавески на окнах и наполнял ресторан запахом теплой весны.

— Жарища! — сказал моряк и вытер платком крепкую шею.— Даже земля жжет через подошвы, как шлак. Наши хлопцы радуются: нахолодились в Антарктиде. А вот я недоволен.

— Вы, должно быть, со «Славы»? — спросил я моряка.

— Да, со «Славы». Прямо скажу, боюсь я засухи, не выношу ее совершенно. Ненависть у меня к ней. А все через один случай.

Моряк рассказал мне этот случай. Сначала я не поверил ему. Рассказ его смахивал на горячечный вымысел. Потом, когда моряк показал в доказательство одну из газет, выходящих в Кейптауне, я поверил в его рассказ, но, признаться, содрогнулся от ужаса.

Южная Африка, по словам моряка, умирает. В ней сведены все леса, пересохли источники, выжжены засухой травянистые равнины. Эрозия съела плодородную почву и превратила ее в горячий мертвый прах. Реки обмелели, стали зловонными илистыми болотами и начали окончательно просыхать.

Слушая моряка, я вспомнил книгу французского ученого (к сожалению, я забыл его имя) под названием «Сохнущая Африка». Книга попалась мне лет шесть назад. В ней беспощадно и точно была описана агония великого континента, умирающего от жажды по вине алчных и невежественных колонизаторов.

По словам моряка, все эти беды сейчас усугубились еще и тем, что в Южной Африке два года подряд стояла засуха. Дожди, казалось, навсегда покинули эту землю.

И вот, когда «Слава» по пути из Антарктиды на Родину зашла в Кейптаун, и случилось то событие, о котором рассказал моряк.

Огромные стада диких слонов, доведенные жаждой до исступления, бросились в поисках воды на юг, к океану. По пути обезумевшие животные начисто сносили маленькие города, деревни и мосты. Население в страхе бежало от них.

Правительство Южно-Африканского Союза двинуло против слонов войска. Были посланы танковые и артиллерийские части и пехота. Бой со слонами длился больше суток. Сотни четвероногих великанов были убиты, а остальные, отчаявшись прорваться к океану, повернули обратно.

Тогда по пути отступления слонов, обгоняя их, помчались автоцистерны с водой. Они лили воду во все ямы, бассейны, высохшие пруды и лужи. Слоны жадно пили воду, тут же падали и засыпали. Часть слонов была спасена.

Я начал разговор о сохранении природы и восстановлении стремительно редеющей растительности с этого страшного случая со слонами потому, что нигде, как в Африке, уничтожение природы не достигло таких ужасающих размеров. Но не только в Африке, а и во многих других странах, в том числе и в Северной Америке. Там в южных обезлесенных штатах из-за эрозии любой, даже не очень сильный ветер поднимает на воздух и уносит миллионы тонн плодородной земли.

Эрозия — размывание и выветривание почвы в тех местах, где ее структура нарушена уничтожением лесов и травяного покрова,— довольно быстро превращает нашу землю в пустыню.

Как победить эрозию? Как вернуть земле плодородие, свежесть лесов, полноводность рек — все то, без чего человек не может жить, развиваться и создавать великие ценности?

Есть прекрасное правило. О нем писал Чехов, к нему и призывает «Комсомольская правда». Это правило говорит: каждый человек обязан посадить и вырастить за свою жизнь хотя бы одно дерево!

Одного дерева на человека, конечно, мало. И все же знакомый лесничий сказал мне однажды:

— Но и это было бы замечательно! Миллионы людей — миллионы новых деревьев.

Но еще замечательнее было бы, если бы человек не только посадил за свою жизнь хоть одно дерево, но к тому же не погубил зря ни одного дерева.

Мы губим гораздо больше деревьев, нежели сажаем. Губим по небрежности, невежеству, по равнодушию. Я уже не говорю о совершенно недопустимой перед лицом будущих поколений сплошной рубке лесов, особенно на склонах гор.

Мы слишком снисходительны к тем людям, которые в силу своего невежества уничтожают природу. О таких людях пишут, как о проказливых мальчиках, как о милых шалунах, которым взрослые укоризненно грозят пальцем. А эти «шалуны» сводят начисто лесные островки в степях, отравляют реки. Иные из них строят на миллион, а опустошают вокруг землю на десять миллионов. И все это ради выгоды на копейку, которая при таком отношении к делу превращается в расточительность.

О патриотической и, если можно так выразиться, эстетической стороне отношения к природе у нас, к сожалению, говорят мало.

Мы любим свою страну кровной любовью не только за то, что она богата и благополучна. Мы любим ее и страдающую (война доказала это) и сирую, но полную великой красоты народного духа и красоты нашей русской природы. Нет в мире ничего равного этой природе по своей щемящей сердце силе, по лиричности, по ее бескрайности и умиротворяющей прелести.

Пожалуй, не стоит сейчас повторять ставшие азбучными истины о могучем влиянии природы на моральное формирование человека. Об этом давным-давно писали и пишут все лучшие люди, начиная от Пушкина и Чехова и кончая Пришвиным и Леонидом Леоновым. Но лучшие люди пишут, а природу не берегут — и все описания остаются втуне.

Сколько написано о варварском отношении к природе и к культурным памятникам, но настоящего перелома в этом деле пока что не видно. Продолжается и опустошение лесов и уничтожение таких, к примеру, памятников культуры, как всемирно известное наше изумительное северное деревянное зодчество.

Нужен закон об охране природы. В Эстонской Республике такой закон уже действует. Он карает браконьеров и равнодушных людей, бездумно поднимающих руку на природу. Что мешает принять такой же закон в других республиках?

Нам нужны корабельные леса, полноводные реки, океаны целебного воздуха, сады, цветущие и сочные луга. Нам нужны обильные росы, прозрачные закаты, звонкие родники, птичьи стаи, тянущие в туманном небе над золотеющими осенними рощами, пересвист птиц, сияние ночных созвездий в бездымном небе и широкие яркие радуги — предвестницы солнца после дождей.

Нам нужна великолепная земля, единственный приемлемый приют для человеческой жизни и деятельности. Мы должны непримиримо бороться за такую землю, бороться со всеми, кто пытается изуродовать нашу страну и превратить ее по недомыслию или невежеству в сухой бесплодный пустырь.

1959

СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Письмо марийским школьникам

Несколько лет назад я был на Каме, в знаменитых сосновых лесах около Елабуги, в тех местах, где работал наш «лесной» художник Шишкин.

И вот в этих лесах я увидел зрелище ужасающее, от которого буквально стыла кровь.

Я увидел огромные пространства леса, съеденного гусеницей, затянутого густой серой и грязной паутиной, леса голого, сохнущего, умирающего.

А два года назад я видел на берегах Оки (около города Алексина) дубовые леса-дубравы, съеденные непарным шелкопрядом.

Мертвые дубы стояли, раскинув черные руки — большие ветви. Только к осени, собрав все свои силы, дубы выпустили жалкие карликовые листья, которые тут же высохли и свалились.

И я вспомнил, как месяц назад, пока еще не появился этот отвратительный шелкопряд, я проезжал здесь на лодке. Могучие зеленые шатры дубов стояли в солнце и блеске, а на полянах цвела черемуха, сыпала свой легкий снег. Я жадно вдыхал тончайший, как будто прохладный и сладкий черемуховый запах.

А сейчас даже черемуха стояла увядшая, понурая, как бы доживая вместе с дубами свои последние дни.

Мне рассказали, что в Марийской республике школьники начали борьбу с вредителями леса, с личинками майского жука.

Это — великолепное, благородное дело. Нужно быть очень упорным и целеустремленным, чтобы довести его до конца и не успокаиваться на достигнутом.

Это вообще — великий закон жизни: никогда не успокаиваться и не ослаблять своих сил. Этому закону нужно

следовать во всем или, как любили говорить старые писатели, «на всех путях своей жизни».

Марийские школьники, чудесная марийская молодежь, должны не только сами спасать свои огромные, знаменитые, исторические леса,— они должны стать во главе всенародного движения школьников за охрану и спасение лесов не только от майского жука и других вредителей, но и от браконьеров и от тех хищников, разрушителей и опустошителей, какие, к сожалению, еще орудуют на нашей земле.

В деле спасения лесов школьникам помогут все, кто действительно любит свою страну, родную природу, родную культуру,— помогут люди разных занятий, в том числе художники и писатели. В этом я совершенно уверен.

Марийские школьники взяли на себя большую и бескорыстную работу. И не только люди, но и леса отблагодарят их. Они примут их в свои душистые, теплые, зеленые дебри, они пропитают их легкие целебным смолистым воздухом сосны, вереска, можжевельника, освежат их водой лесных речек и озер, будут встречать их и провожать свистом, щелканьем и щебетом сотен птиц. И каждый лесной цветок, если бы он мог говорить с ними, наверное, склонил бы перед этими юными своими друзьями свою голову и сказал бы, прошептал бы им одно только прекрасное русское слово: «Спасибо!»

<1950-е гг>

НОВАЯ ЭРА

Жизнь человечества делится на огромные промежутки времени, на соединения многих эпох. Но внезапно среди этого течения земного времени возникает нечто потрясающе новое, рождается то великое событие, с которого люди начинают счет нового времени на своей старой и все же доброй Земле.

Двенадцатого апреля 1961 года возникла новая эра в жизни человечества. Простой русский человек с прекрасной фамилией майор Гагарин вернулся из космоса.

Двенадцатое апреля 1961 года — день не только нашей чистой и благородной национальной гордости, но и гордости всего мыслящего человечества.

Нам не свойственно хвастовство, но очень свойственна сдержанная вера в своих людей, в гений русского народа и еще больше — в гений человечества. Эта вера теперь оправдана до конца, какие бы трудности еще ни ожидали нас на жизненном нашем пути.

Миллиарды сердец бьются сейчас напряженно и взволнованно. Все мысли прикованы сейчас к судьбе мужественного человека — за минуту до этого его почти никто не знал.

Если простая поэзия мифа об Икаре, взлетевшем к солнцу на восковых крыльях и погибшем в сияющей небесной синеве, прошла через все века и дожила до наших дней во всей своей простодушной прелести и наивности, то полет Гагарина будет волновать людей, пока будет существовать наша Земля.

Сейчас я невольно вспомнил, как еще гимназистом бежал ранним киевским утром под прохладными цветущими каштанами на ипподром за городом, где был назначен первый в нашем сухопутном киевском мире полет авиатора Уточкина.

Я помню всё: солнце, как бы омытое росой, доброе и спокойное лицо Уточкина в десяти метрах надо мной и слезы, внезапно брызнувшие из глаз стоявшей вблизи меня молоденькой и красивой женщины. Это была очень любимая киевской молодежью актриса Пасхалова. Военный оркестр играл почему-то под сурдинку вальс «Дунайские волны».

И вот — невиданный скачок от этого идиллического андерсеновского полета до могучих воздушных кораблей и, наконец, порыв, полет, уход в космос, в те пространства Вселенной, где человек соприкасается с вечностью. Наше поколение — счастливое. Оно перенесло великие муки и победы и дожило до появления новой, величайшей эры. Оно счастливо этим и счастливо еще и тем, что к его представлению о великолепии мира прибавилась еще одна черта — бесстрашный, спокойный, уверенный полет советского человека в космос.

Гагарин приземлился. Мы все счастливы, поздравляем его с величайшей мирной победой в истории Земли и желаем ему всех величайших благ, доступных человеку.

1961

СУДЬБА МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА

Письмо из Тарусы

Девять лет тому назад, в июне 1956 года, в «Правде» было напечатано мое «Письмо из Тарусы». Есть старое русское слово «слезница», иначе говоря, слезная жалоба. Иль, как грубо выражались наши предки,— «слезное завывание». Письмо из Тарусы было по существу таким «завыванием», слезной жалобой этого русского городка на свою неприютную судьбу. Он по уши завяз во всяческих неустройствах и сам, конечно, не мог из них выбраться. А между тем городок этот заслуживал хорошей и спокойной жизни. Не только по живописности своей, привлекающей к нему многих художников, но и по своим довольно богатым возможностям.

Обычно в блестящее будущее наших городков, лежащих на отлете от больших дорог, верят только наивные краеведы и некоторые плановые работники. Да и то скрепя сердце и тяжко вздыхая при мысли, сколько неожиданных препятствий лежит на пути развития этих городов, сколько людей, занятых важными делами, будут отмахиваться от робких просьб какого-нибудь Боровска или Жиздры. А то, не ровен час, и накричат: куда вы, мол, лезете с суконным рылом в калашный ряд! Посторонитесь!

Да! Широко легла неизмеримая страна — Россия, ее глубокие до синевы пространства, ее вольный воздух, теплый от запаха клевера и старой соломы, ее дубовые леса и одинокие осокори, ее легко задумавшиеся реки.

Тихо на этих реках. Только изредка заскрипит ворот парома и какой-нибудь проезжий неуважительный человек посмеется над работягой-паромом и скажет, что вот, мол, кое-где еще осталось это нескладное сооружение времен Ивана Калиты.

Гром скорых поездов, их ветропролет как сказал некий поэт-новатор, гудки заводов и слитный гул больших городов — все это не мешает нашей земле стоять во всей ее прелести перед лицом неба и людей. Прелесть эту и богатство нашей земли надо тщательно оберегать. Достаточно вспомнить о недавних наших прозрачнейших, как алмаз, кристаллически чистых реках. Сейчас большинство из них после хорошего дождя превращается из-за эрозии берегов в потоки грязи и мути. Вспомнить о милых, струившихся

среди райских кущ и цветов водах, где серебром играла несметная рыба.

Сейчас многие из этих рек нестерпимо пахнут мертвым мазутом и другими отвратными запахами. Речную воду не защищают от грязи и не берегут.

Когда было напечатано «Письмо из Тарусы», вездесущие скептики только посмеивались. «Вы что ж, думаете,— говорили они,— правительству только и дела, что возиться с вашей застоялой Тарусой, чинить ее да латать? Жила она со времен удельной Руси без капитального ремонта, проживет ныне и с текущим ремонтом. Богато располагаете жить, тарусяне!»

И вдруг скептики осеклись. Оказывается, вопрос о благоустройстве Тарусы — одной из Золушек среди наших городов — обсуждался в Совете Министров РСФСР, и решено было Тарусе широко и быстро помочь. Помощь была оказана тотчас. А теперь я пишу эту маленькую статью чтобы хоть несколько отчитаться от имени тарусян в проделанной ими работе.

В городке, где была вопиющая теснота, сейчас уже построено семь домов с жилой площадью в 2000 квадратных метров. Пробурено две артезианские скважины, построена водонапорная башня. Проведены по городу на четырнадцать километров водопроводные трубы. Родник, питавший Тарусу водой еще со времени Екатерины Второй, ушел на пенсию. В городе построена высоковольтная трансформаторная подстанция мощностью в 6—5 тысяч киловатт. Теперь и город и окрестные колхозы электрической энергией вполне обеспечены. Построена новая гостиница, расширены бани и — что особенно важно для Тарусы — построена асфальтовая дорога из Тарусы в Калугу (до сих пор ездили в областной центр Калугу с огромным крюком — через Серпухов и Малоярославец). Расширена больница, расширена знаменитая фабрика художественной вышивки. Строятся комбинат бытового обслуживания, книжный магазин, столовая, летние рестораны. Начинаются дальнейшие работы по благоустройству города.

Здесь перечислено далеко не все, что сделано и делается. Таруса закрепляет два новых своих лица — города художников и города отдыха. По левому берегу Оки будут построены пансионаты и летние лагеря. И отойдет в прошлое тот шуточный облик Тарусы, который дал ей, посмеиваясь, поэт Н. Заболоцкий:

Скучно жить в Тарусе
Девочке Марусе,—
Одни куры, одни гуси —
Господи Исусе!

О Тарусе уже написано несколько краеведческих книг. Их стоит прочесть, чтобы почувствовать своеобразный удельный вес этого города в числе прочих российских городов, чтобы увидеть лицо этого города художников и садоводов, города, соединяющего старую культуру с культурой нашего времени.

Недавно в Тарусе по инициативе местного общественного деятеля, бывшего актера Б. П. Аксенова открылась постоянная картинная галерея — богатый дар маленькому городку. Таруса начинает оправдывать свое прозвище: «Русский Барбизон». В книге записей для посетителей среди сотен записей колхозников, отдыхающих, студентов и школьников вдруг возникает запись французского искусствоведа, попавшего в Тарусу после Лувра и растроганного нежной и самоотверженной любовью здешних простых людей к живописи, к искусству.

Галерея создана из небольших частных коллекций, пожертвованных местными любителями и знатоками живописи. В частности, отборную коллекцию русской и западноевропейской живописи подарил музею тарусский старожил, ученый-агроном Н. П. Ракицкий. Кроме того, галерея пополняется из запасов Третьяковской галереи и Художественного фонда.

Галерея внешне очень скромная, как бы застенчивая. Но когда входишь в ее маленькие залы с чисто вымытыми полами и особым, каким-то деревенским запахом стен, когда отблески солнца падают на полотно Пуссена или на удивительные кружева блонды XVIII века работы русских мастериц, когда узнаешь, что эти невесомые кружева плели в сырых подвалах, чтобы от сухости не рвалась их тончайшая нить, то все вокруг кажется удивительным.

Мне посчастливилось бывать во многих великолепных и даже как бы тяжких от этого великолепия музеях и галереях Европы — в Третьяковской и в Лувре, в Эрмитаже и в Британском музее, в Латеране и в Риме, в Дрезденской галерее и в новом музее Роттердама, но в своем Тарусском музее, где за окнами победно (неизвестно по какой причине) орут петухи, все как один меченые химическим карандашом, где за окнами уже зацветают липы, я всегда ощущаю светлую благодарность к тем людям, ко-

торые его собирали по крохам. Благодарность к ним и гордость за них — скромнейших своих земляков.

Все это так, но нужно еще многое сделать. Очевидно, нужно выделить Тарусу в самостоятельный район, чтобы город не жил бедным родственником на иждивении Ферзикова (нынешний районный центр для Тарусы) — поселка вполне унылого, которому тарусские дела «ни к чему».

Скоро по краю Тарусы пройдет газопровод. Местное население озабочено тем, чтобы обязательно был сделан ввод для газа. Очевидно, эта просьба будет выполнена. Надо замостить тарусские крутояры, так как ливни размывают улицы и превращают их в непроходимые овраги. Кроме того, по решению инстанций Таруса должна стать городом-курортом. Уже разработан план создания на берегах Оки пансионатов и лагерей. В Тарусе найдены целебные минеральные источники.

При условии самой жестокой защиты прекраснейшей местной природы от опустошения и калечения этот план полностью решает дальнейшую судьбу города и трудовое устройство его населения. Этот план дает городу реальное будущее, тогда как Таруса уже давно застыла на распутье. Пример Тарусы — простой случай возрождения к жизни маленьких городов в глубине страны. Они почти всегда хороши, эти города, живописны, уютны, полны целебной тишины и покоя, так жизненно необходимого нам для работы.

Покой рождается в этих местах, а из него рождаются душевное здоровье, творческая сила и способность к милому, любимому труду. Будем же беречь этот город! Будем беречь такие скромные Тарусы и поможем им стать образцовыми городами отдыха нашего времени.

Забыл сделать одну существенную приписку. С такими делами, как благоустройство маленьких городов, связано одно — и очень веское — опасение. Как бы хороший порыв не оказался только порывом. Как бы город снова не стал скатываться в овраги неустройства и скудости. Порыв должен перейти в непрерывную заботу, в непрерывное усилие — тогда наступит тот расцвет благоустройства и градостроительства, о каком мы заботимся сейчас.

1965



(РЫБОЛОВНЫЕ ЗАМЕТКИ)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЖЕНИИ РЫБЫ

Говорят, что Чехов никогда не сердился, если его упрекали за литературные ошибки, но всерьез обижался, когда кто-нибудь не верил в его рыболовные способности.

Примерно то же происходит со многими из нас. Мой знакомый, режиссер одного из московских театров, спокойно выслушивает самую ядовитую оценку своих театральных постановок, но приходит в ярость, если ему скажут, что он не умеет подсекать или привязывать крючки к леске из сатурна.

Может быть, в этом сказывается то несколько детское и непосредственное отношение к действительности, которое не покидает нас независимо от возраста.

Мне довелось написать много разных книг, но в глубине души я никогда не расстаюсь с заветной мыслью написать руководство к ужению рыбы. Это должна быть своего рода энциклопедия ужения, повесть, наполненная чистейшей поэзией ужения и всем, что с ним связано. Каждая глава должна быть законченным рассказом о поплавках, клеве, рыболовах (от аксаковских созерцателей и поэтов до завистников и неудачников), реках, жерлицах, омутах и рассветах. Помимо практических знаний, в этой книге должна быть выражена прелесть русской природы. Книги еще нет, но она, очевидно, будет. А пока я хочу рассказать о самом обыкновенном ужении в один из самых обыкновенных сентябрьских дней.

Но прежде чем перейти к этому, надо сказать несколько слов о сохранившихся еще кое-где пошляках и обывателях — самых упорных, хотя и безопасных врагах удильщиков. Вообще у удильщиков много и друзей и врагов. Враги — это северные ветры, комары, подъем воды в ре-

ках (когда клев наглухо прекращается), хулиганы, которые преступно глушат рыбу гранатами и толом, насмешливые бабы, что обязательно кричат в спину: «Кто удит — у того ничего не будет!» — и, наконец, любопытные, подсаживающиеся к рыболову и морочащие ему голову наивными расспросами. (Этой весной ко мне на рыбной ловле подсел некий скучный гражданин. Он упорно и уныло допытывался у меня, какие меры я принимаю «для активизации клева».) Но самым назойливым и раздражающим врагом остается обыватель, считающий своим долгом высмеивать рыболовов, как заведомых чудаков и людей явно неполноценных.

А между тем каждый настоящий рыболов — в душе поэт и знаток родной природы, носитель великих поэтических народных традиций.

Но оставим обывателей. Они не заслуживают внимания. Вернемся к рассказу об обыкновенном рыболовном дне. Итак, дело происходит в конце сентября, в деревне, в старом бревенчатом доме. За стенами дома осыпáлся сад. Почему-то в разные дни сильнее всего осыпались разные породы деревьев,— третьего дня все дорожки были покрыты листьями кленов, вчера их засыпали лимонные листья лип, а сегодня стали опадать багровые, с черными прожилками листья осин.

Синицы свистели в саду, и небо по ночам уже сверкало резкими осенними звездами.

Однажды поздней ночью отчаянно зазвонил надтреснутый колокольчик около калитки. Я встал, оделся, зажег фонарь. Я жил один в этом пустом доме, в деревне, в трехстах километрах от Москвы. Никто ночью не мог прийти ко мне,— вся деревня спала непробудным сном.

Я открыл калитку,— за ней стоял мой знакомый рыболов, тот самый режиссер московского театра, о котором я упоминал в начале этого рассказа.

— Удрал все-таки на два дня из Москвы! — сказал он радостно.— Половить. Осень. Ночь какая, господи! А воздух!

— Как вы доехали?

— Замечательно! — ответил режиссер.— На пароходе до Новоселок из Москвы. На палубе. Кают, конечно, не было. В Новоселках бакенщик перевез меня на этот берег Оки и чуть не утопил. Какой-то шалый старик! А через луга я шел пешком. Заблудился, зашел в Глухой Угол,— дороги ведь совсем заросли. Пусто в лугах. А на пароходе

совсем не спал. Все волновался. Чуть закрою глаза и вижу: темная вода на Прорве, ивы, острый такой, знаете, запах от ивовых листьев, серое тихое небо, и перяной поплавок медленно уходит в глубокую воду. Всю ночь видел этот поплавок, прямо до сердцебиения! Нет, что вы,— спать я совсем не хочу. Выпьем чаю, соберемся и через час двинем на Прорву. Хорошо?

— Конечно, двинем.

В пустом старом доме сразу стало шумно. Я зажег лампы. Мы умылись жгучей колодезной водой. Затрещал в печке огонь, зашумел чайник. А на столе вперемешку с хлебом, колбасой и сыром уже лежали вываленные режиссером из чемодана поплавки, грузила, зеленый сатурн, золотые блесны и алюминиевые коробочки с крючками.

Вышли мы из дому еще в темноте. Глухая рассветная синева чуть проступала на востоке. Иней лежал в лугах. Дождевая вода в колеях покрылась прозрачным ледком. Он тонко звенел, разбиваясь под нашими ногами. Пахло вялой травой, ивовым листом. В туманном небе низко висел мутный месяц. Он почти не давал света. Далеко на Оке горел одинокий огонь на перевальном столбе.

Через час мы вышли к Прорве — глубокому, уходящему в леса старому руслу Оки с крутыми высокими берегами. Черные ивы стояли над водой. Над ней разгорался бледный рассвет.

Вода! Сейчас она была серо-зеленая, осенняя, затишливая и чем-то напоминала морскую — не то острым запахом умирающих водорослей, не то своим цветом. Река казалась совершенно безжизненной: ни одного рыбьего всплеска, ни ряби, ни легких, расходящихся к берегам, кругов. На отмелях было видно темное и чистое дно.

Мы выбрали место под крутояром, закрытое от западного ветра. Этот ветер всегда начинал дуть с утра и дул до полудня. Тоненькие осины трепетали и сбрасывали в воду листья. Вода у берегов была так густо покрыта палыми листьями, что поплавки, как маленькие красные цветы, едва были видны среди них. И тут же на берегу стояли увядшие цветы кипрея. Пунцовые их лепестки покрылись ржавчиной от едкой росы.

Странное чувство! Сколько бы раз в своей жизни я ни закидывал удочки в такие вот затишливые воды, всегда я испытывал острое ощущение необыкновенного отдыха и приближения чего-то таинственного, что скрывалось в этих речных глубинах. Очевидно, это ощущение было сродни

тому состоянию, которое мы называем счастьем. Счастьем было уже одно сознание, что впереди у меня — весь день, лишенный каких бы то ни было забот, день целиком мой, что я могу не торопясь, минута за минутой и час за часом, смотреть, как разгорается на моих глазах осенний день, как восходит в синеватых туманах солнце, как высыхает роса, как легкий ветер качает стебли череды у меня над головой, как тянут к Оке, на юг, журавлиные стаи и как то тут, то там блеснет в черной глубине мгновенное золото тяжелой рыбы.

А над водой уже стелется горьковатый дымок костра, и я слышу, как в чайнике булькает и переливается пенистыми буграми вода.

Сначала клева нет. Но нам не скучно. Места верные, и еще не бывало ни разу, чтобы Прорва нам изменила.

Но вот поплавок вздрогнул, пустил круги, потом наклонился немного и медленно поплыл в сторону. Он плыл все быстрее и на ходу погружался в воду. Окунь!

Я подсек. Удилище согнулось в дугу, и леска со свистом разрезала воду. Тяжелая и сильная рыба бросилась в кугу, под берег. Я начал выводить ее на чистую воду и крикнул режиссеру:

— Подсак!

Но подсака, конечно, не было. Режиссер нарочно забыл его дома, так как у него была своя примета: если взять подсак, то ни за что не попадется крупная рыба.

Берег был крутой, и было совершенно ясно, что вытащить рыбу на тоненькой жилке нельзя. Что же делать? Я водил ее на кругах, я видел под водой ее серебряный блеск и догадался, что это не окунь.

— Где подсак, черт вас дери! — сказал я тихо, но яростно.— Опять не взяли!

— Лещ! — крикнул в ответ режиссер и начал торопливо снимать бутсы.— Водите его! Водите! Мы его и так возьмем, без подсака.

Режиссер быстро разделся и полез в воду. Вода была холодная, но он не чувствовал ни холода, ни жары.

Наконец я вывел на поверхность огромного леща и подвел к режиссеру. Лещ испугался и снова с необычайной силой повел в глубину. Так повторилось несколько раз, пока наконец режиссер не подхватил леща руками и не выбросил на берег.

Лещ лежал в сырой траве между плетей ежевики — толстый, розовый, и с черных его плавников стекала вода.

Режиссер растерся мохнатым полотенцем, оделся и закричал от восторга,— ему было жарко и весело.

Лещ в этот день был единственным. После него начали брать крупные окуни,— брать верно, крепко, утаскивая поплавки чуть не на самое дно.

А чайник все кипел на костре, выкипал, и мы никак не могли оторваться, чтобы напиться чаю — особенно вкусного в такой вот прохладный осенний день.

День к полудню посветлел. Густое и чистое небо сверкало над головой. Нежаркое солнце шло уже низко, не достигая зенита, и берега Прорвы запылали перед нами таким нестерпимым багровым пожаром, что мы почти потеряли ощущение реальности всего окружающего. И я подумал, что вот такой короткий, как проблеск, день стоит целого года жизни в асфальтовой духоте городов.

День был короток (или так нам, может быть, показалось, потому что на рыбной ловле время идет стремительно). Очень скоро по берегам лег сумрачный свет заката, все затихло, и в сиреневой воде заблестела первая далекая звезда. Домой мы возвращались уже в темноте.

Каждый вправе спросить меня: что же, собственно, случилось в этот сентябрьский день? Почему я о нем пишу? Тем, кто спросит меня об этом, я желаю одного: провести такой день у реки. После этого, я думаю, они не будут задавать праздный вопрос о том, что случилось. Потому что поймут, что случилось приобщение к природе и к зрелищу великолепной и пышной нашей осени. Много ли таких дней выпадает на нашу долю? Мы насчитываем их единицами. Но каждый, кто принадлежит к «великому племени рыболовов», меня, конечно, поймет.

1948

ОСЕННИЕ ВОДЫ

Обычно я уезжал из деревни в Москву в конце сентября. Вода в озерах и старицах к тому времени отстаивалась, делалась холодной и чистой. Бурели водяные травы, ветер пригонял к берегам желтую ноздреватую пену. Рыба клевала нехотя, с перерывами.

Приближались обложные дожди, бури, свист облетелых ракит — все то уныние поздней осени, когда нет хуже

для человека, чем остаться одному в безлюдных местах. Хорошо знаешь, что в пяти-шести километрах есть сухой бревенчатый дом, теплая постель, стол с книгами, кривенький певучий самовар и веселые заботливые люди, но все равно не можешь избавиться от ощущения, что ты безнадежно затерялся среди мертвых зарослей, в тусклых перегонных полях, на берегу свинцовых вод.

Ни человеческого голоса, ни птичьего крика, ни плеска рыбы,— только низкий бег рыхлых туч. Из них то летит холодный дождь, то вдруг туманом, залепляя глаза, повалит водянистый снег.

Такова была поздняя осень в моем представлении. Ни о какой рыбной ловле, казалось, не могло быть и речи. Рыба уходила в омуты и стояла там в тупом оцепенении, в дремоте. Ей приходилось тесниться во мраке осенних глубин и день и ночь слушать, как шумит над головой окаянный ветер и все плещет волна, размывая глинистый берег.

Перевозчик Сидор Васильевич, человек тихий и уважительный, кутаясь в рыжий овчинный тулупчик, соглашался со мной.

— Это, конечно, так,— говорил он.— Осенью у рыбы житье каторжное. Никому такой жизни не пожелаешь, пес с ней совсем. И гляди, все «сентябрит» и «сентябрит». Днем остудишься так, что за всю ночь в землянке не отойдешь.

Каждый год я уезжал из деревни в Москву без сожаления, хотя в глубине души мне бывало немного совестно, будто я оставлял на тяжелую зимовку своих верных друзей: все эти ивы, воды, знакомые кустарники и паромы, а сам бежал в город, к огням, в тепло, в человеческое оживление до новых летних дней.

Такие смешные угрызения совести приходили иногда и в Москве — то во время какого-нибудь заседания, то в Большом зале Консерватории. «Что там,— думал я.— Какая, должно быть, тяжелая ночь, ветер, ледяной дождь, размытая неуютная земля. Выживут ли все ивы, шиповники, сосенки, птицы и рыбы, измотанные бурей?»

Но каждую весну, возвращаясь, я удивлялся силе жизни, удивлялся тому, что из зимы расцветал тихий и туманный май, что распускался шиповник и плескалась в озерах рыба.

В прошлом году я впервые остался в деревне до самой зимы, до морозов и снега. И все оказалось совсем не таким, как я себе представлял. Даже если сделать поправку на то, что осень была небывалая.

Такой сухой и теплой осени, как писали в газетах, не было в России уже семьдесят лет. Деревенские старики соглашались с этим, говорили, что газеты, конечно, правильные и что на своей памяти они такой осени не то что не видели, а даже и подумать не могли, что она может быть. «Теплотой так и бьет, так и тянет из-за Оки. И нету этой теплоте ни конца, ни краю».

Действительно, на юге, за Окой, небо неделями стояло высокое, яркое, распахнутое теплыми ветрами, и оттуда летела паутина. От нее воздух как бы переламывался серебряными ворсинками, играл и поблескивал. Сидя на берегу около удочек, я долго следил за этим зрелищем и прозевывал поклевки.

Растительность высыхала. Зелень переходила в цвет бронзы. Обычного осеннего золота почти не было. Очевидно, листва золотеет во время сырости и дождя. Земля была под цвет сухого конского щавеля — красновато-бурая, и только озера лежали на ней разливами зеленоватой воды.

Я удил рыбу до самого льда. Это была удивительная, очень медленная и тонкая ловля. Может быть, я буду писать о вещах, давно знакомых опытным рыболовам, но мне бы хотелось передать непосредственное ощущение этой осенней ловли.

Есть много разновидностей рыболовов, и в каждую такую разновидность входят люди со своим особым характером.

Есть спиннингисты, есть любители жерлиц, переметов и подпусков, есть чистые удильщики-аксаковцы, есть, наконец, рыболовы, к которым я отношусь подозрительно,— мастера таскать рыбу бреднями и сетями. По-моему, это уже хищники, хотя они и прикидываются мирными и простодушными людьми.

Спиннингисты — народ деятельный, неспокойный, бродячий,— они сродни охотникам. А удильщики — это больше созерцатели, поэты, почти сказочники.

Между спиннингистами и удильщиками возникают отношения натянутые, я бы сказал: колкие. Спиннингисты не прочь посмеяться над удильщиком, отнестись к нему свысока. Удильщик же обычно отмалчивается. О чем спорить, если человек не понимает прелести ужения?

Легкие распри среди рыболовов — это, конечно, «древний спор славян между собой». Человеку со стороны они малопонятны. Мне не к лицу превозносить удильщиков: я принадлежу к их числу. Чтобы быть справедливым, можно, конечно, найти и у удильщиков общие для них недостатки.

Разумеется, у них есть свое тщеславие. Они гордятся знанием и пониманием природы и называют себя «аксаковцами», последователями этого великого знатока и поэта русской природы.

Кроме того, удильщики, будучи вообще людьми общительными и словоохотливыми, на рыбной ловле становятся удивительно нелюдимыми. Ничто их так не раздражает, как присутствие посторонних и праздных людей, даже если эти люди сидят за спиной. Каждый удильщик относится к этому с таким же негодованием, как если бы чужой и нахальный человек вошел прямо с улицы в вашу квартиру, уселся, расставив ноги, в комнате и начал молча и нагло рассматривать все вокруг, совершенно не считаясь с хозяевами...

Да, но я отвлекся от рассказа об осенней ловле.

Теплая осень была прервана несколькими морозными днями. Земля закаменела, и черви ушли так глубоко, что накопать их не было никакой возможности. Это обстоятельство вызвало смятение среди деревенских приятелей. Мне давали советы искать червей под огромными кучами старого навоза, куда мороз не прошел, или под горой щепы в овраге за четыре километра от деревни. Иные предлагали намыть мотыля, хотя и сознавали, что это сейчас почти невозможно. А самые малодушные утверждали, что червь ушел в землю на три метра и ловлю надо бросать.

В конце концов пришлось идти за четыре километра в глубокий овраг, заваленный щепой. Никто толком не мог объяснить, как эта щепа попала в овраг,— вблизи не было никаких построек.

Я рылся в щепе несколько часов и накопал всего тридцать — сорок червей.

На следующий день немного потеплело, но иней лежал в лугах, как каменная соль, а с севера тянуло ледяным пронзительным ветром. Он свистел в кустах и гнал черные тучи. Дальний лес на берегу старицы гудел так сильно, что шум его был хорошо слышен в лугах.

Я шел на луговые озера и бесполезно мечтал о глубо-

ком, но небольшом озере среди леса, где даже в такой ветер стоит затишье,— такое затишье, что видна малейшая дрожь поплавка. Я мечтал об этом совершенно зря, так как никакого озера в лесу не было. Но мне очень хотелось, чтобы оно было, и я даже облюбовал сухую и теплую лощину в лесу, где оно должно было бы быть.

Такие маленькие лесные озера, величиной с комнату, я видел в лесах около реки Пры. Летом они выглядели очень загадочно — в черной, как деготь, воде плавали водоросли, бегали жуки-плавунцы и что-то поблескивало.

Я закинул в такое озерцо удочку, но у самого берега не достал дна.

Но как только я передвинул поплавок и червяк лег на дно, поплавок вздрогнул и быстро поплыл в сторону, не окунаясь и не качаясь. Я подсек и вытащил жирного, почти черного карася. Карась равнодушно пожевал губами, ударил один раз хвостом по траве и заснул.

Сейчас я мечтал вот о таком озерце, сидя на берегу лугового озера Студенец, открытого всем ветрам и всем непогодам. У берегов уже образовался ледок, но такой прозрачный, что его нельзя было рассмотреть.

Клева не было. Я с тоской смотрел на черную, будто чугунную, воду, на гниющие листья лилий, на волны и прекрасно понимал, что сижу безнадежно. Озеро будто вымерло. В лугах было пусто. Только вдалеке пожилой колхозник в валенках городил вокруг стога изгородь.

Кончив городить, он подошел ко мне, присел, закурил и сказал:

— Не там ловишь. Это я тебе категорически говорю. Не там.

— А где же ловить?

— Закон такой,—сказал колхозник, не слушая меня.— В луговых озерах в такую позднюю осень рыба не берет. Кидай куды хочешь: хоть в глыбь, хоть под берег — она не возьмет. Это, милый, дело, давным-давно проверенное. Я тебе категорически говорю. Я сам поудить охочий.

— А где же удить? — снова спросил я.

— Вот то-то, что где,— ответил колхозник.— В реке надо, где вода в движении находится. Иди на реку, тут десять минут ходу. Выбирай место, где берег покруче, под яром, чтобы на воде была гладь. Понятно? Чтобы ветер тебе и рыбе не мозолил глаза. И сиди, жди — рано ли, поздно ли, а рыба к тебе подойдет. Это я тебе говорю окон-

чательно. А тут сидеть, это, милый, занятие для тебя не-стоящее.

Я послушался его и пошел на реку. Это была тихая и широкая река с крутыми и высокими песчаными берегами. Течение было заметно только посередине реки, а у берегов вода стояла. Льда не было.

Я спустился с крутого берега и с облегчением вздохнул: внизу было тихо, безветренно и даже как будто тепло. А по небу из-за спины неслись и неслись сизые угрюмые тучи.

Я закинул удочки, закурил, засунул руки в рукава тулупа и стал ждать. На песке около моих ног были крупные когтистые следы. Я долго смотрел на эти следы, пока не сообразил, что это следы волка. К этому месту волки выходили на водопой из зарослей лозы.

Я вспомнил рассказы колхозников, что нынче волк «голодует». Как только опустели луга, он тотчас перебрался сюда из лесов, чтобы по крайности питаться хоть мышами-полевками. Мыши к осени так жиреют, что бегают вперевалку и поймать их ничего не стоит.

Я задумался, кажется, даже задремал, согревшись в старом тулупе. Очнулся я, когда над рекой, над лесом, надо мной летел медленный и чистый снег и таял в черной воде.

И тут же я заметил, как перяной поплавок начал тонуть так судорожно, что для того, чтобы совсем уйти под воду, ему понадобилось больше минуты. Так бывает, когда поплавок засасывает ленивым течением или когда наживу тянет рак. Я подождал и на всякий случай подсек — тяжелая рыба бросилась в сторону, и я вытащил хорошего окуня. Второй окунь потопил поплавок еще медленнее и незаметнее, чем первый. А третий только чуть-чуть повел в сторону. Это движение можно было заметить только потому, что не было никакой ряби и поплавок стоял рядом с корягой, торчавшей из воды.

Я долго следил, как страшно медленно увеличивалось расстояние между корягой и поплавком, и, когда оно дошло до метра,— подсек и вытащил толстого окуня. Все окуни были холодные, как льдинки.

А снег все падал и падал, и на глазах у меня бурая земля, лишь кое-где расцвеченная лозняком с красной, почти алой корой, превращалась в тихую белую пелену.

Колхозник оказался прав. Несколько дней подряд я проверял его слова. Клевало только на реках, и то в затишливых и безветренных местах.

С каждым днем лед все больше и больше затягивал реки, озера и старицы. Вначале он был тонкий и прозрачный и по нему ложились, как на море, белые световые дороги от солнца. Потом его присыпало снежком.

Деревенские мальчишки уже играли в хоккей с самодельными клюшками. Только одна полынья долго не замерзала. От нее поднимался пар.

Я пробился к этой полынье на лодке и удил в ней у самой кромки льда. Брали осторожно и медленно окуни. Пока я снимал их с крючков, у меня сводило от холода пальцы.

В лугах появился растрепанный и безобидный старик. Он ходил с метелкой, с огромным корнем сосны, похожим на кузнечный молот, и с сачком.

— Чего делаешь, дед? — спросил я его, когда встретил в первый раз.

— Рыбу колочу подо льдом. По лужам,— признался старик и застенчиво усмехнулся.

— А метелка тебе для чего?

— Это я снег со льда счищаю. Он покуда еще не примерз. Счистишь, вглядишься, и ежели под берегом стоит язь либо щука — тут и надо бить. Только бить шибко, во весь дух, чтобы рыба брюхом вверх перекинулась. Тогда подламывай лед и хватай ее руками, покуль она не очухалась.

— Много рыбы набил нынче?

Дед отвернулся, покашлял.

— Да нет... Ничего, почитай, не набил. Лед больно тонок. Боюсь провалиться. Вот лед окрепнет, сюда язи поднапрут. Я сам видел язей, во каких — на восемь кило, не меньше.

Перевозчик Сидор Васильевич рассказал мне, что старик этот ходит целый месяц, а рыбы почти не приносит,— «уж очень стар, куда ему такой охотой займаться».

— Любитель,— сказал Сидор Васильевич.— Вот так бродит-бродит, все надеется, будто ему попадется язь в десять кило. А я его не обижаю, не смеюсь над ним. У каждого своя мечта.

Но вскоре и старик перестал ходить на озера. Как-то ночью пришла настоящая зима, рассыпалась снегами, завалила льды, и к утру все село уже казалось издали игрушкой из почернелого серебра. Кое-где из крошечных на отдалении изб валил дым и застревал среди старых вязов,

пушистых от снега. Осенняя ловля кончилась. Надо было собираться в Москву.

Так вот по мелочам узнаешь что-нибудь новое: как осенью клюет рыба, где надо искать ее и еще что-либо в этом роде,— но вокруг этих мелочей накапливается столько разговоров, встреч с людьми, всяких случаев и наблюдений природы, что мелочи приобретают гораздо большее значение, чем мы думаем, и даже заслуживают того, чтобы посвятить им эти строки...

1950

ЧЕРНОМОРСКОЕ СОЛНЦЕ

Когда у нас в Средней России начинают лить осенние обложные дожди и в дыму этих дождей тонут леса и свинцовые речные просторы, тогда приходит к человеку тоска по далекому черноморскому солнцу.

Мы, рыболовы, обычно терпеливо ждали, когда наконец пройдет ненастье. Чаще всего оно оканчивалось ночью. Мы просыпались от глубокой тишины. Дождь не гремел по железной крыше деревенского дома, не шумели от ветра старые вязы, и только последние капли изредка постукивали то тут, то там за стеной.

За окном мезонина было видно, как ненастье сваливалось за леса непроглядных туч. В очистившемся небе сияла омытая дождем Большая Медведица.

Но пока длилась непогода, мы, запертые ею в бревенчатых комнатах, любили поговорить о рыбной ловле под иными широтами, под южными безоблачными небесами.

Больше всего я привязан душой к нашей средней полосе России. Рыбная ловля в ее реках и озерах кажется мне замечательной. Но в дождливые дни я тоже вспоминал о рыбной ловле на Черном море. В морской ловле было много своеобразия и прелести.

Я вспоминал старый мол-волнолом в Одессе, изъеденный, как губка, крепкой солью и ржавчиной.

В лужах на молу вода была так прогрета солнцем, что попадавшие в нее креветки тотчас умирали. При этом они краснели, как крабы в кипятке.

Креветки сами по себе, конечно, не могли попасть в эти лужи. Их роняли туда рыболовы.

Креветок продавали в толстых бумажных фунтиках.

У каждого рыболова торчало в кармане по два-три таких фунтика вместе с горстью маслин, куском брынзы и свежего арнаутского хлеба.

Торговала креветками — по-одесски «рачками» — тут же на молу худая маленькая женщина, тетя Пая, с таким взвинченным голосом, что вытерпеть его могли только философически настроенные одесские рыболовы.

— Слушайте, граждане! — пронзительно говорила тетя Пая, сидя на перевернутой корзине из-под креветок.— Неужели я приговоренная навеки к этим проклятым рачкам? Так нет же и нет! У меня есть своя думка: вырастить из моего Моти знаменитого скрипача. Он учится у самого Столярского. Чтобы мне добра не было, если я не сделаю из Моти свое утешение.

Было совершенно непонятно, к кому обращалась тетя Пая со своими речами. Рыболовы сидели поодаль на краю мола, свесив ноги и воткнув в щели между камнями длиннейшие бамбуковые удилища, или, как их зовут в Одессе, «пруты». Голос тети Паи, конечно, долетал до рыболовов, но они так привыкли к нему, что уже не слышали его, подобно тому как береговой житель перестает замечать шум прибоя.

Слушал тетю Паю только рыжий кот Зяма — единственный постоянный обитатель волнолома. Он спал на солнцепеке около тети Паи, закрыв один глаз. Второй глаз был на всякий случай только прищурен. Зяма лениво следил этим глазом за всем, что делалось на молу.

Как Зяма попал на мол, никто не знал. Большинство рыболовов склонялось к той мысли, что Зяма был сильно вороват. За это хозяин Зямы и завез его на мол, чтобы навсегда от него отвязаться. Дело в том, что мол не соединялся с берегом. На него переезжали на шлюпке. Зяма остался на молу, как на необитаемом острове.

Зяма воровал рыбу и этим питался. Жил он в пещере от вывалившегося из мола большого камня-массива. Пещера была расположена не со стороны моря, где набегал прибой, а со стороны порта. Там даже в штормы было тихо.

То обстоятельство, что кот сообразил, где поселиться, вызывало к нему даже некоторое уважение. Может быть, из этого уважения кто-то из рыболовов поставил в пещеру к Зяме пустую жестянку от консервов («бычков в томате»). В эту жестянку рыболовы наливали коту пресную воду, а то, бывало, и ситро, если кто-нибудь привозил сит-

ро и опускал «для прохлады» бутылку на длинном шпагате с волнолома в морскую глубину.

Креветок тетя Пая держала в круглой корзине, прикрытой морской травой. В корзину была воткнута палка, а к ней прибита дощечка. На дощечке рукой будущего знаменитого скрипача было нетвердо написано: «Граждане! Кредит портит отношения!» Но, несмотря на эту предостерегающую надпись, тетя Пая охотно отпускала рыболовам креветок в кредит.

Мы проводили на волноломе с поэтом Эдуардом Багрицким целые дни и возвращались в город сожженные солнцем до медного блеска.

Багрицкий научил меня ловить на самолов — длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце. Одесские рыболовы ловили только на белые серебрёные крючки. На эти крючки морская рыба брала, по их словам, охотнее, чем на черные.

Ловля на самолов оказалась увлекательным делом. Мы со свистом раскручивали над головой грузило и далеко закидывали шнур. Он разрезал малахитовую воду и уходил на дно. От шнура бежали торопливыми струйками пузыри воздуха. Море дышало,— вода то подымалась, натягивая самолов, то опускалась, и тогда самолов провисал.

После речной ловли я не сразу привык к тому, что не надо было смотреть на поплавок. Поплавка на самолове вообще не было. Клев передавался по шнуру, как нервный дрожащий удар. Тогда надо было подсекать и быстро выбирать шнур.

Попадались большие черные бычки — «кнуты», мелкая камбала — «глосса», барабулька, морские окуни и ерши, будто сделанные из одной колючей кости.

Морские рыбы казались мне тогда загадочными. Они вырывались из глубины, трепеща, разбрасывая брызги, и падали на горячие камни волнолома, как существа из далекого прохладного мира. Все в них было удивительным,— не только радужный блеск и странная окраска, но и острый свежий запах. Может быть, так, думал я, пахнут коралловые рифы (хотя этих рифов на Черном море и не было). А может быть, они пахли пузыристыми морскими водорослями. Или морской водой с ее неиссякаемой свежестью. Запах этот был похож на дыхание озона после длинной и веселой грозы.

Барабулька, блестящая, как новенькие серебряные монеты, тотчас лиловела на воздухе и покрывалась красны-

ми пятнами. Морские окуни переливались, как перламутр, тончайшими и туманными красками, заключенными в морской воде,— от лазоревой до золотой и пурпурной. В раскраске окуней было что-то схожее с тускнеющим цветом отраженных в море вечерних облаков.

Однажды худой рыболов в вылинявшей турецкой феске вытащил морского петуха — очень редкую и самую причудливую рыбу на Черном море.

Петух лежал на молу и шевелил плавниками, разгораясь переливами синего цвета. Вокруг стояли толпой рыболовы и молча смотрели на чудесную рыбу.

Потом самый старый рыболов грек Христо подошел к морскому петуху, осторожно взял его под жабры, спустился по выщербленному каменному трапу к воде и бросил рыбу обратно в море. Это был старый рыбацкий обычай — всегда выпускать в море морских петухов. Они были слишком необыкновенны. Зажарить их и съесть казалось таким же кощунством, как если бы человек растопил печку картиной великого мастера.

Я хорошо помню один «великий скумбрийный день» на волноломе. Над морем лежал синий штиль. Сквозь утреннюю дымку проступал далекий Дофиновский берег. У него был цвет охры.

Солнечная тишина уходила от подножья мола на тысячи миль. Море молчало на всем своем протяжении, до берегов Крыма, Кавказа, до Анатолии и Босфора. Даже рыболовы, сидевшие с длинными своими «прутами», перестали покачивать ими в воде, завороженные синевой и безмолвием.

Тетя Пая только вздыхала.

— До чего же приятное наше море! — говорила она вполголоса.— Такое приятное, что и не поверишь, будто на свете есть всякие ненависти и страсти.

Мы с Багрицким лежали на молу и смотрели на небо. Оно, казалось, неслось все ввысь, к какому-то недостижимому зениту. Шнуры мы намотали на босые ноги. Бычки нетерпеливо дергали за шнуры, но нам было лень подняться, нам было жаль нарушать сияние этого утра. Багрицкий вполголоса читал стихи Веры Инбер об одесской осени:

Осенний воздух тонок и опасен,
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен,
И шум его нежней.

Внезапно все сдвинулось и смешалось. Рыболовы схватились за удилища. Над водой, как залп из тысячи серебряных узких пуль, взлетела скумбрийная стая. Скумбрия разлеталась веерами, неслась потоками живых узких веретен. Тучи чаек налетали с открытого моря, шумя крыльями. Казалось, на волнолом несется метель.

Тотчас все пруты во всю длину мола взвились, будто их подкинула высокая волна, и на конце каждой лески забилась и засверкала скумбрия.

Пруты подымались и опускались торопливо и непрерывно. По всему молу скакали тугие рыбы с синеватыми спинками. Кот Зяма вертелся среди скачущей рыбы, и глаза его пылали зеленым восторгом. Что-то кричала тетя Пая. К волнолому шли, торопясь, шлюпки с новыми рыболовами. С берега долетали протяжные крики: «Скумбрия пойшла!» Там метались в отчаянии толпы одесских мальчишек, так называемых «пацанов». Они хотели попасть на волнолом, но их не брали в шлюпки.

Все корзины рыболовов были уже полны рыбой, а скумбрийные стаи все еще мчались под водой струящимся серебром. Океанский наливной пароход входил в порт и величаво гудел. Красные отблески от его днища переливались в воде. Скумбрия проносилась сквозь этот блеск и на мгновение вспыхивала пурпурным цветом. А пароход все гудел, приветствуя большой южный порт. След за кормой парохода тянулся далеко через заштилевшее море, и мне казалось, что он никогда не растаст и по этому следу можно будет прочертить путь парохода к Одессе из далеких, затуманенных зноем морей.

После этого я потом часто ловил рыбу на Черном море — в Балаклаве, Ялте, Коктебеле, в Сухуми и под Батумом, но ни разу больше я не видел таких несметных стай рыбы, как в это осеннее утро в Одессе. И, пожалуй, я ни разу больше не видел такого чуть туманного и прозрачного штиля. Хотя нет! Были и другие морские тихие дни. Но все они очень различались друг от друга.

Год назад я был в Коктебеле. Потухший вулкан Карадаг обрывался в море опаленными стенами. Карадаг был суров и темен, а море у его ног лежало безмолвное и белое от облачного неба. В серой воде был далеко виден шнур самолова и маленький краб, прицепившийся клешнями к этому шнуру.

Брали морские окуни, но так редко, что у меня оставалось время подолгу смотреть на разноцветные облака над

вершинами желтых гор, заросшими терновником. Облака эти стояли над всем восточным Крымом, как архипелаг летучих островов.

Я помню много хороших рыболовных дней на Черном море. Помню старую шхуну «Кудесник» в Балаклаве. Я ловил рыбу с ее рассохшейся палубы. Помню гранитную пристань в Массандре, похожую на средневековый форт. Там за час можно было поймать всего одного-двух бычков, но, несмотря на это, просидеть весь день, подремывая на теплых, отполированных волнами камнях.

Помню горячую крупную гальку на берегу под Сухуми. Там вместо грузила я привязывал к самолову плоские голыши. Они часто срывались, когда я раскручивал над головой самолов, и били с размаху о скалы, как разрывные пули. Тогда от скал шел едкий дымок и пахло порохом.

Помню ловлю на удочку в Батумском порту, когда красный пробковый поплавок затеривался среди множества мандариновых корок и ветер с берега приносил лимонный запах черной лакированной листвы. А Черное море шумело за молом, где стояли, накренившись, огромные грузовые пароходы и спали, дожидаясь погрузки.

Но все же морская ловля, несмотря на всю ее прелесть, не может, по-моему, сравниться с речной. Прежде всего на море мешают штормы. К речной ловле нужно применять несравненно больше ловкости и мастерства, чем к ловле в море, где рыба берет жадно и без разбора, даже на куски тряпок, лишь бы они были ярко окрашены.

Но все же будем благодарны Черному морю не только за его праздничность, блеск и пенный шум, но и за рыбную ловлю у его берегов. Она полна поэзии. Стоит провести на морском берегу весь день хотя бы для того, чтобы увидеть, как прибой вынесет на берег лимонную корку и осторожно положит ее к вашим ногам, чтобы слышать ропот прибоя и следить за тем, как армады облаков плывут к вершинам гор, редеют к вечеру и невольно напоминают нам о великом нашем поэте, который так пылко был привязан сердцем к этой полуденной земле и оставил нам о ней свои изумительные стихи:

Редеет облаков летучая гряда...

1951

ВЕЛИКОЕ ПЛЕМЯ РЫБОЛОВОВ

Старый русский писатель дедушка Аксаков был, как известно, опытным и страстным рыболовом. Он написал превосходную книгу о рыбной ловле. Называется она «Записки об ужении рыбы». Книга эта хороша не только тем, что прекрасно передает поэзию рыбной ловли, но еще и тем, что написана она чистым, как ключевая вода, языком.

Я назвал Аксакова дедушкой. До сих пор у нас было принято называть так баснописца Крылова. Но Аксаков, наравне с Крыловым, имеет полное право на это ласковое имя за его добросердечие, спокойствие и проницательность.

Аксаков первый в русской литературе начал писать о рыбной ловле, об этом удивительном занятии, заставляющем человека узнать природу, полюбить ее и жить с ней одной жизнью.

Рыболову легче всего открывается красота природы, ее затаенная прелесть. Можно смело сказать, что любой человек, если он проведет хотя бы один только день с удочками на реке или озере, если он надышится запахом трав и воды, услышит пересвист птиц и курлыканье журавлей, увидит в темной воде блеск крупной рыбы, если он, наконец, почувствует ее упругий бег на тончайшей леске, будет потом долго вспоминать этот день как один из самых спокойных и счастливых дней своей жизни.

Все вокруг покажется ему необыкновенным: и шныряющие по воде оливковые жуки-плавунцы, и заросшие тиной коряги, и розовые острова водяной гречихи, и закатные облака, сверкающие в прозрачной воде своими золотыми краями, и первая звезда, что задрожит посреди озера, как осколок синего драгоценного камня, и тишина ночи, всегда немного загадочной, дышащей сыростью лесных чащ.

Природа учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране невозможна без любви к ее природе. Поэтому все, в том числе и рыбная ловля, что приближает нас к природе и роднит с ней,— патриотично в самом широком смысле этого слова.

Рыбная ловля не только развивает у нас любовь к родной природе, но и дает нам много знаний о ней. Это накопление знаний происходит исподволь, медленно, изо дня в день. А чем больше знает человек, тем большую цен-

ность он представляет для общества и тем интереснее и плодотворнее его собственная жизнь.

Достаточно пробыть на берегу реки одни сутки, чтобы увидеть множество замечательных вещей. Их никогда не увидит горожанин.

Чтобы доказать это, я могу сослаться на собственный опыт и описать наугад любой день из великого множества дней своей рыболовной жизни.

В тех местах, где я чаще всего ловлю рыбу, есть широкое старое русло Оки. Называется оно Музгой. Я опишу вам осенний день на Музге, и вы сами поймете, как много знаний и поэзии заключено на берегах этой реки и в ее тихих водах.

Но прежде всего нужно разрушить один очень распространенный и глупый предрассудок о том, что рыбная ловля — это «сидячее» занятие и рыболовы — самые неподвижные люди в мире. На самом деле все обстоит совершенно иначе.

Судите сами,— от дервни, где я живу, до Музги не меньше десяти километров. Значит, мне нужно пройти эти десять километров, потом обойти берега Музги, тянущиеся на двадцать — двадцать пять километров, разбить палатку, собрать хворост для костра, надуть резиновую лодку, проплыть на этой лодке не меньше пяти-шести километров, потом возвратиться с Музги в деревню.

Как-то мы, рыболовы, подсчитали, что за каждый месяц, проведенный на ловле, мы проходили не меньше шестисот километров.

Посмотрел бы я, как говорится, на того насмешника, который издевается над рыболовами за то, что они сидят «как пни» по берегам рек, посмотрел бы я на него после одного дня такой «сидячей» рыболовной жизни. Я ручаюсь, что увидел бы этого человека в довольно жалком состоянии — измотанного, опухшего от комариных укусов, сожженного солнцем, невыспавшегося, закопченного дымом костра и исцарапанного до крови ежевикой.

Рыбная ловля дает великолепную закалку. Только первые дни даются с трудом. Потом привыкаешь к жаре и холоду, к дождям, к тому, что промокаешь насквозь и высыхаешь на ветру, к тому, что постелью для тебя бывает трава, а пологом — звездное небо.

Когда приходит эта привычка, когда наконец наступает то состояние, когда человеку ничто в природе не страшно и стены дома перестают быть для него единствен-

ным надежным убежищем, тогда только природа раскрывается перед его глазами во всем своем разнообразии и могуществе.

Непонятным и смешным становится тот страх, что испытывают перед природой «комнатные» люди,— страх перед грозами и ливнями, туманами и зноем, непроглядными ночами и ветрами, лесами и непонятными звуками. Для «комнатного» человека природа полна неудобств и скрывает в себе всяческие неприятности.

Недаром писатель Гайдар — большой рыболов — любил говорить, что «на рыбной ловле — как на фронте». И он был отчасти прав. Во время последней войны мои друзья-рыболовы, люди разных профессий — писатели, режиссеры и художники — поражали самых опытных и видавших виды военных своей выносливостью и закалкой.

Да, но вернемся к тому рыболовному дню, о котором я обещал рассказать. Но мне опять придется немного отвлечься в сторону. Прежде чем рассказывать об этом дне, я хочу спросить любого из своих читателей, сколько раз в жизни он видел восход солнца.

Сгоряча читатель, конечно, ответит, что видел его много раз. Но, подумав, согласится со мной, что это было совсем не часто, а даже наоборот, очень редко.

У большинства людей нет необходимости вставать на рассвете, а рыболов должен быть на реке, как только засинеет на востоке утренняя заря, начнут гаснуть звезды и потом, в туманах и тишине, подымется над травами и водами огромное багровое солнце,— солнце бесконечного летнего дня.

Ни один из восходов солнца не бывает похож на другой. Иногда солнце восходит как золотой шар, иногда как белое видение в густой осенней мгле, а иной раз как большой искристый алмаз. Его блеск зажигает в мокрой листве тысячи таких же маленьких солнц-алмазов, но один из этих алмазов — самый яркий — нестерпимо горит на небе невдалеке от солнца. Это утренняя звезда Венера.

Приход каждого нового дня нашей жизни — простое и величавое зрелище. И каждый, кто испытал эту предрассветную холодноватую чистоту воздуха, видел блеск Венеры над далью лесов и почувствовал первую робкую теплоту солнца на своем лице, никогда, конечно, этого не забудет.

Рыбная ловля тем и хороша, что она оставляет нас с глазу на глаз с природой, в любое время суток, в любое время года и в любую погоду.

Кому из «деловых» людей придет в голову встать в два часа ночи, когда окна в доме запотели от холода, и, напившись наскоро чаю, идти за пятнадцать километров глухими лесами на пустынное лесное озеро? Идти в темноте, иной раз под дождем, и вдыхать резкий по ночам запах сырого можжевельника и грибной прели. Нет рыболова, который бы не испытал необыкновенной прелести этих ночных походов. Даже от воспоминания о них начинает биться сердце.

Как хорошо потом, прорвавшись к озеру сквозь мокрые заросли, развести костер, обсохнуть, снова напиться чаю с тут же сорванной около ног брусникой и закинуть в темную затишливую воду удочки с красными перяными поплавками. Закинуть и ждать, пока поплавок не вздрогнет и не начнет уходить в зеленую глубину, под листья водяных лилий. Ждать и следить за тем, как в тумане над озером висят невдалеке друг от друга два больших желтых солнца — одно в небе, а другое в озерной воде.

Но я опять отвлекся от описания рыболовного дня. Надо возвращаться на Музгу, чтобы рассказать вам, хотя бы вкратце, о том, что там можно узнать и увидеть.

Прежде всего можно увидеть и узнать множество разных деревьев, кустарников и трав. Старые осокори стоят над самой водой. Их беловатая растрескавшаяся кора похожа на почерневшее серебро. Желтые пахучие листья отрываются от ветвей и слетают в воду. Вода так неподвижна, что видно, как от отражения осокоря отрывается в воде такой же лист. Оба листа летят навстречу друг другу — один вниз, а другой вверх. На поверхности воды они сливаются в один лист, и легкое течение уносит его в туман. Можно поймать такой лист осокоря, рассмотреть его и увидеть тончайший слой пробки, наросший к осени у черенка листа и заставивший его отделиться от ветки.

Можно увидеть все краски осени и узнать, что все деревья и кустарники расцвечены по-разному.

Береза роняет лимонные листья, осина — красные с черными блестящими пятнами или лиловые с пятнами чисто золотыми, ива — зеленовато-желтые, дуб — коричневые, хмель — листья цвета рогожи, рябина — розовые, а конский щавель пылает в сухой траве, как рыжее пламя.

Что может быть лучше осеннего лиственного пожара и

его отражения в воде,— отражения чуть потускневшего, когда все видно, будто сквозь стекло, запотевшее от дыхания.

Все платье у вас будет усеяно вцепившимися в него семенами череды, колючими шариками ясменника и головками лопухов. Разглядывая эти семена, вы будете поражены теми необыкновенно хитрыми и простыми прицепками, какие существуют в природе для распространения семян.

Постепенно вы узнаете разнообразие трав и деревьев. Вы не сможете их не рассмотреть, потому что они все время будут окружать вас тесной стеной, прикасаться к вашему лицу, напоминать о себе — то приятным запахом и удивительной своей формой, то всякими подвохами, как, например, ежевика, любящая хватать человека за ноги и долго не отпускать его, или телорез с листьями острыми, как бритва.

Камышевки будут садиться на ваше удилище и висеть на нем вниз головой, высматривая в воде жуков-водомеров. Седые водяные крысы у вас на глазах будут срезать зубами тростник и, зажав его во рту, переплывать с ним реку. Стебли тростника наполнены воздухом и хорошо поддерживают крыс на воде. А вокруг по густым зарослям старые воробьи будут весь день с неистовым писком и волнением обучать молодых воробьев своему сложному делу — полету и вылавливанию мошкары.

Орланы-белохвосты будут камнем падать в воду и подхватывать уклеек, а в воздухе над собой вы увидите птичьи бои и косяки журавлей, наполняющих осеннюю тишину переливчатым звоном. И, может быть, вам удастся, как удалось однажды мне, увидеть, как журавли уносили на крыльях своего раненого товарища.

Вы научитесь узнавать время днем по солнцу, а ночью — по петушиным крикам, восходу планет и расположению созвездий.

Движение звездного неба станет для вас понятным, как знакомая карта. В самые глухие осенние ночи вы будете просыпаться, выходить из палатки и разводить костер, как только над краем темной земли начнет переливаться зеленым огнем блистающий Сириус. Это будет значить, что приближается пятый час утра.

Вы узнаете много точных примет. Дым костра, мерцание звезд, вид облаков, холодная роса, цвет закатного неба, полет птиц, ясность далей, теплота и прохлада но-

чей — все это будет предупреждать вас о переменах погоды.

Вы научитесь различать голоса птиц, определять по плеску воды, какая бьет рыба в реке. Ваш слух обострится до того, что вы издалека будете слышать по ночам приближающийся шорох дождя. Не только слух, но и все ваши чувства очень обострятся от общения с природой.

И, наконец, вы услышите много удивительных рассказов от встречных паромщиков, перевозчиков, бакенщиков, лесников, корзинщиков, рыбаков, пастухов и охотников — от тех людей, чей труд связан с постоянным пребыванием среди природы. Слушая эти рассказы, вы прикоснетесь к богатым истокам русского языка.

Все это даст вам рыбная ловля. И тогда вы только усмехнетесь в ответ на обывательские разговоры о неподвижности и скуке этого занятия и пожалеете людей, которым не дано всего этого знать.

Они будут с полным основанием казаться вам обездоленными, тогда как вы будете владетелями настоящих богатств познания и поэзии.

Я почти ничего не сказал о самой рыбной ловле. О ней можно писать книги — о повадках рыб, об удочках, поплавках, клеве, подсечке, о разных замечательных случаях на ловле, о нраве рыболовов, блеснах, зимнем ужении и наживке.

Но это и не входит в мою задачу. Это вы узнаете по собственному опыту и из хороших руководств по ужению рыбы. Мне же хотелось рассказать вам, хотя бы и очень коротко, о том удивительном и для многих из нас еще не изведанном мире природы, который окружает каждого рыболова.

Недаром столько замечательных и великих людей, в частности писателей, увлекались рыбной ловлей и находили в ней не только отдых, но и гораздо большее содержание. Рыбную ловлю любили Чехов, Тургенев, Аксаков, Мопассан, Марк Твен и многие другие.

Займитесь ужением, вступите в «великое племя рыболовов», как шутливо называл рыболовов Гайдар, и вы сразу же почувствуете, как окрепнет и закалится ваше тело. Вы погрузитесь в светлую поэзию русской природы и жизни.

1952

Литературные портреты

ОСКАР УАЙЛЬД

В ноябре 1895 года в Реддингскую каторжную тюрьму был доставлен из Лондона в ручных кандалах знаменитый английский писатель Оскар Уайльд. Он был приговорен к нескольким годам заключения за «нарушение нравственности».

На вокзале в Реддинге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал впервые в жизни. Толпа хохотала.

До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания. До тех пор он был блестящим лондонским денди, бездельником и гениальным говоруном. Он выходил гулять на Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался так, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и надменно смотрел на мир из-под полуприкрытых век почти так, как Уайльд.

Уайльд не хотел замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней.

Он любил все искусственное. Оранжереи были ему милее лесов, духи — милее запаха осенней земли. Он недолюбливал природу. Она казалась ему грубой и утомительной. Он играл с жизнью, как с игрушкой. Все, даже острая человеческая мысль, существовало для него, как повод для наслаждения.

В Лондоне около дома, где жил Уайльд, стоял нищий. Его лохмотья раздражали Уайльда. Он вызвал лучшего в

Лондоне портного и заказал ему для нищего костюм из тонкой, дорогой ткани. Когда костюм был готов, Уайльд сам наметил мелом места, где должны быть прорехи. С тех пор под окнами Уайльда стоял старик в живописном и дорогом рубище. Нищий перестал оскорблять вкус Уайльда. «Даже бедность должна быть красивой».

Так жил Уайльд — надменный человек, погруженный в книги и созерцание прекрасных вещей. По вечерам он появлялся в клубах и салонах, и это были лучшие часы его жизни. Он преображался. Его обрюзгшее лицо становилось молодым и бледнело.

Он говорил. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных сравнений, отступлениями в область редчайших знаний.

Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Уходя, он забывал о рассказанном. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному. Он предоставлял друзьям записывать все, что они слышали от него, сам же писал очень мало. Едва ли сотая часть его рассказов была записана им впоследствии. Уайльд был ленив и щедр.

«В истории всего человечества,— писал об Уайльде его биограф,— никогда еще не было такого замечательного собеседника».

После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдание стали уделом этого человека и уже не покидали его до самой смерти.

В тюремной камере Уайльд наконец понял, что значат горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».

За год до этого он высокомерно удивлялся людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал:

«Бедняки мудры. Они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то

если в домах богатых я не получу ничего — мне подадут бедные».

Год назад он говорил, что выше всего в жизни искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе:

«Много прекрасных людей — рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих — ничего не знают об искусстве, и, несмотря на это, они — истинная соль земли».

Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы — полевую гвоздику или ромашку,— прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему слишком крикливым. Теперь он писал:

«Я чувствую стремление к простому, первобытному, к морю, которое для меня такая же мать, как земля».

В тюрьме он мучительно завидовал натуралисту Линнею, который упал на колени и заплакал от радости, когда впервые увидел обширные луга нагорья, желтые от дрока.

Нужна была каторга, нужно было смотреть в лицо смертника, видеть, как избивают сумасшедших, месяцами, сдирая ногти, расщипывать по волокнам гнилые канаты, бессмысленно перетаскивать с места на место тяжелые камни, потерять друзей, потерять блестящее прошлое, чтобы понять наконец, что общественный строй Англии «чудовищен и несправедлив», чтобы окончить свои записки такими словами:

«В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где я смогу укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке, и ветром завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. В великих водах очистит меня природа и исцелит горькими травами».

В тюрьме Уайльд впервые в жизни узнал, что значит товарищество. «Никогда в жизни я не испытал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей — арестантов».

Из тюрьмы Уайльд вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.

После тюрьмы Уайльд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи, пожалуй, стоят всего написанного Уайльдом раньше.

В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослы-

ми сажают в английские тюрьмы, в другой — о дикости тюремных нравов.

Эти статьи ставят Уайльда в ряды лучших людей. Уайльд впервые выступил как обличитель.

Одна из статей написана как будто по незначительному поводу: надзиратель Реддингской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.

«Жестокость, которой подвергаются и днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятна. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Реддингской тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить па целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей».

Так писал Уайльд в то время, и совершенно ясно, что наравне с остальными арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого оп часто видел рыдающим в одиночной камере.

Вскоре после освобождения из тюрьмы Уайльд умер в добровольном изгнании в Париже.

Он умер в нищете, забытый Англией, Лондоном и друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.

1937

МАЛЫШКИН

На дощатом крыльце сельской почты мальчишка-почтарь долго клеил на стену свежую московскую газету. Я ждал. С юга дуло жаром, несло пылью, запахом раскаленных сосен. В сером небе стояли ватные сухие облака.

Я взглянул на последнюю страницу газеты, и будто чугунным кулаком кто-то стиснул сердце...

Умер Малышкин.

Вокруг было все то же, пылил все тот же любимый им бесхитростный русский день, но его, Малышкина, милого Александра Георгиевича, уже не было, и мысль эта была нелепой и горькой.

В Малышкине рядом с неспокойной, всегда оживленной, всегда взволнованной талантливостью жила большая житейская простота, жизнерадостность, любовь к людям, к писательству как к своему единственно мыслимому и прекрасному человеческому пути.

Если говорить о традициях большой литературы или, вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций — носителем верным и непреклонным.

Все его писательство, вся его личная жизнь были порывом к счастью — к счастью своей страны, своего народа. Этот порыв лучше всего передан им в небольшом рассказе «Поезд на юг» — одном из шедевров советской литературы.

В этом постоянном беспокойном порыве к счастью и познанию всего существующего Малышкин был похож на ребенка,— он был так же искренен, экспансивен, так же по-детски радовался всему, что наполняло жизнь разумным и веселым содержанием.

Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы — такова, говорил он, была придуманная им традиция — водить всех только что приехавших в горы.

Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам — он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы.

Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся — он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни.

Мы остановились на высоте скалы, туман прошел, и внезапно открылось море. Оно казалось сгущенным возду-

хом этой осени, оно несло к подножью мысов, к коричневой земле виноградников прозрачную влагу и качало в ней отражение солнца.

— Да,— сказал Малышкин и показал на море,— таким оно было, когда здесь еще не существовало Ялты, и таким оно будет, когда мы с вами умрем. Это очень радостно.

Эта простая мысль обычно вызывает у людей чувство собственного ничтожества, но Малышкин ощущал ее как нечто утверждающее жизнь.

Малышкин умер. Исчезло ясное и простое очарование его ума, таланта и доброты. И бесконечно жаль, что он умер так рано,— ведь для Малышкина только в последние годы началась его молодость, до этого жизнь была для него невесела и сурова.

Он умер, но Черное море шумит, как шумело при нем, и к нашим богатствам прибавилась еще одна ценность, оставленная нам Малышкиным,— его великолепные книги и его высокое волнение перед зрелищем мира и настоящей, невыдуманной человеческой жизни.

Солотча, Рязанская область
1938

СЛУЧАЙ С ДИККЕНСОМ

(Из записной книжки)

Желтые облака над Феодосией. Они кажутся древними, средневековыми. Жара. Прибой гремит жестянками. Мальчишки сидят на старой акации и набивают рот сухими сладкими цветами. Далеко над морем подымается прозрачная струя дыма — идет из Одессы теплоход. Мрачный рыбак, подпоясанный обрывком сети, свистит и сплевывает в воду — ему скучно. Рядом с рыбаком на берегу сидит мальчик и читает книгу. «Дай, пацан, поглядеть, что такое за книга»,— хрипло просит рыбак. Мальчик робко протягивает книгу. Рыбак начинает читать. Он читает пять минут, десять, он сопит от увлечения и говорит: «Вот это завинчено, убей меня бог!» Мальчик ждет. Рыбак читает уже полчаса. Облака переменились на небе местами, мальчишки уже объели одну акацию и полезли на другую. Рыбак читает. Мальчик смотрит на него с тревогой. Про-

ходит час. «Дядя,— шепотом говорит мальчик,— мне надо домой».— «До мамы?» — не глядя на него, спрашивает рыбак. «До мамы»,— отвечает мальчик. «Успеешь до мамы»,— сердито говорит рыбак. Мальчик замолкает. Рыбак с шумом перелистывает страницы, глотает слюпу. Проходит полтора часа. Мальчик начинает тихо плакать. Теплоход уже подходит к порту и гудит небрежно и величаво. Рыбак читает. Мальчик плачет, уже не скрываясь, слезы текут по его дрожащим щекам. Рыбак ничего не видит. Старый пристанский сторож кричит ему: «Петя, чего ты мучаешь ребенка! Отдай книгу, имей каплю совести». Рыбак удивленно смотрит на мальчика, бросает ему книгу, плюет, говорит с сердцем: «На, собственник, базарная душа, подавись той книгой!» Мальчик хватает книгу и бежит, не оглядываясь, по раскаленному портовому спуску. «Что это была за книга?» — спрашиваю я рыбака. «Та Диккенс,— говорит он с досадой.— Такой прилипчивый писатель — как смола!»

1939

ЭДГАР ПО

В конце сентября 1849 года в вагоне поезда, только что отошедшего из Балтиморы в Филадельфию, кондуктор заметил низенького, худого человека в потрепанной одежде. Человек этот лежал без сознания. Когда он пришел в себя, кондуктор высадил его на первой же станции и отправил обратно в Балтимору, где, как полагал кондуктор, у этого человека должны были быть родственники или друзья. Неизвестный человек двигался как во сне и почти ничего не понимал. Чемодан его был набит рукописями.

В Балтиморе неизвестный вышел из вокзала, сел на уличную скамейку и просидел несколько часов без движения. Потом он упал. Его подобрали и отправили в больницу.

Через несколько дней, 7 октября 1849 года, этот человек умер от болезни, которую врачи не смогли определить. В медальоне на груди умершего нашли портрет молодой женщины необыкновенной красоты. Как потом выяснилось, это был портрет его матери. С ним умерший не расставался всю жизнь.

Так странно и одиноко окончилось существование замечательного американского писателя Эдгара По.

Современники Эдгара По оставили о нем много воспоминаний, но все эти воспоминания написаны так, будто Эдгар По появился в тогдашней Америке как пришелец с далекой планеты.

О нем писали с почтительным или злым недоумением. Его разглядывали с любопытством и осуждением. Его боялись, но время от времени им восхищались. Он никак не сливался с благопристойной скукой и добропорядочностью, составлявшими основу жизни американца тридцатых и сороковых годов.

Эдгар По был «блудным сыном» Америки. Самое существование этого поэта, фантаста и неудачника, казалось вызовом ханжеству и рутине. В трезвый век пара и торговых лихорадок появился человек, который жил только силой своего воображения и насмехался над всем, что составляло смысл жизни его соотечественников.

Этого ему не могли простить, за это ему мстили. Его заставили почти всю жизнь голодать, нищенствовать, обивать пороги редакций. При жизни ему платили равнодушием, после смерти — клеветой.

Эта посмертная клевета на Эдгара По вызвала возмущенный возглас французского поэта Бодлера: «Почему в Америке не запрещают собакам ходить на кладбище?»

Эдгар По написал много фантастических рассказов. Он написал много великолепных стихов и поэм, ставших сокровищами не только американской, но и всемирной поэзии.

Его поэмы «Ворон» и «Колокола» справедливо считаются по глубине и поэтической силе мировыми шедеврами.

Кроме того, Эдгар По впервые создал приключенческие и так называемые детективные рассказы, отличавшиеся необыкновенной точностью и блеском анализа. Пожалуй, на первом месте среди таких рассказов стоит «Золотой жук» — рассказ, овеянный острым и волнующим воздухом тайны.

Эдгар По был одним из родоначальников той фантастической литературы, которая получила свое развитие в произведениях Жюля Верна и Герберта Уэллса.

По крови Эдгар По ирландец. Он происходил из старинного ирландского рода. Предки его переселились в Америку. Дед Эдгара участвовал в войне за независимость

Соединенных Штатов, был генералом и дружил со знаменитым Лафайетом. Отец Эдгара По оставил генеральский дом с его прочным укладом и стал актером. Он женился на английской актрисе Элизабет Арнольд, женщине редкой красоты, сироте, родившейся на палубе корабля среди океана и воспитанной чужими людьми. Родители По переезжали в фургоне из города в город с труппой бродячих актеров.

В 1809 году в Бостоне у них родился сын Эдгар.

Когда Эдгару было всего два года, родители его почти в одно время умерли от чахотки. Мальчика взял на воспитание шотландский купец Джон Аллен из города Ричмонда в Виргинии.

Эдгар, красивый, своенравный и смелый мальчик, отличавшийся необыкновенной добротой, рос в богатой семье. Вскоре Аллен уехал на пять лет по торговым делам в Англию и взял Эдгара с собой.

То было время битвы при Ватерлоо, пленения Наполеона, молодости Байрона и Пушкина. Ветер романтики бушевал над Европой. Маленький Эдгар учился в школе на окраине Лондона, на тихой улице, обсаженной вековыми вязами. Улица эта выросла по сторонам сохранившейся древней римской дороги. Вся эта обстановка и бледное небо Англии вызывали мечтательность. С детских лет Эдгар дал волю своему воображению и потом с полным правом говорил о себе, что «мечтать было единственным делом моей жизни».

В 1820 году Эдгар вместе с Алленом вернулся в Виргинию и поступил в ричмондскую школу. Учителей этой школы удивляло, что Эдгар «всегда был готов уцепиться за любую трудную умственную задачу». Мальчик великолепно плавал. Он прославился на весь штат тем, что проплыл шесть миль против течения бурной реки. Он мечтал переплыть Ла-Манш.

Так, как будто безоблачно, шла жизнь, но в глубине ее пряталась горечь. Эдгар никогда не мог забыть, что он приемыш. Весь характер жизни в доме Аллена был ему чужд и даже враждебен. Чувство одиночества не покидало «странного Эдди». Он очень болезненно и пылко отзывался на проявления доброты по отношению к себе. Случайная знакомая, Елена Стенперд, однажды приласкала его, и он отплатил ей за это глубокой привязанностью. Стенперд вскоре умерла. Эдгар часто ходил на ее могилу, иногда даже засыпал на могиле в слезах, а утром его находили на

кладбище слуги шокированного этими «выходками» Джона Аллена.

Разрыв с приемным отцом был неизбежен. Он произошел, когда Эдгар поступил в Виргинианский университет.

Там он жил среди студентов весело и безалаберно. Он поражал всех своей удивительной памятью и немного сумбурной, но необыкновенной речью. Он потрясал слушателей, зачаровывал их, вырывал из привычной действительности и переносил в мир поэзии, вдохновения, тайн и тревог. «Гений-подкидыш»,— говорили о нем преподаватели и студенты.

Эдгар не окончил университета. Он порвал с приемным отцом, уехал в Бостон, и с этого времени началась его самостоятельная, порой легендарная, бродячая и трудная жизнь.

В Бостоне он выпустил первую книгу своих стихов — «Тамерлан». Потом на шесть лет он исчез из Америки. Никто не знает, что происходило с ним за эти шесть лет. Здесь начинается область легенд. Говорят, что он был в Греции, Италии, участвовал в польском восстании, жил в Петербурге, был ранен во время драки в Марселе и, наконец, якобы служил под вымышленным именем в американской армии. Известно только, что в 1830 году он появился в Вест-Пойнте, в Военной академии, уже усталым, с подорванным здоровьем юношей; он пробыл там недолго. Он несколько раз, очевидно сознательно, нарушил дисциплину, был предан военному суду и исключен из армии. Потом Эдгар По выпустил две новые книги поэм и опять исчез на три года. Появился он в 1833 году в редакции журнала «Субботний гость» в Балтиморе. Он принес в редакцию два рассказа — «Рукопись, найденная в бутылке» и «Низвержение в Мальстрем» — и ушел. Рассказы произвели ошеломляющее впечатление. Писатель Кеннеди бросился разыскивать неизвестного автора. Он нашел Эдгара По в холодной каморке, умирающего от голода. Кеннеди поразило нервное и печальное лицо По, светло-оливковый цвет его кожи, живые и напряженные глаза и весь облик этого нищего, державшего себя с необыкновенным достоинством и изяществом подлинного джентльмена.

Рассказы были напечатаны. Слава пришла сразу. Она прокатилась волной по Америке и перебросилась в Старый Свет. Но слава ни разу в жизни не дала Эдгару По ни одного дня, свободного от нужды и забот.

В 1837 году жизнь наконец улыбнулась Эдгару. Он полюбил свою двоюродную сестру Виргинию. Некоторое время спустя Эдгар По обвенчался с нею в Ричмонде. По отзывам всех, кто видел Виргинию, это была девушка, полная внешнего и внутреннего изящества, простоты и ласковости. Она глубоко и преданно любила Эдгара По. Знакомые прозвали ее «Троицын цвет» — по имени нежного цветка, украшавшего поля вокруг Ричмонда.

Виргиния умерла от чахотки, когда ей было всего двадцать пять лет. Эдгар По прожил с ней и с ее матерью Клемм несколько спокойных годов. Он был очень весел в это время, мягок и добр. Когда жить в Нью-Йорке, Ричмонде, Филадельфии и других городах стало уже не по силам из-за денежных затруднений, По переехал в деревню.

Он жил с Виргинией и ее матерью в маленьком доме, окруженном мириадами цветов и старыми вишневыми деревьями. Поэтесса Френсис Локки вспоминает, как легко и весело работал в это время Эдгар По. Он показывал ей свои рукописи. Писал он на узких и длинных листах бумаги, свернутой в рулоны. По, смеясь, развертывал перед ней эти длинные рукописи и протягивал их через весь сад.

В деревне Эдгар По начал писать очерки о тогдашних американских писателях. Это были язвительные и беспощадные портреты. Литературная Америка всполошилась. Началась обдуманная травля Эдгара По. Ему начали возвращать рукописи из журналов. На него клеветали. Наступили безденежье и нужда. По пришел в отчаяние и начал пить. Все рушилось.

Один из журналов напечатал воззвание к гражданам Америки с просьбой жертвовать деньги и вещи в пользу нищего Эдгара По. Это воззвание о милостыне привело писателя в ярость. Он считал, что его литературные заслуги перед Америкой таковы, что правительство может помочь ему в трудную минуту. Но правительство ответило на обращение Эдгара По грубым отказом.

В январе 1847 года Виргиния умерла в пустом деревенском доме — все было продано. Она умерла на полу, на охапке чистой соломы, застланной белоснежной простыней, умерла, укрытая старым, рваным пальто Эдгара По.

Эдгар По пережил Виргинию только на два года. Он сильно страдал, метался по стране. Он искал новых привязанностей, но никто не мог заменить ему Виргинию. Один только человек остался верен Эдгару По до смерти,

по-матерински заботился о нем. Это была мать Виргинии, старуха Клемм.

Хоронили Эдгара По в Балтиморе. Хоронили чужие, а может быть, и враждебные люди.

Они заказали очень тяжелую каменную плиту, чтобы положить ее на могилу неспокойного поэта. Как будто тяжестью этой плиты они измеряли свое пренебрежение к нему. Как будто они боялись, что он может встать из могилы — насмешливый и непонятный.

Когда каменную плиту положили на могилу Эдгара По, она раскололась. Весной в трещине проросли занесенные ветром семена полевых цветов, и могила закрылась этими цветами и высокой травой.

Так жил, работал и умер Эдгар По. Жизнь его, равно как и смерть, лишний раз подтвердила ту истину, что старое общество всегда было жестоко и несправедливо к людям большого таланта и большой души.

1946

БЕССМЕРТНЫЙ ТИЛЬ

Старинная Фландрия. Родина Тиля Уленшпигеля. Веселая и богатая страна. Страна румяных и шутливых людей, тучных пастбищ, маленьких городов, дремлющих под треньканье надтреснутых колоколов, и других городов — многолюдных, огромных.

Эти города сотни лет копили богатства. Они были обширными кладовыми Европы. «Смотри,— сказал Уленшпигель Ламме, когда они подошли к Антверпену,— вот громадный город, который вселенная сделала средоточием своих сокровищ. Здесь золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, ковры, занавеси, бархат, шерсть и шелк; здесь бобы, горох, зерно, мясо, мука, кожи; здесь вина отовсюду».

Расцвет Фландрии начался еще в средние века. Неуклюжие корабли всех стран со своими разноцветными парусами отражались в воде фландрских гаваней и веселили человеческий глаз. Из погребов сочился сладковатый запах. В погребах был заперт вместе с товарами воздух тропических островов, далекой и таинственной Явы. Высушенные летучие рыбы висели над огнем каминов. Люди Фландрии трудились, как пчелы, собирая мед и жатву,

строя корабли, прорывая каналы, вспахивая поля, закидывая в реки и морские заливы рыбачьи сети, вертя жужжащие веретена с куделью. Такой мы представляли себе старинную Фландрию.

Но такой она казалась только при поверхностном знакомстве. Углубляясь в историю этой страны, мы узнавали о народных вольностях, о жестоких войнах с Испанией за независимость, о казнях, кострах, осадах, гуле «Борксторма» — набатного колокола, о черных тучах пожара, застилавших зеленые польдеры,— обо всем, что рассказал Шарль де Костер в своей замечательной книге.

Шарль де Костер, скромный ученый и литератор прошлого века, светловолосый высокий фламандец, собрал легенды о народном герое Фландрии Тиле Уленшпигеле, соединил их разрозненные части и создал эту бессмертную книгу.

Жизнь Шарля де Костера, этого мягкого и молчаливого человека, была полна лишений, горя и труда.

Костер был служащим бельгийского государственного архива. Через его руки прошло множество древних рукописей. Нужны были величайший талант и юношеская свежесть воображения, чтобы за полустертыми строчками манускриптов, за громоздкими фразами средневековых документов с их зачастую темным и запутанным содержанием увидеть во всем могучем размахе великое народное движение, возникшее в старой Фландрии,— восстание «гёзов» (в переводе — «рвани») против испанцев, чтобы воссоздать немеркнущий образ весельчака и мстителя Тиля Уленшпигеля и всю резкую по краскам и точную по рисунку героическую эпоху из истории своей страны.

«Тиль Уленшпигель» при жизни Шарля де Костера не пользовался успехом. Социальное его содержание, гнев, ненависть к сильным мира сего — все это отпугивало от книги Костера современных ему боязливых критиков. В то время в Бельгии уже зарождалось так называемое «внесоциальное» и расплывчатое литературное течение символистов, во главе которого стал Морис Метерлинк — мистический поэт с туманными глазами и туманными мыслями.

А Костер был резок, груб, неспокоен. Он говорил о прошлом Фландрии, но в голосе его звучало негодование против несправедливостей своего времени. Костер был не ко двору в благопристойной Бельгии конца XIX века. Поэтому и слава пришла к Шарлю де Костеру после смерти.

Где и когда родился в недрах Фландрии образ бродяги

и народного героя Тиля Уленшпигеля, сказать трудно. Это древний образ, переходивший из века в век, близкий романским народам. Средневековые устные рассказы — фаблио — сохранили нам воспоминания о якобы беззаботных плутах, носивших в сердце бесстрашие и любовь к своему народу.

У Тиля Уленшпигеля много предков, но создатель Уленшпигеля — один. Это народ Фландрии. Шарль де Костер — только представитель этого народа, талантливый, терпеливый и скромный писатель, закрепивший легенду на бумаге.

Как обычно, все герои легенды об Уленшпигеле олицетворяют те или иные свойства народа.

Тиль — это вольнолюбивый, стойкий и лукавый дух Фландрии. Его верная спутница Неле — это любовь. Ламме Гудзак — это «брюхо», плоть Фландрии, законченное выражение необыкновенной фламандской полнокровности и жизнерадостности.

Этот простак окружен в легенде звоном бутылок, шипением мяса на вертеле, треском разрываемых руками кровяных колбас. Он весь лоснится от благодушия, лени и жира, слизанного с тарелок. С редкой выразительной силой описывает Костер заезжие дворы и таверны с их грудами хрустящих пирожков, сала, белого хлеба, гентских сосисок, лувенского сыра, жареной рыбы, жирной ветчины, с песнями, драками и болтовней посетителей, в чьи глотки крепкое пиво низвергается, точно водопад, несущийся с горной вершины.

Но вокруг харчевен вьются ласточки в синем небе, дуют теплые ветры, качаются цветущие кусты, колосится пшеница, и живет другая Фландрия — ласковая, улыбающаяся и нежная, как девушка Неле.

Шарля де Костера привлекла полная трагических событий и героизма нидерландская революция XVI века, восстание страны против испанцев, народное движение «великой рвани» — гёзов.

Веселый Тиль, бродяга и затейник, беспечно слоняющийся по дорогам Нидерландов с песнями, плутнями и шутками, становится упорным борцом за лучшую участь своего народа, беспощадным мстителем за его поруганную свободу.

Бродяжничество Уленшпигеля приобретает иной характер: «Благословенны скитания ради освобождения родины». Теперь Тиль бродит по стране как разведчик, как

неуловимый собиратель народных сил. Всюду, у каждого порога, где живут угнетенные, на его условный крик жаворонка люди, готовые к восстанию, отвечают криком петуха.

Так он проходит по всей стране, и люди поднимаются вслед за ним. Набатные колокола гудят над кровлями деревень и городов, сзывая на борьбу с инквизицией.

Великолепны страницы в книге Шарля де Костера, посвященные портретам угнетателей Фландрии — зловещих испанских королей Карла Пятого и Филиппа Второго. Не многие книги в мировой литературе проникнуты такой яростной и уничтожающей силой ненависти. Особенно беспощаден Костер в тех местах, где он пишет о жестоком выродке — короле Филиппе Втором:

«В этот день король Филипп объелся пирожными и потому был еще более мрачен, чем обычно. Он играл на своем живом клавесине — ящике, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых дыр над клавишами. Когда король ударял по клавише, она, в свою очередь, ударяла иглой по кошке, и животное жалобно мяукало от боли.

Но Филипп не смеялся».

Отрекшийся от престола Карл Пятый учит своего сына Филиппа основам вероломного управления народами. «Надо лизать,— говорит он,— пока не пришло время укусить».

Отец Тиля Уленшпигеля Клаас погибает на костре инквизиции. Тиль зашивает в мешочек пепел его сердца, всю жизнь носит его у себя на груди, и этот пепел Клааса становится символом неутолимой народной мести. Как грозный припев проходят через всю легенду слова Тиля: «Пепел Клааса стучит в мое сердце!»

«Пепел Клааса стучит в мое сердце,— говорит Тиль.— Смерть властвует над Фландрией и во имя папы косит сильнейших мужчин и прекраснейших девушек. Права Фландрии попраны, ее вольности отобраны, голод грызет страну... Если Фландрии не прийти на помощь, она погибнет».

Народный гений в легенде об Уленшпигеле сплавил воедино, как это бывает и в жизни, смех и страдание, шутку и угрозу, любовь и ненависть. Голос народа звучит со страниц книги Шарля де Костера. Сила простых ее слов, скупого, лишенного всяких украшений рассказа неотразима. Только благодаря могучей силе народного языка,

меткого и точного, стало возможно в одной и той же легенде дать мрачные картины сожжений и пыток, как бы написанные запекшейся человеческой кровью, и тут же, рядом, наполнить целые страницы запахом цветущих лугов, пением птиц, шумом летних дождей, любовью, плясками, бьющей через край жизнерадостностью.

Легенда об Уленшпигеле — выражение сущности народа. Народ бессмертен. Поэтому бессмертен и Уленшпигель. Он может уснуть, но никогда не может умереть.

Легенду об Уленшпигеле можно назвать вещей книгой — в хорошем значении этого слова. Она предвещает победу человеческого разума и справедливости и неизбежную гибель всего, что является на земле носителем тьмы, жестокости, корысти и насилия. Она предвещает дни народных побед, ликований, осмысленного и радостного труда.

1948

РУВИМ ФРАЕРМАН

Батумская зима 1923 года ничем не отличалась от обычных тамошних зим. Как всегда, лил, почти не переставая, теплый ливень. Бушевало море. Над горами клубился пар.

На раскаленных мангалах шипела баранина. Едко пахло водорослями — прибой намывал их вдоль берега бурыми валами. Из духанов сочился запах кислого вина. Ветер разносил его вдоль дощатых домов, обитых жестью.

Дожди шли с запада. Поэтому стены батумских домов, выходившие на запад, обивали жестью, чтобы они не гнили.

Вода хлестала из водосточных труб без перерыва по нескольку суток. Шум этой воды был для Батума настолько привычным, что его уже перестали замечать.

В такую вот зиму я познакомился в Батуме с писателем Фраерманом. Я написал слово «писатель» и вспомнил, что тогда ни Фраерман, ни я еще не были писателями. В то время мы только мечтали о писательстве, как о чем-то заманчивом и, конечно, недостижимом.

Я работал тогда в Батуме в морской газете «Маяк» и жил в так называемом «Бордингаузе» — гостинице для моряков, отставших от своих пароходов.

Я часто встречал на улицах Батума низенького, очень быстрого человека со смеющимися глазами. Он бегал по городу в старом черном пальто. Полы пальто развевались от морского ветра, а карманы были набиты мандаринами. Человек этот всегда носил с собой зонтик, но никогда его не раскрывал. Он просто забывал это делать.

Я не знал, кто этот человек, но он нравился мне своей живостью и прищуренными веселыми глазами. В них, казалось, все время перемигивались всякие интересные и смехотворные истории.

Вскоре я узнал, что это батумский корреспондент Российского телеграфного агентства — РОСТА и зовут его Рувим Исаевич Фраерман. Узнал и удивился, потому что Фраерман был гораздо больше похож на поэта, чем на журналиста.

Знакомство произошло в духане с несколько странным названием «Зеленая кефаль». (Каких только названий не было тогда у духанов, начиная от «Симпатичного друга» и кончая «Не заходи, пожалуйста».)

Был вечер. Одинокая электрическая лампочка то наливалась скучным огнем, то умирала, распространяя желтоватый сумрак.

За одним из столиков сидел Фраерман с известным всему городу вздорным и желчным репортером Соловейчиком.

Тогда в духанах полагалось сначала бесплатно пробовать все сорта вина, а потом уже, выбрав вино, заказать одну-две бутылки «за наличный расчет» и выпить их с поджаренным сыром сулугуни.

Хозяин духана поставил на столик перед Соловейчиком и Фраерманом закуску и два крошечных персидских стаканчика, похожих на медицинские банки. Из таких стаканчиков в духанах всегда давали пробовать вино.

Желчный Соловейчик взял стаканчик и долго, с презрением рассматривал его на вытянутой руке.

— Хозяин,— сказал он наконец угрюмым басом,— дайте мне микроскоп, чтобы я мог рассмотреть, стакан это или наперсток.

После этих слов события в духане начали разворачиваться, как писали в старину, с головокружительной быстротой.

Хозяин вышел из-за стойки. Лицо его налилось кровью. В глазах сверкал зловещий огонь. Он медленно подошел к Соловейчику и спросил вкрадчивым, но мрачным голосом:

— Как сказал? Микроскопи?

Соловейчик не успел ответить.

— Нет для тебя вина! — закричал страшным голосом хозяин, схватил за угол скатерть и сдернул ее широким жестом на пол.— Нет! И не будет! Уходи, пожалуйста!

Бутылки, тарелки, жареный сулугуни — все полетело на пол. Осколки со звоном разлетелись по всему духану. За перегородкой вскрикнула испуганная женщина, а на улице зарыдал, икая, осел.

Посетители вскочили, зашумели, и только один Фраерман начал заразительно хохотать.

Он смеялся так искренне и простодушно, что постепенно развеселил и всех посетителей духана. А потом и сам хозяин, махнув рукой, заулыбался, поставил перед Фраерманом бутылку лучшего вина — изабеллы — и сказал примирительно Соловейчику:

— Зачем ругаешься? Скажи по-человечески. Разве русского языка не знаешь?

Я познакомился после этого случая с Фраерманом, и мы быстро сдружились. Да и трудно было не подружиться с ним — человеком открытой души, готовым пожертвовать всем ради дружбы.

Нас объединила любовь к поэзии и литературе. Мы просиживали ночи напролет в моей тесной каморке и читали стихи. За разбитым окном шумело во мраке море, крысы упорно прогрызали пол, порой вся наша еда за день состояла из жидкого чая и куска чурека, но жизнь была прекрасна. Чудесная действительность дополнялась строфами Пушкина и Лермонтова, Блока и Багрицкого (его стихи тогда впервые попали в Батум из Одессы), Тютчева и Маяковского.

Мир для нас существовал, как поэзия, а поэзия — как мир.

Молодые дни революции шумели вокруг, и можно было петь от радости перед зрелищем счастливой дали, куда мы шли вместе со всей страной.

Фраерман недавно приехал с Дальнего Востока, из Якутии. Там он сражался в партизанском отряде против японцев. Длинные батумские ночи были заполнены его рассказами о боях за Николаевск-на-Амуре, об Охотском море, Шантарских островах, буранах, гиляках и тайге.

В Батуме Фраерман начал писать свою первую повесть о Дальнем Востоке. Называлась она «На Амуре». Потом, после многих авторских придирчивых исправлений, она

появилась в печати под названием «Васька-гиляк». Тогда же в Батуме Фраерман начал писать свой «Буран» — рассказ о человеке в гражданской войне, повествование, полное свежих красок и отмеченное писательской зоркостью.

Удивительной казалась любовь Фраермана к Дальнему Востоку, его способность ощущать этот край как свою родину. Фраерман родился и вырос в Белоруссии, в городе Могилеве на Днепре, и его юношеские впечатления были далеки от дальневосточного своеобразия и размаха — размаха во всем, начиная от людей и кончая пространствами природы.

Подавляющее большинство повестей и рассказов Фраермана написаны о Дальнем Востоке. Их с полным основанием можно назвать своего рода энциклопедией этой богатой и во многих своих частях еще неведомой нам области Советского Союза.

Книги Фраермана — совсем не краеведческие. Обычно книги по краеведению отличаются излишней описательностью. За чертами быта жителей, за перечислением природных богатств края и всех прочих его особенностей исчезает то, что является главным для познания края,— чувство края как целого. Исчезает то особое поэтическое содержание, которое присуще каждой области страны.

Поэзия величавого Амура совершенно иная, чем поэзия Волги, а поэзия тихоокеанских берегов очень разнится от поэзии Черноморья. Поэзия тайги, основанная на ощущении непроходимых девственных лесных пространств, безлюдия и опасности, конечно, иная, чем поэзия среднерусского леса, где блеск и шум листвы никогда не вызывает чувства затерянности среди природы и одиночества.

Книги Фраермана замечательны тем, что очень точно передают поэзию Дальнего Востока. Можно открыть наугад любую из его дальневосточных повестей — «Никичен», «Ваську-гиляка», «Шпиона» или «Собаку Динго» и почти на каждой странице найти отблески этой поэзии. Вот отрывок из «Никичен».

«Никичен вышла из тайги. Ветер пахнул ей в лицо, высушил росу на волосах, зашуршал под ногами в тонкой траве. Кончился лес. Его запах и тишина остались за спиной Никичен. Только одна широкая лиственница, словно не желая уступать морю, росла у края гальки и, корявая от бурь, качала раздвоенной вершиной. На самой верхуш-

ке сидел, нахохлившись, орел-рыболов. Никичен тихо обошла дерево, чтобы не потревожить птицу. Кучи наплавного леса, гниющих водорослей и дохлой рыбы обозначали границу высоких приливов. Пар струился над ними. Пахло влажным песком. Море было мелко и бледно. Далеко из воды торчали скалы. Над ними серыми стаями носились кулики. Между камнями ворочался прибой, качая листья морской капусты. Его шум окутал Никичен Она слушала. Раннее солнце отражалось в ее глазах. Никичен взмахнула арканом, будто хотела накинуть его на эту тихую зыбь, и сказала: «Капсе дагор, Ламское море!» (Здравствуй, Ламское море!)»

Прекрасны и полны свежести картины леса, рек, сопок, даже отдельных цветов-саранок — в «Собаке Динго».

Весь край в рассказах Фраермана как бы появляется из утреннего тумана и торжественно расцветает под солнцем. И, закрывая книгу, мы чувствуем себя наполненными поэзией Дальнего Востока.

Но главное в книгах Фраермана — это люди. Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока — о тунгусах, гиляках, нанайцах, корейцах — с такой дружеской теплотой, как Фраерман. Он вместе с ними воевал в партизанских отрядах, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька-гиляк, и Никичен, и Олешек, и мальчик Ти-Суеви и, наконец, Филька — все это кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинства и справедливости.

Если до Фраермана существовал только один образ замечательного дальневосточного следопыта и человека — Дерсу Узала из книги Арсеньева об Уссурийском крае, то сейчас Фраерман утвердил этот обаятельный и сильный образ в нашей литературе.

Конечно, Дальний Восток дал Фраерману только материал, пользуясь которым он раскрывает свою писательскую сущность, высказывает свои мысли о людях, о будущем и передает читателям свою глубочайшую веру в то, что свобода и любовь к человеку — это главное, к чему мы должны всегда стремиться. Стремиться на том, как будто коротком, но значительном отрезке времени, который мы зовем «своей жизнью».

Стремление к усовершенствованию самого себя, к простоте человеческих отношений, к пониманию богатств мира, к социальной справедливости проходит через все

книги Фраермана и выражено им в словах простых и искренних.

Выражение «добрый талант» имеет прямое отношение к Фраерману. Это — талант добрый и чистый. Поэтому Фраерману удалось с особой бережностью прикоснуться к таким сторонам жизни, как первая юношеская любовь.

Книга Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» — это полная света, прозрачная поэма о любви между девочкой и мальчиком. Такая повесть могла быть написана только хорошим психологом.

Поэтичность этой вещи такова, что описание самых реальных вещей сопровождается ощущением сказочности.

Фраерман не столько прозаик, сколько поэт. Это определяет многое как в его жизни, так и в творчестве.

Сила воздействия Фраермана и заключена главным образом в этом его поэтическом видении мира, в том, что жизнь предстает перед нами на страницах его книг в своей прекрасной сущности. Фраермана с полным основанием можно причислить к представителям социалистического романтизма.

Может быть, поэтому Фраерман иной раз предпочитает писать для юношества, а не для взрослых. Непосредственное юношеское сердце ему ближе, чем умудренное опытом сердце взрослого человека.

Как-то так случилось, что с 1923 года жизнь Фраермана довольно тесно переплеталась с моей и почти весь его писательский путь прошел у меня на глазах. В его присутствии жизнь всегда оборачивалась к вам своей привлекательной стороной. Даже если бы Фраерман не написал ни одной книги, то одного общения с ним было бы достаточно, чтобы погрузиться в веселый и неспокойный мир его мыслей и образов, рассказов и увлечений.

Сила рассказов Фраермана усиливается его тонким юмором. Этот юмор то трогателен (как в рассказе «Писатели приехали»), то резко подчеркивает значительность содержания (как в рассказе «Путешественники вышли из города»). Но кроме юмора в своих книгах, Фраерман еще удивительный мастер юмора в самой жизни, в своих устных рассказах. Он широко владеет даром, который встречается не так уж часто,— способностью относиться с юмором к самому себе.

Самая глубокая, самая напряженная деятельность человека может и даже должна сопровождаться живым юмором. Отсутствие юмора свидетельствует не только о равно-

душии ко всему окружающему, по и об известной умственной тупости.

В жизни каждого писателя бывают годы спокойной работы, но бывают иногда годы, похожие на ослепительный взрыв творчества. Одним из таких подъемов, таких «взрывов» в жизни Фраермана и ряда других, родственных ему по духу писателей, было начало тридцатых годов. То были годы шумпых споров, напряженной работы, нашей писательской молодости и, пожалуй, паибольших писательских дерзаний.

Сюжеты, темы, выдумки и наблюдения бродили в нас, как молодое вино. Стоило сойтись за банкой свинобобовых консервов и кружкой чая Гайдару, Фраерману и Роскину, как тотчас же возникало поразительное соревнование эпиграмм, рассказов, неожиданных мыслей, поражавших своей щедростью и свежестью. Смех порой не затихал до утра. Литературные планы возникали внезапно, тотчас обсуждались, приобретали порой фантастические очертания, но почти всегда выполнялись.

Тогда уже все мы вошли в широкое русло литературной жизни, уже выпускали книги, но жили всё так же, по-студенчески, и временами Гайдар, или Роскип, или я гораздо сильнее, чем своими напечатанными рассказами, гордились тем, что пам удалось незаметно, не разбудив бабушку Фраермана, вытащить ночью из буфета последнюю припрятанную ею банку консервов и съесть их с певероятной быстротой. Это было, конечно, своего рода игрой, так как бабушка — человек неслыханной доброты — только делала вид, что ничего не замечает.

То были шумные и веселые сборища, но пикто из нас не мог бы допустить и мысли, что они возможны без бабушки,— она вносила в них ласковость, теплоту и порой рассказывала удивительные истории из своей жизни, прошедшей в степях Казахстана, на Амуре и во Владивостоке.

Гайдар всегда приходил с новыми шутливыми стихами. Однажды оп написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах Детского издательства. Поэма эта затерялась, забылась, но я помню веселые строки, посвященные Фраерману:

В небесах над всей вселенной
Вечной жалостью томим,
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим...

Это была дружная семья — Гайдар, Роскин, Фраерман, Лоскутов. Их связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье.

Это было содружество людей, преданных без страха и упрека своему писательскому делу. В общении выковывалась общность взглядов, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но всегда юных. И в годы испытаний, в годы войны все, кто входил в эту писательскую семью, своим мужеством, а иные и героической смертью доказали силу своего духа.

Вторая полоса жизни Фраермана после Дальнего Востока была накрепко связана со Средней Россией.

Фраерман — человек, склонный к скитальчеству, исходивший пешком и изъездивший почти всю Россию, нашел, наконец, свою настоящую родину — Мещорский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани.

Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, поемными приокскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями и печальным блеском звезд над спящими деревушками, с ее простодушными и талантливыми людьми — лесниками, паромщиками, колхозниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками. Глубокая и незаметная на первый взгляд прелесть этой песчаной лесной стороны совершенно покорила Фраермана.

С 1932 года каждое лето, осень, а иногда и часть зимы Фраерман проводит в Мещорском крае, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце девятнадцатого века гравером и художником Пожалостиным.

Постепенно Солотча стала второй родиной и для друзей Фраермана. Все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче, и не было года, когда бы туда, особенно по осени не приезжали на рыбную ловлю, на охоту или работать над книгами и Гайдар, и Роскин, и я, и Георгий Шторм, и Василий Гроссман, и многие другие.

Старый дом и все окрестности Солотчи полны для нас особого обаяния. Здесь были написаны многие книги, здесь постоянно случались всяческие веселые истории, здесь в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью. Нигде мы так тесно не соприкасались с самой гущей народной жизни

и не были так непосредственно связаны с природой, как там.

Ночевки в палатке вплоть до ноября на глухих озерах, походы на заповедные реки, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой — все это погружало нас в мир народной поэзии, почти в сказку и вместе с тем в мир прекрасной реальности.

Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещорскому краю, но ни он, ни я не можем считать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывал перед нами всё новые красоты и становился все интереснее — вместе с движением нашего времени.

Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то в избах, то на сеновалах, то просто на земле на берегах Мещорских озер и рек, в лесных чащах, сколько было всяких случаев — то опасных, то трагических, то смешных,— сколько мы наслышались рассказов и небылиц, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было споров и смеха и осенних ночей, когда особенно легко писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола.

Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас — созданию счастливого и разумного человеческого общества.

1948

ВСТРЕЧИ С ГАЙДАРОМ

Давно, еще в 1916 году, я был проездом в Арзамасе. Вырос я на юге и до тех пор не видал еще таких уездных городков, как Арзамас,— типично русских, вплоть до причудливых резных наличников, неизменной герани на окнах и дверных звонков, дребезжащих на заржавленной проволоке.

Старый Арзамас остался в памяти как город яблок и церквей. Базар был заставлен плетеными корзинами с желтыми, крепкими яблоками, и куда ни взглянешь —

всюду было такое обилие золоченых, похожих на эти яблоки, куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин.

Есть сотни маленьких городов в России. Никто даже толком не знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в народную поговорку: «Один глаз на пас, другой — на Арзамас». Его имя в начале XIX века было присвоено вольнолюбивому литературному обществу, основанному Жуковским. Пушкин был принят в это общество еще лицеистом. Поэту дали в «Арзамасе» чудесное прозвище — «Сверчок».

В Арзамасе был в ссылке Максим Горький. А в начале XX века в захолустном в ту пору Арзамасе, в простой русской семье народного учителя, провел свое детство Аркадий Гайдар — замечательный советский писатель и столь же замечательный человек.

О Гайдаре-писателе я говорить не буду. Книги его широко известны. О них написано много хороших и справедливых статей. Я хочу просто рассказать о том Аркадии Гайдаре, которого я знал и с которым дружил в последние годы его жизни.

Я написал слова «просто рассказать» — и понял, что это, конечно, совсем не так просто. Это очень трудно — воссоздать образ ушедшего от нас человека без всяких прикрас, без того, чтобы не изображать его сусальным и шаблонным героем.

Иные воспоминания о Гайдаре как раз грешат этим. За мишурой, за слащавым умилением исчезает подлинный Гайдар — человек сложный, временами трудный, во многом противоречивый, как большинство талантливых людей, но обаятельный, простой и значительный в любом своем поступке и слове.

Есть очень верное выражение: «В настоящей литературе нет мелочей». Каждое, даже, на первый взгляд, ничтожное слово, каждая запятая и точка нужны, характерны, определяют целое и помогают наиболее резкому выражению идеи. Хорошо известно, какое потрясающее впечатление производит точка, поставленная вовремя.

Я говорю это к тому, что как в настоящей литературе, так и в жизни настоящего человека нет мелочей. Каждый, даже как будто бы пустяковый, поступок или вскользь брошенная фраза раскрывают перед нами его облик еще в одном каком-нибудь качестве.

Гайдар был настоящим и большим человеком. Поэтому каждая даже «как будто бы мелочь», связанная с ним, определяет новую черту его глубокой натуры.

В своих воспоминаниях я приведу несколько таких кажущихся мелочей, как «малых капель воды», в которых все же отражается солнце.

Главным и самым удивительным свойством Гайдара было, по-моему, то, что его жизнь никак нельзя было отделить от его книг. Жизнь Гайдара была как бы продолжением его книг, а может быть, иногда их началом. Почти каждый день Гайдара был заполнен необыкновенными происшествиями, выдумками, шумными и интересными спорами, трудной работой и остроумными шутками.

Все, что бы ни делал или говорил Гайдар, тотчас теряло свои будничные, наскучившие черты и становилось необыкновенным. Это свойство Гайдара было совершенно органическим, непосредственным — такова была натура этого человека.

Он прошел по жизни как удивительный рассказчик, трогавший до слез детские сердца, и вместе с тем как проницательный и суровый товарищ и воспитатель.

Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь с одного взгляда и умел говорить с ними так, что через две-три минуты каждый мальчишка готов был по первому слову Гайдара совершить любой героический поступок.

Дольше всего мне пришлось прожить вместе с Гайдаром в селе Солотче, под Рязанью, в Мещорских лесах. Там он задумывал и писал некоторые свои повести и рассказы.

Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух самому себе новую главу из начатой книги, тут же, на ходу, исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.

Я в это время тоже работал в деревянной баньке и невольно прислушивался к бормотанью Гайдара. Я слышал, конечно, только те слова, которые он говорил, когда проходил мимо открытого окна баньки и искоса сердито поглядывал на меня,— сердито потому, что Гайдар никак не мог понять, как это можно писать, сидя по нескольку часов, и к людям, работавшим именно так, относился с некоторой долей зависти и уважения.

— Если бы я мог вот так сидеть за столом,— сказал он мне однажды,— я бы уже написал целое собрание сочинений. Честное пионерское слово!

Потом те фразы, которые я слышал в заглохшем и тенистом деревенском саду, я встретил, как старых и добрых друзей, на страницах «Судьбы барабанщика», когда Гайдар принес мне в Москве только что вышедшую эту книгу.

— Вот эту фразу,— напомнил я Гайдару,— ты говорил, когда дожевывал яблоко. Штрифель.

— А эту,— ответил мне Гайдар,— я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?

Так мы вспоминали строка за строкой всю историю придумывания этой чудесной книги, и Гайдар был этим очень доволен.

Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:

— Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.

— Конечно, читай.

И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, торопливо закуривает, причем папироса у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись к тому же еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.

Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывал руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть наизусть, страница за страницей.

Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом он краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его щурились и лукаво смеялись.

Раза два мы, его друзья, на пари следили за его чтением по напечатанной книге, но он ни разу не спутался и не замялся и за это потребовал от нас такое неслыханное выполнение пари — что-то вроде покупки для него подвесного лодочного мотора,— что мы бросили это дело и никогда больше Гайдара не проверяли.

«Разве это свойство Гайдара что-нибудь доказывает, кроме того, что у Гайдара была блестящая память?» — с полным правом может спросить меня читатель, мало искушенный в деле литературного мастерства.

Дело здесь, конечно, не только в памяти (кстати, память у Гайдара после контузии во время гражданской войны была несколько нарушена), но в отношении к слову. Каждое слово гайдаровской прозы было настолько взвешено, что было как бы единственным для выражения и потому, естественно, оставалось в памяти.

Есть литературный термин «литая проза». Это проза четкая, суровая, в которой нет ничего лишнего: ее можно отливать из бронзы, даже из золота, и ни единая крупица драгоценного металла не пропадет зря, на пустое слово.

Гайдар любил идти на пари. Однажды он приехал в Солотчу ранней осенью. Стояла затяжная засуха, земля потрескалась, раньше времени ссыхались и облетали листья с деревьев, обмелели озера и реки, и черви ушли очень глубоко в землю. Ни о какой рыбной ловле не могло быть и речи. На то, чтобы накопать жалкий десяток червей, надо было потратить несколько часов.

Все были огорчены. Гайдар огорчался больше всех, но тут же пошел с нами на пари, что завтра утром он достанет сколько угодно червей — не меньше трех консервных банок.

Мы охотно согласились на это пари, хотя с нашей стороны это было неблагородно, так как мы знали, что Гайдар наверняка проиграет.

Наутро Гайдар пришел к нам в сад, в баньку, где мы жили в то лето. Мы только что собирались пить чай. Гайдар молча, сжав губы, поставил на стол рядом с сахарницей четыре банки великолепных червей, но не выдержал, рассмеялся, схватил меня за руку и потащил через всю усадьбу к воротам, на улицу. На воротах был прибит огромный плакат:

СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

Этот плакат Гайдар повесил поздним вечером. А утром около калитки уже бушевала толпа мальчишек с жестянками, полными червей. Шел жестокий торг, но в конце

концов мальчишки согласились отдать червей по цене в три рыболовных крючка за жестянку.

С тех пор мы всегда были с червями, но перестали держать с Гайдаром пари. Это было бессмысленно, потому что он всегда выигрывал.

Он всегда был полон веселья, Гайдар. Искорки смеха роились в его серых глазах и исчезали редко — или во время работы, или в тех случаях, когда Гайдар сталкивался с карьеристами и халтурщиками. Тогда он становился жесток, беспощаден, бледнел от гнева.

Спуску он никогда никому не давал. Он приходил в ярость от мышиной возни маленьких и злых от неудовлетворенного тщеславия людей. Он преследовал их едкими стихами и беспощадными эпиграммами. Его боялись.

В Солотче Гайдар изучал французский язык. Он таскал в полевой сумке старый учебник французского языка с картинками. На них были изображены полевые работы или пейзажи с поездом, пароходом и воздушным шаром. Под этими картинками была надпись по-французски: «Что мы видим на этой интересной картинке?» Ученик должен был отвечать по-французски, что он видит. В этом состояло обучение.

Гайдару очень нравилась эта надпись под картинками. Несколько дней он при всяком удобном и неудобном случае спрашивал: «Что мы видим на этой интересной картинке?» — и тотчас сам себе отвечал, подражая ответам из учебника: «Мы видим облезлого деревенского кота, который украл рыбу, называемую плотицей и пойманную Рувимом Фраерманом, и уносит ее в зубах, пробираясь по верхушке деревянного забора».

Однажды мы возвращались с Гайдаром из Солотчи в Москву в маленьком поезде узкоколейки. Поезд погромыхивал среди глухих осенних лесов, и от позднего этого грохота выли, тоскуя, волки. Среди ночи Гайдар разбудил меня.

— Что мы видим на этой интересной картинке? — спросил он меня.

Но я ничего не видел, так как свеча в фонаре догорела и по вагону шатались длинные тени.

— Мы видим,— сказал Гайдар,— одного железнодорожного вора, который пытается вытащить из кошелки у доброй задремавшей старушки пару шерстяных сапог, называемых валенками.

Гайдар соскочил с полки, схватил за шиворот юркого человечка в огромной клетчатой кепке и сказал:

— Выйди вон! И если еще раз ты попадешься мне в руки, то...

Гайдар не окончил. Вор вырвался, выскочил на площадку и на ходу соскочил с поезда. Нам, признаться, было даже его немного жаль — уж очень ненастная и волчья ночь шумела ветром за окнами вагона.

Мы много бродили по луговым и лесным озерам. В походах Гайдар был незаменим. Человек огромной силы, он безропотно тащил любой груз и ко всем неизбежным злоключениям в пути относился с добродушной иронией. Разговаривал он в дороге главным образом фразами в стиле старинных авантюрных романов.

— Усталые путники,— говорил Гайдар,— покидают берега неведомого и негостеприимного озера, таща на себе тяжелую и бесполезную поклажу, как-то: палатку, топор, фонарь «летучая мышь» и так далее и тому подобное.

Гайдар с удовольствием перечислял все наше небогатое походное имущество. У него была хорошая и немного детская любовь ко всяким походам, охотничьим и ремесленным вещам — спиннингам, удочкам, рубанкам, топорам, отверткам, флягам и фонарям.

Каждый раз он выискивал в Москве какую-нибудь новинку, вроде самоподсекающего крючка или ножа с двенадцатью лезвиями, и с гордостью привозил эти новинки в Солотчу.

Он любил делать все сам, любил все чинить, возиться с механизмами и, как мы подозревали по некоторым признакам, чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы ему удалось разобрать на части и снова собрать старые ходики, висевшие в баньке. Но так как это были единственные часы на весь дом, то Гайдар все же не решался взяться за эти часы и только то подливал воду в бутылку, привязанную к гире, то немного отливал, пока не заставил ходики идти совершенно точно.

Невозможно забыть все эти наши скитания с Гайдаром. Каждый из этих походов (Гайдар называл их «вылазками рыбачьего патруля») заслуживает описания. Но для этого надо написать целую книгу. Книгу об осенних непроглядных ночах на берегу безымянных лесных озер, о кострах, упрямых чайниках, о спорах, о сентябрьском звездном небе, о гайдаровских песенках, о том, как мы узнавали

время по восходу Сириуса, о Черном озере и озере Сегден, где мы часто ночевали в одинокой избе удивительного и прекрасного человека — Кузьмы Зотова, о лугах, о стогах теплого сена, куда мы зарывались по ледяным ночам, о кущах ив на Прорве, под которыми при свете костра мы сидели всю ночь в черно-зеленой шумящей пещере из листвы, и Гайдар рассказывал о том, как он был во время антоновщины «командиром малой войны».

Далеко на Оке все гудел в тумане буксир, а перед самым рассветом, как только засерело небо, потянули над нами перелетные станицы журавлей.

Гайдар долго слушал переливчатый журавлиный звон и сказал:

— Да! Чудесно так жить!

Такие вещи он говорил редко. Он был внутренне очень застенчив и часто напускал на себя излишнюю суровость.

О Гайдаре бродит по нашей стране много легенд. В основе их всегда лежит какое-нибудь подлинное происшествие с Гайдаром. Иной раз он сам создавал эти происшествия, эти легенды, чтобы поставить людей и себя в сложное и необыкновенное положение и найти из него остроумный выход.

Воображение у Гайдара не затихало ни на минуту. Часть его перелилась на страницы книг, а часть — и очень большую — своего могучего воображения он разбросал по всем дням своей жизни. Может быть, в этом и кроется причина такого обилия легенд о Гайдаре.

В начале этого очерка я писал, что жизнь Гайдара была иногда продолжением, а иногда и началом его книг. Года за два до того, как вышел «Тимур и его команда», Гайдар зашел как-то ко мне. У меня был трудно болен сын, и мы сбились с ног в поисках одного редкого лекарства. Его нигде не было.

Гайдар подошел к телефону и позвонил к себе домой.

— Пришлите сейчас же ко мне,— сказал он,— всех мальчиков из нашего двора. Я жду.

Он повесил трубку. Через десять минут раздался отчаянный звонок у двери. Гайдар вышел в переднюю. На площадке за дверью стояло человек десять мальчиков, очень взволнованных и запыхавшихся.

— Вот что,— сказал им Гайдар.— Тяжело болен один мальчик. Нужно вот такое лекарство. Я вам запишу каждому его название на бумажке. Сейчас же — во все апте-

ки: на юг, восток, на север и запад. Из аптек звонить мне сюда. Все понятно?

— Понятно, Аркадий Петрович! — закричали мальчики и понеслись вниз по лестнице.

Вскоре начались звонки.

— Аркадий Петрович! — кричал в трубку взволнованный детский голос.— В аптеке на Маросейке нету.

— Поезжай дальше. На Разгуляй.

Гайдар сидел у телефона, как капитан на мостике корабля. Через сорок минут восторженный детский голос прокричал в трубку:

— Аркадий Петрович, есть! Я достал!

— Где?

— В Марьиной роще.

— Вези сюда. Немедленно.

Лекарство было привезено, и сыну вскоре стало легче.

— Ну, что,— спросил меня Гайдар, собираясь уходить,— хорошо работает моя команда?

Благодарить его было нельзя. Он очень сердился, когда его благодарили за помощь. Он считал помощь человеку таким же естественным делом, как, скажем, приветствие. Никого же не благодарят за то, что он с вами поздоровался.

Мне случилось жить вместе с Гайдаром в Крыму, в Ялте. Это был, пожалуй, самый спокойный отрезок его жизни. Гайдар был непривычно задумчив и ласков.

Мы много ходили по горным дорогам, сидели у моря. Впервые Гайдар был не в полувоенной своей одежде, а в мягком сером костюме. В нем он был как-то особенно светловолос, высок, изящен.

Стояла крымская тихая весна с теплыми темными ночами, с голубоватым утренним туманом, плеском моря, звоном родников.

Однажды мы шли с Гайдаром по пустынной Массандровской улице над самым морем. Гайдар остановился — из соседнего сада слышались встревоженные голоса, крики. Оказалось, что в саду вырвало кран из водопроводной трубы, проведенной по земле для поливки сада. Сильная струя воды била прямо в кусты роз и сирени, в клумбы с цветами, вымывала из-под них землю и вот-вот могла уничтожить весь сад. Люди бросились вверх по улице, чтобы закрыть какой-то кран и спасти сад.

Гайдар подбежал к трубе, примерился и зажал трубу ладонью. Поток воды остановился. По лицу Гайдара я видел, что он сдерживает мощное давление воды из последних сил, что ему невыносимо больно. Он почернел и стиснул зубы, но трубу не отпустил, пока не нашли кран и не перекрыли воду.

Потом Гайдар долго тяжело дышал. Ладонь у него была окровавлена. Но он был очень радостно настроен — не потому, конечно, что проверил свою силу, а потому, что ему удалось спасти малепький чудный сад.

Несколько раз потом Гайдар ходил и смотрел издали, из-за ограды, на этот спасенный им сад. Он был действительно прекрасен и стоял как густая охапка цветов, перехваченная маленькой каменной оградой.

Всего о Гайдаре не папишешь. Поневоле я должеп ограничить себя этимп беглыми воспоминаниями.

Я пишу эти строки в Солотче, в мезонине того дома, где жил Гайдар. Здесь все напоминает о нем. На стене висит его брезентовый плащ. На рыбную ловлю я хожу со спиннингом Гайдара. Не хватает только его голоса, его смеха, его рассказов и шуток, его самого — большого, доброго, талантливого человека, так героически погибшего и похороненного по полному праву рядом с другим великим певцом и глашатаем народного счастья — Тарасом Шевченко.

Он умер, изрешеченный фашистскими пулями, умер, защищая свою родную, милую страну. Он жил замечательным писателем и необыкновенным человеком и умер героем.

1951

<О ЮРИИ ЯНОВСКОМ>

Позвольте мне от имени русских писателей и от своего имени сказать несколько прощальных слов Юрию Ивановичу Яновскому. Одна беда за другой обрушиваются на нашу писательскую семью. Недавно мы потеряли Пришвина, потеряли Горбатова, сейчас мы потеряли великолепного романтического писателя и человека кристаллической душевной чистоты — Юрия Яновского.

Он прожил горестную и прекрасную жизнь — жизнь писателя подлинного, рыцарски честного, советского.

Смерть не дает отсрочки. Она пришла к Яновскому в дни его писательской победы, в дни славы, когда жизнь, казалось, давала ему все возможности для большой и плодотворной работы.

Я назвал Яновского романтическим писателем. Долг советского писателя — воспитать в человеке высокий строй мыслей и чувств. И этому долгу Яновский был верен до последнего дня своей жизни.

Это был человек огромного личного обаяния, высокой культуры, чистоты и честности.

Его путь в литературе — путь прямой и искренний. Он был далек от псевдолитературной суеты, но он всегда был в самой сердцевине подлинной литературной жизни.

Его талант был мягок и точен. В нем был тот «блеск благородных мыслей», о котором говорил Лермонтов.

В нем были воплощены замечательпые качества украинского народа. Он был настоящим сыном и представителем своей страны. Он любил и знал прошлое своей страны, любил ее пастоящее и ее будущность.

Он любил свою страну и свой народ преданной, великой — до боли в сердце — и не крикливой любовью.

Я мало знал его и очень жалею об этом. Но при первой же встрече я был совершенно покорен его умом, его спокойным и чуть печальным юмором, его строгостью к себе и его влюбленностью в Украину, в свой народ, ставший на путь подлинного и быстрого расцвета.

Я помню первые дни советской литературы. В числе тогда еще немногих имен создателей этой литературы было и имя Яновского. Его «Всадники» сверкнули как одна из первых ослепительных молний нового, социалистического времени, новой, социалистической литературы.

Сейчас мы имеем право на печаль. Но пусть эта печаль по Яновскому еще теснее объединит нас, советских писателей, в дружный союз, в тот союз, о котором мечтал еще Пушкип, в тот союз, что неразделим, свободен и вечен.

Пусть же над могилой Юрия Яновского цветет его любимая, его прекрасная, милая его Украина!

1954

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

В одной из сказок Андерсена засохший розовый куст покрывается среди жестокой зимы белыми душистыми цветами. Потому что к нему прикоснулась добрая человеческая рука.

Эта сказка могла бы быть написана о Фридрихе Шиллере. «Он обладал даром,— сказал о Шиллере Гете,— облагораживать все, к чему прикасался».

У меня на столе лежит старая книга — биография Шиллера. На первой странице этой книги чьей-то дрожащей, очевидно старческой, рукой написано: «Чудный благородный человек!»

Когда я смотрю на эту надпись, я не могу избавиться от мысли, что тот, кто написал эти простые и верные слова о великом немецком поэте, наверное, оплакивал его.

Я невольно ищу на страницах следы слез. Но книге больше семидесяти лет. Слезы давно высохли, а их следы — выветрились. Их заменили в наших сердцах благоговение к поэту и горечь за него, умершего так рано, измученного жестокостью и самомнительной глупостью «старой доброй Германии» — этого «питомника рабов», как выразился один из друзей Шиллера.

Никто из биографов Шиллера даже не пытается объяснить, каким чудом из среды скучного немецкого мещанства, из образцовой казармы наглого герцога Виртембергского вышел этот блистательный, смелый и пленительно простой поэт. Он по полному праву стал в ряды тех людей, которых мы называем «украшением человечества».

Шиллер учился в военной школе с военным режимом. За малейшее проявление живой мысли учеников этой школы карали заключением в крепость на несколько лет.

И вот там, в этой тюрьме, он написал свою первую бунтарскую пьесу — «Разбойники».

Он проклинал тиранов, он верил в спасительность народного восстания, он призывал к нему во имя свободы и достоинства человека.

Недаром Национальное собрание Франции приняло его в 1792 году в число французских граждан. Декрет об этом был подписан Дантоном.

Во Франции даже не знали толком его имени,— эта великая честь была оказана автору «Разбойников» господину «Жиллю». Понадобилось несколько лет, пока друзья поэта

догадались, что таинственный «господин Жилль» — это Шиллер.

«Разбойники» были написаны в темной каморке старого казарменного сторожа. Там Шиллер прятался от ястребиных глаз своих начальников.

Удивительна все же судьба многих первых книг. «Разбойники» написаны где-то под лестницей, прекрасные стихи Бернса — в шотландской хижине с такими узкими окнами, что сквозь них едва просачивался свет, многие рассказы Чехова — на подоконнике в бедной московской квартире, сказки Андерсена — в дешевых номерах провинциальных гостиниц.

Но эти убогие жилища озарены в нашем представлении светом молодости и таланта и кажутся нам великолепнее самых красивых и величественных дворцовых зал.

«Разбойники» прокатились по Европе, как внезапный удар грома. На затхлую Германию дохнуло ветром. Подходила гроза.

Шиллер — глашатай этой грозы, глашатай «бури и натиска», назначенный после окончания школы полковым лекарем, вынужден был бежать из Виртемберга, чтобы не попасть в крепость. Герцог был разгневан появлением дерзкой пьесы.

С тех пор началась скитальческая и трудная жизнь Шиллера. Он был штатным театральным драматургом, издателем журнала, преподавателем истории, но прежде всего — поэтом, драматургом и человеком огромного личного обаяния.

По словам его современников, духовная чистота Шиллера, романтическая его настроенность, сила его мысли, его доброта и наполненность поэзией — все это отражалось даже на его внешности.

Это был высокий и очень худой, бледный человек со светлыми каштановыми волосами, с задумчивым взглядом, с ловкими изящными движениями и открытой улыбкой.

Но главное его свойство была простота. Он был не только прост со всеми, но временами застенчив.

Очевидно, поэтому его так самоотверженно любили друзья и так нежно любили женщины.

Даже мимолетное появление Шиллера преображало людей и весь уклад их размеренной жизни. Он всюду вносил с собой беспокойство ума. Он всюду видел поэзию, какой бы скромной на вид она ни была, и умел незаметно

втягивать людей в круг поэтических ощущений и в мир богатого своего воображения.

Он полагал, что искусство — это средство воспитать человека так, чтобы он стал подлинным гражданином «государства разума».

После «Разбойников» он написал еще несколько пьес: «Коварство и любовь», «Дон Карлос», «Валленштейн», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева» и «Вильгельм Телль».

Все эти пьесы — шедевры драматургического искусства как по напряженному действию, так и по глубине мысли.

«Коварство и любовь» — беспощадный удар по тирании и сопутствующим ей мерзостям жизни. И вместе с тем это трогательный рассказ о гибели прекрасной девушки.

Эта пьеса до наших дней не сходит со сцены театров всего мира. У нас она была особенно популярна во времена гражданской войны.

Я был однажды на представлении «Коварства и любви» в Киеве — на второй или третий день после занятия города советскими войсками.

В зрительном зале сидели вооруженные, полуголодные, пахнущие порохом красноармейцы. Накал среди зрителей достиг такой силы, что актер, игравший негодяя президента, боялся, как бы из зрительного зала по нем не начали стрелять.

У него, как оказалось, были веские основания для этого. В задних рядах кто-то крикнул: «Ну, погоди ж ты, гад, паразит!» Щелкнул затвор. В зрительном зале тотчас началась какая-то невнятная и упорная сутолока,— это товарищи отнимали винтовку у бойца, впавшего в неистовый гнев.

Я видел «Коварство и любовь» много раз. Особенно хорошо шла эта пьеса в Москве в театре Вахтангова. Ее сопровождала удивительная музыка Бетховена (Бетховен написал финал Девятой симфонии на текст шиллеровской оды «К радости») и великолепное оформление — зима в немецком старом городке с облетелыми ивами, со снегом, похожим на старое серебро, с огнем свечей в бюргерских домах.

Два таких великих немца, как Шиллер и Гете, не могли не встретиться.

Шиллер переехал в Веймар, познакомился там с Гете, и вскоре это знакомство перешло в дружбу. Гете говорил, что после встречи с Шиллером «все в нем радостно распу-

стилось и расцвело». А знаменитый немецкий ученый Гумбольдт, знавший и Гете и Шиллера, утверждал, что влияние этих двух великих людей друг на друга было прекрасно и плодотворно.

Когда Шиллер тяжело заболел и стало ясно, что смерть близка, то это обстоятельство скрыли от Гете. «Великий старец» был болен, и домашние боялись его волновать. Но Гете догадывался. Он боялся спросить окружающих о состоянии Шиллера, чтобы оставить себе хоть какую-нибудь надежду на выздоровление друга. Он тихо плакал напролет несколько ночей и никого к себе не пускал.

О смерти Шиллера он узнал, услышав рыдания своей старой служанки. «Я был уверен,— писал потом Гете,— что сам умру. Я потерял половину своей жизни».

Недаром Гете и Шиллеру поставлен один общий памятник. На постаменте они стоят рядом.

Советские солдаты, как только освободили Веймар от фашистов в 1945 году, еще пыльные и истомленные боем, осыпали цветами могилы Гете и Шиллера, как бы подтвердив этим, что в стране, где жили два великих немецких поэта, никому не будет позволено разбойничать и гасить человеческий разум.

1955

СКАЗОЧНИК

(Христиан Андерсен)

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был именно тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого «вот-вот», от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи: коньки «Снегурка», витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. От всех этих вещей заманчиво пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удается.

Я спросил у отца, что значит «особенный вечер». Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли, и в комнате началось такое веселое потрескивание свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать ее, чтобы рассмотреть эти картинки, еще липкие от краски.

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались

розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту и увидел Андресена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не улавливал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут постичь только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня верить в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом.

Сам Андерсен всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе, в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а па вершинах холмов цвел вереск.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, он больше всего напоминал игрушечный город, вырезапный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из пих — средневековый мастер Клаус Берг — вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот — величествепный и грозпый — наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонп, морского бога Нептуна, нереид,

дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу, эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Оденze. Должно быть, он знал в Оденze тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андресенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели яркие тюльпаны. А за окном слышался перезвон колоколов, лихая дробь барабанщиков около казармы, свист флейты бродячего музыканта и хриплые песни матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, Христиан находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.

В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель — старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком — он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое.

Но мальчик не сердился на старого кота. Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клумпе-Думпе,

догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышал от отца и старух из соседней богадельни. Весь день они пряли, сгорбившись, серую шерсть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова, но уже от себя, рассказывал богаделкам. А те только ахали и шептались между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем идти дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже упоминал вскользь,— на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам приходит в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами? А если бы мы нагнулись да еще легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди нашли бы много любопытных вещей.

Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки — такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки — такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Оденсе? Должно быть, он все-таки колдун.

Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцание рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах — все это никак не походит на действительность и, конечно, может жить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием «Дунайская дева». Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь, до самой смерти.

На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав назнание пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем сразу: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем его одногодки, и до пожилых лет писал не совсем уверенно, делая орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей, по другую сторону земного шара, находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в своих красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними — высокого, тоже деревянного, солдата. Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам — капитанам, еще не ушедшим на покой.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых и задорных девушек — внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек,— любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих кукол (у него уже был свой собственный домашний кукольный театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Умение шить пригодилось впоследствии Андерсену как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись — ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец. Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал.

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что подарил миру своего сына — сказочника и поэта.

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в

столицу — Копенгаген — завоевывать счастье, хотя сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые чудесные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй. Но они лежали под спудом. Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно — певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником. Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений, как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны.

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник,— будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль — самая могучая и великолепная — может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писал сказки, оставаясь наедине с природой, «слушая ее голос», особенно в то время, когда отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им особую таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских рождественских праздников, и делал их пестрыми и нарядными, как елочные украшения.

Что говорить! Северная зима, ковры снега, треск огня в печах и свет зимней ночи — все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много — несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, не раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика — молодая женщина — сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпляюще покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном. Он быстро шел несколько скачущей, неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

Я сохранил тебя в своей груди,
О роза нежная моих воспоминаний...

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику:

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в руку Андерсену и тотчас убежал.

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул платок и слегка прижал его к глазам,— очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Лунд, в которую он был влюблен,— все звали ее «ослепительной Дженни»,— Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизне-

радостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства. Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не вспоминать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной!

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность была совсем не так милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он «бедный родственник» в датской литературе и что ему — сыну сапожника-бедняка — следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи. Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла «мужицкая кровь», что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт «божьей милостью», был беден и, наконец, за то, что он «не умел жить».

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе — этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

«Все хорошее во мне топтали в грязь»,— говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, даже не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и слышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан розами.

Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на

своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности открывать поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам — крестьянам и рабочим. Он вошел в «Рабочий союз» и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всех будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Копенгагена. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам,—
Из их среды почивший вышел сам..

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова можно отнести к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

«Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,— говорил о себе под старость Андерсен,— так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе».

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингеман не сказал ему шутя:

«Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве».

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот на двадцать третьем году жизни вышла первая подлинно андерсеновская книга — «Прогулка на остров Амагер». В этой книге Андерсен решил наконец выпустить в мир «пестрый рой своих фантазий».

Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось для него ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полным основанием назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, куда бы Андерсен ни попадал, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением собственной силы.

В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах «дорожной поэзии», в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго и придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.

Импровизация — это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин. Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти.

Свою повесть об Италии Андерсен написал, как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом — «Импровизатор». И может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации.

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка. В то время в Каттегате появились первые пароходы: «Дания» и «Каледония». Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали «трубочистами», «дымовозами», «копчеными хвостами» и «вонючими лоханками». Эта жесткая морская распря очень забавляла Андерсена.

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались «настоящие путешествия» Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке.

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал:

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота.

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои сочинения. Листа Андерсен называл «духом бури над струнами».

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса.

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье. Во дворе заунывно играл шарман-

щик-итальянец, за окном в сумерках блестел огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя из Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф,— то дымили лондонские доки.

— У нас полон дом детей,— сказал Диккенс Андерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек — сыновей и дочерей Диккенса — вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки.

Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии.

Рим стал для него, как и для многих писателей и художников, второй родиной.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, «отцветающий лотос» — Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ — и детских и взрослых.

Он был поэтом бедняков, несмотря на то что короли считали за честь пожать его сухощавую руку.

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа, и нигде больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

1955

ДЯДЯ ГИЛЯЙ

(В А. Гиляровский)

Мы часто говорим «времена Чехова», но вкладываем в эти слова преимущественно наше книжное умозрительное представление. Самый воздух этого недавнего времени, его окраска, его характер, слагавшийся из неисчислимых черт, все же потерян для нас. Наше поколение уже не может ощутить чеховское время как нечто совершенно понятное и органически цельное.

В качестве свидетельства о нем для нас остались история, искусство, газеты и воспоминания. И немногие его современники.

Ничто не может дать такого живого представления о прошлом, как встреча с его современником, особенно с таким своеобразным и талантливым, каким был Владимир Алексеевич Гиляровский — человек неукротимой энергии и неудержимой доброты.

Прежде всего в Гиляровском поражала цельность и выразительность его характера. Если может существовать выражение «живописный характер», то оно целиком относится к Гиляровскому.

Он был живописен во всем — в своей биографии, в манере говорить, в ребячливости, во всей своей внешности, в разносторонней бурной талантливости.

Это был веселый труженик. Всю жизнь он работал (он переменил много профессий — от волжского бурлака до актера и писателя), но в любую работу он всегда вносил настоящую русскую сноровку, живость ума и даже некоторую удаль.

Не было, кажется, в окружающей жизни ни одного явления, которое не казалось бы ему заслуживающим пристального внимания.

Он никогда не был сторонним наблюдателем. Он вмешивался в жизнь без оглядки. Он должен был испробовать все возможное, научиться делать все своими руками. Это свойство присуще только большим жизнелюбцам и безусловно талантливым людям.

Современник Чехова, Гиляровский по характеру своему был, конечно, человеком не тогдашнего чеховского времени. Его жизнь только по времени совпала с эпохой Чехова.

Несмотря на закадычную дружбу с Антоном Павловичем, Гиляровский, как мне кажется, внутренне не одоб-

рял и не мог принять чеховских героев, склонных к сугубому самоанализу, к резиньяции и раздумиям. Все это было Гиляровскому органически чуждо.

Гиляровскому бы жить во времена Запорожской Сечи, вольницы, отчаянно смелых набегов, бесшабашной отваги.

По строю своей души Гиляровский был запорожцем. Недаром Репин написал с него одного из своих казаков, пишущих письмо турецкому султану, а скульптор Андреев лепил с него Тараса Бульбу для барельефа на своем превосходном памятнике Гоголю.

Гиляровский был воплощением того, что мы называем «широкой натурой». Это выражалось у него не только в необыкновенной щедрости, доброте, но и в том, что от жизни Гиляровский тоже требовал многого.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятная — сивоусый, с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане,— он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил «розыгрыши» (вспомните его замечательный «розыгрыш» своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин — делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — ловить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрицкий — ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом.

Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы.

Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.

У Гиляровского в жизни было много случаев, сделавших его в нашем представлении человеком просто легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие писатели, актеры и художники.

Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями, тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев — множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни.

Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека, который понимал всю глубину хитрованского горя, несчастий и опущенности.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей.

Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитровские трущобы. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно смиряло даже самые жестокие сердца.

Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для «холодных» сапожников у Савеловского вокзала

до знаменитого Гусева у Калужской заставы, где лучшая в Москве трактирная машина-оркестрион гремела, бряцая литаврами, свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец, не только в области исторических событий, но и летописец быта и уклада.

Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его можно назвать «комментатором своего времени».

К сожалению, у нас таких писателей почти не было. Да и сейчас их нет. А они делали и делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца девятнадцатого и начала двадцатого века без Гиляровского, как невозможно ее представить без Художественного театра, Шаляпина и Третьяковской галереи.

Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был своего рода средоточием Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) редкий музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо бережно сохранить его как образчик московского житейского обихода девятнадцатого века.

Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы. Это — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный ток.

Не важно — много ли они или мало написали. Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и общественная жизнь, что вся современная им история страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Алексеевич Гиляровский — поэт, писатель, знаток Москвы и России, человек большого сердца, чистейший образец талантливости нашего народа.

1955

ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Писатель Грин — Александр Степанович Гриневский — умер в июле 1932 года в Старом Крыму — маленьком городе, заросшем вековыми ореховыми деревьями.

Грин прожил тяжелую жизнь. Все в ней, как нарочно, сложилось так, чтобы сделать из Грина преступника или злого обывателя. Было непонятно, как этот угрюмый человек, не запятнав, пронес через мучительное существование дар могучего воображения, чистоту чувств и застенчивую улыбку.

Биография Грина — беспощадный приговор дореволюционному строю человеческих отношений. Старая Россия наградила Грина жестоко — она отняла у него еще с детских лет любовь к действительности. Окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от нее, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня.

Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца,— землю, не нанесенную на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина.

«Я всегда замечал,— пишет Максим Горький в книге «Мои университеты»,— что людям нравятся интересные рассказы только потому, что позволяют им забыть на час времени тяжелую, но привычную жизнь».

Эти слова целиком относятся к Грину.

Русская жизнь была ограничена для него обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом. Но где-то за чертой серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав. Там жили люди, коричневые от солнца,— золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но прежде всего — моряки.

Жить без веры в то, что такие страны цветут и шумят где-то на океанских островах, было для Грина слишком тяжело, порой невыносимо.

Пришла революция. Ею было поколеблено многое, что угнетало Грина: звериный строй прошлых человеческих отношений, эксплуатация, отщепенство — все, что заставляло Грина бежать от жизни в область сновидений и книг.

Грин искренне радовался ее приходу, но прекрасные дали нового будущего, вызванного к жизни революцией, были еще неясно видны, а Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением.

Революция пришла не в праздничном уборе, а пришла как запыленный боец, как хирург. Она вспахала тысячелетние пласты затхлого быта.

Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно. Он хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома людей будущего, участвовать вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной и веселой жизнью.

Действительность не могла дать этого Грину тотчас же. Только воображение могло перенести его в желанную обстановку, в круг самых необыкновенных событий и людей.

Это вечное, почти детское нетерпение, желание сейчас же увидеть конечный результат великих событий, сознание, что до этого еще далеко, что перестройка жизни — дело длительное, все это вызывало у Грина досаду.

Раньше он был нетерпим в своем отрицании действительности, сейчас он был нетерпим в своей требовательности к людям, создавшим новое общество. Он не замечал стремительного хода событий и думал, что они идут невыносимо медленно.

Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел. Ожидание нагоняло на него скуку и разрушало поэтический строй его ощущений.

Может быть, в этом и заключалась причина малопонятной для нас отчужденности Грина от времени.

Грин умер на пороге социалистического общества, не зная, в какое время умирает. Он умер слишком рано.

Смерть застала его в самом начале душевного перелома. Грин начал прислушиваться и пристально присматриваться к действительности. Если бы не смерть, то, может быть, он вошел бы в ряды нашей литературы как один из наиболее своеобразных писателей, органически сливших реализм со свободным и смелым воображением.

Отец Грина — участник польского восстания 1863 года — был сослан в Вятку, работал там счетоводом в больнице, спился и умер в нищете.

Сын Александр — будущий писатель — рос мечтательным, нетерпеливым и рассеянным мальчиком. Он увлекался множеством вещей, но ничего не доводил до конца. Учился он плохо, но запоем читал Майн-Рида, Жюля Верна, Густава Эмара и Жаколио.

«Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка»,— говорил потом об этом времени Грин.

Теперешней молодежи трудно понять, как неотразимо действовали эти писатели на ребят, выросших в прежней русской глуши. «Чтобы понять это,— говорит Грин в своей автобиографии,— надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту обстановку напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке».

С восьми лет Грин начал думать о путешествиях. Жажду путешествия он сохранил до самой смерти. Каждое путешествие, даже самое незначительное, вызывало у него глубокое волнение.

Грин с малых лет обладал очень точным воображением. Когда он стал писателем, то представлял себе те несуществующие страны, где происходило действие его рассказов, не как туманные пейзажи, а как хорошо изученные, сотни раз исхоженные места.

Он мог бы нарисовать подробную карту этих мест, мог отметить каждый поворот дороги и характер растительности, каждый изгиб реки и расположение домов, мог, наконец, перечислить все корабли, стоящие в несуществующих гаванях, со всеми их морскими особенностями и свойствами беспечной и жизнерадостной корабельной команды.

Вот пример такого точного несуществующего пейзажа. В рассказе «Колония Ланфиер» Грин пишет:

«На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников.

На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей за город. По краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся крошечными, как побеги салата.

На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, простиралась синяя, сверкающая белыми искрами гладь океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженной зеленью, тянулись косые четырехугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер».

С ранних лет Грин устал от безрадостного существования.

Дома мальчика постоянно били, даже больная, измученная домашней работой мать с каким-то странным удовольствием дразнила сына песенкой:

А в неволе
Поневоле,
Как собака, прозябай.

«Я мучился, слыша это,— говорил Грин,— потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее».

С большим трудом отец отдал Грина в реальное училище.

Из училища Грина исключили за невинные стихи о своем классном наставнике.

Отец жестоко избил его, а потом несколько дней обивал пороги у директора училища, унижался, ходил к губернатору, просил, чтобы сына не исключали, но ничего не помогло.

Отец пытался устроить Грина в гимназию, но его туда не приняли. Город уже выдал маленькому мальчику неписаный «волчий билет». Пришлось отдать Грина в городское училище.

Мать умерла. Отец Грина вскоре женился на вдове псаломщика. У мачехи родился ребенок.

Жизнь шла по-прежнему без всяких событий, в тесноте убогой квартиры, среди грязных пеленок и диких ссор. В училище процветали зверские драки, и кислый запах чернил крепко въедался в кожу, в волосы, в поношенные ученические блузы.

Мальчику приходилось перебелять за несколько копеек сметы городской больницы, переплетать книги, клеить бумажные фонари для иллюминации в день «восшествия на престол» Николая Второго и переписывать роли для актеров провинциального театра.

Грин принадлежал к числу людей, не умеющих устраиваться в жизни. В несчастьях он терялся, прятался от людей, стыдился своей бедности. Богатая фантазия мгновенно изменяла ему при первом же столкновении с тяжелой действительностью.

Уже в зрелом возрасте, чтобы уйти от нужды, Грин придумал клеить из фанеры шкатулки и продавать их на рынке. Было это в Старом Крыму, где с великим трудом удалось бы продать одну-две шкатулки. Так же беспомощна была попытка Грина избавиться от голода. Грин сделал лук, уходил с ним на окраины Старого Крыма и стрелял в птиц, надеясь убить хоть одну и поесть свежего мяса. Но из этого ничего, конечно, не вышло.

Как все неудачники, Грин всегда надеялся на случай, на неожиданное счастье.

Мечтами об «ослепительном случае» и радости полны все рассказы Грина, но больше всего — его повесть «Алые паруса». Характерно, что эту пленительную и сказочную книгу Грин обдумывал и начал писать в Петрограде 1920 года, когда после сыпняка он бродил по обледенелому городу и искал каждую ночь нового ночлега у случайных, полузнакомых людей.

«Алые паруса» — поэма, утверждающая силу человеческого духа, просвеченная насквозь, как утренним солнцем, любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве к счастью способен своими же руками совершать чудеса.

Уныло и однообразно тянулась вятская жизнь, пока весной 1895 года Грин не увидел на пристани извозчика и на нем двух штурманских учеников в белой матросской форме.

«Я остановился, — пишет об этом случае Грин, — и смотрел, как зачарованный, на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира. Я не завидовал. Я испытывал восторг и тоску».

С тех пор мечты о морской службе, о «живописном труде мореплавания» овладели Грином с особенной силой. Он начал собираться в Одессу.

Семье Грин был в тягость. Отец раздобыл ему на дорогу двадцать пять рублей и торопливо попрощался со своим угрюмым сыном, ни разу не испытавшим ни отцовской ласки, ни любви.

Грин взял с собой акварельные краски,— он был уверен, что будет рисовать ими где-нибудь в Индии, на берегах Ганга,— взял нищенский скарб и в состоянии полного смятения и ликования уехал из Вятки.

«Я долго видел на пристани в толпе,— рассказывает об этом отъезде Грин,— растерянное седобородое лицо отца. А мне грезилось море, покрытое парусами».

В Одессе произошла первая встреча Грина с морем — тем морем, что залило потом ослепительным светом страницы его рассказов.

О море написано множество книг. Целая плеяда писателей и исследователей пыталась передать необыкновенное, шестое ощущение, которое можно назвать «чувством моря». Все они воспринимали море по-разному, но ни у одного из этих писателей не шумят и не переливаются на страницах такие праздничные моря, как у Грина.

Грин любил не столько море, сколько выдуманные им морские побережья, где соединялось все, что он считал самым привлекательным в мире: архипелаги легендарных островов, песчаные дюны, заросшие цветами, пенистая морская даль, теплые лагуны, сверкающие бронзой от обилия рыбы, вековые леса, смешавшие с запахом соленых бризов запах пышных зарослей, и, наконец, уютные приморские города.

Почти в каждом рассказе Грина встречаются описания этих несуществующих городов — Лисса, Зурбагана, Гель-Гью и Гертона.

В облик этих вымышленных городов Грин вложил черты всех виденных им портов Черного моря.

Мечта была достигнута. Море лежало перед Грином как дорога чудес, но старое вятское прошлое тотчас же дало себя знать. Грин с особой остротой почувствовал у моря свою беспомощность, ненужность и одиночество.

«Этот новый мир не нуждался во мне,— пишет он.— Я чувствовал себя стесненным, чужим здесь, как везде. Мне было немного грустно».

Морская жизнь сразу же обернулась к Грину изнанкой.

Грин неделями слонялся по порту и робко просил капитанов взять его матросом на пароходы, но ему или грубо отказывали, или высмеивали в глаза,— какой мог

получиться матрос из хилого юноши с мечтательными глазами!

Наконец Грину «повезло». Его взяли без жалованья учеником на пароход, ходивший из Одессы в Батум. На нем Грин сделал два осенних рейса.

От этих рейсов у Грина осталась память только о Ялте и хребте Кавказских гор.

«Огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невиданного города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетал запах цветов, теплые порывы ветра. Далеко слышались голоса и смех.

Остальная часть рейса мною забыта, кроме не исчезающего с горизонта шествия снежных гор. Их растяпутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров. Это была цепь высоко взнесенных стран сверкающего льдами молчания».

Вскоре капитан ссадил Грина с парохода — Грин не мог платить за продовольствие.

Кулак, хозяин херсонского «дубка», взял Грина подручным к себе на шхуну и помыкал им, как собакой. Грин почти не спал — вместо подушки хозяин дал ему разбитую черепицу. В Херсоне его вышвырнули на берег, не заплатив денег.

Из Херсона Грин вернулся в Одессу, работал в портовых пакгаузах маркировщиком и сделал единственный заграничный рейс в Александрию, но его уволили с парохода за столкновение с капитаном.

Из всей одесской жизни у Грина осталось хорошее воспоминание только о работе в портовых складах.

«Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Все пахло: ваниль, финики, кофе, чай. В соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь,— особенно если грело солнце».

Грин устал от одесской жизни и решил вернуться в Вятку. Домой он ехал «зайцем». Последние двести километров пришлось идти пешком по жидкой грязи — стояло ненастье.

В Вятке отец спросил Грина, где его вещи.

— Вещи остались на почтовой станции,— солгал Грин.— Не было извозчика.

«Отец,— пишет Грин,— жалко улыбаясь, недоверчиво

промолчал, а через день, когда выяснилось, что никаких вещей нет, спросил (от него сильно пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком. Где твои вещи? Ты изолгался!»

Опять начиналась проклятая вятская жизнь.

Потом были годы бесплодных поисков какого-нибудь места в жизни, или, как было принято выражаться в обывательских семьях, поиски «занятия».

Грин был банщиком на станции Мураши, около Вятки, служил писцом в канцелярии, писал в трактире для крестьян прошения в суд.

Он долго не выдержал в Вятке и уехал в Баку. Жизнь в Баку была так отчаянно тяжела, что у Грина осталось о ней воспоминание как о непрерывном холоде и мраке. Подробностей он не запомнил.

Он жил случайным, копеечным трудом: забивал сваи в порту, счищал краску со старых пароходов, грузил лес, вместе с босяками нанимался гасить пожары на нефтяных вышках. Он умирал от малярии в рыбачьей артели и едва не погиб от жажды на песчаных смертоносных пляжах Каспийского моря между Баку и Дербентом.

Ночевал Грин в пустых котлах на пристани, под опрокинутыми лодками или просто под заборами.

Жизнь в Баку наложила жестокий отпечаток на Грина. Он стал печален, неразговорчив, а внешние следы бакинской жизни — преждевременная старость — остались у Грина навсегда. Уже с тех пор, по словам Грина, его лицо стало похоже на измятую рублевую бумажку.

Внешность Грина говорила лучше слов о характере его жизни: это был необычайно худой, высокий и сутулый человек, с лицом, иссеченным тысячами морщин и шрамов, с усталыми глазами, загоравшимися прекрасным блеском только в минуты чтения или выдумывания необычайных рассказов.

Грин был некрасив, но полон скрытого обаяния. Ходил он тяжело, как ходят грузчики, надорванные работой.

Был он очень доверчив, и эта доверчивость внешне выражалась в дружеском, открытом рукопожатии. Грин говорил, что лучше всего узнает людей по тому, как они пожимают руку.

Жизнь Грина, особенно бакинская, многими своими чертами напоминает юность Максима Горького. И Горь-

кий и Грин прошли через босячество, но Горький вышел из него человеком высокого гражданского мужества и величайшим писателем-реалистом, Грин же — фантастом.

В Баку Грин дошел до последней степени нищеты, но не изменил своему чистому и детскому воображению. Он останавливался перед витринами фотографов и подолгу рассматривал карточки, стремясь найти среди сотен тупых измятых болезнями лиц хотя бы одно лицо, говорившее о жизни радостной, высокой и беззаботной. Наконец он нашел такое лицо — лицо девушки — и описал его в своем дневнике. Дневник попал в руки хозяина ночлежки, мерзкого и хитрого человека, который начал издеваться над Грином и незнакомой девушкой. Дело чуть не окончилось кровавой дракой.

Из Баку Грин снова вернулся в Вятку, где пьяный отец требовал от него денег. Но денег, конечно, не было.

Надо было снова придумывать какие-нибудь способы, чтобы тянуть существование. Грин был неспособен на это. Опять им овладела жажда счастливого случая, и зимой, в жестокие морозы, он ушел пешком на Урал — искать золото. Отец дал ему на дорогу три рубля.

Грин увидел Урал — дикую страну золота, и в нем вспыхнули наивные надежды. По пути на прииск он поднимал множество камней, валявшихся под ногами, и тщательно осматривал их, надеясь найти самородок.

Грин работал на Шуваловских приисках, скитался по Уралу с благодушным старичком странником (оказавшимся впоследствии убийцей и вором), был дровосеком и сплавщиком.

После Урала Грин плавал матросом на барже судовладельца Булычова — знаменитого Булычова, взятого Горьким в качестве прототипа для своей известной пьесы.

Но окончилась и эта работа.

Казалось, жизнь сомкнула круг, и Грину больше не было в ней ни радости, ни разумного занятия. Тогда он решил идти в солдаты. Было тяжело и стыдно вступать добровольцем в замуштрованную до идиотизма царскую армию, но еще тяжелее было сидеть на шее у старика отца. Отец мечтал сделать из Александра, своего первенца, «настоящего человека» — доктора или инженера.

Грин служил в пехотном полку в Пензе.

В полку Грин впервые столкнулся с эсерами и начал читать революционные книги.

«С тех пор,— говорит Грин,— жизнь повернулась ко мне разоблаченной, казавшейся раньше таинственной, стороной. Мой революционный энтузиазм был беспределен. По первому предложению одного эсера-вольноопределяющегося, я взял тысячу прокламаций и разбросал их во дворе казармы».

Прослужив около года, Грин дезертировал из полка и ушел в революционную работу. Эта полоса его жизни мало известна.

Грин работал в Киеве и Севастополе, где прославился среди матросов и солдат крепостной артиллерии как горячий, увлекательный подпольный оратор.

Но в опасностях и напряжении революционной работы Грин оставался таким же созерцателем, как и раньше. Недаром он сам говорил о себе, что жизненные явления его интересовали преимущественно зрительно,— он любил смотреть и запоминать.

В Севастополе Грин жил осенью — той ясной крымской осенью, когда воздух кажется прозрачной теплой влагой, налитой в границы улиц, бухт и гор, и малейший звук проходит по ней легкой и долго не смолкающей дрожью.

«Некоторые оттенки Севастополя вошли в мои рассказы»,— признавался Грин. Но каждому, кто знает книги Грина и знает Севастополь, ясно, что легендарный Зурбаган — это почти точное описание Севастополя, города прозрачных бухт, дряхлых лодочников, солнечных отсветов, военных кораблей, запахов свежей рыбы, акации и кремнистой земли и торжественных закатов, вздымающих к небу весь блеск и свет отраженной черноморской воды.

Если бы не было Севастополя, не было бы гриновского Зурбагана с его сетями, громом подкованных матросских сапог по песчанику, ночными ветрами, высокими мачтами и сотнями огней, танцующих на рейде.

Ни в одном из городов Советского Союза не чувствуется так явственно, как в Севастополе, поэзия морской жизни, высказанная Грином в следующих строках:

«Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, а высоко в небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидаю-

щей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами...»

Осенью 1903 года Грин был арестован в Севастополе на Графской пристани и просидел в севастопольской и феодосийской тюрьмах до конца октября 1905 года.

В севастопольской тюрьме Грин впервые начал писать. Он очень застенчиво относился к своим первым литературным опытам и никому их не показывал.

Грин мало рассказывал о себе, он не успел окончить свою автобиографию, и потому многие годы его жизни почти никому не известны.

После Севастополя в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он был вторично арестован и сослан в Тобольск, но с дороги бежал, пробрался в Вятку и ночью пришел к старому, больному отцу. Отец выкрал для него из городской больницы паспорт умершего сына дьячка Мальгинова. Под этой фамилией Грин долго жил и даже подписал ею свой первый рассказ.

С чужим паспортом Грин уехал в Петербург, и здесь, в газете «Биржевые ведомости», этот рассказ был напечатан.

Это была первая настоящая радость в жизни Грина. Он едва не расцеловал ворчливого газетчика, у которого купил номер газеты со своим рассказом. Он уверял газетчика, что рассказ написан им, но старик не верил и подозрительно смотрел на голенастого веснушчатого молодого человека. От волнения Грин не мог идти, у него дрожали и подгибались ноги.

Работа в эсеровской организации уже явно тяготила Грина. Он вскоре вышел из нее, отказавшись от порученного ему покушения. Он был захвачен мыслями о писательстве. Десятки замыслов отягощали его, он торопливо искал форму для них, но первое время не находил.

Он писал еще робко, с оглядкой на редактора и читателя, писал с тем хорошо знакомым начинающим писателям чувством, будто за его спиной стоит толпа насмешливых людей и с осуждением вчитывается в каждое слово. Грин еще боялся бури сюжетов, которая бушевала в нем и требовала освобождения.

Первый рассказ, написанный Грином без оглядки, лишь в силу свободного внутреннего побуждения, был «Остров Рено». В нем уже были заключены все черты будущего

Грина. Это простой рассказ о силе и красоте девственной тропической природы и жажде свободы у матроса, дезертировавшего с военного корабля и убитого за это по приказу командира.

Грин начал печататься. Годы унижений и голода, правда, очень медленно, но все же уходили в прошлое. Первые месяцы свободного и любимого труда казались Грину чудом.

Вскоре Грин опять был арестован по старому делу о принадлежности к партии эсеров, просидел год в тюрьме и был выслан в Архангельскую губернию — в Пинегу, а потом в Кегостров.

В ссылке он много писал, читал, охотился и, по его словам, даже отдохнул от прошлой каторжной жизни.

В 1912 году Грин вернулся в Петербург. Здесь начался лучший период его жизни, своего рода «болдинская осень». В то время Грин писал почти непрерывно. С ненасытной жаждой он перечитывал множество книг, хотел все узнать, испытать, перенести в свои рассказы.

Вскоре он повез отцу в Вятку свою первую книгу. Грину хотелось порадовать старика, уже примирившегося с мыслью, что из сына Александра вышел никчемный бродяга. Отец Грину не поверил. Понадобилось показать старику договоры с издательствами и другие документы, чтобы убедить его, что Грин действительно стал «человеком». Эта встреча отца с сыном была последней: старик вскоре умер.

Февральская революция застала Грина в Финляндии, в поселке Лунатиокки; он встретил ее с восторгом. Узнав о революции, Грин тотчас же пешком отправился в Петроград — поезда уже не ходили. Он бросил в Лунатиокках все свои вещи и книги, даже портрет Эдгара По, с которым никогда не расставался.

Почти все, кто писал о Грине, говорят о близости Грина к Эдгару По, к Хаггарду, Джозефу Конраду, Стивенсону и Киплингу.

Грин любил «безумного Эдгара», но мнение, что он подражал ему и всем перечисленным писателям, неверно: Грин многих из них узнал, будучи уже сам вполне сложившимся писателем.

Он очень ценил Мериме и считал его «Кармен» одной из лучших книг в мировой литературе. Грин много читал Мопассана, Флобера, Бальзака, Стендаля, Чехова (рассказами Чехова Грин был потрясен), Горького, Свифта и Дже-

ка Лондона. Он часто перечитывал биографию Пушкина, а в зрелом возрасте увлекался чтением энциклопедий.

Грин не был избалован вниманием и потому очень ценил его.

Даже самая обычная в человеческих отношениях ласка или дружеский поступок вызывали у него глубокое волнение.

Так случилось, например, когда жизнь впервые столкнула Грина с Максимом Горьким. Шел 1920 год. Грин был призван в Красную Армию и служил в караульном полку в городе Острове, под Псковом. Там он заболел сыпняком. Его привезли в Петроград и вместе с сотнями сыпнотифозных положили в Боткинские бараки. Грин болел тяжело. Он вышел из больницы почти инвалидом.

Без крова, полубольной и голодный, с тяжелыми головокружениями, он бродил целые дни по гранитному городу в поисках пищи и тепла. Было время очередей, пайков, коптилок, черствых корок хлеба и обледенелых квартир. Мысль о смерти становилась все назойливее и крепче.

«В это время,— пишет в своих неопубликованных воспоминаниях жена писателя,— спасителем Грина явился Максим Горький. Он узнал о тяжелом положении Грина и сделал для него все. По просьбе Горького Грину дали редкий в те времена академический паек и комнату на Мойке, в «Доме искусств»,— теплую, светлую, с постелью и со столом. Замученному Грину особенно драгоценным казался этот стол — за ним можно было писать. Кроме того, Горький дал Грину работу.

Из самого глубокого отчаяния и ожидания смерти Грин был возвращен к жизни рукою Горького. Часто по ночам, вспоминая свою тяжелую жизнь и помощь Горького, еще не оправившийся от болезни Грин плакал от благодарности».

В 1924 году Грин переехал в Феодосию. Ему хотелось жить в тишине, ближе к любимому морю. В этом поступке Грина отразился верный инстинкт писателя — приморская жизнь была той реальной питательной средой, которая давала ему возможность выдумывать свои рассказы.

В Феодосии Грин прожил до 1930 года. Там он много писал. Писал он преимущественно зимой, по утрам. Иногда часами он сидел в кресле, курил и думал, и в это время его нельзя было трогать. В такие часы размышлений и

свободной игры воображения сосредоточенность была нужна Грину гораздо больше, чем в часы работы. Грин погружался в свои раздумья так глубоко, что почти глох и слеп, и вывести его из этого состояния было трудно.

Летом Грин отдыхал: делал луки, бродил у моря, возился с беспризорными собаками, приручал раненого ястреба, читал и играл на бильярде с веселыми феодосийскими жителями — потомками генуэзцев и греков. Грин любил Феодосию — знойный город у зеленого мутноватого моря, построенный на белой каменистой земле.

Осенью 1930 года Грин переехал из Феодосии в Старый Крым — город цветов, тишины и развалин. Здесь он умер в одиночестве от мучительной болезни — рака желудка и легких.

Грин умирал так же тяжко, как и жил. Он попросил поставить его кровать к окну. За окном синели далекие крымские горы и небо сверкало, как отблеск любимого и навсегда потерянного моря.

В одном из рассказов Грина — «Возвращение» — есть строки, как бы написанные им о своей смерти,— так точно они передают обстановку умирания Грина: «Конец наступил в свете раскрытых окон, перед лицом полевых цветов. Уже задыхаясь, он попросил посадить его у окна. Он смотрел на холмы, вбирая кровоточащим обрывком легкого последние глотки воздуха».

Перед смертью Грин сильно тосковал о людях — этого раньше с ним никогда не случалось.

За несколько дней перед смертью из Ленинграда прислали авторские экземпляры последней книги Грина — «Автобиографическая повесть».

Грин слабо улыбнулся, пытался прочесть надпись на обложке, но не смог. Книга выпала у него из рук. Глаза у него уже приобрели выражение тяжелой, глухой пустоты. Глаза Грина, умевшие так необыкновенно видеть мир, уже умирали.

Последним словом Грина был не то стон, не то шепот: «Помираю...»

Через два года после смерти Грина мне случилось побывать в Старом Крыму, в доме, где умер Грин, и на его могиле.

Вокруг маленького белого дома в густой и свежей траве цвели полевые цветы. Листья ореха, вялые от зноя, пахли

лекарственно и терпко. В комнатах с суровой, простой обстановкой стояла глубокая тишина и лежал на меловой стене резкий луч солнца. Он падал на единственную гравюру на стене — портрет Эдгара По.

Могила Грина на кладбище за старой мечетью заросла колючими травами.

Дул ветер с юга. Очень далеко, за Феодосией, сизой стеною стояло море. И над всем — над домом Грина, над его могилой и над Старым Крымом — стояло безмолвие безоблачного летнего дня.

Грин умер, оставив нам решать вопрос, нужны ли нашему времени такие неистовые мечтатели, каким был он.

Да, нам нужны мечтатели. Пора избавиться от насмешливого отношения к этому слову. Многие еще не умеют мечтать, и, может быть, поэтому они никак не могут стать в уровень со временем.

Если отнять у человека способность мечтать, то отпадает одна из самых мощных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живем в этом будущем и сами становимся иными.

Принято думать, что мечты Грина были оторваны от жизни, являлись причудливой и ничего не значащей игрой ума. Принято думать, что Грин был авантюрным писателем — правда, мастером сюжета, но человеком, чьи книги лишены социального значения.

Значение каждого писателя определяется тем, как он действует на нас, какие чувства, мысли и поступки вызывают его книги, обогащают ли они нас знаниями или прочитываются как забавный набор слов.

Грин населил свои книги племенем смелых, простодушных, как дети, гордых, самоотверженных и добрых людей.

Эти цельные, привлекательные люди окружены свежим, благоухающим воздухом гриновской природы — совершенно реальной, берущей за сердце своим очарованием. Мир, в котором живут герои Грина, может показаться нереальным только человеку нищему духом. Тот, кто испытал легкое головокружение от первого же глотка соленого и теплого воздуха морских побережий, сразу почувствует подлинность гриновского пейзажа, широкое дыхание гриновских стран.

Рассказы Грина вызывают в людях желание разнообразной жизни, полной риска, смелости и «чувства высокого», свойственного исследователям, мореплавателям и путешественникам. После рассказов Грина хочется увидеть весь земной шар — не выдуманные Грином страны, а настоящие, подлинные, полные света, лесов, разноязычного шума гаваней, человеческих страстей и любви.

«Меня дразнит земля,— писал Грин.— Океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных уголков».

Сказка нужна не только детям, но и взрослым. Она вызывает волнение — источник высоких и человечных страстей. Она не дает нам успокоиться и показывает всегда новые, сверкающие дали, иную жизнь, она тревожит и заставляет страстно желать этой жизни. В этом ее ценность, и в этом ценность невыразимого подчас словами, но ясного и могучего обаяния рассказов Грина.

Наше время объявило беспощадную борьбу ханжам, тупицам и лицемерам. Только лицемер может сказать, что надо успокоиться на достигнутом и остановиться. Великое достигнуто, но впереди ждет еще более великое. Новые высокие и трудные задачи встают в близкой дали будущего, задачи создания нового человека, воспитания новых чувств и новых человеческих отношений, достойных социалистического века. Но чтобы бороться за это будущее, нужно уметь мечтать страстно, глубоко и действенно, нужно воспитать в себе непрерывное желание осмысленного и прекрасного. Этим желанием был богат Грин, и он передает его нам в своих книгах.

Говорят об авантюрности сюжетов Грина. Это верно, но авантюрный сюжет у него — только скорлупа для более глубокого содержания. Нужно быть слепым, чтобы не видеть в книгах Грина любви к человеку.

Грин был не только великолепным пейзажистом и мастером сюжета, но был еще и очень тонким психологом. Он писал о самопожертвовании, мужестве — героических чертах, заложенных в самых обыкновенных людях. Он писал о любви к труду, к своей профессии, о неизученности и могуществе природы. Наконец, очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин.

Я мог бы привести здесь сотни отрывков из книг Грина, взволнующих каждого, не потерявшего способности волноваться перед зрелищем прекрасного, но читатель найдет их сам.

Грин говорил, что «вся земля, со всем, что на ней есть, дана нам для жизни, для признания этой жизни всюду, где она есть».

Грин — писатель, нужный нашему времени, ибо он вложил свой вклад в дело воспитания высоких чувств, без чего невозможно осуществление социалистического общества.

1939—1956

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Во многих книгах, очерках и статьях Ильи Григорьевича Эренбурга разбросаны отдельные точно выраженные, большей частью неприятные и колкие, то спорные, то неопровержимые, но всегда закономерные мысли о литературе и сущности писательского труда.

Одна из таких бесспорных истин заключается в том, что литература возникает в силу внутренней потребности человека. Только тот, кто подчиняется велению этой внутренней потребности, может создать бессмертные вещи.

Но для самого Эренбурга одного писательства мало, чтобы выразить его внутреннюю потребность, чтобы передать окружающим опыт своей удивительной жизни, голос своего сердца и совести.

Эренбург — явление большее, чем писатель. Он не только блистательный писатель по призванию, не только поэт, журналист, оратор и трибун, но еще и стойкий борец за мир и самоотверженный защитник культуры от всех изуверских и черных покушений на нее, откуда бы они ни исходили.

Если бы был жив волшебник Христиан Андерсен, то он мог бы написать суровую сказку о старом мужественном писателе, который пронес в своих ладонях культуру, как несут драгоценную живую воду, через обвалы времени, сквозь годы войн и неслыханных страданий,— стараясь не расплескать ни капли. Он не позволял никому замутить ее, потому что нес эту влагу жизни для счастья простых и мирных людей.

Защищая нашу культуру, Эренбург тем самым защищает и культуру будущего, те большие человеческие ценности, которые должны быть и будут.

Мы вправе гордиться тем, что Илья Григорьевич Эренбург — наш соотечественник и наш современник. Равно как и тем, что он носитель традиций русской литературы, самой человечной литературы в мире, литературы, которая существовала и всегда будет существовать как слитный морально-эстетический фактор огромной воспитательной силы.

Мы вправе гордиться Эренбургом, мы благодарны ему и хотим, чтобы он это знал.

Биография Эренбурга необыкновенно сложна, порой противоречива, всегда захватывающе интересна и значительна в первую очередь тем, что его судьба нераздельно слилась с судьбой его тревожного и великого века. Биография Эренбурга — это, конечно, естественное и непосредственное выражение его внутренних свойств. Потому это настоящая большая писательская биография. Хороший писатель — это хорошая биография, и, наоборот, хорошая биография — это большей частью возможность для человека стать писателем.

Я вспоминаю своего учителя литературы. Он говорил нам, киевским гимназистам: «Если вы хотите быть писателями, то старайтесь прежде всего быть интересными людьми».

Биография Эренбурга поучительна и для старшего поколения писателей, но главным образом для нашей литературной молодежи.

Многих из нас удручают своей скудостью и простоватостью биографии иных наших молодых писателей, разительно идущие вразрез со всей сложностью эпохи.

Как нельзя после Пушкина и Чехова писать косноязычным и жидким, как спитой чай, языком, так нельзя после таких напряженных биографий, как у того же Пушкина, Герцена, Горького, а из наших современников — как у Маяковского, Федина, Всеволода Иванова и Эренбурга, жить в литературе с кургузой биографией школяра и недоучки.

Где преемники больших писателей? Их очень мало. Где преемники Эренбурга? В чьи руки старшее поколение писателей передаст все завоеванное и накопленное, весь жар души, всю любовь и ненависть, всю созидательную и разящую силу своего пера?

Эти слова я обращаю сейчас не к Эренбургу, а к литературной молодежи, и Илья Григорьевич, я думаю, поймет меня и простит это отступление.

Эренбург своей жизнью утвердил истину: писатель — это звучит гордо и великодушно. Нам, писателям, и старым и молодым, нельзя забывать об этом.

Судьба Эренбурга — заслуженно счастливая и завидная судьба. Завидная судьба, несмотря на то что писательство — самое прекрасное дело в мире — полно тягостей, жестокого труда, сомнений, срывов и вечных изнурительных поисков. Но эту тягость своего призвания ни один подлинный писатель не променяет па внутреннюю безмятежность и благополучие.

Писательская судьба Эренбурга завидна тем, что в результате многих лет независимого ни от каких побочных влияний своего труда он может теперь по праву говорить со всем миром. Ни одно его слово не тонет в пустоте, все написанное и сказанное рождает отзвук в миллионах сердец.

В этом народном признании — счастливый удел Эренбурга, в этом — его победа, в этом — те вершины жизни, подняться на которые можно, только никогда не озираясь с опаской назад.

Существуют вещи на первый взгляд ничем не примечательные, но если взглянуть на них в непривычном ракурсе, то открывается их почти чудесная сущность.

Что может быть проще освещенного ночью окна в рабочей комнате писателя? Извините, Илья Григорьевич, что я дам слабую волю своему воображению. Но я иногда прохожу ночью по улице Горького мимо дома, где вы живете, вижу освещенное окно, и мне кажется, что это ваше окно. И я думаю о том, что вот, писатель в полном одиночестве, среди течения глухой и поздней ночи садится за стол, берет в руку перо и отсюда, из никому не ведомой комнаты, начинает говорить со всем миром.

Это состояние всемирности, рожденное в писательском одиночестве, когда мысль, только что вышедшая из-под пера, вскоре победит пространство и время, очевидно, хорошо знакомо Илье Григорьевичу. И в этом тоже его завидная участь.

Я не буду останавливаться на отдельных книгах Эренбурга. Они широко известны. Я люблю многое, даже то, что, как мне кажется, сам Илья Григорьевич не совсем долюбливает теперь.

Я люблю щемящий и горький «Проточный переулок» и Жанну Ней с ее милым сердцем. И «Хулио Хуренито», из которого брызжет веселый скептицизм молодости, и некоторые другие ранние (конечно, относительно ранние) книги Эренбурга. И стихи.

Первое, что я прочел, это были стихи в давным-давно вышедшей, если не ошибаюсь, самой ранней книге Эренбурга. Называлась она «Одуванчик». Я запомнил несколько стихотворений из этой так просто и ласково названной книги. Эти стихи сейчас звучат как голос далекого детства:

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином теплом платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке...
Я скажу вам о каждой минуте, о каждой
И о каждом из прожитых дней.
Я люблю эту жизнь, с ненасытною жаждой
Прикасаюсь я к ней...

Я, киевлянин, был тогда влюблен в Москву. И потому запомнил строчки Эренбурга о Москве, полные тоски по ней:

Как много нежного и милого
В словах Арбат, Дорогомилово...

Какой огромный путь от этих стихов до «Дня второго», до «Падения Парижа», до «Бури» и «Оттепели», до военных статей, до схватки за мир, до широкого размаха деятельности Эренбурга как поэта и борца.

У каждого писателя бывают часы раздумий. Из этих раздумий рождаются книги. Раздумья идут быстро, а книги пишутся медленно. Поэтому у каждого писателя раздумий больше, чем книг.

Остается неведомым для нас всех, читателей, великое множество мыслей, замыслов, образов, замечательных историй. Легче всего следы раздумий, не вылившихся в книгу, проследить в стихах. Стихи сжаты, плотны, порой в одну строку укладывается целая повесть.

Одно из таких раздумий, не выраженных в прозе, я нахожу у Эренбурга в его последних стихах.

В них открывается как будто утаенная любовь Эренбурга к природе. Особенно хороши его раздумья о деревьях — неожиданные и простые. И раздумья о Европе. «Зеленая летучая звезда, моя любовь, моя Европа».

Я не собирался останавливаться на отдельных книгах Эренбурга, но все же не могу не сказать хотя бы несколько слов об его совершенно блестящих путевых очерках.

Эренбург — вечный странник. Он знает каждый камень в Европе. Его вторая родина — Франция, город сердца — Париж.

Эренбург знает Францию, пожалуй, не хуже, чем знал ее Стендаль. Это знание помогает ему, когда он пишет о Франции, найти те единственно нужные слова, которые дают точную и живописную картину целого.

Он пишет о «суровой откровенности бретонского пейзажа, о туманном небе, вязах и ветрах на перекрестках, о рыбачках, о чистом и нежном испуге стройных девушек-бретонок в старинных платьях перед взором редкого чужестранца».

Только человек, знающий Францию до сердцевины, может сказать о французской провинции, что она «монотонна и патетична», а о французской литературе, что она родилась из «звонкой французской провинциальной скуки».

В путевых очерках Эренбурга, о чем бы он ни писал — о Дании, Германии, Англии, Швейцарии или Соединенных Штатах,— все точно, зримо, плотно по краскам, полно множеством безошибочно отобранных знаний, увиденных и услышанных, а не приобретенных в книгах.

Читая эти очерки, не только все видишь, но слышишь запахи вересковых полей, океана, городов; схватываешь почти мгновенно всю специфическую конкретность стран, о которых пишет Эренбург,— всегда в густом наплыве современности.

О Париже я говорить не буду. Это особая большая и прекрасная тема в жизни и творчестве Эренбурга. Он возникает на страницах Эренбурга во всем своем многовековом обаянии, в движении современности и блеска — город, собравший в себе очарования и духовные богатства всех стран и всех времен.

Простите меня за краткость, а главное, за сумбурность моих слов. Но трудно голосу сердца подчиняться логическим построениям.

Каждый из нас представляет себе то время, по которому так у людей истосковалось сердце,— время прочного и благодатного мира и свободного и разумного труда, время заслуженного измученным человечеством покоя и счастья.

Когда придут эти времена и неомраченное солнце взойдет в чистейшем воздухе освобожденной от страха и наси-

лия земли, то люди с глубокой благодарностью вспомнят тех, кто отдал свой труд, талант и свою жизнь для приближения этих времен.

И среди этих людей одним из первых будет произнесено имя Ильи Эренбурга.

1956

ПОТОК ЖИЗНИ

(Заметки о прозе Куприна)

В 1921 году в одесских газетах появилось объявление о смерти никому не известного Арона Гольдштейна.

В те годы революции, голода и веселья никто бы не обратил внимания на это объявление, если бы внизу под фамилией Гольдштейн не было напечатано в скобках: «Сашка Музыкант из «Гамбринуса».

Я прочел это объявление и удивился. Значит, он действительно жил на свете, этот Сашка Музыкант, а не был только отдаленным прототипом для Куприна в его «Гамбринусе». Значит, все, о чем писал в этом рассказе Куприн,— подлинность.

В это трудно было поверить потому, что жизнь и искусство в нашем представлении никогда не сливались так неразрывно.

Оказалось, что Сашка Музыкант, давно ставший для нас легендой, литературным героем, жил в зимней обледенелой Одессе рядом с нами и умер где-то на мансарде старого одесского дома.

Хоронила Сашку Музыканта вся портовая и окраинная Одесса. Эти похороны были как бы концовкой купринского рассказа.

Колченогие лошади, часто останавливаясь, тащили черные дроги с гробом. Где достали этих одров, выживших в то голодное время, когда и людям нечего было есть, так и осталось тайной.

Правил этими конями высокий рыжий старик, должно быть, какой-нибудь знаменитый биндюжник с Молдаванки. Рваная кепка была сдвинута у него на один глаз. Биндюжник курил махорку и равнодушно сплевывал, выражая полное презрение к жизни и к смерти. «Какая разница, когда на Привозе уже не увидишь буханки арнаутского хлеба и зажигалка стоит два миллиона!»

За гробом шла большая шумная толпа. Ковыляли старые тучные женщины, замотанные в теплые шали. Похороны были для них единственным местом, где можно поговорить не о ценах на подсолнечное масло и керосин, а о тщете существования и семейных бедах,— поговорить, как выражаются в Одессе, «за жизнь».

Женщин было немного Я упоминаю их первыми потому, что, по галантным правилам одесского нищего люда, их пропустили вперед к самому гробу.

За женщинами шли в худых, подбитых ветром пальто музыканты — товарищи Сашки. Они держали под мышками инструменты. Когда процессия остановилась около входа в заколоченный «Гамбринус», они вытащили свои инструменты, и неожиданная печальная мелодия старинного романса полилась над толпой:

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется...

Скрипки пели так томительно, что люди в толпе начали сморкаться, кашлять и утирать слезы.

Когда музыканты кончили, кто-то крикнул сиплым голосом:

— А теперь давай Сашкину!

Музыканты переглянулись, ударили смычками, и над толпой понеслись игривые скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса!
Прощай, мой Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!

Куприн писал о посетителях «Гамбринуса», что все это были матросы, рыбаки, кочегары, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты — люди молодые, здоровые, пропитанные крепким запахом моря и рыбы. Они-то и шли сейчас за гробом Сашки Музыканта. Но от прежней молодости и задора ничего уже не осталось. «Жизнь погнула!» — говорили старые морские люди. Что от нее сохранилось? Надсадный кашель, обкуренные седые усы да опухшие суставы на руках с узловатыми синими венами. Да и то сказать — жизнь не обдуришь! Жизнь надо выдюжить, как десятипудовый тюк — донести до трюма и скинуть. Вот и скинули, а отдохновения все равно нету,— не тот воз-

раст! Вот и Сашка лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка.

Я слушал эти разговоры в толпе, но их горечь не доходила до меня. Я был тогда молод, революция гремела вокруг, события смывали друг друга с такой быстротой, что некогда было как следует в них разобраться.

Ко мне подошел репортер Ловенгард — седобородый нищий старик с большими детскими глазами.

Ловенгард, как шутили молодые непочтительные репортеры, картавил на все буквы, и потому его не всегда можно было сразу понять. К тому же Ловенгард любил говорить несколько выспренне.

— Я первый,— сказал он мне,— привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, курил, пил пиво и смеялся — и вдруг через год вышел этот рассказ! Я плакал над ним, молодой человек. Это — шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Он был прав, Ловенгард. Я не знал, что он был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о самом Ловенгарде.

Это был подлинный купринский персонаж Единственной страстью этого одинокого старика был одесский порт. В редакциях газет ему предлагали любую выгодную работу, но он от всего упорно отказывался и оставлял за собой только порт.

С утра до вечера, в любое время года и в любую погоду, он медленно обходил все гавани и все причалы — неимоверно худой и торжественный, как Дон-Кихот, опираясь вместо рыцарского копья на толстую палку.

Он подымался на все пароходы и, как «капитан порта» в известном рассказе Грина, опрашивал моряков о подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и с отпетыми портовыми босяками и, разговаривая, снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди буйного и ядовитого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка Музыкант для моряков.

Мне кажется, что Ловенгард очень просто, даже слишком просто сказал о том главном, что характерно для Куприна — о его любви к человеку и его человечности.

Любовь Куприна к человеку проступает ясным подтекстом почти во всех его повестях и рассказах, несмотря на разнообразие их тем и сюжетов. Она лежит в основе таких разных произведений, как «Олеся» и «Анафема», «Чудесный доктор» и «Листригоны».

Прямо, в открытую, Куприн говорит о любви к человеку не так уж часто. Но каждым своим рассказом он призывает к человечности.

Он повсюду искал ту силу, что могла бы поднять человека до состояния внутреннего совершенства и дать ему счастье. В поисках он шел по разным путям, часто заблуждался, но в конце концов пришел к единственно правильному решению, что только величайший гений социализма приведет к расцвету человечности в этом измученном противоречиями мире.

Он пришел к этому решению поздно, после трудной и сложной жизни, после дружбы и разрыва с Горьким, после своего противоречивого и не всегда ясного отношения к революционным событиям, после некоторой склонности к анархическому индивидуализму,— пришел уже в старости, больной и утомленный своим непрерывным писательским трудом. Тогда он вернулся из эмиграции на родину, в Россию, в Советский Союз, и этим поставил точку под всеми своими исканиями и раздумьями.

Александр Иванович Куприн родился 8 сентября 1870 года в городке Наровчате Пензенской губернии.

Городок этот стоял, по свидетельству Куприна, среди пыльной равнины и каждый год почти наполовину выгорал от пожаров. Место было унылое и безводное

Долгое время Наровчат по своей полной ничтожности пребывал в качестве так называемого «заштатного города». В нем не было ничего примечательного, кроме ремесленников, делавших хорошие решета и бочки, и ржаных полей, подступавших вплотную к заставам Наровчата.

У городка этого, по существу, не было истории, как не было и своих летописцев. Да и в литературе Наровчат до революции ни разу не отмечался.

В общем, только два выдающихся литературных события были связаны с именем этого захолустного городка — рождение в нем Куприна и «Наровчатская хроника», книга Федина, тоже имевшего некоторое касательство к Наровчату (мать писателя была родом из этого городка).

Пензенская земля дала много незаурядных людей. Недаром Чехов в одном из своих писем пензяку Ладыженскому шутливо воскликнул: «Viva la Penza! Да здравствует Пенза!»

В первом ряду этих замечательных пензяков был Куприн.

Отец Куприна — обнищавший дворянин — был мелким уездным письмоводителем.

Раннее его детство прошло в скучнейшем Наровчате, в обстановке мещанской и скудной, но Куприн никогда не проклинал этот город. Наоборот, он любил его, как любят, должно быть, заброшенного и некрасивого ребенка, и, будучи уже писателем, навещал его. Каким бы он ни был, этот безвестный Наровчат, но все же это была родина, своя земля. Она первая открыла ему свою нехитрую прелесть.

В любви к родным местам есть всегда доля необъяснимого или, вернее, необъясненного. Порой эта любовь ставит нас в тупик и удивляет, но, конечно, только в тех случаях, когда относится не к нашим родным местам.

Вот Наровчат! За что, кажется, можно полюбить этот плоский и пыльный городок?

Для того чтобы проникнуть в тайну этой любви, нужно пожить в нем, и тогда, возможно, и вам, приезжему человеку, приглядится и полюбится этот городок. Тогда исподволь начнет оживать скрытая в нем поэзия молчаливых полей, что простираются вокруг, поэзия закатов, мутных от пыли, поднятой стадами, резных наличников с облупившейся краской, могучих вязов со внезапно возникающим шумом тяжелой листвы, фикусов, выставленных под теплый дождь, веснушчатых детей и сухих вечеров, когда зарницы полыхают за оврагами, за полями и от них доходит запах прибитой дождем дорожной пыли.

Все эти разнообразные черты, где бы мы с ними ни встречались, одинаково близки и понятны нам, и из них-то и разрастается любовь к своей земле.

С самого раннего детства она завладела Куприным и преобразилась в дальнейшем в сильнейшую жадность к жизни. Это, пожалуй, было самым характерным свойством Куприна как писателя и человека. Не было ничего в реальной жизни своей страны, ни единой мелочи, которая казалась бы ему безразличной.

Сам он сказал о себе словами Платонова в «Яме»:

«Я бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку,

плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство... я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою, или побыть женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого я встречаю».

В этих словах — человеческий и писательский облик Куприна.

Для него характерна конкретность видения мира. Он говорит не вообще о махорке, а о махорке-серебрянке, и не вообще о рыбачьих промыслах на Черном море, а именно о Дубининских промыслах. И мы прекрасно понимаем, что Куприн может написать интереснейшие рассказы и об этой махорке и этих промыслах, и потому нам становится досадно, что он упомянул о них вскользь и не рассказал подробнее.

Есть наука, или, вернее, свод знаний, которая носит скучное название «товароведение». Она подробно рассказывает о всех так называемых товарах, хотя бы, к примеру, о той же махорке, о всех ее сортах и качествах, о том, как ее выращивают и приготовляют, о том, чем и почему «кременчугская крошка» лучше «нежинских корешков». Учебник товароведения можно читать как увлекательную повесть.

Можно представить себе такой же свод знаний о жизни, своего рода энциклопедию жизневедения. В этой области Куприн был замечательным знатоком, великим жизневедом. Все окружающее, в особенности человеческий быт, обиход, служило для него вернейшим показателем внутренней человеческой жизни и ее сложнейших психических состояний.

Но дело не только в знании людей. Куприн поистине поражает нас своими познаниями в любой области жизни.

Познания эти особенно ценны потому, что все они — следствие житейских наблюдений. Все пережито, все увидено воочию, все услышано самим писателем. Это сообщает прозе Куприна неувядаемую свежесть и богатство.

Можно открывать наугад том за томом сочинения Куприна и в каждом рассказе находить россыпи глубоких и разносторонних знаний.

Например, в великолепном рассказе «Анафема» Куприн показал себя блестящим знатоком церковной службы с ее «крюковскими» распевами, требниками, чином анафемствования, канонами. В «Поединке» и в цикле военных рассказов Куприн — непревзойденный знаток армейской службы и армейских нравов.

Обо всем он пишет, как знаток,— о цирке, актерской работе, охоте, рысистых бегах и нравах животных.

Куприн читается легко. Таково общее мнение. И это верно. Но для того чтобы погрузиться в тот житейский материал, какой «подымает» Куприн, чтобы оценить всю обширность купринских познаний в науке жизневедения, надо читать его книги медленно, надо запоминать множество точных и метких черт жизни, схваченных острым глазом писателя и целиком перенесенных им из жизни на страницы книг, где они продолжают жить, как и в действительности. Так пересаживают растения с комом плодородной земли, чтобы они не завяли.

Одним из первых выражений купринского «жизневедения» была его маленькая книга «Киевские типы». Она похожа на блестяще выполненный молодым писателем литературный этюд.

Это — галерея киевских обывателей (в Киеве обывательщина носила своеобразный, несколько западный характер) и темных пронырливых людей — от студентов-«белоподкладочников» до шулеров.

Нужно было обладать превосходной проницательностью, чтобы так безошибочно вникнуть в душевный мир разнообразнейших людей, как это сделал Куприн в своих «Киевских типах».

Я не буду подробно рассказывать здесь биографию Куприна. Вся его жизнь — в его повестях и рассказах. Полнее, чем сам Куприн, никто об этом, конечно, не скажет. К тому же Куприн писал, что «лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателей, ибо это любопытство вредно, мелочно и пошло». Поэтому я ограничусь лишь самыми важными событиями из его жизни.

Отец умер рано. С тех пор у мальчика началась сиротская жизнь с беспомощной матерью, жизнь без маленьких радостей, но с большими обидами и нуждой. С необыкновенной едкостью и горечью Куприн рассказал об этой сиротской жизни в рассказе «Река жизни»:

«Моя мать... рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитанием по чужим домам, клянчепьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми мучительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей,— у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей... Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво, и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед».

Мать Куприна устроилась во вдовий дом в Москве на Кудринской площади. Мальчик первое время жил там вместе с матерью, потом его перевели в сиротский пансион.

В пашей дореволюционной литературе мало писали о «богоугодных заведениях» — о сиротских и вдовьих домах и убежищах для престарелых. Унижение человека было доведено в этих заведениях до степени искусства. Нужно было впасть в полное отчаяние, чтобы добиваться приема в эти дома, откуда не было другого выхода, кроме как в больницу или на кладбище.

Куприн с необыкновенной точностью описал жизнь этих заведений в рассказах «Беглецы», «Святая ложь», «На покое». Он, пожалуй, первый из наших писателей безбоязненно прикоснулся к теме людей, вышвырнутых за ненадобностью из жизни. Он писал об этом с какой-то пронзительной жалостью.

Но у Куприна было доброе сердце. Иногда он сам не выдерживал беспросветного горя, о котором писал, и старался смягчить судьбу своих персонажей по своей писательской воле. Но это плохо ему удавалось и воспринималось читателями, да, очевидно, и самим автором, как беспомощное утешение или как вынужденная концовка святочного рассказа.

После сиротского периода в жизни Куприна начался

второй период — военный. Он тянулся очень долго — четырнадцать лет.

Мальчика удалось устроить в кадетский корпус. В те времена для детей обнищавших чиновников и дворян кадетский корпус был единственной возможностью получить кое-какое образование,— обучение в корпусе было бесплатное, и кадеты жили, как говорилось, «на всем готовом».

Из корпуса Куприн перешел в Александровское юнкерское училище в Москве. Оттуда он был выпущен подпоручиком и направлен «для несения строевой службы» в 46-й пехотный Днепровский полк. Полк стоял в захолустных городках Подольской губернии — Проскурове и Волочиске.

Очень лаконично Куприн описал эти заброшенные города в своих военных рассказах.

В этих рассказах впервые проявилась редкая особенность купринского таланта (таланта «чрезвычайного», как говорил о нем Бунин) — его способность быстро и крепко вживаться в любую обстановку, в любой уклад жизни, в любой пейзаж. О чем бы Куприн ни писал, он с первых же слов захватывал читателя полной достоверностью своей прозы.

Писал ли он об Одессе, Западном крае, Киеве, лесах и посадах Рязанского края, Балаклаве, Донецком бассейне, Полесье, Москве, о деревнях и железнодорожных полустанках — всегда он наполнял свои рассказы остро подмеченными чертами, которые тотчас же переносили нас, читателей, в эти места, делали нас обитателями их и очевидцами местных событий.

Эта способность Куприна — все от того же жизнелюбия, постоянной заинтересованности, всеми проявлениями действительности, от жажды все знать, все видеть и все понять.

Куприн прослужил в полку всего четыре года. Но этого времени ему вполне хватило, чтобы доскопально изучить армейскую жизнь и написать через несколько лет одно из самых замечательных и беспощадных произведений русской литературы — повесть «Поединок».

«Поединок» вышел в мае 1905 года в шестом сборнике «Знания».

Появление этой книги было тяжелейшей пощечиной политическому строю царской России. Успех «Поединка» был поистине неслыханным и небывалым.

Я был в то время мальчишкой, мне исполнилось только

тринадцать лет, но я помню и то грозное время, и то впечатление, какое произвела новая книга Куприна.

Война в Маньчжурии приближалась к своему роковому и позорному концу. Солдаты гибли тысячами в гаоляновых полях из-за бездарности и вопиющей глупости генералов. Болтливого Куропаткина сменил выживший из ума маньяк генерал Линевич. Тыл воровал и пьянствовал. Армия не умела даже отступать. Страна волновалась.

И как последний ошеломляющий удар пришла весть о полном, почти неправдоподобном разгроме всего нашего флота при Цусиме.

Я видел первые рабочие и студенческие демонстрации после Цусимского разгрома. Даже шарманщики пели по дворам новую песню:

Довольно! Довольно! Герои Цусимы,
Вы жертвой последней легли.
Она уже близко, она у порога,
Свобода родимой земли!

И в это время вышел «Поединок».

Все искали причин маньчжурского поражения. Куприн в «Поединке» сказал свое слово об этих причинах с такой неопровержимостью, что даже сторонники царского строя были растерянны.

Нельзя было спорить с очевидностью. А этой очевидностью был «Поединок» — повесть и вместе с тем документ о тупой и сгнившей до сердцевины офицерской касте, об армии, державшейся только на страхе и унижении солдат, об армии, как бы нарочно созданной для неизбежного и постыдного разгрома в первых же боях.

Волна гнева прокатилась по стране. Даже лучшая часть офицерства приветствовала Куприна и посылала ему благодарственные телеграммы. Но большинство офицеров — типичных героев из «Поединка» — было возмущено и озлоблено.

В то время я — киевский гимназист — жил вне семьи и снимал комнату в тесной дешевой квартире пехотного поручика Ромуальда Козловского в Диком переулке. Поручик жил с матерью — подслеповатой и незлобивой старушкой.

Когда я прочел «Поединок», то мне казалось, что в этой книге не хватает Ромуальда Козловского. Чванный этот офицер, несмотря на то что отец его был полотером, очень кичился своим шляхетством и был налит до краев глуповатым гонором. Он был задирист и взвинчен постоянным ожи-

данием столкновений с непочтительными «шпаками». Он даже ждал этих столкновений и набивался на них, чтобы потом защищать свою шляхетскую честь и честь своего пехотного мундира.

Из-за своего маленького роста он носил сапоги на высоченных каблуках, корсет и все время вытягивался, как петух перед тем, как загорланить на мусорной куче.

По утрам он пил на кухне ячменный кофе, сидя в подусниках и голубых кальсонах. От него песло бриллиантином и крепкими дешевыми духами. Пан Ромуальд душился яростно, чтобы перебить кислый запах каких-то лекарств, которыми он безуспешно лечился от сифилиса. Этот тошнотворный запах сочился из его комнаты и наполнял всю квартиру.

Поручик считал себя сердцеедом, неутомимым в любви. Говорили, что он бил солдат. Изредка он бренчал на гитаре и пел шансонетку:

Ваша ножка
Толста немножко,
Но обожаю
Ее лобзать!

С матерью он был груб. Она боялась его. Я же поручика ненавидел.

Однажды пан Ромуальд вошел в кухню, где мы со старушкой Козловской пили кофе «Гималайское жито». Он брезгливо нес двумя пальцами неизвестную книгу и бросил ее в мусорное ведро.

— Сожгите это! — сказал он своей мамаше.— Сожгите в грубке эту гадость, где какой-то штафирка позволил себе оплевать наше русское офицерство. Если бы он мне попался, я бы показал ему кузькину мать, клянусь честью. Он бы у меня потанцевал!

Этой книгой был «Поединок».

Сейчас я ловлю себя на том, что уже второй раз вспоминаю людей, которые могли бы участвовать в рассказах Куприна. Мне кажется, что это совсем не случайно и только доказывает необыкновенную типичность его персонажей для своего времени, кажущегося нам очень далеким.

Сила «Поединка» в превосходном знании армейской среды и в точности ее изображения. Портретная галерея офицеров в «Поединке» вызывает и стыд за человека, и спасительный гнев.

Шкала унижения в армии шла по нисходящей линии: генерал грубо и пренебрежительно обращался с команди-

ром полка, командир, в свою очередь, «цукал», как тогда говорили, офицеров, а офицеры — солдат. Всю злобу мелких неудачников, всю житейскую муть, жгущую сердце, офицеры срывали на солдатах.

Почти все офицеры в «Поединке» — это скопище ничтожеств, тупиц, пьяниц, трусливых карьеристов и невежд, для которых Пушкин был только «какой-то там шпак».

Они начисто оторваны от народа. Они варятся в грязноватом и нудном быту. Их сознательно превратили в касту с ее спесью, с ее ни на чем не основанном представлении о своей исключительной роли в жизни страны, о «чести мундира».

Лучше всего об этом сказал Куприн словами одного из героев «Поединка», талантливого и спившегося офицера, доморощенного ницшеанца Назанского:

«Подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы... убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: « Стреляй!», и он стреляет,— кого, за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзанные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть талантливого, способного,— спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом.

...Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас (офицеров.— К. П.)... станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы — слепы и глухи ко всему. Давно уже где-то вдали от наших грузных, вонючих стоянок

совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли... А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшечьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят — во веки веков!»

О сирой солдатской доле Куприн говорит с такой же жестокой силой, как и об офицерстве.

Мучительная сцена разговора Ромашова с замордованным, обезумевшим от побоев солдатом Хлебниковым, пытавшимся броситься под поезд, принадлежит к одной из лучших сцен в русской литературе. Ее невозможно читать без глубокой внутренней дрожи.

В том же ряду, как и «Поединок», стоят военные рассказы Куприна: «Ночная смена», «Поход» и «Дознание».

Значительно позднее «Поединка» Куприн написал превосходный и отточенный рассказ о японском шпионе — «Штабс-капитан Рыбников».

В рассказе великолепно выписан японский шпион, в какой-то мере напоминающий гоголевского капитана Копейкина. Это был, пишет Куприн, «настоящий тип госпитальной военно-канцелярской или интендантской крысы». Шпион долго и безнаказанно работал только из-за разгильдяйства властей и благодушия и непомерной лени русских интеллигентов.

«Поединок» стал одной из революционных вех в России. Недаром, когда Куприн читал «Поединок» в Севастополе, к нему подошел лейтенант Шмидт и крепко пожал ему руку. Это было незадолго до восстания на «Очакове».

После «Поединка» слава Куприна приобрела не только всероссийский, но и мировой характер. Но Куприн не только не обольщался ею, но даже тяготился.

Свою славу Куприн, по свидетельству Бунина, «нес... так, как будто ровно ничего не случилось в его жизни; казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, ни в грош не ставит ее».

Куприн часто говорил, что писателем он стал случайно и потому собственная слава его удивляет.

В 1894 году Куприн вышел в отставку из армии и поселился в Киеве.

Сначала он бедствовал, но вскоре начал работать в киевских газетах фельетонистом и писать, как он говорил, «рассказишки».

До этого Куприн писал очень мало. Еще юнкером в 1889 году он напечатал свой первый рассказ «Последний дебют» в московском юмористическом журнале «Русский сатирический листок». В кадетском корпусе Куприн написал несколько стихотворений с революционной, несколько приподнятой и по-детски наивной окраской.

Свои рассказы Куприн писал легко, не задумываясь, брал талантом, но прекрасно понимал, что на одном таланте без большого жизненного материала долго не продержишься. В одном из своих писем он писал о том, что, когда он вышел из полка, «самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний — ни научных, ни житейских. С ненасытимой до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги».

Надо было уходить в жизнь, и Куприн, не задумываясь, бросился в нее. Он изъездил всю Россию, меняя одну профессию за другой. Он изучил страну и знал ее во всех ее качествах, любил жить одной жизнью с простыми людьми, выспрашивать их, следить за ними, запоминать их язык, их говор.

И так постепенно, из года в год, Куприн стал таким же бывалым человеком, как Горький, с которым он потом подружился, как Лесков,— стал знатоком своего народа и его описателем. Поэтому он никогда не чувствовал недостатка материала. Все занимало его, и обо всем он рассказывал живо, со вкусом, ни на минуту не сомневаясь в том, что это интересно и всем окружающим.

В этом широком погружении в жизнь страны вырабатывалась зрелость писателя. В этом отношении интересно сравнить рассказы «Киевские типы» с рассказом «Река жизни».

Все эти рассказы связаны с жизнью Куприна в Киеве. Материал их одинаков, но после фельетонных, хотя и несомненно талантливых, «Киевских типов» рассказ «Река жизни» по своей силе является классическим.

Мне пришлось еще юношей жить в таких же киевских номерах, как купринская «Сербия», и каждый раз, когда я перечитываю этот рассказ, он меня поражает своей типичностью. В «Сербии» я не жил. Но жил в номерах «Прогресс». Там все было совершенно таким же, как и в описанной Куприным «Сербии»,— и вся обстановка, и хозяйка,

и ее любовник-управитель, и вся коллекция отталкивающих и подозрительных жильцов.

Тогда, между прочим, я впервые и единственный раз видел Куприна. Он выступал в помещении киевского цирка с чтением своих рассказов. Читал он превосходно. Меня поразила внешность Куприна. До этого я видел его фотографии, и он казался мне похожим на хорошего русского прасола. У него было широкое простонародное лицо чуть монгольского типа.

В цирке же я увидел крепкого, немного кряжистого человека с явными чертами внутреннего и внешнего изящества — вплоть до красной гвоздики в петлице пиджака.

В 1896 году Куприн работал в кузнечном цехе одного из металлургических заводов Донбасса. Вскоре после этого он написал повесть «Молох».

В те годы донецкие земли быстро теряли патриархальный характер чеховской «Степи». Мутные дымы заводов залегли над степными горизонтами. Степная поэзия «Слова о полку Игореве» ушла в невозвратимое прошлое. А. Блок писал об этом:

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...
Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь да ветер, да ветер — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

Донецкий бассейн охватила золотая каменноугольная лихорадка. Угленосные участки раскупались за бешеные деньги. Создавались акционерные компании, строились шахты и заводы. Шло жестокое соревнование между русскими промышленниками и иностранцами. Иностранцы почти всегда побеждали. У них была старая сноровка, а русские толстосумы, недавние купцы и подрядчики, пока что примеривались и приспосабливались и знали только один способ выколачивать прибыли — выжимать все до конца из людей, земли и машин.

Перечитывая Куприна, я с удивлением заметил, что в своих жизненных скитаниях я как бы шел по его следам. Западный край, Киев, Одесса, Донбасс, Балаклава, Мещорские леса под Рязанью — все это прошло через жизнь почти в той же последовательности, как и в жизни Куприна. Разница была только во времени, и то небольшая, не больше двадцати лет.

Я застал жизнь такой же, какой она была при Куприне, и потому могу с некоторым правом свидетельствовать о необыкновенной свежести его характеристик людей и событий, всего его художественного письма.

Куприн был на Юзовском заводе в 1896 году. Мне привелось работать там в 1916 году — ровно через двадцать лет, но я застал еще в Донбассе всю обстановку купринского «Молоха». Я помню те же рабочие поселки, Нахаловки и Шанхаи, из землянок и лачуг, беспросветную работу и нужду шахтеров, воскресные побоища с казаками, уныние, гарь, брезгливых и высокомерных инженеров и «молохов» — владельцев акционерных компаний, промышленных сатрапов, перед которыми заискивали министры.

Ни в одной своей вещи Куприн не выразил с такой силой, как в «Молохе», свою ненависть к капитализму и его разнузданным представителям, свое осуждение прекраснодушных и мягкотелых интеллигентов, в решительную минуту впадающих в истерию, и свое сочувствие рабочим, обреченным на голод и нищету.

Очень резко, густо, выписан в повести делец и промышленник Квашнин — «молох», «мешок, набитый золотом». Временами Куприн придает Квашнину даже несколько гротескные черты.

Часть современных Куприну критиков, так называемых «литературных чистоплюев», обвиняла писателя, особенно в связи с «Молохом», в том, что он не окончил «литературную консерваторию» и допускает в своих вещах языковые и стилистические небрежности.

Обвинение это объясняется тем, что Куприн стремится сказать все, что он хотел, «по свежему следу», не откладывая работу и не вынашивая ее годами. Ему было важно заразить людей своим состоянием, своими мыслями, гневом или радостью, своей заветной мечтой, и для этого он не искал особых слов и особых эпитетов.

Куприн любил и превосходно знал русский язык, но никогда не делал из него раз навсегда установленного литературного канона.

Временами его язык приближается к разговорному, к языку устного рассказчика, и в этом отношении он несколько родствен языку Толстого. Вместе с тем Куприн всегда восхищался языком Чехова — «благоуханным, тонким и солнечным». Эта солнечность языка, его свет, его сила, его свежие краски были присущи и купринскому языку.

Куприн с удивительным чувством меры и умением пользовался родственными русскому языками (в частности, украинским) и местными диалектами. Особенно хороши его полесские рассказы, где диалект полещуков придает локальную прелесть всему произведению.

Помимо этого, Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до «блатного» языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента. Это качество придает его рассказам острую типичность. Куприн свободно владел способностью характеристики не только отдельных людей, но и больших прослоек русского общества при помощи их языковых особенностей, при помощи диалога.

Примеров можно привести много, но достаточно хотя бы двух — манеры говорить инженера Боброва из «Молоха» и студента из рассказа «Река жизни».

Ничто так не разоблачает внутреннюю несостоятельность этих «интеллигентов», как их язык — приподнятый, временами даже ходульный, книжный, многословный, «прекраснодушный», но лишенный твердости и силы.

По размаху своего таланта, по своему живому языку Куприн окончил не только «литературную консерваторию», но и несколько литературных академий.

Еще будучи офицером, Куприн ездил в Петербург держать экзамен в Академию генерального штаба. Экзамена он не выдержал, но поездка помогла ему установить связь с журналом «Русское богатство» и несколькими писателями.

С тех пор, несмотря на беспрерывные скитания иногда по самым забытым и глухим углам страны, Куприн не прерывал эти связи. Он познакомился с Чеховым, часто бывал у него в Ялте на Аутке и сдружился там с Буни-

ным, Горьким, Федоровым, писателем-доктором Елпатьевским и со всем чеховским окружением.

Среди писателей он выделялся своей непосредственностью, простотой и образом жизни, далеким от обычного писательского существования. Дружа с писателями, Куприн никогда не изменял своим старым друзьям из рабочих, рыбаков, крестьян и матросов, из простонародья и ради общения с ними легко мог поступиться обществом литераторов.

В нем не было тщеславия. Он никогда не говорил о себе как о писателе,— возможно, что он просто забывал об этом. Но он никогда не упускал случая помочь начинающему писателю, особенно если он происходил из милой его сердцу простонародной среды.

Писатель Н. Никандров рассказывал мне, как Куприн упорно тащил и жестоко заставлял его, Никандрова, работать, чтобы «сколотить из него настоящего писателя».

История эта вообще интересна для характеристики того времени.

В 1905 году Никандров — бывший черноморский рыбак —сидел в севастопольской тюрьме за принадлежность к организации эсеров.

Севастопольская тюрьма была расположена вблизи Базарной площади, в месте довольно оживленном. Было лето. Стояла жара, и потому окна в камерах были открыты.

Никандрову — человеку необыкновенно жизнерадостному и большому говоруну — было скучно сидеть без дела, и он придумывал себе развлечения. Стоя у окна, он следил за пешеходами, шедшими на базар, главным образом за крикливыми южными хозяйками. Как только хозяйки, встретившись, останавливались и заводили разговор, Никандров начинал вслух сочинять этот разговор — смехотворный и необыкновенно сочный. Никандров хорошо знал быт и нравы южан.

Вся тюрьма слушала Никандрова у открытых окон и награждала его рассказы хохотом и аплодисментами.

Однажды Никандров получил через уголовного, прибиравшего камеры, записку. В ней было сказапо, что если Никандров набросает на бумаге свои устные рассказы и передаст их автору этой записки, то рассказы можно будет напечатать в севастопольской газете и даже получить за них гонорар. Под запиской стояла незнакомая Никандрову подпись — Гриневский. Это был А. С. Грин.

Никандров набросал свои озорные рассказы, переслал их Грину, и вскоре рассказы действительно были напечатаны.

После освобождения из тюрьмы Никандров зашел в редакцию севастопольской газеты. Там на его имя лежало письмо из Балаклавы от Куприна. Куприн с восхищением отзывался о рассказах Никандрова и приглашал неизвестного автора к себе.

Никандров поехал к Куприну в Балаклаву, они быстро сдружились, и Куприн просто заставлял Никандрова писать и долго и терпеливо учил его основам писательского мастерства.

В Балаклаве Куприн написал один из самых обаятельных своих рассказов «Листригоны».

Я уже говорил о том, что почти все вещи Куприна автобиографичны. Все мечтатели и все влюбленные в жизнь в его рассказах — это он сам, Куприн, цельный и непосредственный человек, не знающий ни рисовки, ни позы, ни резонерства. Поэтому его неудержимо тянуло к таким же простым и ярким людям, каким он был сам.

Таковы были балаклавские греки — «листригоны».

Вообще «Листригоны» занимают по своей поэтичности, свободе повествования и вместе с тем по живописной конкретности людей, обстановки и пейзажа особое место в творчестве Куприна.

«Листригоны» — удивительная по простоте и прелести поэма русской прозы. Каждая черта, каждая деталь вызывают улыбку,— настолько все ощутимо верно и просто.

Двумя-тремя лаконичными фразами Куприн дает тонкое, эмоциональное, если можно так выразиться, представление о Балаклаве.

Вот, например, одна из таких фраз:

«Нигде во всей России — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям,— нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая».

Куприн недаром жил в Балаклаве. Нет, по-моему, лучшего места (конечно, зимой, когда Балаклава пустеет) для писательской работы.

Что-то гриновское есть в этом городке, в его греческих домах с пустыми нишами для статуй, в тончайших голубых сетях, разостланных прямо на набережной, в его уютных лесенках, в закоулках и переходах, в его тишине, в близости открытого моря. Гул шторма слышен рядом, за мысом, тогда как в Балаклавской бухте вода, налитая вровень со старыми набережными, стоит неподвижно и ветер даже не шелестит в сухой листве акаций.

Но самыми поразительными, действительно магическими и необыкновенными являются балаклавские ночи, когда свет единственного в городе фонаря тонет во мраке и так хорошо думать, сидя на балконе, в кромешной темноте и чувствовать беспредельный покой и какую-то, я бы сказал, тишину сердца. В этой тишине должны рождаться удивительные мысли и такие удивительные книги, как «Листригоны».

У Куприна есть цикл рассказов «Лесная глушь», «Болото», «На глухарей». Их объединяет место действия — леса, но по своему содержанию они очень различны.

Благоговейная и спокойная любовь Куприна к природе очень заразительна, и в этом тоже чувствуется сила его таланта.

О природе, о лесах, о какой-нибудь хибарке смолокуров Полесья Куприн рассказывает так, что тоска начинает грызть сердце,— тоска от того, что ты сейчас не там, не в этих местах, тоска от страстного желания немедленно увидеть их во всей девственной суровости и красоте.

Одно время Куприн жил в Мещорских лесах у мужа сестры, лесничего в Криушах. Действие рассказа «Болото» происходит в Мещоре.

Память о зяте Куприна и о нем самом еще жива среди старых мещорских лесников и объездчиков. Они даже показывают место, где стояла сторожка лесника Степана, описанного Куприным в «Болоте»,— безответного, тихого человека, умершего, как и вся его семья, от малярии.

Сторожка стояла на Боровом Мху, на обширном болоте. Такие болота в Рязанской области зовут мшарами. Сейчас Боровой Мох почти осушен и лесники на нем уже не живут. Лесные сторожки-кордоны вынесены из болот на так называемые «острова», на песчаные бугры среди сосновых лесов.

На буграх сухо и тепло, но жить там летом — тоже адовая мука. Комара столько, что семьи лесников по неделям не выходят из избы и сидят в едком дыму от дымокуров. Спят только под марлевыми пологами. К осени комар исчезает, и потому осень — самое благословенное время для лесных жителей. Воздух свеж и чист, и последняя легкая теплота еще прогревает сосновые чащи.

О великой силе комаров можно судить хотя бы по тому, что листва ольхи по берегам озер и на болотах днем кажется серой, а не зеленой, от плотного слоя комаров, сидящих на деревьях. А по вечерам все болота зудят тонким и, кажется, всемирным комариным писком.

Мне случилось ночевать на мшарах. Ни костер, ни толстая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого водянистого холода, что сочился снизу, из самых недр земли. А туманы были такие, что никак не могли разгореться костры.

Все сказанное выше — только внешняя обстановка рассказа «Болото». Рассказ этот с потрясающей силой обличает идиотизм деревенской жизни и тупую, поистине рабскую покорность человека перед недоброй силой тогдашнего общественного строя. Вся беспомощность лесника Степана, вся его безответная философия сводится к словам: «Не мы, так другие».

Есть у Куприна одна заветная тема. Он прикасается к ней целомудренно, благоговейно и нервно. Да иначе к ней и нельзя прикасаться. Это — тема любви.

Иногда кажется, что о любви в мировой литературе сказано все. Что можно сказать о любви после «Тристана и Изольды», после сонетов Петрарки и истории Манон Леско, после пушкинского «Для берегов отчизны дальной», лермонтовского — «Не смейся над моей пророческой тоскою», после «Анны Карениной» и чеховской «Дамы с собачкой»?

Но у любви тысячи аспектов, и в каждом из них — свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание.

Один из самых благоуханных и томительных рассказов о любви — и самых печальных — это купринский «Гранатовый браслет».

Куприн плакал над рукописью «Гранатового браслета», плакал скупыми и облегчающими слезами. К сожалению, писатели не так часто плачут и хохочут над своими рукописями. Я говорю «к сожалению» потому, что и эти слезы

и этот смех говорят о глубокой жизненности того, что писатель создал, иной раз сам не понимая до конца силы своего перевоплощения и своего таланта.

Куприн говорил о «Гранатовом браслете», что ничего более целомудренного он еще не писал.

Это верно. У Куприна есть много тонких и превосходных рассказов о любви, об ожидании любви, о трагических ее исходах, о ее поэзии, тоске и вечной юности. Куприн всегда и всюду благословлял любовь. Он посылал «великое благословение всему: земле, водам, деревьям, цветам, небесам, запахам, людям, зверям и вечной благости и вечной красоте, заключенной в женщине».

Характерно, что великая любовь поражает самого обыкновенного человека — гнущего спину за канцелярским столом чиновника контрольной палаты Желткова.

Невозможно без тяжелого душевного волнения читать конец рассказа с его изумительно найденным рефреном: «Да святится имя твое!»

Особую силу «Гранатовому браслету» придает то, что в нем любовь существует как нежданный подарок — поэтический и озаряющий жизнь — среди обыденщины, среди трезвой реальности и устоявшегося быта.

Все персонажи «Гранатового браслета» действительно существовали. Куприн сам писал об этом в одном из своих писем: «Это — помнишь? — печальная история маленького телеграфного чиновника П. П. Жолтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену Любимова».

Я упоминаю об этом исключительно для того, чтобы подчеркнуть безусловную подлинность многих вещей Куприна. Куприн не извлекал свои рассказы из мира вымысла и поэзии. Наоборот, он открывал в реальности поэтические пласты настолько глубокие и чистые, что они производили впечатление свободного вымысла.

У меня нет возможности рассказать обо всех достоинствах «Гранатового браслета», но об одном нельзя не сказать,— о безошибочном вкусе Куприна, включившего рассказ о трагической и единственной любви в обстановку южной приморской осени.

Трудно сказать почему, но блистательный и прощальный ущерб природы, прозрачные дни, безмолвное море, сухие стебли кукурузы, пустота оставленных на зиму дач, травянистый запах последних цветов — все это сообщает особую горечь и силу повествованию.

Куприн с восторгом принял Февральскую революцию, но по отношению к Октябрьской революции он занял противоречивую позицию. Он гневно восставал против врагов Октябрьской революции и вместе с тем сомневался в ее успехе и в ее подлинно народной сущности.

В этом состоянии растерянности Куприн эмигрировал в 1919 году во Францию.

Поступок этот был не органичен для него, был случаен. За границей он тяжело тосковал по России, почти бросил писать и, наконец, весной 1937 года вернулся в родную Москву.

Он был уже тяжко болен и умер 25 августа 1938 года.

«Даже цветы на родине пахнут по-иному»,— написал он перед самой смертью, и в этих словах выразилась вся его глубочайшая любовь к своей стране.

Мы должны быть благодарны Куприну за все — за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране, за непоколебимую веру в счастье своего народа и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией и свободно и легко писать об этом.

1957

МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход Советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление.

Спекшийся от столетий быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы.

Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и мно-

гие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда «Кара-Бугаз».

В это время я познакомился с Лоскутовым.

В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новые вещи.

Очевидно по примеру пушкинского «Арзамаса», Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана «Конотопами».

Раз в месяц устраивался «Большой Конотоп». На него собиралось человек двадцать писателей. Каждую неделю бывал «Средний Конотоп» и, наконец, каждый вечер «Малый Конотоп». Его состав был почти неизменным. На нем бывали, кроме хозяина дома Фраермана, Аркадий Гайдар, Александр Роскин, Миша Лоскутов, Семен Гехт, я, редактор журнала «Наши достижения» Василий Бобрышев, Иван Халтурин, редактор журнала «Пионер» Боб Ивантер.

На «Конотопе» я услышал множество песенок и стихов, сочиненных Гайдаром. Он их никогда не записывал. Теперь почти все эти шутливые стихи забыты. Я помню одно, где Гайдар в очень трогательных тонах предавался размышлениям о своей будущей смерти:

Конотопские женщины свяжут
На могилу душистый венок.
Конотопские девушки скажут:
«Отчего это вмер паренек?»

Стихи кончались жалобным криком:

Ах, давайте машину скорее!
Ах, везите меня в «Конотоп»!

Миша Лоскутов появился в этом шумном собрании писателей тихо и молчаливо. Это был очень спокойный, застенчивый, но чуть насмешливый человек.

Он обладал талантом немногословного юмора. Но прежде всего и больше всего он был талантливым, «чертовски талантливым» писателем.

У него было свойство видеть в обыденных вещах те черты, что всегда ускользают от поверхностного или уста-

лого взгляда. Его писательское зрение отличалось необыкновенной зоркостью. Он умел показать в одной фразе внутреннее содержание человека и всю сложность и своеобразие его отношения к жизни.

Мысли его всегда были своими, нигде не взятыми напрокат, необычайно ясными и свежими. Они возникали из «подробностей быстротекущей жизни», они всегда были основаны на конкретности, на своем видении мира. Но вместе с тем они были полны ощущения поэтической сущности жизни даже в тех ее проявлениях, где, казалось, не было места никакой поэзии.

Жизнь Лоскутова была как бы сплошной экспедицией в самые разнообразные области жизни, но больше всего он любил Среднюю Азию. По натуре это был путешественник и тонкий наблюдатель. Если бы существовал на земле еще не открытый и не описанный континент, то Лоскутов первым бы ушел в его опасные и заманчивые дебри. Но ушел бы не с наивной восторженностью и порывом, а спокойно, с выдержкой и опытом подлинного путешественника,— такого, как Пржевальский, Ливингстон или Обручев.

Он умел в самом будничном открывать черты необыкновенного, и это свойство делало его подлинным художником. Для него не было в жизни скучных вещей.

Прочтите в его книге эпизод с грузовой машиной. Она стоит на обочине дороги, мотор у нее работает вхолостую, и кажется, что машина трясется от злости.

Шофер сидит рядом на траве и подозрительно следит за машиной. Проезжие, думая, что у него неполадки с мотором, останавливаются и предлагают помочь. Но шофер мрачно отказывается и говорит:

— Ничего. Она постоит, постоит и пойдет. Это она характер показывает.

Эта простая на первый взгляд и скупо написанная сцена полна большого содержания.

Прежде всего в ней ясно виден неудачник-шофер, мучающийся с этой машиной, как с упрямым и вздорным существом, шофер-труженик, безропотно покрывающий тысячи километров среднеазиатских пространств.

Кроме того, в этом эпизоде заключена мысль об отношении человека к машине именно как к живому существу, заслуживающему то любви, то гнева, то сожаления и требующему чисто отцовской заботы. Так относятся к машине настоящие рабочие.

Описать любую машину можно, лишь полюбив ее, как своего верного помощника,— страдая и радуясь вместе с ней.

Много таких точных наблюдений разбросано в книгах Лоскутова, в частности в его «Тринадцатом караване»,— наблюдений, вызывающих гораздо более глубокие мысли, чем это может показаться на первый взгляд,— наблюдений образных, острых, обогащающих нас внутренним миром писателя.

Достаточно вспомнить описанный Лоскутовым эпизод, как переполошились кочевники, когда по каракумским пескам прошла первая грузовая машина и оставила два параллельных узорчатых следа от колес. Набредшие на эти следы пастухи тотчас же разнесли по пустыне тревожный слух, что ночью по пескам проползли рядом две исполинские змеи,— пастухи ни разу еще не видели машины. Они привыкли только к следам животных и людей.

В книгах Лоскутова много разнообразного познавательного материала. Из них мы впервые узнаем о многом, хотя бы о том, как ведут себя во время палящего зноя в пустыне самые обыкновенные вещи,— вроде зубной пасты или легких летних туфель.

Лоскутов не успел написать и сотой части того, что задумал и мог бы написать. Он погиб преждевременно и трагически.

Его книги говорят не только о том, что мы потеряли большого писателя, не только о том, как богата талантами наша страна, но и о том, как надо крепко беречь каждого талантливого человека.

1957

ГОРСТЬ КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ

То, что написано ниже,— лишь малая доля того, что можно вспомнить и написать о Луговском. Но пусть эти несколько слов будут горстью любимой им крымской земли, которую я не мог в свое время бросить на могилу поэта и своего доброго, сильного друга

Зимой 1935 года мы шли с Луговским по пустынной Массандровской улице в Ялте.

Было пасмурно, тепло, дул ветер. Обогняя нас, бежали, шурша по мостовой, высохшие листья клена. Они останавливались толпами на перекрестках, как бы разду-

мывая, куда бежать дальше. Но пока они перешептывались об этом, налетал ветер, завивал их в трескучий смерч и уносил.

Луговской с мальчишеским восхищением смотрел на перебежку листьев, потом поднял один лист и показал мне:

— Посмотри, у всех сухих кленовых листьев кончики согнуты в одну сторону под прямым углом. Поэтому лист и бежит от малейшего движения воздуха на этих загнутых своих концах, как на пяти острых лапках. Как маленький зверь!..

Массандровская улица какой была в то время, такой осталась и сейчас — неожиданно живописной и типично приморской. Неожиданно живописна она потому, что на ней собрано, как будто нарочно, много старых выветренных лестниц, подпорных стенок, плюща, закоулков, оград из дикого камня, кривеньких жалюзи на окнах и маленьких двориков с увядшими цветами. Дворики эти круто обрываются к береговым скалам. Цветы всегда покачиваются от ветра. Когда же ветер усиливается, то в дворики залетают соленые брызги и оседают на разноцветных стеклах террас.

Я упоминаю об этом потому, что Луговской любил Массандровскую улицу и часто показывал ее друзьям, не знавшим этого уголка Ялты.

Вечером в тот день, когда рядом с нами бежали по улицам листья клена, Луговской пришел ко мне и, явно смущаясь, сказал:

— Понимаешь, какой странный случай. Я только что ходил на телефонную станцию звонить в Москву, и от самых ворот нашего парка за мной увязался лист клена. Он бежал у самой моей ноги. Когда я останавливался, он тоже останавливался. Когда я шел быстрее, он тоже бежал быстрее. Он не отставал от меня ни на шаг, но на телефонную станцию не пошел: там слишком крутая для него гранитная лестница и к тому же это — учреждение. Должно быть, осенним листьям вход туда воспрещен. Я погладил его по спинке, и он остался ждать меня у дверей. Но когда я вышел, его уже не было. Очевидно, его кто-то прогнал или раздавил. И мне, понимаешь, стало нехорошо, будто я предал и не уберег смешного маленького друга. Правда, глупо?

— Не знаю,— ответил я,— больше грустно...

Тогда Луговской достал из кармана куртки пустую коробку от папирос «Казбек» и прочел только что написан-

ные на коробке стихи об этом листике клена,— стихи, похожие на печальную и виноватую улыбку.

Такую улыбку я иногда замечал и на лице у Луговского. Она появлялась у него, когда он возвращался из своих стихов в обыкновенную жизнь. Он приходил оттуда как бы ослепленный, и нужно было некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету зимнего декабрьского дня.

У Луговского было качество подлинного поэта — он не занимал поэзию на стороне. Он сам заполнял ею окружающий мир и все его явления, какими бы возвышенными или ничтожными они ни казались.

Не существовало, пожалуй, ничего, что бы не вызывало у него поэтического отзыва, будь то выжатый ломтик лимона, величавый отгул прибоя, заскорузлая от крови шинель, щебенка на горном шоссе или визг флюгера на вышке пароходного агентства. Все это в пересказе Луговского приобретало черты легенды, эпоса, сказки или лирического рассказа. И вместе с тем все это было реально до осязаемости. Луговской говорил, что, создавая стихи, он входит в сказочную и в то же время реальную «страну» своей души.

Однажды он приехал в Ялту ранней весной. Дом творчества писателей еще не был открыт — он достраивался. Луговской поселился в одной из пустых, только что выбеленных комнат, среди стружек и ведер с клейстером и красками. Ночью он оставался один в пустом гулком доме и писал при керосиновой лампочке на верстаке. Но, по его словам, он никогда так легко не работал. Утром он просыпался от высокого звона плотничьих пил, и размеренное их пение вошло, как удивительный напев, в одно из его стихотворений того времени.

У Луговского было много любимых земель, его поэтических вотчин: Средняя Азия, Север, побережье Каспия, Подмосковье и Москва, но, пожалуй, самой любимой землей для него, северянина, всегда оставался Крым.

Он великолепно его знал и изучал очень по-своему. Однажды, глядя с балкона гостиницы на Яйлу, он спросил меня, вижу ли я на вершине Яйлы, правее водопада Учан-Су, старую сосну, похожую на пинию. Я с трудом, и то только в бинокль, отыскал эту сосну.

— Проведем отсюда до той сосны ровную линию,— предложил Луговской,— и пойдем к ней напрямик по этой линии. Препятствия будем обходить только в исключительных случаях. Идет?

— Идет,— согласился я.

Так он один или с кем-нибудь из друзей бродил иной раз по Крыму, выбирая «видимую цель». Эти вольные походы сулили много неожиданного, как всякая новая дорога. Луговской любил ходить наугад. В этом занятии было нечто мальчишеское, романтическое, таинственное. Оно раздражало трезвых и серьезных людей. Смысл его был в том, что Крым, знакомый до каждого поворота на шоссе, оборачивался неизвестными своими сторонами. С него слетал налет столетних представлений. Он переставал быть только скопищем красот, предназначенных для восторгов. Он приобретал благородную суровость, которую не замечают люди, знающие только Южный берег.

Однажды в Ялте, зимним вечером, несколько писателей затеяли игру: кто не дольше как за полчаса напишет рассказ на заданное слово. Слова нарочно придумывались «гробовые». Они могли бы привести в отчаяние человека даже с самым изворотливым воображением. Мне, например, попалось слово «удой».

Слова писались на бумажках, и мы потом вытаскивали их из шляпы старого, веселого и маленького, как гном, человека — Абрама Борисовича Дермана. У Дермана было прозвище «Соцстарик», то есть «Социалистический старик», так как, по общему мнению, при социализме все старики должны быть такими же милыми и деятельными, как Дерман.

Луговской вытащил билетик со словом «громкоговоритель», крякнул и нахмурился. Дерман не сдержался, хихикнул и потер руки. Он предчувствовал неизбежный провал Луговского.

— Стыдитесь, старик! — сказал Луговской своим мягким и дружелюбным басом, тщетно стараясь придать ему угрожающие ноты.— Вы у меня еще поплачете! Клянусь тенью поэта Ратгауза!

Почему он вспомнил поэта Ратгауза, непонятно. Это был скучный, как аптекарский ученик, водянистый поэт конца XIX века.

— Скоро надо садиться писать,— озабоченно предупредил Дерман и посмотрел на свои старомодные, очень большие карманные часы.— Время подходит.

— Черта с два! — прогремел Луговской.— Черта с два, буду я вам писать рассказ именно здесь! Я требую дополнительного времени. Не меньше часа. Я предлагаю вам

выслушать мой рассказ в Ливадии. Немедленно. Сам по себе он займет всего несколько минут.

— Кошмар! — бесстрастно сказал Александр Иосифович Роскин.— Общеобразовательная писательская экскурсия в Ливадию! Ночью! В декабре! В дождь и в шторм! Бред сивого мерина!

За окнами действительно бушевал сырой шторм. Он туго гудел в старых кипарисах. Тяжелые капли дождя били в окна не чаще чем раз в минуту. Было слышно, как внизу на набережной шипел, перелетал через парапет и раскатывался по асфальту прибой.

— Как вам будет угодно,— сухо ответил Луговской.— Если это вас не устраивает, я выхожу из игры.

Все зашикали и замахали на Роскина. Предложение Луговского было неудобно, но заманчиво; сложно, но увлекательно. В нем скрывалась тайна. Уже одно это обстоятельство в наш век разоблаченных тайн раззадорило всех. В конце концов мы все пошли в Ливадию.

Ялта стремительно мигала огнями, как это всегда бывает в такие ветреные, бурные, шумливые, сырые, ненастные штормовые ночи. Море ревело, и первобытный хаос ударял, как прибой, рядом с нами в берега и уходил обратно в клубящийся мрак.

Мы почти ощупью шли по Царской тропе. Все молчали. Накрапывал дождь. Сырая земля пахла дрожжами. Очевидно, в палой листве уже началось брожение.

Луговской остановился, зажег спичку и осветил мокрый ствол вяза. В него была воткнута заржавленная английская булавка.

— Здесь! — сказал Луговской.— Идите за мной. Только осторожно. Тут осыпи.

Тогда Роскин снова возмутился.

— Клянусь тенью академика Веселовского,— сказал он, подражая Луговскому,— что это розыгрыш! Блеф! Штучки-мучки! Фокусы! Я не хочу оставаться в дураках.

— Тогда можете оставаться здесь,— сердито ответил Дерман.— Я старик, и то не хорохорюсь.

— Не хватало, чтобы я тут стоял среди ночи один, как истукан,— пробормотал Роскин и начал осторожно спускаться следом за всеми.

В зарослях было темно, как в сыром подземелье. Еще не опавшие листья проводили по лицу холодными мокры-

ми пальцами. Слышнее стало море. Луговской остановился.

— Теперь слушайте! — сказал он.— Стойте тихо и слушайте.

Мы замолчали.

И вот среди шуршания листьев, слабого треска ветвей и шороха дождевой воды, стекавшей по каменистой земле, мы услышали хриплый и унылый голос. Он был очень слаб и по временам издавал странный скрежет.

«В проектном задании,— скрипел голос,— институт предусмотрел малоэкономичный способ транспортировки вскрышных пород...»

— Кошмар! — прошептал Роскин.

Ржавый треск заглушил эти нудные слова. Потом в глубине зарослей кто-то развязно ударил по клавишам расстроенного рояля, и Лемешев запел, слегка повизгивая:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку...

— Что это? — испуганно спросил Дерман.

Лемешев осекся и, помедлив, сказал голосом чревовещателя:

Хочет
он
марксистский базис
под жакетку
подвести...

— Вы очень ловкий чревовещатель,— спокойно сказал Луговскому Роскин,— но все же прекратите, прошу вас, это безобразие. И объясните, в чем дело. Потому что это уже похоже на глумление, на издевательство, на барское препебрежение, на формалистический выверт и на шулерское передергивание цитат.

— Я не циркач и не чревовещатель! — ответил Луговской.— Просто у меня хороший слух, и мне повезло.

И он рассказал нам, что на днях проходил утром по Царской тропе и услышал из зарослей хриплый шепот. Человек шептал долго. Луговского поразило то обстоятельство, что шептал он даже с некоторым пафосом, поактерски, как говорил Луговской, «с дрожементом, со слезой и подвывом». Луговской начал продираться на этот шепот через заросли, пока не увидел прибитый к стволу высокого бука облезлый и погнутый громкоговоритель.

Он гнусавым голосом бормотал что-то о творчестве композитора Алябьева.

Вскоре Луговскому удалось выяснить, что к октябрьским праздникам в Ливадийском парке поставили несколько громкоговорителей. После праздников все громкоговорители сняли, а один, очевидно, забыли.

Он честно трудился и дни и ночи, промокал от дождей, высыхал и трескался на солнце, ржавчина разъедала его металлические части, ветер пашвырял в него мелких летучих семян, запорошил ему горло трухой. В конце концов он устал, охрип от необходимости перекрикивать шум моря и ветра, простудился, начал кашлять и даже по временам совершенно терял голос и издавал только писк и скрежет.

Он страдал от холода и одиночества, особенно в те дикие ночи, когда на небе не было даже самой застенчивой маленькой звезды, которая могла бы его пожалеть.

Но ни на минуту он не переставал делать свое дело. Он не мог замолкнуть. Он не имел права сделать это точно так же, как не может маячный смотритель не зажечь каждый вечер маячный огонь.

— Вот вам мой рассказ,— сказал Луговской.— Не на бумаге, а в натуре. Рассказ о громкоговорителе. И незаметном герое. Примете вы его или нет?

Мы все приняли этот рассказ Луговского, как сказал Дерман, «по первому классу», хотя Луговской и нарушил правила соревнования.

Луговской получил первую премию — бутылку «саперави» из массандровских так называемых «коллекционных» вин.

В Ялте мы встретили с Луговским 1936 год.

Первого января с утра далекие горы позади города как бы погрузились в летаргию и окутались темным дымом. Было тепло и сонно. Глубокая тишина стояла в доме, и только на столе в гостиной тихонько потрескивал своими глянцевыми листочками маленький куст остролистника, только что сорванный в парке. Среди черной его листвы висели круглые твердые ягоды цвета яркой крови.

В доме устроили маленькую елку, и все мы два-три дня с увлечением занимались тем, что ее украшали.

Взрослые люди превратились в детей. Кто-то поехал в Никитский сад за огромными шишками канадской сосны, кому-то поручили достать «золотой дождь». Писатель Никандров выпросил у рыбаков барабульку, закопченную по-черноморски (по его словам, это была «пища богов»).

Этих серебристо-коричневых рыбок Никандров связал за хвосты широкими веерами и в таком виде развесил на елке.

Луговской заведовал елочными свечами. Он ездил за ними в Севастополь, долго не возвращался, и мы уже впали в уныние, думая, что Луговской нас подведет. Но за два часа до того, как надо было зажигать елку, по всему дому пронесся крик: «Володя приехал!» Все ринулись в его комнату, и он, румяный от дорожного ветра, бережно вытащил из кармана маленькую картонную коробку с разноцветными витыми свечами.

— Можно,— сказал он,— написать чудный рассказ о том, как я нашел эти свечи на Корабельной стороне. Клянусь тенью Христиана Андерсена.

И это, должно быть, было действительно так.

Сильнее всех из-за елки волновался Георгий Иванович Чулков — один из столпов символизма, изящнейший старик, похожий на композитора Листа.

Он даже принес для елки из города игрушечную балерину в бумажной пачке.

Я раскрашивал гуашью флаги всех государств, в том числе и несуществующих, и делал из них гирлянды для елки. Если бы не Луговской, то ничего путного у меня бы не вышло. Он великолепно знал рисунки и цвета флагов всех государств, даже таких, как «карманная» республика Коста-Рика.

Я раскрашивал флаги и размышлял о непонятной закономерности: чем меньше было государство, тем вычурнее и ярче был у него флаг.

Деда-мороза мы сделали из ваты, а в последнюю минуту жена одного драматурга привезла из Москвы плюшевого медвежонка. Почему-то больше всех обрадовался этому медвежонку Луговской. Он почистил его — медвежонок был еще чуть пыльный — и посадил на паркет около елки.

Новогодняя ночь прошла очень шумно. А наутро тусклый, как будто дремлющий солнечный свет стоял во всех комнатах, подчеркивая тишину. Луговской встал раньше всех и, свежий, чисто выбритый, озабоченно растапливал камин.

— После завтрака мы поедем с тобой,— сказал он мне,— в горы, за Долоссы, в заповедник. Я сговорился с одним отчаянным парнем — шофером. День короткий. Дорога туда головоломная, и нам придется заночевать в машине.

Так оно и случилось. Мы ночевали в машине, в лесу над пропастью. В нескольких шагах от нас смутным белеющим морем качалось облачное небо. Оно поднялось из пропасти и почему-то остановилось рядом с нами. Иногда облачный туман подходил к самой машине, ударялся о нее и взмывал к вершинам деревьев, как бесшумный прибой.

А до этого мы видели так много замечательных вещей, что я запомнил эту поездку надолго, а судя по тому, что я хорошо ее помню и сейчас, должно быть, на всю жизнь...

Мы видели бездонные пропасти. Каждый раз они вызывали у нас сердцебиение. Из страшной их глубины карабкались ввысь буковые и сосновые леса, и если вековые деревья не срывались поминутно с отвесных круч, то, должно быть, потому, что густой и мудрый плющ, вцепившись одной рукой в скалы, другой держал их за ветки и стволы.

Временами узкая дорога шла среди колоннад старых буков. Но несмотря на триумфальную величавость этих деревьев и всех этих лесов, те частности, которые улавливал взгляд, были так живописны и так трогательны, что поминутно хотелось остановить машину, чтобы рассмотреть их и заодно вдохнуть острый и вместе с тем нежный воздух зарослей и камней.

К полночи облака сползли на дно ущелий, и показалась низкая кровавая луна. С каждой минутой она бледнела перед зрелищем великолепной и дикой ночной земли.

В свете луны изредка проступал Чатыр-Даг. По временам его затягивало какой-то магической мглой. Он слабо курился. Присутствие Чатыр-Дага придавало ночи суровый и романтический оттенок.

Нам попался молчаливый и застенчивый шофер. Почти все, что он говорил, стоило запомнить.

— Я за машину доволен,— сказал он.— Она тоже вроде не спит, слушает, озирается. Не каждый день ей пофартит пережить такую ночь. Будет что вспомнить.

Мы вышли из машины, сели на камни, долго слушали звуки ночи. Неожиданно Луговской спросил:

— Помнишь медвежонка плюшевого?

— Помню. А что?

— Да так... Пустяки...

Он надолго замолчал. А через несколько дней он прочел мне замечательное свое стихотворение.

Девочке медведя подарили,
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь
с полночною душой.

Я слушал лаконичные строфы этих стихов, и в них дышала туманом, ветрами, сырой корой, кремнистым запахом осыпей и чуть железистых кустарников вся та ночь, о которой я только что писал.

В этих стихах плюшевый медвежонок все же уходит в новогоднюю ночь от людей, от их тепла, от своей хозяйки — маленькой девочки. Уходит, «очень тихий, очень благодарный, ножками тупыми топоча».

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть;
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.

И тогда ему промолвил слово
Облетевший, многодумный бук:
«Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?»

И медвежонок отвечает:

«Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатыр-Даг в снегу и облаках».

Я не буду приводить здесь целиком эти печальные стихи. Но еще тогда, при первом чтении, мне бросилось в глаза сходство этих стихов с рассказом Луговского о сухом листике клена. И тут и там Луговской, как некий мудрый и добрый Гулливер, согревал своей душевной теплотой, как своим дыханием, все живое.

Он был добр. Он был расположен к простым людям и простодушным зверям.

Из этой доброты и желания счастливых дней, счастливых месяцев и целых счастливых столетий, из желания, чтобы истинное счастье навсегда поселилось на нашей земле, и родилась его поэзия.

Ранней весной 1936 года мы ехали с Луговским из Ялты в Севастополь. Сумерки застали нас около Байдарских ворот.

Впервые я видел Крым не пожелтевшим от зноя, а влажным, прохладным, в сумасшедшей буйной зелени. Цвели мириады венчиков. Каждый из них был полон слабого терпкого запаха, а все вместе они пахли так сильно, что до Севастополя мы доехали совершенно угоревшие, как сквозь сон.

Когда мы спускались с гор по северному склону, Луговской показал мне на небо, и я увидел в самом зените, на немыслимой высоте, должно быть, далеко за пределами земной атмосферы, какую-то серебристую рябь и тончайшие белые перья. Они играли пульсирующим нежнейшим светом.

— Это загадочные светящиеся облака,— сказал Луговской.— Они сложены из кристаллов азота и похожи на оперение исполинской птицы. Говорят, что они приносят счастье.

И действительно, эти облака принесли нам счастье. Оно было в ночных огнях Севастополя, в его тонком воздухе, в слабом гуле морских пространств, обнимавших этот город со всех сторон, в толпах молодых моряков, в уютных кофейнях, где цвели на окнах красные цикламены, в полынном воздухе Северной стороны, куда мы ездили поздним вечером на переполненном матросами старом катере.

Матросы вполголоса пели «Варяга». Луговской слушал, потом встал, взялся за поручни, и в голоса матросов неожиданно вошел его бас.

Через минуту Луговской уже покорил себе и вел за собой весь хор:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает.

Пели много. На Северной стороне мы вышли. Луговской сел на старый адмиралтейский якорь, валявшийся на берегу около одинокого пристанского фонаря. В соседнем маленьком доме с настежь распахнутыми окнами, за целым навалом сирени, смеялась девочка.

Луговской тихо запел. Он пел для себя. Это была немудрая песенка-жалоба девушки на своего любимого Джонни.

Одним пороком он страдал,—
Он сердца женского не знал,
Любимой чар не понимал,
Не понимал, мой Джонни...

Матросы, высадившиеся вместе с нами с катера, отошли уже довольно далеко. Они услышали голос Луговского и остановились. Потом медленно и осторожно вернулись, сели подальше от нас, чтобы не помешать, прямо на землю, обхватив руками колени. Смех девочки в маленьком доме затих.

Все слушали. Печальный голос Луговского, казалось, один остался в неоглядной приморской темноте и томился, не в силах рассказать о горечи любви, обреченной на вечную муку...

Когда Луговской замолк, матросы встали, поблагодарили его, и один из них довольно громко сказал своим товарищам:

— Какой человек удивительный. Кто же это может быть?

— Похоже, певец,— ответил из темноты неуверенный голос.

— Никакой не певец, а поэт,— возразил ему спокойный хрипловатый голос.

— Я на них, на поэтов, всю жизнь удивляюсь. Так иной раз берут за сердце, что всю ночь не уснешь.

— Спасибо, товарищ,— сказал вслед этому голосу Луговской.— Во всяком случае, я всю жизнь стремился быть поэтом.

— Это вам спасибо,— ответил хрипловатый голос.— Я ведь не ошибся. Я чувствую.

Мы возвратились в город на пустом катере. Шипела под винтом вода. На рейде заунывно гудел бакен — с моря подходила волна. Потом мы долго бродили по Севастополю, зашли на вокзал и пили вино в полутемном вокзальном ресторане. На перроне шумел молодой листвой старый-престарый, давно нам всем знакомый и любимый тополь. Луговской рассказывал мне о белых радугах над снежными лавинами. Он видел их, когда жил совершенно один в маленькой гостинице у подножия Монблана.

Весь мир со всеми его чудесами, с его величием, красотой, событиями, его борьбой, скорбью, с его замечательными стихами и цветением всегда небывалых весен, с его любовью и благоуханием девичества,— весь мир носил в себе этот неисчерпаемый, милый, душевный человек, простой, свободный, украшавший собою жизнь людей и ненавидевший ложную мудрость и злобу.

Недаром свою речь на Первом съезде писателей он закончил пушкинским призывом:

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Таруса, февраль 1958 г.

ГЕОРГЕ ТОПЫРЧАНУ

Не знаю, есть ли у румынского народа поэт более тонкий и глубокий, чем Георге Топырча́ну.

Грусть, рожденная постоянной болью, несправедливостями жизни и тяжкой страдой терпеливого своего народа, не всегда явно, но постоянно присутствует среди быстро скользящих строчек его стихов. Так прячется в густой траве осколок стекла. Мы не видим его даже рядом, но внезапное солнце осветит его, он вспыхнет жгучим огнем и заставит нас зажмурить глаза.

Недаром румынский критик Михай Гафица писал о Топырчану, что его грусть всегда окутана дымкой тревожного веселья. Можно сказать и наоборот, что его веселье окутано дымкой трагической грусти. Но это не меняет дела.

Недаром сам Топырчану сравнивал свои стихи с мыльным пузырем, рожденным из слезы. Стоит ему лопнуть, и игра красок превращается в каплю соленой влаги.

В дальнейшем я скажу несколько слов о стихах Топырчану. Сейчас же мпе хочется, хотя бы очень коротко, восстановить облик этого прелестного человека, румына до мозга костей, быстрого, блесткого и разнообразного в своей душевной жизни.

При мысли о Топырчану я вспоминаю его страну. Я видел ее мельком, осенью, когда рощи и сады, пажити и даже дальний край неба отливали коричнево-красным цветом высохших на солнце початков кукурузы.

Они сушились всюду, куда ни кинешь взгляд,— на крышах домов, полянах, во дворах, на оградах станционных зданий. Они висели тяжелыми связками вдоль стен, и казалось, что на деревенские дома надета ржавая средневековая кольчуга.

Река Прут проносилась зелеными водоворотами и размывала древние терракотовые берега. Ветер качал тополя.

Шумные города сменялись тишиной виноградников, овинов, холмистых полей и крохотных церквушек.

Дунай катил свою мутную воду. Она, казалось, не могла поместиться в русле реки и вспухала, грозя затопить прибрежные городки.

Такой мелькнула передо мной Румыния из окна вагона, скрывая в своих далях уют деревень и песни своих поэтов.

Наш экспресс несся насквозь через Румынию с утра до ночи. Этот грохочущий перелет очень точно выражен в удивительных по ритму стихах Топырчану:

Вдруг
Из глубин равнины сонной
Возникает странный звук,
Отдаленный, монотонный,
Будто плеск реки студеной,
Грозный ропот вешних вод.
Приближается — и вот
Вырастает и ревет,
Наполняет небосвод...
Идет!

Это идет с тысячетонным грузом экспресс, и маленький зяблик кричит всем испуганным птицам — обитателям леса:

Пустяки, прошел экспресс...

Эти стихи Топырчану (равно как и все его стихи) великолепны по ритму, несущемуся, не отставая от экспресса.

Румыны горячо любят Топырчану, да и как не любить поэта, который владеет всеми жанрами (если в данном случае приемлем этот термин) поэзии. Топырчану — лирик и едкий пародист, мастер стихотворных хроник, баллад и романсов, сатирик и полемист, песенник, не уступающий лучшим песенникам России и Франции, баснописец и визионер.

Он, кроме того, и прозаик — этот низенький человек, трогательно страдавший от своего малого роста, человек отважный, участник войн, быстро влюблявшийся и вряд ли испытавший полноту простого человеческого счастья. Для этого он был слишком мудр и застенчив, этот вечный странник.

За месяцем следует новый,
Недели бегут и года...
Сударыня, будьте зодоровы!
Беру чемодан и — айда!
Бог весть, где прибьюсь я случайно

С цыганским моим багажом,
Какая влечет меня тайна
Бродяжничать в мире чужом?
Но душно мне в комнатках малых,
И в роли скитальца-жильца
Люблю я на кратких привалах
Кулисы менять без конца.

Таков он был, этот поэт, проживший на земле только пятьдесят лет. (Топырчану родился 20 марта 1886 года и умер 7 мая 1937 года.) На вид он был слаб, хрупок, но, несмотря на это, обошел пешком всю Румынию.

Зачастую авторы предисловий к работам какого-нибудь поэта занимаются пересказом его стихов. Критики назидательно объясняют читателям их содержание в том виде, в каком оно представляется им самим.

Занятие беспомощное и неблагодарное, вроде попытки рассказать своими словами «Соловьиный сад» Блока. Если человек собирается пойти в Эрмитаж и посмотреть «Мадонну Литту» Леонардо да Винчи, то совершенно незачем рассказывать ему содержание этой картины. Это всегда выглядит несколько наивно, не говоря о том, что такие «рассказы картин» просто скучны.

Да и понимание стихов — явление сложное и порой противоречивое. Стихи мы гораздо больше чувствуем, чем понимаем разумом, чувствуем как единое целое, как чувствуем, а не понимаем сырую и тихую осеннюю ночь, ту ночь, когда —

...одинокой блесткой
Повиснет, как всегда,
Над плоской
Равпиною звезда...

Каждые хорошие стихи прибавляют маленькую драгоценную гирю на весы нашего познания мира, на весы, где взвешивается мертвая и живая вода. Но это светлая и легкая тяжесть.

Пусть читателей не пугают якобы взаимно уничтожающие друг друга слова «легкая тяжесть». Очевидно, наш язык еще недостаточно совершенен, чтобы выразить то единое состояние, какое зачастую возникает и в жизни и в поэзии. Вспомните пушкинское «печаль моя светла».

Поэтому я не буду «разбирать» (есть такое школьное выражение) отдельные летучие, крылатые и цельные куски поэзии, родившейся под пером Топырчану. О них нужно только напомнить.

Когда я узнал Топырчану, я невольно подумал о нем как о «румынском Гейне». А кто из писателей и поэтов не мечтал о стремительной и божественно-свободной прозе и поэзии этого саркастического и нежного человека?

Но вот я читаю строки:

Под их листвою, в роще,—
Привал мой травяной,
　И тощий
Репей грустит со мной.

В этих строчках я слышу голос Роберта Бернса. Между этими двумя поэтами — Гейне и Бернсом — и живет румын Топырчану.

С Топырчану не так легко сжиться, как с Бернсом. Тот прост, как колос ржи, ясен, как родник. А Топырчану сложен. Его обаяние не сразу действует на окружающих.

Бернс, если можно так выразиться, человек единой любви, единого страдания, его нетрудно просмотреть до дна, а Топырчану многообразен, изменчив, глубок,— то мимолетен и заразительно весел, то грустен. Классическая точность уживается в нем с артистической небрежностью, а серьезность — с юношеским легкомыслием.

Все эти черты существуют рядом и придают особую привлекательность облику этого человека.

Он не прошел по жизни легкой стопой. Он знал ненависть и любовь, но меньше всего он знал, что такое спокойствие, отдых, созерцание.

Он ненавидел мнимую цивилизацию буржуазного румынского общества — фальшивую, дешевую, показную,— одним словом, как говорят румыны, сплошную «шмекерию» — сплошной обман.

Из всего сказанного выше совершенно ясно, с кем был Топырчану. Конечно, с бедняками, с ремесленниками, с крестьянами, с рабочими — с теми, кто страдал и трудился, а не с теми, для кого терпеливо страдали и работали бедняки.

В своей «Майской ночи», в стихах о сапожнике-чеботаре он высказал эту мысль с полной ясностью:

Эх, чеботарь!
Каким проклятым колдовством
Ты осужден сидеть, как встарь,
На табуретишке твоем?..

Чеботарь жаждет только одного:

Швырнуть колодкой в государство
И в пух и прах разбить его!

Сила сочувствия поэта к своему обездоленному народу была так велика, что простые люди, еще не понимая многого в его поэзии, глубочайшим образом любили его и справедливо называли своим.

У Топырчану много законченных обликов поэта. Один из них — это облик великолепного и тонкого пейзажиста.

К природе Топырчану прикасался осторожно, как прикасаются к кусту, покрытому инеем, чтобы не осыпать его, или к крыльям бабочки, чтобы не стереть с них нежнейшую пыльцу.

Так осторожно он прикасался к ней потому, что любил ее всем сердцем.

Вот весна:

Рытый бархат свежей пашни
Оставляешь за собой,
Расплавляешь снег вчерашний
В лужи влаги голубой...

Их сменяют столь же точные слова об осени:

Раззвенелся листопад,
Стали дни короче,
И в лучах луны скользят
Траурные ночи.

Топырчану не стоит цитировать. Его нужно читать. Читать спокойно и свободно, открывая в течении его стихов все новые и новые богатства.

Да, румыны недаром так горячо, так искренне любят своего поэта, своего честного, талантливого, правдивого и блестящего соотечественника.

Я не знаю румынского языка, но, как многие, чувствую его — чувствую его особый ритм, его особый мир образов, его звучание, его некоторую необычность среди окружающих Румынию соседних языков.

Все это мы находим и в русских переводах стихов замечательного мастера Георге Топырчану.

Ялта, 1960 г.

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

(О Конст. Федине)

Пора наконец нарушить слащавую традицию юбилеев.

Чехов едко сказал по поводу юбилеев, что вот, мол, ругают человека на все корки, а потом дарят ему гусиное перо и несут над ним торжественную ахинею.

С давних пор так повелось, что все юбилейные статьи и речи похожи на надгробное слово. Особенно казенные юбилейные «адреса», заключенные в дерматиновые папки: «В сегодняшний день, каковой день есть день вашего славного юбилея, позвольте нам от имени...» — и так далее и тому подобное, до обморочного состояния у юбиляра и судорожной зевоты у слушателей.

Поэтому я хочу говорить о Федине как о простом и талантливом человеке, а не как о литературном монументе или «маститом» современнике.

Прежде всего, Федин любит жизнь во всех ее проявлениях — больших и малых. Он любит людей, общество. Как в поговорке о цыгане, он «готов пропасть ради хорошей компании».

Он любит шум, оживленные застольные беседы, меткие и неожиданные рассказы — чужие и свои. Свои он рассказывает артистически, подчеркивая все самое характерное легким движением погасшей трубки.

Он шутлив, легок на смех, податлив на веселье, несмотря на внешнюю сдержанность.

Есть одно обстоятельство, о котором не принято говорить. Оно относится к Федину. Заключается оно в возможности заниматься тем единственно важным, ради чего он живет,— то есть писательством. Сотни и тысячи писем, груды рукописей изо всех углов страны, множество людей, требующих ответа на всяческие литературные и житейские вопросы или просящих о помощи,— все это законно, естественно, но превышает меру сил писателя и не оставляет времени для сосредоточенности. А без нее немыслимо творчество.

Любовь оборачивается своей трудной стороной. Если к этому прибавить еще работу (вернее, заседания) в Союзе писателей и в разных организациях, то жизнь писателя приобретает уже характер трагический. Особенно если он не молод и у него не так уж много сил.

Я понимаю, что этот разговор — далеко не юбилейный. Но жаль писательских усилий, потраченных, может быть, на полезное дело, но не на то главное, к которому писатель призван своим талантом. А за свой талант отвечает только он один.

Пусть Константин Александрович Федин не посетует на меня за эту непрошеную защиту.

Впервые я прочел Федина в Тбилиси в начале двадцатых годов.

Тогда Тбилиси казался таким далеким от Москвы, как Багдад или какой-нибудь загадочный Диарбекир.

Литературный Тбилиси жил еще застарелыми остатками футуризма. Поэтому появление в городе альманаха «Серапионовы братья» произвело впечатление освежающего чуда.

Тогда я прочел «Сад» Федина и понял, что начала советской литературы исходят из живой связи с великой литературой нашего недавнего прошлого. Молодые советские писатели — «Серапионовы братья» — не растеряли мастерства, завещанного классиками, и органически и талантливо применили его к содержанию новой эпохи.

Потом, в следующие годы, я прочел всего Федина, особо выделив для себя в качестве образцов «Города и годы», «Братья», «Санаторий «Арктур» и «Горький среди нас».

О прозе Федина сказано так много, что трудно что-либо прибавить к облику писателя, широко признанного читателем и тщательно изученного критикой. Поэтому я ограничусь несколькими записями, дающими, конечно, очень неполное, эскизное представление о Федине-человеке.

Я познакомился с Фединым в 1941 году, за несколько дней до начала войны.

В одно синее и безмятежное июньское утро мы сидели с Фединым на террасе его дачи в Переделкине, пили кофе и говорили о литературе, нащупывая общие взгляды и вкусы.

Внезапно распахнулась калитка, в сад вбежала незнакомая ни Федину, ни мне рыжеволосая женщина с обезумевшими глазами и, задыхаясь, крикнула:

— Немцы перешли границу... Бомбят с воздуха Киев и Минск!

— Когда? — крикнул Федин, но женщина ничего не слышала — она уже бежала по шоссе к соседней даче.

Мы вышли, зная, что нужно куда-то идти, что нельзя оставаться одним в доме. Мы пошли в сторону станции. Нам встретились два пожилых рыболова. Они шли навстречу со станции на пруд и тащили идиллические бамбуковые удочки.

— Война началась,— сказал им Федин.

Рыболовы ничего не ответили. Они молча повернулись и пошли обратно на станцию.

Над лесом, поблескивая тусклым серебром, уже подымался в небо аэростат воздушного заграждения.

Мы остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног — теперь уже довоенная кашка,— вся в росе и петлях душистого горошка. От земли шел теплый запах устоявшегося лета.

Мы молча поцеловались и разошлись. Может быть, навсегда. Слова были не нужны. Надо было быть на людях, ехать в Москву и немедленно действовать.

Осенью я приехал с Южного фронта и поселился на даче у Федина,— в мою квартиру в Москве попала бомба.

Все писательские семьи были эвакуированы в Чистополь на Каме. Переделкино опустело.

Каждую ночь бомбили Москву. С качающимся воем шли с запада в точно назначенные часы фашистские эскадрильи. Вокруг Переделкина стояли морские зенитки. Они открывали сосредоточенный беглый огонь. Осколки сшибали сосновые ветки и били по крыше.

Каждый вечер мы почти до света сидели на темной, холодной террасе и говорили всё о войне, всё о войне и о милой России.

Говорили о родном городе Федина — Саратове (он почему-то казался мне «земским» городом, где жило много старых и просвещенных земских врачей), маленьких светелках-мезонинах в каком-нибудь Наровчате, косогорах, как бы подпиравших серое, ветреное небо. Вспоминали настойчиво, как одержимые, вспоминали с такой щемящей любовью и болью, что она вот-вот могла пролиться в слезах:

О Русь! В тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимны я.
Милее нет на свете края,
О родина моя!..

Иногда мы уходили в блиндаж в лесу. В те холодные и бессонные ночи с их предрассветным ознобом над Филями и Москвой зловеще висели, как десятки люстр, осветительные ракеты. Свет их казался наглым и вызывающим.

Федин был печален, суров и спокоен. Он говорил о бесспорной победе. От этих его слов и от ощущения великолепной русской осени становилось легче и крепче на душе.

Тогда, глядя на Федина, я понял, какая сила заклю-

чается в ясности ума, не позволяющего себе никаких сомнений в те дни, когда решается судьба народа.

Для Федина характерна повышенная любовь к слову. Любовь взыскательная и поэтическая. Он особенно любит те слова, которые богаты оттенками.

Для большого писателя мало знать родной язык. Мало знать его даже великолепно. Ему нужно непрерывно жить в великой красоте, разнообразии и развитии русского языка, как в стройном и волнующем поэтическом мире.

Каждое новое слово — меткое и необыкновенное — вызывает у Федина восхищение, а тупое и невразумительное — ярость.

Как-то мы ехали с Фединым из Гагр на реку Бзыбь. Нам попался странный шофер — старый, тощий, как жердь, с отвислыми тонкими усами и дергающимся от раздражения лицом. Всю дорогу он молчал, прислушивался к нашим разговорам.

Наконец, выяснив про себя, что мы писатели, он сварливо сказал:

— Писатели, а небось не знаете, какое самое длинное слово в русском языке.

Мы вспомнили несколько длиннейших слов, но шофер только снисходительно усмехнулся.

— Мало же вы знаете, товарищи писатели. Вот слушайте! Самое длинное слово такое: «Неблагорассмотрительствующиеся дела»!

Федин засмеялся.

— Где вы его взяли?

— Из сенатских постановлений,— угрюмо ответил загадочный шофер и надолго замолчал, вглядываясь в синеватые сырые пропасти и близкие вершины.

Мы молчали, пораженные шоферским словом. Наконец Федин спросил:

— Откуда вы знаете сенатские постановления?

— Значит, читал,— ответил шофер и с этой минуты стал вдвое загадочнее, чем раньше.— Не говорите мне под руку! Видите, какая чертова дорога.

Есть воспоминания деловые, есть лирические, есть, пожалуй, даже патетические. А есть и просто милые, почти детские.

К таким воспоминаниям относится поездка с Фединым и Симоном Чиковани в Пицунду.

Вопреки зиме, над морем простирался неправдоподобно яркий, лазурный штиль. В свечении неба и воздуха был свойственный осени блеск паутины, летящей неизвестно зачем и куда. Этот блеск, почти неприметный для трезвого глаза, первым заметил Федин. Он сказал об этом. И тотчас весь тот день пошел для нас по какому-то необычайному и легкому пути.

Так бывает. Каждая милая черта сливается с такой же новой чертой, и весь день разворачивается, как сказочная пряжа. Это были почти неуловимые черты, но я все же попытаюсь сказать о них более конкретно и грубо.

Во-первых, мы нашли на пляже множество перебеленных прибоем древесных корней. Они напоминали то диких зверей, то маски древних скифов, то Дон-Кихота с копьем в руке, то лицо японки с немного смытыми миндалевидными улыбающимися глазами.

Мы набрали целую коллекцию этих удивительных корней. Стоило повертеть любой корень, чтобы отыскать в нем не одно, а несколько совершенно разных изображений.

Во-вторых, мы нашли на пляже загорелые черепки и, конечно, решили, что это черепки эллинских ваз.

Иначе и быть не могло, потому что у наших ног чуть пенилось море, принесшее на своих волнах в Колхиду корабль Язона. А весь крупнозернистый красноватый пляж вокруг горел, как золотое руно.

В-третьих, мы нашли на берегу черную бутылку, засунули в нее записку со словами: «Для жизни — жизнь», закупорили бутылку и бросили в море.

Потом мы осматривали древнейший собор. Казалось, что воздух застоялся там с незапамятных времен,— так он был тепел и сер.

Через сосновый лес вела тропа к маяку. Мы встретили на ней двух маленьких застенчивых девочек с сияющими глазами и пышными красными бантами в волосах. Это были дочери маячного смотрителя. Они провели нас на маяк.

Мы долго подымались к фонарю по витой чугунной лестнице, по звонким ступеням. Десятками медных искр горели начищенные приборы и линзы. На стене в маячной рубке висело расписание закатов.

А с балкончика с решетчатым полом ударила в глаза черноморская счастливая синева.

— Вот это и есть, должно быть, счастье,— сказал Фе-

дин.— Но очень редкое,— добавил он.— Это все для тебя. Не забудешь?

— Нет,— ответил я.— Не забуду

— Смотри же напиши!

Но до сих пор я не написал. Слишком цельно было все в тот день. Мне кажется, что его нельзя дробить на части подробным описанием. Но «приказ» Федина остается в силе, и я рано или поздно его выполню.

Мне пришлось видеть, как Федин работает.

Ни у кого из знакомых писателей я не встречал такой настойчивости, такого упорства в работе, как у Федина. Он был безжалостен к себе. Он вставал из-за стола с побелевшими от усталости глазами и еще долго был рассеян и задумчив.

Ручка была отложена в сторону, но мысль продолжала работать и останавливалась очень медленно.

Лучший отдых — самый быстрый и легкий — давало резкое переключение от пера к чему-нибудь просто мальчишескому — к студенческой песне, например, к «Крамбамбули» или к незамысловатому веселью на площадке ветхой приморской кофейни-«поплавка».

Это было на Кавказском побережье зимой, во время ревущего шторма. «Поплавок» трясся от ударов прибоя. Вдали по горизонту проносились вереницы смерчей. Испорченный патефон дребезжал старинные вальсы.

И мы все, несмотря на возраст, танцевали — просто от хорошего настроения и дурашливости. И Федин танцевал необыкновенно выразительно, спокойно, даже как-то снисходительно. В нем проснулся бывший актер. Он — с его резким профилем — показался мне во время этого танца героем какой-то северной саги.

Он танцевал замедленный вальс и не спускал глаз со звенящих от ветра широких окон кофейни. Там из мглы неслось к берегам разъяренное море. Над ним проступали какие-то багровые размытые пятна. То был, очевидно, отблеск солнца, заходившего за громадами туч.

Федин молча показал мне глазами на море. Казалось, он говорил: «Как это сильно! От такого зрелища крепнет рука».

Так я его понял. И был, очевидно, прав, потому что он оборвал танец, тотчас ушел в свою холодноватую комнату, сел за стол и начал писать, стараясь не торопиться, сдерживая себя. И писал почти всю ночь.

Таких «бессюжетных» отрывков из жизни, связанных

с Фединым, я мог бы привести много. Но я хочу сказать еще несколько слов об отношении Федина к природе и, в частности, о том, как мы ловили с ним рыбу.

Мне кажется, что природу Федин любит не только как созерцатель, но и как лесничий, как садовод, огородник и, наконец, как цветовод.

Во всех этих областях у него большие познания. Такое отношение к природе придает фединскому пейзажу черты безусловной точности. А, как известно, без знапия и точности нет поэзии.

В делах природы Федин строг и не любит небрежности и дилетантства. Мне рассказывали, как сердил Федина его милейший сосед по даче и чудесный его друг Александр Георгиевич Малышкин. Сердил тем, что, гуляя по лесу, вырывал из земли, сильно дергая за вершинки, молодые березки, чтобы тут же посадить их у себя на участке.

— Просто безобразие,— говорил Федин,— таким варварским способом сажать березки. Они никогда не примутся и не отрастут — у них же корни порваны в клочья.

Действительно, березки умирали. Но, как на грех, три-четыре березки выжили и пошли в рост. Правда, то были корявые, но крепкие деревья. Федин только пожимал плечами.

Рыбу мы ловили на переделкинском пруду, стараясь не попадаться на глаза «братьям писателям».

Мы выходили на пруд на рассвете, но все же никак не могли спастись от Юрия Слезкина. Он вставал очень рано, застигал нас на пруду и посмеивался над нами ядовито, но настолько вежливо, что при всем нашем желании «схватиться» с ним это не удавалось.

У Федина была своя, несколько странная, манера ловить рыбу. Он закидывал удочки, а сам, чтобы не пугать рыбу, отходил от берега на двадцать — тридцать шагов, прятался в кустах и оттуда следил за поплавками. Когда рыба клевала, он вскакивал, но, конечно, не успевал добежать до удочек. Почти всегда хитрая рыба выплевывала крючок с насадкой.

Но какое же было торжество, когда мы поймали шесть карпов. Мы нанизали их на кукан и нарочито медленно, стараясь всеми силами попасться недавним насмешникам на глаза (в особенности Слезкину), пошли домой мимо Дома творчества. Это, конечно, было нам не по дороге, но мы знали, что в этот час на террасе завтракали писатели.

Мы вольно и небрежно прошли мимо них со своими бронзовыми красавцами карпами. Писатели окаменели от изумления. Это была с нашей стороны законная месть всем урбанистам и матерым литераторам — любителям велеречивых высказываний и сентенций.

Я предвижу обвинение в легкомысленности и чрезмерной субъективности этих отрывочных воспоминаний. Я не буду оправдываться.

Я уже писал о том, как работает Федин (в «Золотой розе»). Я знаю ему цену и знаю его место в русской советской литературе. Поэтому я и хотел сказать несколько слов о Федине только как о простом человеке. Надеюсь, что он меня простит за это.

1962

БУЛГАКОВ И ТЕАТР

Булгаков — киевлянин. Он родился в Киеве и прожил в нем свою молодость. В те времена Киев был городом острых противоречий. Рядом с передовой научной и артистической интеллигенцией в Киеве существовал и благоденствовал злой и пронырливый обыватель. Выражение «киевский мещанин» было широко распространено и стало нарицательным. Оно вошло даже в чеховскую «Чайку».

«Киевский мещанин» был совершенно особенным типом обывателя — чем-то средним между чванным и глуповатым шляхтичем, ханжой и наглым Епиходовым. Из гущи этой отталкивающей общественной прослойки выходили изуверы и черносотенцы. Их крепостью была Киево-Печерская лавра, а трибуной — визгливые монархические газеты, издававшиеся «юго-западными» мракобесами.

Знакомством с этим «киевским мещанином» и объясняется то, что Булгаков — представитель передовой интеллигенции — испытывал всю жизнь острую и уничтожающую ненависть ко всему, что носило в себе хотя бы малейшие черты обывательщины, дикости и фальши. Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была, по существу, беспощадной схваткой с глупостью и подлостью, схваткой ради чистых человеческих помыслов, ради того, что человек должен быть и не смеет не быть разумным и благородным. В этой борьбе у Булгакова было в ру-

ках разящее оружие — сарказм, гнев, ирония, едкое и точное слово. Он не жалел своего оружия. И оно у Булгакова никогда не тупилось.

Киев, несмотря на существование своего «местного» обывателя, был прежде всего городом больших культурных традиций. Булгаков вырос в обстановке этих традиций. Они существовали и в его семье, и отчасти в гимназии, и, наконец, в Киевском университете. Нельзя забывать и о внешней красоте города, сообщавшей самому строю киевской жизни особую прелесть.

Я учился вместе с Булгаковым в Первой киевской гимназии. Основы преподавания и воспитания в этой гимназии были заложены знаменитым хирургом и педагогом Пироговым. Может быть, поэтому Первая киевская гимназия и выделялась по составу своих преподавателей из серого списка остальных классических гимназий России. Из этой гимназии вышло много людей, причастных к науке, литературе и особенно к театру.

Булгаков ввел действие своей пьесы «Дни Турбиных» в стены этой гимназии. Одна из самых сильных сцен происходит в вестибюле Первой гимназии. Старый гимназический сторож, пристающий в этой сцене к Алексею Турбину со своей воркотней,— известный в Киеве сторож Максим по прозвищу «Холодная вода».

Происхождение этого прозвища характерно для гимназического быта того времени. Гимназистам было запрещено кататься на лодках по Днепру. Выслеживал нас на реке сторож Максим. Он был в то время еще крепок, хитер и изобретателен. Он подкупал табаком и другими нехитрыми благами сторожей на лодочных пристанях и считался их общим «кумом». Но гимназисты были хитрее и изобретательнее Максима и попадались редко. Несколько раз Максима предупреждали, чтобы он бросил слежку. Но Максим не унимался. Тогда старшеклассники поймали его однажды на глухом берегу и окунули в форменном сюртуке с бронзовыми медалями в холодную воду. Дело было весной. Днепр был в разливе. Максим бросил слежку, но прозвище «Холодная вода» осталось за ним на всю жизнь.

А мы с тех пор, несмотря на разлив, безнаказанно носились на лодках по Днепру. Особенно любили мы затопленную Слободку с ее трактирами и чайными на сваях. Лодки причаливали прямо к дощатым верандам. Мы усаживались за столиками, покрытыми клеенкой. В сумерках, в ранних огнях, в первой листве садов, в потухающем

блеске заката высились перед нами киевские кручи. Свет фонарей струился в воде. Мы воображали себя в Венеции, шумели, спорили и хохотали. Первое место на этих «вечерах на воде» принадлежало Булгакову. Он рассказывал нам необыкновенные истории. В них действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала.

Изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство. Один из рассказов Булгакова — вымышленная смехотворная биография нашего гимназического надзирателя по прозвищу «Шпонька» — дошел до инспектора гимназии. Инспектор, желая восстановить справедливость, занес некоторые факты из булгаковской биографии Шпоньки в послужной список надзирателя. Вскоре после этого Шпонька получил медаль за усердную службу. Мы были уверены, что медаль ему дали именно за эти вымышленные Булгаковым черты биографии Шпоньки. А рассказывал Булгаков о том, как Шпонька открыл новый способ изготовления нюхательного табака и тем двинул вперед махорочную промышленность. Шпонька действительно нюхал табак и носил в заднем кармане потертого сюртука огромные клетчатые — синие с красным — носовые платки. Как человек стеснительный, Шпонька, нанюхавшись табака, уходил чихать в пустой гимназический зал, чтобы не нарушать во время уроков торжественную тишину коридоров и классов.

Уже тогда в рассказах Булгакова было много жгучего юмора, и даже в его глазах — чуть прищуренных и светлых — сверкал, как нам казалось, некий гоголевский насмешливый огонек.

Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора. Но в этой особенности Булгакова не было между тем ничего, что отдаляло бы его от реальной жизни. Наоборот, слушая Булгакова, становилось ясным, что его блестящая выдумка, его свободная интерпретация действительности — это одно из проявлений все той же жизненной силы, все той же реальности. Существовал мир, и в этом мире существовало — как одно из его звеньев — его творческое юношеское воображение.

Гораздо позже в том, что было написано Булгаковым, с полной ясностью обнаружилась эта его юношеская черта — переплетение в самых неожиданных, но внутренне закономерных формах реальности и фантастики. Это относится как к прозе, так и к некоторым пьесам Булгакова.

Булгаков не случайно стал одним из крупнейших драматургов. В какой-то степени в этом повинен тот же Киев, город театральных увлечений.

В Киеве была хорошая опера, украинский театр со знаменитой Заньковецкой и драматический русский театр Соловцова — любимый театр молодежи.

Гимназисты могли ходить в театры только с письменного разрешения инспектора. На неизвестные ему пьесы инспектор — историк Бодянский — нас не пускал. Не пускал он нас и на те пьесы, которые ему не нравились. Вообще, он считал театр «ветрогонством» и, упоминая о нем, употреблял пренебрежительное выражение: «фигли-мигли».

Мы подделывали разрешения, подписывали их за Бодянского, иногда даже переодевались в штатское, чтобы не попасться Шпоньке, уныло бродившему по коридорам театра в поисках неисправимых театралов — «воспитанников нашей славной гимназии» (так Шпонька именовал гимназистов).

Однажды Шпонька поймал в Соловцовском театре нескольких гимназистов в штатском, в том числе и Булгакова. Шпонька подал инспектору рапорт об этом событии, причем выразился, что гимназисты были «в бесформенном состоянии». Последовали, конечно, неприятности и длинные инспекторские сентенции на тему о том, что «наши пращуры, слава тебе господи, о театре и не подозревали, однако выгнали из русской земли татар».

В те времена в Соловцовском театре играли такие актеры, как Кузнецов, Полевицкая, Радин, Юренева. Репертуар был разнообразным — от «Горя от ума» до «Ревности» Арцыбашева и от «Дворянского гнезда» до «Мадам Сан-Жен». После драмы обязательно шел водевиль, чтобы рассеять у зрителей тяжелое настроение. В антрактах играл оркестр.

Я встречал Булгакова в Соловцовском театре. Зрительный зал был затянут сероватой дымкой. Сквозь нее поблескивали золоченые орнаменты и синел бархат кресел. Дымка эта была обыкновенной театральной пылью, но

нам она казалась какой-то таинственной сверкающей эманацией волшебного театрального искусства.

Самый воздух театра действовал на нас опьяняюще, хотя мы и знали, что в театре пахнет духами, клейстером, краской и апельсинами,— в то время было принято во время спектакля сосать апельсины (конечно, не на галерке, где мы сидели, а в ложах бенуара и бельэтажа). Кончался девятнадцатый век, и начинался двадцатый. Но в театре сохранилось многое от старины, начиная от самого здания с его сводами, от низких галерей и кончая занавесом с золотыми лирами. На занавесе была изображена пышная богиня изобилия. Она сыпала из рога гирлянды роз.

Черты старинного театра я узнал в одной из пьес Булгакова, в первой же ее ремарке, когда поднимается занавес старого французского театра и теплый сквозной ветер гнет в одну сторону пламя свечей, зажженных на рампе. В лаконичности и точности этого образа — вся внешность старинного театра. Написать такую строчку мог только человек, прекрасно знающий и чувствующий театр.

Приход Булгакова к театру был естественным и закономерным. Иначе и быть не могло. Потому что Булгаков был не только большим писателем, но и большим актером.

«Горькие чувства охватывали меня,— пишет Булгаков в одном из своих романов,— когда кончалось представление и нужно было уходить на улицу. Мне очень хотелось надеть такой же кафтан, как на актерах, и принять участие в действии. Например, казалось, что было бы очень хорошо, если бы выйти внезапно сбоку, наклеив себе колоссальный курносый нос, в табачном кафтане, с тростью и табакеркой в руке и сказать очень смешное. И это смешное я выдумывал, сидя в тесном ряду зрителей. Но другие произносили смешное, сочиненное другими, и зал по временам смеялся. Ни до этого, ни после этого, никогда в жизни не было у меня ничего такого, что вызывало бы наслаждение больше этого».

Любовь к театральному зрелищу, к хорошей актерской игре была у Булгакова так сильна, что, по его собственному признанию, от великолепной игры у него «от наслаждения выступал на лбу мелкий пот».

От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих

рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выгрывался» в своего героя, щедро прибавлял ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда — буквально, умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него.

Эта способность к перевоплощению и сила ви́дения были характернейшими чертами Булгакова. Сила видения своего вымышленного мира и привела Булгакова к драматургии, к театру.

Психология творческого процесса до сих пор мало нами изучена. Это объясняется необычайной сложностью этого процесса,— очень разного у разных писателей, с трудом входящего в границы каких бы то ни было точных формулировок и законов и подчас необъяснимого для самих писателей. Большинство писателей может передать только свои ощущения от творческого процесса, но они не в состоянии объяснить его, холодно разъять на части, разобраться в его сущности. Это свидетельствует о том, что творческий процесс является настолько непосредственной функцией нашего сознания, что зачастую неуловим для самих его носителей. Многих писателей бесполезно спрашивать о сущности творческого процесса. Они вам ничего не расскажут, как, очевидно, не сможет рассказать птица, как она поет.

Тем ценнее те немногие проникновения в сущность творческого процесса, какие у нас есть. Среди этих высказываний очень характерна запись Булгакова о том, как он впервые «увидел» свою пьесу «Дни Турбиных».

До пьесы был роман «Белая гвардия». Он лег в основу пьесы. Как же произошло рождение пьесы?

Ночью Булгаков проснулся. Недавно был напечатан роман, встретили его равнодушно. Булгаков запер книгу в ящик письменного стола и решил никогда в жизни больше романа не читать и к нему не возвращаться. Но люди из романа уже жили своей жизнью. Их нельзя было изгнать из сознания.

«Вьюга разбудила меня однажды,— пишет Булгаков.— Вьюжный был март и бушевал, хотя шел уже к концу. И опять... я проснулся в слезах. Какая слабость, ах, какая слабость! И опять те же люди, и опять дальний город и бок рояля, и выстрелы, и какой-то поверженный на снегу.

Родились эти люди в снах, вышли из снов и прочнейшим образом обосновались в моей келье. Ясно было, что с ними так не разойтись. Но что же делать с ними?

Первое время я просто беседовал с ними, и все-таки книжку романа мне пришлось извлечь из ящика. Тут мне начало казаться по вечерам, что из белой страницы выступает что-то цветное. Присматриваясь, щурясь, я убедился, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная. Как бы коробочка, и в ней сквозь строчки видно: горит свет и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе.

...С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Правда, если кому-нибудь я сказал бы об этом, надо полагать, мне посоветовали бы обратиться к врачу. Сказали бы, что играют внизу, под полом, и даже сказали бы, возможно, что именно играют. Но я не обратил бы внимания на эти слова. Нет, нет! Играют на рояле у меня на столе, здесь происходит тихий перезвон клавишей. Но этого мало. Когда затихает дом и внизу ровно ни на чем не играют, я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая и злобная гармоника, а к гармонике присоединяются и сердитые и печальные голоса. И ноют, и ноют. О нет, это не под полом! Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают лошадиные морды, а над ними лица людей в папахах.

...Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу... А как бы фиксировать эти фигурки? Так, чтобы они не ушли больше никогда?

И ночью однажды я решил эту волшебную комнату описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует. Вот: картинка загорается, картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу: картина первая. Я вижу вечер, горит лампа. Бахрома абажура. Ноты на рояле раскрыты. Играют «Фауста». Вдруг «Фауст» смолкает, но начинает играть гитара. Кто играет?

Вон он выходит из дверей с гитарой в руках. Слышу — напевает. Пишу — напевает.

Да это, оказывается, прелестная игра... Ночи три я провозился, играя с первой картиной, и к концу последней ночи я понял, что сочиняю пьесу».

Я сознательно привел этот длинный отрывок. Как бы из игры, из воображаемого, но ясно видимого мира, рождается пьеса.

Это признание Булгакова — тонкое и лишенное какой бы то ни было тени абстракции — раскрывает сущность и развитие творческого процесса писателя, тот путь, каким Булгаков пришел к театру.

К писательству Булгаков пришел гораздо раньше. Первый рассказ был им написан в 1919 году.

«Как-то ночью в 1919 году,— писал об этом Булгаков в своей автобиографии,— глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, я написал первый маленький рассказ. В городе, куда затащил меня поезд, я отнес рассказ в редакцию газеты».

Это признание Булгакова не менее ценно, чем и предыдущее. Все та же непреодолимая сила воображения, легкость вымысла,— рассказ пишется ночью, в поезде, при свете огарка.

Легкость работы Булгакова поражала всех. Это та же легкость, с какой юный Чехов мог написать рассказ о любой вещи, на которой остановился его взгляд,— чернильнице, вихрастом мальчишке, разбитой бутылке. Это — брызжущий через край поток воображения.

Так легко и беззаботно работал Булгаков в «Гудке» в те знаменитые времена, когда там подвизалась на «четвертой полосе» компания насмешливых юношей во главе с Ильфом и Петровым. «Четвертая полоса» наводила ужас на лодырей, прогульщиков, чинуш и разгильдяев. Она была беспощадна. Сотрудников этой полосы побаивался даже сам редактор «Гудка».

В то время Булгаков часто заходил к нам, в соседнюю с «Гудком» редакцию морской и речной газеты «На вахте». Ему давали письмо какого-нибудь начальника пристани или кочегара. Булгаков проглядывал письмо, глаза его загорались веселым огнем, он садился около машинистки и за десять — пятнадцать минут надиктовывал такой фельетон, что редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота.

Получив тут же, на месте, за этот фельетон свои пять рублей, Булгаков уходил, полный заманчивых планов насчет того, как здорово он истратит эти пять рублей.

Но иногда Булгаков затихал и как-то строго и молчаливо начинал присматриваться ко всему окружающему. Однажды зимой он приехал ко мне в Пушкино. Мы бродили по широким просекам около заколоченных дач. Булгаков останавливался и подолгу рассматривал шапки снега на пнях, заборах, на еловых ветвях. «Мне нужно это,— сказал он,— для моего романа». Он встряхивал ветки и следил, как снег слетает на землю и шуршит, рассыпаясь длинными белыми нитями.

Глядя на сыплющийся снег, он говорил, что сейчас на юге весна, что можно мысленно охватить взглядом огромные пространства, что литература призвана делать это во времени и пространстве и что нет в мире ничего более покоряющего, чем литература.

А через полчаса Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед не знавшими его людьми военнопленным немцем, идиотом, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал, конечно, ни слова на этом языке. Но ему, видимо, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственно известное ему русское слово.

Наконец его осенило. Слово было найдено! На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» — и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец, и к тому же полный идиот. Розыгрыш этот длился несколько часов, пока Булгакову не надоело и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать «Мой дядя самых честных правил...».

Я помню Булгакова в единственной его роли на сцене МХАТ — в роли судьи в «Пиквикском клубе». В этой небольшой роли Булгаков довел гротеск до необыкновенного блеска.

Писательский путь Булгакова отчасти совпадает с путем Чехова. Несколько лет Булгаков проработал земским врачом в городе Сычовке Смоленской области. Потом были скитания по стране, Киев во время гетманщины и гражданской войны, Кавказ, Батум, Москва.

Время гетманщины было отталкивающим и, в некоторой мере, анекдотичным. Сама жизнь как бы смешала воедино то, что было свойственно Булгакову,— трагедию и гротеск, человеческий героизм и ничтожество.

Украина накалялась на жестоком внутреннем огне. Пылали имения, шли схватки с немецкими карательными отрядами. В Киеве сидел гетман Скоропадский, с такой точностью изображенный в «Днях Турбиных». Анекдотический гетман, фанерный человечек, «хампельман» в белой черкеске, которого дергали за ниточку немецкие генералы.

Иногда Скоропадский устраивал в Киеве парады своим войскам. Гетман принимал их, сидя на белом коне. Вокруг гетмана теснились немецкие генералы. Гвардейские полки гетмана, так называемые «его светлости ясновельможного пана гетмана сердюки», лихо проходили мимо белого коня. Сердюков вербовали из киевских подонков, из так называемых «шулявских» и «соломенских» хлопцев. Это была мутная хулиганствующая вольница, но и она в глубине души знала настоящую цену своему гетману. Сердюки, проходя мимо гетмана, пели:

Милый наш, милый наш,
Гетман наш босяцкий!
Гетман наш босяцкий —
Павло Скоропадский!

Скоропадский натянуто улыбался, отдавая честь, и делал вид, что не слышит этого разухабистого пения. А немецкие генералы ухмылялись.

Этот гротесковый оттенок тогдашней реальности Булгаков подмечал с необыкновенной остротой. Он наполнил им некоторые сцены своей пьесы «Дни Турбиных». Из впечатлений гетманщины и гражданской войны на Украине родился роман «Белая гвардия», а из романа — пьеса.

Она была написана Булгаковым по предложению работников МХАТ, сразу угадавших в авторе этого романа прирожденного драматурга. МХАТ не ошибся. В театр пришел крепкий и строгий драматург. Насмешливый, преданный театральному искусству, несговорчивый, мудрый

Булгаков. Недаром в театре Булгакова называли «рыцарем искусства». Оп был подлинным его рыцарем — без страха и упрека.

Булгаков пришел в МХАТ, и с тех пор вся его жизнь до последних дней была связана с этим театром. О своей приверженности к МХАТ Булгаков говорил: «Я прикреплен теперь к пему, как жук к пробке».

Путь драматурга — тяжелый путь. Он не усеяп лавровыми ветвями. И Булгаков прошел его с величайшим мужеством.

Я не вхожу в разбор пьес Булгакова по их существу. Они разнообразны и равно блестящи, независимо от тех или иных своих спорных качеств.

Драматургическое наследство Булгакова очень велико. Лишь часть его пьес была поставлена — «Дни Турбиных», «Мертвые души», «Пушкин», «Зойкипа квартира», «Багровый остров». Кроме этих пьес, Булгаков оставил вполне законченные пьесы — «Мольер», «Бег», «Иван Васильевич», «Дон-Кихот», инсценировку «Войны и мира» и либретто опер «Минин и Пожарский», «Петр Великий», «Черное море» и «Рашель» (по рассказу Мопассапа «Мадемуазель Фифи»).

Помимо пьес, Булгаков оставил несколько законченных прозаических вещей. Самая значительная из них, где талант Булгакова проявился во всей силе,— это роман «Мастер и Маргарита».

«Дни Турбиных» — пьеса, посвященная показу сильного и умного врага,— написана с большой драматургической силой и блеском. Она прошла на сцене МХАТ свыше девятисот раз. В этой пьесе показало свое высокое мастерство второе поколение актеров МХАТ. Успех этой пьесы общеизвестен.

Великолепна инсценировка «Мертвых душ» — любимой книги Булгакова: Гоголя Булгаков полюбил еще в детстве. Характерен тот путь, который прошел в сознании Булгакова этот писатель. В детстве Булгаков воспринял «Мертвые души» как авантюрный роман. Лишь постепенно, по мере роста самого Булгакова, менялся в его представлении и Гоголь, совершив переход от веселого и почти авантюрного писателя до гения с его горьким смехом над несовершенством людского общества и человеческих отношений.

Все пьесы Булгакова, равно как и проза, написаны очень смело. В каждой из них есть новизна, нечто свое,

булгаковское, новое по отношению к самому себе. Булгаков никогда не перепевал самого себя.

В пьесе «Пушкин» Булгаков показал всю тяжесть обстановки последних дней поэта, но не вывел на сцену самого поэта. В этом сказалось благоговение Булгакова к Пушкину (какой актер мог бы сыграть Пушкина так, чтобы не снизить его образ в наших глазах), его художественный такт, строгость мастера и его смелость.

Ведь так легко было соблазниться эффектным появлением на сцене поэта. Булгаков, конечно, предвидел, что отсутствие на сцене Пушкина будет великим разочарованием для зрителя, жаждущего занимательности и сенсации. Но он не пошел на это. В этом поступке — булгаковская взыскательность.

Булгаков ввел в пьесу только одну небольшую сцену — смертельно раненного Пушкина проносят в глубине комнаты в его кабинет. Зритель почти не видит поэта. Он видит только мелькнувшую на стене тень от его запрокинутой, знакомой всем, любимой головы. И это — все. Но в этой сцене — все потрясение его гибелью и вся любовь Булгакова к Пушкину, как к поэту и к человеку.

Мне кажется, что хорошим эпиграфом к пьесе Булгакова о Пушкине были бы тютчевские слова: «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!»

Лепка людей в пьесе — лаконична и выразительна. И значение символа приобретает томительный и трагический рефрен пьесы: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...»

Пьесы Булгакова получили прекрасное выражение на сцене МХАТ. Была большая удача в соединении судьбы блестящего драматурга с лучшим театром страны. По существу, у МХАТ было два своих автора — Чехов и Булгаков.

Булгаков умер 10 марта 1940 года. Он был врачом и хорошо знал, что смерть близка и неизбежна. Он умер так же мужественно, как жил. Умирая, он шутил.

И как бы мы ни относились к творчеству Булгакова, принимая его или не принимая, мы должны склониться перед памятью этого писателя и человека, преданного родной стране и ее искусству всеми своими помыслами, всем сердцем и прошедшего свою нелегкую жизнь искренне, честно, ни в чем не изменив себе.

1962

О ЧЕЛОВЕКЕ И ДРУГЕ

Никогда я не мог подумать, что мне придется писать о смерти Казакевича. Писать о смерти человека и друга.

Только потеряв его, мы поняли до конца, что он принадлежал к первым и лучшим людям нашего времени — по остроте и смелости мысли, по вольному и умному таланту, глубокой честности, по блеску его воображения и тому бурному человеческому обаянию, которое мгновенно покоряло всех.

Даже по отношению к людям, которых он ценил, он, в зависимости от их поступков, был то суров, то нежен, то насмешлив, то ласков. Потому что был безошибочно справедлив и рыцарски предан правде.

Эммануил Генрихович был неожиданным человеком в том смысле, что он стремительно захватывал окружающих своими замыслами, рассказами, эпиграммами, спорами, шутками.

Но в этом выражалась только малая часть его существа. Нередко он бывал и печален и гневен или, вернее, както гневно печален. Это его состояние всегда находилось в связи с опасениями за судьбу литературы, за достоинство человека и его независимость.

Тяжесть и бессмыслицу его гибели ничем не снимешь. Можно после этого возненавидеть законы природы. В этом случае они превратились в чудовищное беззаконие.

Природа слепа и лишена способности оценок. Она бьет без разбора. Мы же — неотъемлемая часть этой природы — обладаем оценками в полной мере. С этой нелепостью нельзя примириться.

Жизнь не берегла Казакевича, да и он сам себя не берег. Если бы была хоть малейшая возможность, его бы не отдали смерти. Мы, понимающие вопреки ослепшей природе великую ценность человека, оказались беспомощными.

Казакевич жил мужественно и мужественно умер. Это было мужество большого и прекрасного сердца. Зная полную безнадежность своего положения, он был мужественным ради окружающих, ради близких людей, ради того, чтобы оставить им надежду на чудо.

Существует выражение «гробовое одиночество». Нужно представить себе состояние человека, уходящего из жизни в неслыханных муках, его отчаяние, его одиночество, представить себе все, что он передумал и перестрадал

один в единоборстве со смертью, чтобы понять высоту и величие его духа, не уступившего ни крупицы своей человечности этой проклятой и подлой болезни.

О Казакевиче как о большом писателе будет сказано много. Сейчас каждый думает о друге.

Я думаю о том, что никогда больше не услышу его шутливый голос и не увижу застенчивую нежность в его глазах. И не услышу другой его голос, строгий и точный,— когда он читал стихи. Никогда не услышу. В это нельзя поверить.

Что делать нам, оставшимся? Продолжать то, что делал Казакевич. Служить жизни, которой он был так предан, служить литературе — одному из лучших человеческих дел, умножать силу духа и красоту этой земли.

1962

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

С польским писателем Ярославом Ивашкевичем мы сверстники и однокашники. Оба мы учились в Киеве в одно и то же время, в начале XX века, но в разных гимназиях — Ивашкевич в Пятой, на Новом Строении, а я в Первой — на Бибиковском бульваре.

По железным традициям тех лет гимназисты разных гимназий (а их в Киеве было пять) находились друг с другом в натянутых, а то и во враждебных отношениях по многим причинам — из-за соревнований по гребле на Днепре (стилем «ласточка»), из-за первенства футбольных команд и залихватского зимнего катания на коньках и, наконец, из-за ухаживания за одними и теми же красавицами гимназистками.

Каждая гимназия считала себя самой выдающейся в Киеве и гордилась или футбольным вратарем (тогда их называли еще «голкиперами», а лучший голкипер, по фамилии Шило, учился как раз в нашей Первой гимназии), гордились своими поэтами (у нас был, конечно, лучший в Киеве поэт-гимназист Михаил Сандомирский, и стихи его печатала даже передовая газета «Киевская мысль») или танцорами. А были даже такие гимназии, которые гордились своими бильярдистами.

Мы считали свою Первую гимназию самой лучшей и потому, что ей исполнилось сто лет и в ней учились

в свое время художник Ге и композитор Рахманинов, а директором ее когда-то был знаменитый хирург и педагог Пирогов — участник Севастопольской обороны 1854 года.

В мое время Первая гимназия растеряла свои давние музыкальные традиции и жила в этом отношении за счет сомнительной славы единственного в Киеве балалаечного оркестра.

«Воспитанники» других гимназий всегда пели нам вслед при встречах: «Трынди-брынди балалайка, ты станцуй, моя хозяйка!» Мы гордо отмалчивались по той простой причине, что нам трудно было защищать этот жидкий и примитивный музыкальный инструмент.

Но с Пятой гимназией у нас были, пожалуй, наиболее мирные отношения. Может быть, потому, что она находилась далеко от нашей и в ней к тому же учились здоровые парни с очень серьезных киевских окраин — Нового Строения и Соломенки, не дававшие спуска «задавалам» и насмешникам.

Мы с Ивашкевичем учились в одно время, происходили примерно из одной и той же среды, и естественно, что наши увлечения, интересы и самый быт наших семей были во многом одинаковы.

Из киевских гимназий того времени вышло много людей, прославившихся впоследствии в разных областях, но главным образом в области искусства.

Вот их краткий перечень (очень неполный): польские писатели Ивашкевич, Парандовский и Бжехва, режиссеры Берсенев и Таиров, русские писатели Михаил Булгаков и Ромашов, поэт и певец Вертинский, актеры Куза и Хмара, композитор Лятошинский, политический деятель и революционер Луначарский. И даже такие незаурядные авантюристы, как убийца Столыпина Багров и внук сербского короля Кара-Георгий.

Никто из кропотливых исследователей общественных явлений не заинтересовался этим фактом, пренебрег им и даже не пытался выяснить его причины. Это отчасти жаль. Очевидно, в характере тогдашней киевской жизни, в театральных и литературных традициях города, в самой его южной живописности и — кто знает,— может быть, даже в блеске и свежести киевских весен и в пышном цветении киевских каштанов содержались, как тогда говорили, какие-то «флюиды», рождавшие повышенную тягу к искусству.

Киевские гимназии отражали в лице своих несовершеннолетних питомцев социальную картину (хотя и неполную) своего времени — конца XIX и начала XX века.

В каждом гимназическом классе было по два отделения — первое и второе. В первом отделении учились сыновья помещиков, генералов, заводчиков, крупных чиновников и дельцов, а во втором — сыновья интеллигентов, разночинцев, поляков и евреев.

Это разделение соблюдалось очень точно и, очевидно, было сознательным. Во всяком случае, так я думаю теперь.

Ученики-поляки были в подавляющем большинстве детьми служащих, небогатых интеллигентов и шляхты. В то время поляки-служащие оседали не в Киеве, а в провинции, по всему юго-западу, главным образом на многочисленных в этом крае сахарных заводах.

Эти заводы, разбросанные по Правобережной Украине, были своего рода очагами польской культуры. Почти все мои товарищи-поляки были детьми инженеров и служащих сахарных заводов или же так называемых «посессоров» — управляющих именьями крупных помещиков — графа Бобринского, графини Браницкой, Терещенко, Фальц-Фейна и других.

В семье служащего сахарного завода где-то под Винницей и родился Ярослав Ивашкевич.

Я могу утверждать, не боясь особенно ошибиться, что Ивашкевич испытал то же влияние трех культур, которое испытали и мы все, киевляне,— культуры русской, украинской и польской. Это сказалось на его формировании как человека и писателя.

Переселившись навсегда в родную Польшу, Ивашкевич сохранил привязанность к Украине, к местам своей юности и любовь к русской культуре.

В числе писателей — своих великих учителей — он прежде всего называет Льва Толстого. Ему он посвятил свое недавнее великолепное исследование о «Войне и мире».

Мы росли под влиянием таких разных писателей, как Сенкевич и Чехов, Жеромский и Леонид Андреев, Куприн и Болеслав Прус, Тютчев и Словацкий, Пшибышевский и Бальмонт. Расплывчатый гуманизм сливался с изысканным и, по мнению наших родителей, аморальным модернизмом и декадентством. Народная струя пересекалась с вылазками в область изощренного и почти болезненного психологизма.

Все это переплавлялось в нашем юном сознании и, как это ни покажется странным, иной раз приводило к появлению довольно цельных и положительных натур. Следы всех этих влияний сохранились, конечно в разной степени, у каждого из нас.

Мне кажется, что глубокий аналитический интерес Ивашкевича к сложному и противоречивому внутреннему миру человека был приобретен им еще в годы этих увлечений. Об этом свидетельствуют его откровенные и острые рассказы и его такие резкие вещи, как пьеса «Мать Иоанна из монастыря Ангелов». Она, я бы сказал, мучительно гуманна, эта вещь,— именно мучительно гуманна тем, что Ивашкевич выступает в ней не только в качестве знатока человеческого сердца, но и в качестве друга этого встревоженного, страдающего и гордого сердца. Эта вещь написана как бы в защиту естественных и неизбежных чувств, попираемых законом, религией, предрассудками и невежеством.

Я не знаю, как Ивашкевич относится к картине режиссера Кавалеровича, сделанной по «Матери Иоанне». Картина эта, по-моему, точно совпадает с психологическим рисунком Ивашкевича и полна очень сильных мест. Режиссер передал в ней даже характерный пейзаж Ивашкевича — как бы умышленно простой, топографически точный, временами похожий на рукописную карту.

Бывают собеседники, которые, рассказывая о чем-нибудь, тут же машинально рисуют на клочке бумаги карту тех мест, где происходят события, планы городов, эскизы домов. Такие собеседники — всегда прекрасные рассказчики, обладающие завидной памятью и воображением. Таким собеседником и представляется мне Ивашкевич.

Пейзаж Ивашкевича сдержан, лишен утомительных подробностей, кроме одной или двух существенно необходимых (к примеру, сухого дерева, определяющего внешне однообразный и замкнутый мир польского «кляштора» — монастыря).

Не для того, как и каждый писатель, пишет Ивашкевич, чтобы критики более или менее удачно пересказывали его вещи читателям. Давно надо отказаться от обычного у нас беспомощного разговора о творчестве писателя, от подмены его огромного, разнообразного, талантливо построенного мира людей, событий и мест школярскими пересказами. «Ивашкевич пишет, Ивашкевич говорит»,— раз он пишет и раз говорит, то потрудитесь слушать то,

что он говорит сам, и читайте то, что написано им самим, не полагаясь на посредников. Пейте из чистого источника чистую воду, а не разбавленную сиропом или уксусом водицу переложений. Поэтому я не буду рассказывать от себя о вещах Ивашкевича. Читайте их. Они лежат перед вами. Я же предпочитаю хотя бы бегло рассказать об Ивашкевиче как о человеке и друге.

Ивашкевич — человек острый. Это — наблюдатель, склонный к иронии, великий и скромный патриот не только своей страны, а, если позволено так выразиться, патриот всего человечества, неутомимый скиталец и любитель испытывать жизнь в ее характерных формах. Временами я видел его утомленным, изредка — нежным, иногда суровым и взыскательным, но всегда терпимым к чужим человеческим свойствам.

Впервые я познакомился с Ивашкевичем в Москве в специфически полуофициальной обстановке. Но Ивашкевич легко и решительно снял ее мертвый налет тем, что сразу же заговорил со мной как старый и закадычный мой школьный товарищ, хотя в Киеве мы с Ивашкевичем не были знакомы.

Очевидно, у школьных товарищей взаимное понимание заложено с давних пор. Даже после многих лет разлуки они встречаются легко и непосредственно, как будто только вчера расстались на углу Крещатика и Фундуклеевской улицы или на пароходной пристани на Подоле.

Московские встречи были коротки. Я увидел Ивашкевича ближе и спокойнее в Италии, в Турине, на конгрессе Европейского сообщества писателей. Мы жили не в знойном и блестком Турине, а в загородной безлюдной гостинице, в прохладных и наполненных душистым воздухом предгорьях Пьемонтских Альп.

Однажды мы возвращались с Ивашкевичем с конгресса, где он произнес на французском языке большую речь о поляках-гарибальдийцах, участниках объединения Италии.

Я почему-то особенно ясно помню это наше возвращение в автобусе-пульмане, мелодично певшем на всех бесчисленных поворотах горной дороги.

Утомленные жарой заросли роз и бегоний вдыхали в открытые окна пряный и усыпительный воздух, и мы вели странный разговор односложными фразами. Должно быть, от усталости. Я спрашивал, а Ивашкевич, помолчав, отвечал. Потом спрашивал Ивашкевич, а я, тоже помолчав,

отвечал. Как будто бы каждый из нас говорил сам с собой. Тогда-то Ивашкевич и сказал мне, что больше всего в жизни любит скитания и только после них — литературу.

И я подумал, что он недаром написал свой превосходный рассказ о Миклухо-Маклае.

Литературу он почему-то поставил па второе место. В словах Ивашкевича тут же, за окнами пульмана, как бы возникали быстролетные видения разных стран. Я внезапно ощущал почти физическую власть далеких и разнообразных пространств, сопровождающих нас в этой жизни, их таинственность, их новизну, свет и волшебство.

Мы бывали с Ивашкевичем на разных писательских собраниях и приемах (Ивашкевич — в качестве председателя — «презеса» союза литераторов Польши) — в обществе шумном и оживленном. Но только в усадьбе Ивашкевича, в его знаменитом Стависко около Варшавы, я как бы вошел в сердцевину Польши. В Стависко сохранились многие черты старопольской патриархальной жизни. Я ее совершенно не знал и только представлял себе по романам.

Большой обжитой дом, где оставили свой след многие поколения,— дом, где тесно от множества книг и вещей и темновато от вековых деревьев за окнами. Дом этот пахнет старым деревом, старыми книгами — удивительно уютным запахом, смешанным с запахом полевых цветов, сухих лечебных трав и знакомым по Украине сладким духом аира.

Пруды, закутанные слабым туманом, плакучие ивы, стук дятлов и нежные польские, чуть вопросительные голоса белокурых девочек — внучек Ивашкевича. Тоненькие сдержанные девушки и молчаливые юноши с легкими движениями и их удивительное варшавское произношение, когда простые слова «тридцать три» — «тшидести тши» — звучат как вкрадчивая музыка неизвестного мелодичного инструмента.

В парке мы встретили двух старушек. Застенчивых, типичных польских старушек, украшающих жизнь всех поколений своей добротой и приветливостью.

Я невольно вспомнил свою бабушку-польку, ее понимание нашей молодой жизни, ее заботу о том, чтобы мы выросли настоящими людьми, а не пустозвонами и хвастунами.

Когда происходило что-нибудь ненужное, усложняющее жизнь, бабушка тихо говорила: «Эт! Глупство!» — и эти слова действовали на всех отрезвляюще.

Я отдыхал в просторном и вместе с тем наполненном вещами, собранными от поездок по всему миру, доме Ивашкевича. Отдыхал в свободном и вместе с тем строгом строе этой польской семьи.

Когда я узнал, что во время захвата Польши фашистами Ивашкевич прятал в своем доме в Стависко многих людей и спас их от верной смерти, сам смертельно рискуя, я начал смотреть на этот старопольский милый дом с особым уважением, как на живого человека, воплотившего в себе спокойный и независимый дух своего хозяина.

Мы сидели за большим столом в кругу семьи Ивашкевича, пили крепкий горячий чай — «гербату», и мне казалось, что во всех углах этого дома, в его комнатах и переходах, на его деревянных лестницах и за кадками с цветами живут какие-то простые и милые истории, существующие для всех обитателей этого дома: для Ивашкевича — его замыслы, новеллы и романы, для милых девушек — навязчивые, но любимые музыкальные фразы, для пожилых людей — воспоминания, а для маленьких панн — таинственные рассказы, которые можно передавать друг другу только шепотом и тотчас же замолкать, когда в старом рояле сама по себе звякнет струна. Это значит, что одна из девочек, одна из белокурых панн, выдумывает больше, чем следует, и рояль сердится. Тогда, очевидно, Ивашкевич говорит, что выдумывать надо в меру. Этим несколько необычным состоянием, какое я испытывал в доме в Стависко, я обязан был его талантливому и спокойному хозяину, никогда не терявшему явно ощутимого «ивашкевичского» отношения к окружающему. В этом его отношении — сила его дарования как писателя и человека. Встречая таких людей на больших жизненных дорогах, всегда чувствуешь к ним благодарность.

Таруса, июль 1963 г.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Я давно знал и любил Всеволода Вячеславовича Иванова, но любил с некоторой опаской. Он казался мне человеком, вырезанным из крепкого кедрового корня, человеком суровым и особенно беспощадным к людям, заблуждающимся в своей литературной работе.

К этим людям я причислял в то время и себя, так как писал несколько сентиментально и в языке моем не было настоящего удара.

Мне казалось, что за это Всеволод Вячеславович посматривал на меня искоса — вроде не одобрял. Я часто ловил на себе его испытующий взгляд.

Все это кончилось неожиданно. На каком-то утомительном и табачном заседании в Союзе писателей я получил от него записку. Перед тем я напечатал в одной из газет рассказ «Ночь в октябре». «За этот один рассказ,— писал в записке Всеволод Вячеславович,— я бы сразу принял вас прямо в президиум Союза писателей».

Я посмотрел на него. Он сидел насупившись и что-то тщательно рисовал на листке бумаги.

С тех пор мои страхи прошли, и чем дальше, тем больше я узнавал этого необыкновенно прекрасного, доброго, талантливого и застенчивого человека. Он все понимал до конца, был добр, но вместе с тем беспощаден к людям, как я уже сказал, изменявшим самим себе и своему делу. Это он расценивал как бесчестье.

Он любил человеческий талант, так как сам был необыкновенно, щедро талантлив. Поэтому на всякое ущемление и унижение таланта он отзывался с таким сокрушительным гневом, что становилось страшно за него самого. Он справедливо думал, что каждый истинно талантливый человек является гордостью народа и требует к себе элементарного человеческого уважения.

Без Иванова наша писательская жизнь потеряла одну из самых надежных, спокойных и, я бы сказал, могучих «сибирских» опор. По натуре Всеволод Вячеславович был сибиряком.

У Всеволода Вячеславовича было одно редкое свойство — он всегда выражал проще и значительнее, хотя и молчаливее, чем мы, свое отношение к людям и к миру. Он был проницателен, иногда неожиданно и весело проницателен — и это его свойство в угадывании людей и обстоятельств веселило всех окружающих и его самого.

Кем он был в нашей писательской жизни? Прежде всего новатором и настоящим волшебником, колдуном.

Подлинное творчество, по словам Горького, мало чем отличается от волшебства,— подлинное творчество, с его неожиданными разливами, взрывами и тишиной, неслы-

ханным разнообразием людей и событий и всепоглощающим миром чувств и страстей.

Иванов был золотоискателем, замечательным новатором во всем, от самого себя — уроженца Иртыша, наборщика, факира, путешественника и человека неукротимого воображения и острейшего ума — до работяги-писателя, мастера, одного из «Серапионовых братьев». Он создал свой стиль, свой язык, свой мир, который он уверенно направил по широким литературным трактам.

У него была широкая, сильная ладонь. Он захватывал в нее горсти жизненной руды крепко и умело.

Поэтому все, что он писал, всегда было новым — и «Факир» и «Бронепоезд» — все, вплоть до таких шедевров прозы, как «Сизиф», «Дикий хмель» или маленький рассказ о «великом сибирском поэте». «Дикий хмель» — это нечто более высокое, более точное и поэтичное, чем сама поэзия.

В «Диком хмеле» проза теряет вес, тяжесть, уходит от законов литературного тяготения, дышит как некий дикий рай и сверкает нам в лицо великолепным золотым самородком.

Только Всеволод Вячеславович с его особой зоркостью к земле, с его сосредоточенной любовью к ней и к человеку мог найти этот самородок в головокружительных чащах забайкальской тайги.

Читая строки Иванова о Сибири, невольно вспоминаешь удивительные слова другого поэта, Пастернака, о том, что Россия тоже ходила в застенчивых красавицах-невестах. И у нее были свои великие и самоотверженные влюбленные поклонники и защитники, и одним из них был, конечно, Всеволод Иванов.

Давно известно, что природа, несмотря на свое кажущееся совершенство, сплошь и рядом «ошибается». Есть люди, на которых ей надо бы запретить подымать руку.

Но как? Каким образом изгнать такие болезни, как рак? Долго ли еще человечество будет подставлять голову под топор палача? Все уверены, что если бы военщина и правители всех стран нашей планеты перестали бы заниматься подготовкой к массовому убиению людей и бросили бы несметные народные богатства, какие они на это тратят, на борьбу с раком, то с этим черным гостем нашей земли давно было бы покончено.

Будем же впредь беречь людей, будем хранить нашу любовь к таким великим и простым людям, к таким вели-

ким писателям, как Всеволод Вячеславович Иванов, и будем любить и беречь в память его нашу милую, но порой многострадальную землю.

Пусть же на эту землю всегда льется солнце и благодатные дожди.

Пусть она цветет, как милая родина его широкого и мужественного сердца.

1963

ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК

На улицах Афин не было тени. Над городом стоял отвесный беломраморный зной.

В скверах цвели ползучие странные цветы без листьев. На их стеблях торчали темно-зеленые мягкие отростки, похожие на хвою. Стоило сжать пальцами такую веточку — и она тотчас лопалась и выпускала мутный холодноватый сок.

Движение сока в этом растении было, видимо, таким сильным, что па веточках выступал мелкий холодный пот. Было непонятным, почему сок остается холодным, тогда как его отделяет от испепеляющего солнца Эллады только тончайшая зеленая пленка.

Мы лениво рассуждали об этом, сидя в тени под стенами афинского музея и чувствуя всю непрочность этой тени. Она была наполнена нестерпимыми отблесками всего, что находилось рядом под солнцем, но больше всего — бегущим блеском ветровых стекол автомобилей и автокаров.

Ослепительно-белый полицейский медленно прошел мимо нас и вполголоса, как заговорщик, попросил значок с видом Кремлевской башни. Он осторожно расстегнул свой китель, приколол значок к подкладке, подмигнул на офицера, стоявшего у киоска с газетами, и, козырнув, ушел. Но офицер не обратил на это никакого внимания.

Мы пришли осмотреть музей,— в нем были собраны недавно поднятые со дна моря у берегов Греции древние скульптуры. Но мы боялись войти в музей, чтобы не задохнуться. Мы медлили. Страшно было подумать о том, что происходит там внутри, если снаружи воздух как бы перегретый в калильных печах!

Продавец оранжада, поразительно вкусной и ледяной воды, обладавшей коварным свойством — после каждого нового стакана вдесятеро усиливать жажду, сжалился над нами и сказал, что мы боимся совершенно зря — музей построен из мрамора, а мрамор, как известно, долго и хорошо держит прохладу.

Продавец оранжада оказался прав. Мы вспомнили, что большинство южных знойных городов выстроено из прохладного мрамора — и Неаполь, и Афины, и Палермо, и Валетта на острове Мальта. И тут мы вспомнили, что и у нас в Музее изобразительных искусств на Волхонке в Москве бывает прохладно от обилия мрамора даже в те жаркие летние дни, когда грозы ходят над городом с ливнями и дымом.

Мы вспомнили здесь, в Афинах, об этом нашем музее и о создателе его — знаменитом и скромнейшем нашем ученом-искусствоведе Иване Цветаеве, уроженце Шуйского уезда, Владимирской губернии.

Этот бывший сельский мальчик отдал весь жар своей души великому искусству наших праотцев — римлян и эллинов. Увидев красоту мраморных форм и синеву морских теней на барельефах Акрополя, он не мог спокойно жить, не поделившись со своим народом тем высоким озарением, какое ему давало древнее искусство.

С необыкновенным, поистине титаническим упорством он создал в тогдашней купеческой Москве превосходный музей, где были собраны образцы мировых шедевров. Он положил на это всю свою жизнь. Постройка музея требовала огромных денег. Их пришлось добывать с великим трудом, просто выколачивать их из московских купцов и купчих, пуская в ход все красноречие и даже лукавство.

Цветаев был тем бессребреником, ученым и художником, каких во все времена рождала и любила Россия.

Но кроме музея, где висит сейчас мемориальная доска с именем Цветаева, он подарил стране еще один живой и драгоценный подарок — свою талантливую дочь, поэтессу Марину.

Блестящая поэзия Марины Цветаевой живет и будет жить во славу своей страны. Жизнь Цветаевой была тревожной и тяжкой. Судьба обошлась с поэтессой беспощадно.

Стихи тютчевской глубины и силы, живой и весомый, как полновесное зерно, русский язык, головокружение у

встречных людей от душевной цветаевской прелести. дочерняя любовь к России, по которой Марина «заплачет и в раю», сплошная вереница горестей и несчастий, которую все время захлестывает вереница блестящих стихов,— вот главное в жизни Марины Цветаевой.

С поэзией Марины соседствует, а порой и побеждает ее, точная, тонкая, свободная, а порой и тяжелая от обилия, как роса на любимой Марининой бузине, проза.

Каждое слово Марины Цветаевой принадлежит России, русскому народу и его будущим поколениям. Остро, всем своим существом Марина знала глубокое и ясное содержание народного русского гения. Она была выразительницей внутренней красоты русской женщины, но не рафинированной интеллигентки, а крестьянки, простой женщины, простолюдинки. Недаром покойный Всеволод Иванов, писатель могучей силы, считал Цветаеву наиболее близкой по самому своему поэтическому существу к Некрасову. Марина сама была воплощением той «женщины русских селений», что «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

В журнале «Простор» был напечатан рассказ Марины Цветаевой «Отец и его музей». В этом рассказе Марина дает удивительный образ своего отца. Этот рассказ действительно драгоценный лавровый венок любящей дочери своему замечательному отцу.

Проза Марины Цветаевой бесспорно войдет в золотой фонд нашей литературы. Между прочим, прочитав этот рассказ Марины Цветаевой, со стыдом убеждаешься в том, как мало мы знаем своих выдающихся людей и как мы, по справедливому упреку Пушкина, «ленивы и нелюбопытны».

Таруса, июль 1965 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БАБЕЛЕ

Мы верим в первое впечатление. Принято думать, что оно безошибочное. Мы убеждены, что, сколько бы раз ни меняли свое мнение о человеке, все равно рано или поздно мы возвратимся к первому впечатлению.

Веру в первое впечатление ничем нельзя объяснить, кроме убежденности человека в собственной проницатель-

ности. В своей жизни я часто проверял это «первое впечатление», но всегда с переменным успехом.

Часто первое впечатление задает нам хитрые загадки.

В обстановке некоторой загадочности и моего изумления и произошла моя первая встреча с Бабелем. Это было в 1925 году под Одессой, в дачной местности Средний Фонтан.

К западу от Одессы тянется на много километров в сторону открытого моря полоса старых садов и дач. Вся эта местность носит название Фонтанов (Малый, Средний и Большой Фонтаны), хотя никаких фонтанов там нет. Да, кажется, и не было.

Дачи на Фонтанах назывались, конечно, «шикарно», по-одесски — «виллами». Вилла Вальтуха, вилла Гончарюка, вилла Шаи Крапотницкого.

Вся полоса Фонтанов была разбита на станции (по числу остановок трамвая) — от первой станции до шестнадцатой.

Станции Фонтанов ничем особенно не отличались друг от друга (сады, дачи, крутые спуски к морю, заросли дрока, разрушенные ограды и снова сады), кроме разного запаха и разной густоты воздуха.

На первой станции в окна трамвая влетал сухой дух перестоявшейся лебеды и ботвы помидоров. Объяснялось это тем, что первая станция находилась еще на окраине города, в черте его огородов и пустырей. Там в пропыленной траве сверкали, как тысячи игрушечных солнц, бесчисленные осколки стекла. Особенно красивыми, изумрудными искрами вспыхивали битые пивные бутылки.

С каждым километром линия трамвая отходила от городских окраин и приближалась к морю, пока на девятой станции до нее не начинал уже явственно достигать свежий прибойный гул.

Вскоре этот гул и запах скал, облитых морем и просыхающих на солнце, распространялся далеко вокруг вместе со сладким чадом скумбрии. Ее жарили на железных листах. Листы эти обитатели Фонтанов сдирали с крыш заброшенных дач и сторожек.

А за шестнадцатой станцией воздух внезапно менялся — из бледного и как бы утомленного он превращался в плотную, глухую синеву. Синева эта без устали гнала от самого Анатолийского берега на большефонтанские пески шумящие волны.

На девятой станции я снял на лето веранду на заколо-

ченной даче. Рядом, через дорогу, жил Бабель с женой — рыжеволосой красавицей Евгенией Борисовной — и сестрой Мэри. Сестру все ласково звали Мэрочкой.

Мэрочка «до невозможности», как говорят в Одессе, была похожа на брата и безропотно выполняла все его поручения. А у Бабеля их было много, и притом самых разнообразных — от переписки на колченогой машинке его рукописей до схваток с назойливыми и нагловатыми поклонницами и поклонниками. Уже в то время они целыми отрядами приезжали из города «посмотреть на Бабеля» и приводили этим Бабеля в трепет и негодование.

Бабель недавно вернулся из Конармии, где служил простым бойцом под фамилией Лютов. Рассказы Бабеля уже печатались во многих журналах — в горьковской «Летописи», в «Лефе», в «Красной нови» и в одесских газетах. За Бабелем толпами бегали одесские литературные мальчики. Они раздражали его не меньше поклонниц.

Слава шла об руку с ним. В наших глазах он уже стал литературным мэтром, и к тому же непререкаемым и насмешливым мудрецом.

Иногда Бабель звал меня к себе обедать. Общими силами на стол втаскивали («Эх, взяли! Еще раз взяли!») громаднейшую алюминиевую кастрюлю с жидкой кашей. Кастрюлю эту Бабель называл «патриархом», и каждый раз, когда она появлялась, глаза его плотоядно блестели.

Так же они блестели, когда он читал мне вслух на пляже стихи Киплинга, или «Былое и думы» Герцена, или неведомо как попавший к нему в руки рассказ немецкого писателя Эдшмида «Герцогиня». То был рассказ о вздернутом на виселицу за разбой средневековом французском поэте Франсуа Вийоне и о его трагической любви к монахине-герцогине.

Кроме того, Бабель любил читать поэму Артюра Рембо «Пьяный корабль». Он великолепно читал эти стихи по-французски, читал настойчиво, легко, как бы окуная меня в их причудливый слог и столь же причудливо льющийся поток образов и сравнений.

— Кстати, — заметил однажды Бабель,— Рембо был не только поэтом, но и авантюристом. Он торговал в Абиссинии слоновыми бивнями и умер от слоновой болезни. В нем было нечто общее с Киплингом.

— Что? — спросил я.

Бабель сразу не ответил. Сидя на горячем песке, он бросал в воду плоские голыши.

Любимым нашим занятием в то время было бросать голыши — кто дальше? — и слышать, как они со звуком откупориваемой бутылки шампанского врезаются в воду.

— В журнале «Сатирикон»,— сказал Бабель без всякой связи с предыдущими своими словами,— печатался талантливейший сатирический поэт Саша Черный.

— Я знаю. «Арон Фарфурник застукал наследницу дочку с голодранцем студентом Эпштейном».

— Нет! Это не то! У него есть стихи очень печальные и простые. «Если нет, то ведь были же, были на свете и Бетховен, и Гейне, и Пушкин, и Григ». Настоящая его фамилия была Гликберг. Я вспомнил о нем потому, что мы только что бросали голыши в море, а он в одном из стихотворений сказал так: «Есть еще острова одиночества мысли. Смелым будь и не бойся на них отдыхать. Там угрюмые скалы над морем нависли,— можно думать и камешки в воду бросать».

Я посмотрел на Бабеля. Он грустно улыбнулся.

— Он был тихий еврей. Я тоже был таким одно время, пока не начал писать. И не понял, что литературу ни тихостью, ни робостью не сделаешь. Нужны цепкие пальцы и веревочные нервы, чтобы отрывать от своей прозы, с кровью иной раз, самые любимые тобой, но лишние куски. Это похоже на самоистязание. Зачем я полез в это каторжное писательское дело! Не понимаю! Я мог, как мой отец, заняться сельскохозяйственными машинами, разными молотилками и веялками Мак-Кормика. Вы видели их? Красавицы, пахнущие элегантной краской. Так и слышишь, как на их ситах шелком шуршит сухая пшеница. Но вместо этого я поступил в Психоневрологический институт только для того, чтобы жить в Петрограде и кропать рассказики. Писательство! Я тяжелый астматик и не могу даже крикнуть как следует. А писателю надо не бормотать, а говорить во весь голос. Маяковский небось не бормотал, а Лермонтов, так тот просто бил наотмашь по морде своими стихами потомков «известной подлостью прославленных отцов...».

Уже потом я узнал, как умер Саша Черный. Он жил в Провансе, в каком-то маленьком городке у подножья Приморских Альп, вдалеке от моря. Оно только голубело вдали, как мглистая бездна.

Городок вплотную окружали леса из пиний — средиземноморской сосны, пахучей, смолистой и пышущей жаром.

Сотни людей с больными легкими и сердцем приезжа-

ли в эти леса, чтобы дышать их целебным бальзамическим воздухом. И те, кому было обещано врачами всего два года жизни, жили после этого иной раз много лет.

Саша Черный жил очень тихо, ковырялся у себя в крошечном саду, радовался горячему шелесту пиний, когда с моря, должно быть из Корсики, налетал ровный ветер.

Однажды кто-то из небрежных, вернее, преступных людей бросил, закурив, непогашенную спичку, и тотчас лес около городка выдохнул дым и пламя.

Саша Черный первым бросился гасить этот пожар. За ним бросилось все население городка.

Пожар остановили, но Саша Черный через несколько часов умер в маленькой больнице этого городка от сердечного потрясения.

...Мне трудно писать о Бабеле.

Прошло много лет со времени моего знакомства с ним на Среднем Фонтане, но до сих пор он мне кажется, как и при первой встрече, человеком слишком сложным, все видящим и все понимающим.

Это обстоятельство всегда стесняло меня при встречах с ним. Я чувствовал себя мальчишкой, побаивался его смеющихся глаз и его убийственных насмешек. Только раз в жизни я решился дать ему «на оценку» свою ненапечатанную вещь — повесть «Пыль земли фарсистанской».

По милости Бабеля мне пришлось писать эту повесть дважды, так как он потерял ее единственный экземпляр. (Еще с тех давних пор у меня осталась привычка, окончив книгу, уничтожать черновики и оставлять себе один экземпляр, переписанный на машинке. Только тогда ко мне приходило чувство, что книга действительно окончена,— блаженное чувство, длившееся, к сожалению, не дольше нескольких часов.)

Я с отчаянием начал писать эту повесть второй раз с самого начала. Когда я ее дописал (это была тяжкая и неблагодарная работа), то почти в тот же день Бабель рукопись нашел.

Он принес ее мне, но держал себя не как обвиняемый, а как обвинитель. Он сказал, что единственное достоинство этой повести — это то, что написана она со сдержанной страстью. Но тут же он показал мне куски, полные восточных красот, «рахат-лукума», как он выразился. И тут же изругал меня за ошибку в цитате из Есенина.

— От многих слов Есенина болит сердце,— сказал он

сердито.— Нельзя так беззаботно относиться к словам поэта, если вы считаете себя прозаиком.

Мне трудно писать о Бабеле еще и потому, что я много писал о нем в своих автобиографических книгах. Мне все кажется, что я исчерпал его, хотя это, конечно, неверно. В разное время я вспоминаю все новые и новые высказывания Бабеля и разные случаи из его жизни.

Впервые рассказы Бабеля я читал в его рукописях. Я был поражен тем обстоятельством, что слова у Бабеля, одинаковые со словами классиков, со словами других писателей, были более плотными, более зрелыми и живописными. Язык Бабеля поражал, или, вернее, завораживал, необыкновенной свежестью и сжатостью. Этот человек видел и слышал жизнь с такой новизной, на какую мы были неспособны.

О многословии Бабель говорил с брезгливостью. Каждое лишнее слово в прозе вызывало у него просто физическое отвращение. Он вымарывал из рукописи лишние слова с такой злобой, что карандаш рвал бумагу.

Он почти никогда не говорил о своей работе «пишу». Он говорил «сочиняю». И вместе с тем он несколько раз жаловался на отсутствие у себя сочинительского дара, на отсутствие воображения. А оно, по его же словам, было «богом прозы и поэзии».

Но как бы ни были реальны, порой натуралистичны герои Бабеля, вся обстановка и все случаи, описанные им, все «бабелевское» происходило в мире несколько смещенном, иной раз почти невероятном, даже анекдотичном. Из анекдота он умел сделать шедевр.

Несколько раз он кричал в раздражении на самого себя: «Чем держатся мои вещи? Каким цементом? Они же должны рассыпаться при первом толчке. Я же сплошь и рядом начинаю с утра описывать пустяк, деталь, частность, а к вечеру это описание превращается в стройное повествование».

Он сам себе отвечал, что его вещи держатся только стилем, но тут же смеялся над собой: «Кто поверит, что рассказ может жить одним стилем, без содержания, без сюжета, без интриги? Дикая чепуха».

Писал он медленно, всегда тянул, опаздывал сдавать рукописи. Поэтому для него обычным состоянием был ужас перед твердыми сроками и желание вырвать хоть несколько дней, даже часов, чтобы посидеть над рукописью и все править и править без понуканий и помех.

Ради этого он шел на что угодно — на обман, на сидение в какой-нибудь немыслимой глухой дыре, лишь бы его не могли найти и ему помешать.

Одно время Бабель жил в Загорске, под Москвой. Адрес свой он никому не давал. Увидеть его можно было только после сложных переговоров с Мэри. Однажды Бабель все же зазвал меня к себе в Загорск.

Бабель подозревал, что в этот день может нагрянуть какой-то редактор, и тотчас ушел со мной в заброшенный древний скит.

Там мы отсиживались, пока не прошли из Москвы все опасные поезда, с какими мог бы приехать редактор. Бабель все время ругался на жестоких и недогадливых людей, не дававших работать. Потом он послал меня на разведку — прошла ли редакторская опасность или надо еще отсиживаться. Опасность еще не прошла, и мы сидели в скиту очень долго, до сизых сумерек.

Я всегда считал Бабеля истым южанином, черноморцем и одесситом и втайне удивился, когда он сказал, что сумерки в Средней России — лучший час суток, самый «обворожительный» и прозрачный час, когда ложатся в нежнейшем воздухе едва заметные тени от ветвей и вот-вот над краем леса, неожиданно, как всегда, возникнет серп месяца. И где-то далеко прогремит выстрел охотника.

— Почему-то,— заметил Бабель,— все вечерние выстрелы кажутся нам очень отдаленными.

Мы говорили потом о Лескове. Бабель вспомнил, что невдалеке от Загорска находилось блоковское Шахматово, и назвал Блока «очарованным странником». Я обрадовался. Это прозвище удивительно подходило к Блоку. Он пришел к нам из очарованной дали и увел нас в нее — в соловьиные сады своей гениальной и грустной поэзии.

Тогда уже даже неискушенному в литературе человеку было ясно, что Бабель появился в ней как победитель и новатор, как первоклассный мастер. Если останутся для потомков хотя бы два его рассказа — «Соль» и «Гедали», то даже два этих рассказа свидетельствуют, что движение русской литературы к совершенству столь же устойчиво, как и во времена Толстого, Чехова и Горького.

По всем признакам, даже «по сердцебиению», как говорил Багрицкий, Бабель был писателем огромного и щедрого таланта. В начале этой статьи я говорил о первом впечатлении от человека. По первому впечатлению никак нельзя было сказать, что Бабель — писатель. Он был со-

вершенно лишен шаблонных качеств писателя: не было ни внешней красоты, ни капли позы, ни глубокоумных бесед. Только глаза — острые, прожигающие вас насквозь, смеющиеся, одновременно и застенчивые и насмешливые — выдавали писателя. И беспокойная, молчаливая грусть, в какую он впадал время от времени, тоже изобличала в нем писателя.

Тем, что Бабель стремительно и полноправно вошел в нашу литературу, мы обязаны Горькому. В ответ Бабель относился к Горькому с благоговейной любовью, как может относиться только сын к отцу.

...Почти каждый из писателей получает путевку в жизнь от старшего товарища. Я считаю — и с некоторым основанием,— что такую путевку в числе прочих дал мне Исаак Эммануилович Бабель, и потому я сохраню до последнего своего часа любовь к нему, восхищение его талантом и дружескую благодарность.

1966

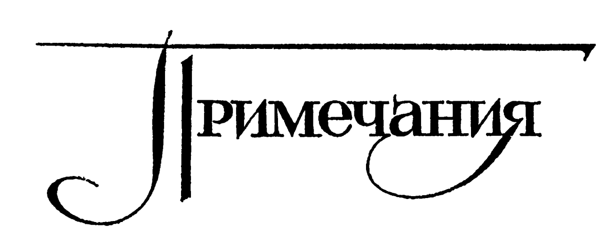
ВЕЛИКИЙ ДАР

Властительница поэзии, прекрасная женщина и мужественная наша современница — эти слова целиком относятся к Анне Андреевне Ахматовой. Анна Ахматова — целая эпоха в поэзии нашей страны. Она спутница нескольких поколений. Я счастлив, что жил в одно время с ней. Она щедро одарила своих современников человеческим достоинством, своей свободной и крылатой поэзией — от первых книг о любви до стихов стоящего под огнем Ленинграда.

Через трудную женскую судьбу пронесла она свою гражданственность и великий поэтический дар. Стихи ее будут жить, пока будет существовать поэзия на русской земле.

Анна Андреевна Ахматова родилась и умерла, как предназначено каждому, но жизнь прожила талантливую, блестящую, полную поэтического волнения. Она оставила ее нам, как пример благородства, свою жизнь, равную судьбе ее предшественников и современников — наших великих поэтов.

1966


Примечания

Одна из сказок К. Паустовского кончается довольно неожиданным признанием автора:

«У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называется она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает часто интереснее самых волшебных сказок».

Приведенные слова служат своего рода объяснением, почему в рассказе, который автор без колебаний отнес к разряду сказок, появляются герои и развертываются события, редко встречающиеся в фантастических повествованиях, где при содействии фей и колдунов все совершается по чудесному мановению волшебства Присуще это не одному лишь «Заботливому цветку», а в большей или в меньшей мере всем сказкам Паустовского (за вычетом разве что «Артельных мужичков», стоящих в его творчестве несколько особняком), в которых если и случаются происшествия из ряда вон выходящие, то протекают они не в условном «некотором царстве, некотором государстве», а рядом с нами, в знакомой обстановке, где действуют самые обыкновенные законы житейской логики. И выступают в них не цари и королевичи, не витязи и чудища, словом, не традиционные сказочные персонажи, а самые обычные наши современники — пекари, крестьяне, артисты, лесники, деревенские и городские мальчишки и девчонки. Больше того. Если в произведениях, построенных на подлинных фактах действительности, писатель порой приподымал своих героев, наделяя их сказочными чертами характера, то в сказках он нередко помещает героев в самые что ни на есть рядовые обстоятельства, заставляя их пройти через события, какие не минуют простых смертных.

В силу этого едва ли есть веские основания видеть в сказках Паустовского некую художественную стихию, обособленную от основного потока его творчества. Может быть, отчетливее всего это обнаруживается при сопоставлении такой новеллистической вещи, как «Доблесть», с такой сказочной вещью, как «Заботливый цветок». К разряду волшебных следует скорее причислить исключительные события рассказа, нежели мало в чем отклоняющиеся от

будничного течения повседневности эпизоды сказки. И хотя явной натяжкой было бы утверждать, что большинство произведений по материалу, лежащему в их основе, точно такие же, как «Доблесть», а все сказки по содержанию тождественны «Заботливому цветку», для их автора в высшей степени показательно отношение к сказке не как к продукту произвольного мифотворчества, а как к явлению самой жизни. В его глазах все, что сообщает человеческому существованию творческое начало, дух веселой изобретательности, заманчивость новизны, поэтический смысл, обязано своим рождением на свет не капризной игре фантазии, а самой действительности.

Но слова Паустовского, венчающие сказку «Заботливый цветок», примечательны и в другом отношении. Они являются как бы ключом и эпиграфом к путевым очеркам и публицистическим откликам, к литературным портретам и сказочным историям — решительно ко всем произведениям, вошедшим в настоящий том, произведениям неоднородным по жанровой природе и творческому замыслу и, несмотря на это, связанным меж собой свойствами органической, внутренней общности.

Обращается ли писатель к материалу индустриального строительства начала тридцатых годов; вдохновляется ли исследовательской мыслью селекционеров, создающих новые виды растений; рассказывает ли о красоте и о прошлом мест, прославленных на весь мир или мало кому ведомых, в какие приводят его странствия; описывает ли неспешный быт раскинувшихся среди лугов тихих деревень и прилепившихся к берегам рек маленьких городов; повествует ли о таких внешне совсем не броских занятиях, как ужение рыбы; прославляет ли нравственное величие героического характера человека, отдавшего себя служению справедливости; радуется ли победному наступлению наших войск, освобождающих от ига оккупантов дорогие его сердцу города; отзывается ли на первый полет в космические дали нашего соотечественника; делится ли впечатлениями о личности и творчестве собратьев по перу, писателей отечественных и иноземных, прошлого и настоящего, тех, с кем свела его судьба, и тех, кого он знает только по книгам, вошедшим в наш духовных обиход,— каждая страница этого тома несет на себе печать выношенной убежденности, что «Жизнь, окружающая нас... бывает часто интереснее самых волшебных сказок». Эти слова представляют собой не эффектную риторическую фигуру, а творческий девиз писателя, пристально всматривающегося в окружающее и находящего в нем неистощимую пищу для литературной работы.

Для Паустовского попросту не существовало неинтересных тем. Казалось бы, самое неуемное вдохновение должно было бы увянуть на корню, соприкоснувшись с таким унылым сюжетом, каким явля-

ется то, что принято именовать неблагозвучным словом «утильсырье». А ведь именно эта обреченная наводить скуку тема стала содержанием очерка «Всякий хлам» — очерка, который и сегодня, по прошествии полувека после первой публикации, читается с негаснущим вниманием. Увлеченно и увлекательно рассказывает в нем автор о том, как отходы производства и отбросы быта, изношенные ткани и отслужившие свой век предметы (воистину всякий хлам), которым самой судьбой всегда уготован был один путь — на свалку, переживают второе рождение, превращаясь в резину и фетр, искусственный жемчуг и целлюлозу, рыбную муку и дубильный экстракт — в вещи и вещества, способные удовлетворить многообразные человеческие потребности.

Если очерки и статьи, собранные в этом томе, исполнены такой впечатляющей силы, если по своему воздействию на читателя они ни в чем не уступают повестям и рассказам Паустовского, то это объясняется, понятно, и тем, что они принадлежат перу искусного мастера, которому подвластен любой жизненный материал, но в еще большей мере тем, что никогда обращение к самым прозаическим и заурядным явлениям действительности не было для Константина Георгиевича лишь данью внешней необходимости. Выступая в качестве публициста, он брался только за такие темы, какие отвечали его внутренним склонностям и выстраданным пристрастиям. Почти во всех публицистических произведениях Паустовского, писавшихся по горячим следам событий и преследовавших нередко утилитарные цели, острые проблемы, стоящие в их центре, сопрягаются с приметными фактами биографии автора и воспоминаниями о давних и недавних днях, оставивших нестираемые меты в его душе. Это придает статьям и очеркам ощутимое лирическое звучание.

И еще одна особенность публицистики Паустовского заслуживает внимания. Некоторые очерки и статьи были разведкой тем, которые потом, короткое или продолжительное время спустя, получили развитие в его повестях и рассказах.

Уже упоминавшийся очерк о всяком хламе начинается так:

«Память сыграла со мной скверную шутку. Я забыл имя этого писателя. Может быть, вы напомните мне его,— он рассказал о человеке, скупившем всю пыль и мусор в старой ювелирной мастерской.

Дело было в Париже.

Мастерскую не прибирали несколько лет. Пыль лежала геологическими пластами. Ее собрали, сожгли в тиглях, и из них закапало жидкое чистое золото.

Это — из области литературы».

В данном случае не так уж существенно, придумал ли Паустов-

ский историю про золотую пыль или в самом деле где-то прочитал о ней. Куда важнее, что в этих мимолетных фразах, призванных убедить читателя в том, что бросовые вещи, если к ним отнестись с толком и умом, могут принести осязаемую пользу, впервые забрезжил свет сюжета, который через четверть века разгорелся в легенде о Шамете, ставшей зачином и разбегом книги о писательском мастерстве.

С легкой руки некоторых критиков первых послевоенных лет за Паустовским утвердилась репутация созерцателя, стоявшего в стороне от страстей и волнений нашего тревожного века. Трудно придумать что-нибудь более далекое от реального облика Константина Георгиевича, писателя и гражданина, чем эта предвзятая и ошибочная точка зрения. Красноречивое подтверждение тому — публицистика этого тома

Верно, что Паустовский, прирожденный скиталец, азартный путешественник, побывавший на юге и на севере, на востоке и на западе, неутомимо описывал своеобразие мест, которые ему посчастливилось увидеть, и создал множество удивительных по точности и лиризму пейзажей. Но также верно и то, что никогда от его требовательного и сострадательного взора не укрывались повседневные дела и неотложные нужды наших современников, о которых он всегда говорил с неподдельным жаром и озабоченной заинтересованностью. Достаточно прочесть хотя бы «Письма из рязанской деревни», «Прав старый лесничий», «Городок на реке», чтобы убедиться в этом.

Паустовский был одним из первых, кто возвысил свой голос в защиту природы, кто привлек общественное внимание к теневым последствиям набиравшего скорость технического прогресса, кто яростно обличал уничтожение лесов, порчу рек, загрязнение воздуха. В пору, когда выступления такого рода стали только раздаваться, их автор казался иным практичным людям чуть ли не оторванным от современности замшелым чудаком, который проявляет чрезмерную нервозность по поводу дел, не таких уж злободневных, чтобы оповещать о них всех и каждого. Сегодня, когда газеты и журналы пестрят бесчисленными материалами, посвященными вопросам экологии, когда приняты законы об охране окружающей среды, когда издаются специальные постановления о защите Байкала и заповедников страны, когда по этим проблемам созываются конференции и симпозиумы, стало очевидно, что Паустовский был не только дальновиднее, но и неизмеримо «практичнее» тех, кто укорял его за то, что он проявляет излишнее пристрастие к второстепенным, чтобы не сказать третьестепенным, вещам.

Достоевский утверждал, что потребность красоты и творчества неразлучна с человеком, что «без нее человек, может быть, не захо-

тел бы жить на свете». Эта мысль была близка Константину Георгиевичу. Защищая красоту природы, он защищал полноценное существование и духовное богатство человека. И потому-то он был так непреклонно гневен, когда видел, что природе наносится невосполнимый урон. Он страстно писал:

«Кто возместит нам необратимую потерю прекрасного пейзажа, потерю красоты? Ее ведь не прикинешь на счетах и не занесешь в бухгалтерские балансы. Значение ее для живой души человеческой в тысячи раз больше, чем скрупулезная экономия. Только люди, не помнящие своего духовного родства, люди тупо равнодушные к культуре своей страны, к ее прошлому, настоящему и будущему, могут так безжалостно уничтожать ту высокую культурную ценность, что несут в себе природа, пейзаж и его красота».

Паустовский недаром с таким уничтожающим презрением отозвался о тех, кто не помнит своего духовного родства. Именно сознание и чувство своей кровной близости с художниками слова, работавшими до него и работающими бок о бок с ним, постоянно пробуждали в нем потребность воссоздать образы писателей минувшего и настоящего Впрочем, когда дело касалось искусства, для него исчезала граница между прошедшим и текущим временем. Знаменательно, что в почти одинаковой интонации сообщает Паустовский о двух встречах, между которыми, казалось бы, нет и быть не может ничего общего: «Мне было всего восемь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном» и: «Я познакомился с Фединым в 1941 году, за несколько дней до начала войны». То, что Андерсен умер почти за два десятилетия до его собственного появления на свет, а Федин был сверстником, с которым его связывал непосредственный контакт, имеет в глазах Паустовского меньшее значение, чем то, что книги обоих писателей составляют неотъемлемую часть его внутреннего мира. Константин Георгиевич воспринимал своих литературных предшественников как живых современников: раз не стареют книги, разрушительная сила времени не властна над запечатленным в слове обликом их творца.

Автор объединил очерки и статьи о писателях общим названием «Литературные портреты», хотя и в жанровом отношении и по структуре они отличаются друг от друга. Портреты, написанные маслом, соседствуют в них с акварелями и рисунками карандашом. В одном случае Паустовский углубляется в биографию писателей; в другом случае — довольствуется передачей нескольких впечатляющих эпизодов их жизни; в третьем — анализирует их творчество. Воссоздавая образ писателя, Паустовский выявляет его индивидуальную сущность, одному ему присущие черты Христиан Андерсен, на долю которого выпали невзгоды и разочарования, привлекает его способностью озарить тусклые житейские обстоятельства

романтической игрой воображения. Его трогает судьба Оскара Уайльда — поэта и романиста, эссеиста и драматурга, истощавшего свой блестящий художнический дар на эксцентрические выходки и снобистские парадоксы, пережившего в тюрьме потрясение и на закате дней своих осознавшего, что красота имеет смысл только тогда, когда она идет рука об руку со справедливостью и милосердием. Александр Малышкин пленяет его зоркой влюбленностью в мир и талантом заражать своим восхищением каждого, кто оказывается рядом с ним. Александра Куприна он ценит за глубокую укорененность его творчества в социальной действительности, за стремление отразить жизнь во всей ее полноте и многогранности. Аркадий Гайдар восхищает его чистотой помыслов, мудрой детскостью, верностью друзьям, умением бескорыстно жить и весело работать.

Каждый из писателей, о ком рассказывал Паустовский, был дорог автору по-своему. Все вместе они были спутниками его сердца. Паустовский приглашал читателя разделить радость общения с ними.

Тексты вошедших в седьмой том произведений печатаются по изданию: К. Паустовский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 7 и 8, М., ИХЛ, 1969, 1970, и по дополнительному тому к этому собранию сочинений (К. Паустовский. Рассказы. Очерки и публицистика. Статьи и выступления по вопросам литературы и искусства. М., «Художественная литература», 1972).

В тех случаях, когда произведение печатается по другим изданиям, это оговаривается.

СКАЗКИ

Теплый хлеб (с 6) — Впервые в журн «Мурзилка», 1945, № 1.

Похождения жука-носорога *(Солдатская сказка)* (с. 13).— Впервые под назв. «Старый жук» в газ. «Пионерская правда», 1945, 1 мая.

Стальное колечко (с. 17).— Впервые в «Литературной газете», 1946, 1 мая. Печатается по тексту Собрания сочинений в 6-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1958. Впоследствии сюжет сказки был существенно развит и видоизменен и лег в основу пьесы того же названия, которая была опубликована в журнале «Нева», 1956, № 7. С 1958 года пьеса печаталась под названием «Перстенек».

Дремучий медведь (с. 22).— Впервые в журн. «Мурзилка», 1948, № 1.

Растрепанный воробей (с. 29).— Впервые в журн. «Огонек», 1948, № 27—28

Артельные мужички (с. 35).— Впервые в кн : К. Паустовский. Бег времени. Новые рассказы. М., «Советский писатель»,

1954. Печатается по тексту Собрания сочинений в 6-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1958.

Стр. 38. *Паморок* — мрачная погода. В данном случае, очевидно («паморки забивать своими басками») — морочить голову.

Заботливый цветок (с. 48) — Впервые под назв. «Теплый цветок» в журн. «Мурзилка», 1952, № 6.

Квакша (с. 52).— Впервые в журн. «Мурзилка», 1954, № 5 (в сокращенном виде). Полностью впервые была напечатана в книге Паустовского «Бег времени». М., «Советский писатель», 1954.

СТРАНСТВИЯ

С берегов Куры. Тифлис (с. 60).— Впервые в газ. «Моряк», 1923, 11 марта.

В тысячелетней пыли (с. 62).— Впервые за подписью «К. П—ский» в газ. «Гудок Закавказья», 1923, апрель.

Письма с пути (с. 63).— Впервые в газ. «Моряк», 1924, 10 и 15 августа.

Приазовье (с. 67).— Впервые в газ. «Моряк», 1924, 10 августа.

Вишня и степь (с. 71).— Впервые в газ. «Моряк», 1925, 10 июля.

Керчь (с. 73).— Впервые под назв. «На предгорьях Крыма» в газ. «Моряк», 1925, 12 июля.

Стр. 73. *Митридат.*— Имеется в виду Митридат VI Евпатор (132—63 до н. э.) — царь Понта. Вел борьбу со скифами, подчинил себе побережье Черного моря. В войнах с Римом потерпел поражение и покончил с собой.

Пирей — город и порт в Греции, на Эгейском море. Входит в состав Больших Афин.

Где нашли золотое руно (Абхазия) (с. 74) — Впервые за подписью «К. П.» в кн.: «На суше и на море». Второй сборник путешествий и приключений. М.—Л., «Молодая гвардия», 1928.

Ночь в Доссоре (с 82) — Впервые под назв. «Великая Эмба» в журн. «Тридцать дней», 1931, № 8.

Стр. 83. *Нобель* Эммануэль (1859—1932) — шведский капиталист, возглавлявший предприятия семьи Нобелей в России в 1888—1917 гг.

Подводные ветры (с. 89).— Впервые в журн. «Красная новь», 1932, № 4.

Стр. 90. *Рейснер* Лариса Михайловна (1895—1926) — русская советская писательница

Стр. 104. *Ренье* Анри Франсуа Жозеф (1864—1936) — французский прозаик и поэт.

Стр. 106. *Гладков* Федор Васильевич (1883—1958) — русский советский писатель.

Стр. 108. *Сиенит* — магматическая горная порода, состоящая из полевых шпатов, цветных минералов и кварца.

Мурманск (с. 109).— Впервые в Собрании сочинений в 6-ти томах, т. 6. М., Гослитиздат, 1958.

Стр. 115. *Шняка* — старинное судно вытянутой формы.

Воспоминания о Крыме (с. 117).— Впервые в сб. К. Паустовского «Крымские рассказы». Симферополь, Крымиздат, 1948.

Стр 118. *Богаевский* Константин Федорович (1872—1943) — советский живописец.

Кончаловский Петр Петрович (1876—1956) — советский живописец.

Дейнека Александр Александрович (1899—1969) — советский живописец и график.

Ветер скорости (*Из путевого дневника)* (с. 119).— Впервые в журн. «Вокруг света», 1955, № 3, 4, 5. В журнальный вариант очерка вошел в сокращенном виде рассказ «Беглые встречи».

Стр. 119. «*Недаром помнит вся Россия про день Бородина...*» — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино».

Стр. 120. «*Запорожцы пишут письмо турецкому султану*» — картина И. Е. Репина.

Стр. 121. «*Не искушай меня без нужды...*»— романс М. И. Глинки на текст стихотворения Е. А. Баратынского «Разуверение».

Стр. 122. *Шагал* Марк (р. в 1887 г.) — современный живописец и график. Выходец из России, живет во Франции.

Стр. 128. «*Душа в заветной лире...*» — Из стихотворения А. С. Пушкина «Памятник».

«*Державин и Петров героям песнь брянцали струнами громкозвучных лир*».— Из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе».

Стр. 129. «*Вновь я посетил...*» — Начало стихотворения А. С. Пушкина (без названия).

Стр. 131. «*...служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво...*» — Из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября».

Стр. 132. *Гудон* Жан Антуан (1741—1828) — французский скульптор.

Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — композитор, один из реформаторов оперы в XVIII в.

Пушкин писал о «священном сумраке» царскосельских садов.— Речь идет о стихотворении А. С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе» («Сады прекрасные, под сумрак ваш священный // Вхожу с поникшею главой»).

Стр 133 *Каналетто* Джованни Антонио (1697—1768) — итальянский живописец.

Эль Греко (собственное имя Теотокопули Доменико) (1541—1614) — испанский художник, грек по происхождению.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

Куинджи Архип Иванович (1841—1910) — русский живописец-передвижник.

Стр. 138. *Беллинсгаузен* Фаддей Фаддеевич (1778—1852) — русский мореплаватель, адмирал.

Врангель Фердинанд Петрович (1796/97 — 1870) — русский мореплаватель, адмирал.

Стр. 145. *Добужинский* Мстислав Валерьянович (1875—1957) — русский живописец и театральный декоратор. С 1921 г. за границей.

Чурлянис (Чурлёнис) Миколас (Константин Константинович) (1875—1911) — литовский живописец и композитор.

Муза дальних странствий (с. 149).— Впервые в журн «Вокруг света», 1957, № 1.

Стр. 149. *Саади* (псевдоним; наст. имя — Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин; между 1203 и 1210—1292) — персидский поэт, прозаик, мыслитель.

Стр. 150. *Магеллан* Фернан (ок. 1480—1521) — мореплаватель, экспедиция которого совершила первое кругосветное плавание.

Васко де Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель.

Эса де Кейрош (Кейруш) Жозе Мария (1845—1900) — португальский писатель.

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851) — русский мореплаватель, адмирал.

Франклин.— Очевидно, имеется в виду Джон Франклин (1786—1847) — английский полярный исследователь.

Хайдердал — Очевидно, имеется в виду Хейердал Тур (р. в 1914 г.) — норвежский путешественник, этнограф и археолог.

Мимолетный Париж (с 151).— Отрывок из него (под назв. «Две встречи») впервые в газ «Московская правда», 1959, 29 июля. Полностью опубликован впервые в журн. «Октябрь», 1960, № 3.

Стр 155. *Нотр-Дам* — собор Парижской богоматери

«Мулен Руж» и *«Фоли Бержер»* — театры-варьете в Париже.

Стр. 156. *Коро* Камиль (1796—1875) — французский живописец-пейзажист.

Жорес Жан (1859—1914) — руководитель Французской социалистической партии, борец против войны.

Вийон Франсуа (1431 или 1432—?) — французский поэт.

Эррио Эдуард (1872—1957) — лидер французской партии радикалов.

Стр 157 *Кретон* — плотная жесткая хлопчатобумажная ткань из окрашенной пряжи.

Стр. 159. *Ажан* — полицейский.

Бульвардье — букв.: «бульварный», в данном случае: бездомный человек, живущий на бульваре.

Стр. 161. *Агасфер* — имя легендарного «Вечного жида», который был осужден скитаться на земле до конца мира.

Майоль Аристид (1861—1944) — французский скульптор.

Стр. 166. *Мон мари* (фр). — мой муж.

Стр. 167. *«Фигаро»* — старейшая французская ежедневная газета.

Стр. 171. *«Бигль»* — судно, на котором плавал в 1831—1836 гг. английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин.

Стр. 173. *Утрилло* Морис (1883—1955) — французский живописец

Дарен Андре (1880—1954) — французский живописец.

Матисс Анри (1869—1954) — французский живописец, график, мастер декоративного искусства.

Марке Альбер — французский живописец.

Стр. 177. *Рени* Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец.

Лолобриджида Джина (р 1927 г) — современная итальянская киноактриса.

Стр. 178 *Ронсар* Пьер де (1524—1585) — французский поэт.

Живописная Болгария (с. 182) — Впервые в журн «Новое время», 1960. № 1.

Стр. 183. *Зограф* Захарий (1810—1853) — болгарский живописец.

Стр. 185. *«Каких последов в этой почве нет...»* — Из стихотворения Максимилиана Волошина «Дом поэта» В оригинале: «от римских блях».

Стр. 187. *Верещагин* Василий Васильевич (1842—1904) — русский живописец.

Стр. 192. *...из земли Ханаанской.* — Ханаан — древнее название территории Палестины, Сирии, Финикии.

Стр. 193. *Фигурейд* — Фигерейду Гильермо (р 1915 г.) — бразильский драматург, прозаик, театральный критик.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940) — советский театральный режиссер.

Первая встреча (с 197).— Впервые в газ. «Советская Латвия», 1961, 1 января. Ее предваряла редакционная заметка: «В канун Нового года московский корреспондент «Советской Латвии» попросил известного советского писателя К. Г. Паустовского рассказать читателям нашей газеты о своей первой встрече с Латвией. Мы печатаем его рассказ».

Городок на реке (с. 199). Впервые в газ. «Сельская жизнь», 1961, 4 мая

Стр. 201. *Поленов* Василий Дмитриевич — русский живописец-передвижник.

Крымов Николай Петрович (1884—1958) — русский живописец.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905) — русский живописец.

Ватагин Василий Алексеевич (1883/84—1969) — советский скульптор и график.

Итальянские записи (с. 202) — Впервые под назв. «Дорожные записи» в журн. «Новый мир», 1962, № 5.

Стр 205. *Павэзэ* (Павезе) Чазаре (1908—1950) — итальянский поэт, прозаик, переводчик.

Стр. 207. *Майерова* Мария (1882—1967) — чешская писательница.

Стр. 213. *Ла Скала* — оперный театр в Милане, на сцене которого пели выдающиеся певцы и певицы.

Стр. 214. *«Рокко и его братья»* — кинофильм итальянского кинорежиссера Лукино Висконти (1906—1976).

Стр 223. *Верхарн* Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт и драматург.

Стр. 225. *Роденбах* Жорж (1855—1898) — бельгийский поэт и прозаик.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский поэт и драматург.

Третье свидание (с. 226). — Впервые в журн. «Новый мир», 1963, № 3

Стр. 227. *Дзенькуе бардзо* (п о л.) — большое спасибо.

Стр 228 *Моцарт* Вольфганг Амадей (1756—1791) — австрийский композитор.

Стр. 231. *Слонимский* Антони (1895—1971) — польский поэт и эссеист.

Стр 232. *Тувим* Юлиан (1894—1953) — польский поэт и переводчик

Стр 233. *Кафка* Франц (1883—1924) — австрийский прозаик.

Стр 234. *Перро* Шарль (1628—1703) — французский писатель.

Делакруа Эжен (1798—1863) — французский живописец и график.

Стр. 235. *Фрост* Роберт (1875—1963) — американский поэт.

Жорж Санд (псевдоним; наст. имя — Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван, 1804—1876) — французская романистка.

Стр. 236. *Неопалимая купина* — согласно Ветхому завету, чудесный, горящий, но не сгорающий куст терновника, в пламени которого бог явился Моисею. Выражение это употребляется как образное определение нерушимости, сохранности.

Стр. 242. *Ягелло* (Ягайло Владислав; ок. 1350—1434) — великий князь литовский с 1377 по 1392 г; король польский с 1386 г.

Стр. 246. *Сикстинская* Мадонна — картина Рафаэля, хранящаяся в Дрезденской галерее.

Мадонна Литта — картина Леонардо да Винчи, хранящаяся в Ленинградском Эрмитаже.

Стр. 251. *Венявский* Генрик (1835—1880) — польский скрипач и композитор.

Ствош Вит (Штос Фейт; 1455—1533) — немецкий и польский скульптор.

Стр. 255. *...повстанцев тысяча восемьсот шестьдесят третьего года...* — Имеется в виду польское восстание 1863—1864 гг. против царизма в Королевстве Польском (а также на территории Литвы, Западной Белоруссии, Правобережной Украины).

Стр. 258. *Галатея* — согласно греческой мифологии, изваянная Пигмалионом статуя прекрасной девушки; была оживлена Афродитой и стала возлюбленной Пигмалиона.

Стр. 260. *Корбюзье* (Ле Корбюзье; 1887—1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры.

Шканцы — часть верхней судовой палубы между средней и задней мачтами.

Штирборт — правый борт судна.

Бизань — самая задняя мачта, бизань-мачта; нижний косой парус на бизань-мачте.

Кабестан — лебедка с вертикальным валом, применяется на речных судах.

Кливер — косой треугольный парус, который ставится впереди фок-мачты.

Топенант — снасть, имеющая назначение поднимать и поддерживать реи, гики, стрелы, гафеля и т. д.

Огни Ла-Манша *(Английские заметки)* (с. 263).— Впервые в еженедельнике «Неделя», 1964, № 47.

Стр. 263. *Патина* — тончайшая пленка зеленого, бурого или синего цвета, образующаяся с течением времени под влиянием влажности воздуха либо в результате специальной обработки на предметах из латуни, меди, бронзы.

Констебль Джон (1776—1837) — английский живописец.

Стр. 264. *«Вокзалов едкий дым, где светится мерцаньем...»* — Из стихотворения Эмиля Верхарна «Лондон».

«Когда пронзительнее свиста...» — Из стихотворения Осипа Мандельштама «Домби и сын».

Тернер Уильям (1775—1851) — английский живописец и график.

Стр 266. *«Солдат, учись свой труп носить...»* — Из стихотворения (без названия) русского советского поэта Бориса Лапина (1905—1941).

Стр. 267. *Теккерей* Уильям Мейкпис (1811—1863) — английский прозаик.

Питт Уильям Старший, граф Чатам (1708—1778) — премьер-министр Великобритании в 1766—1768 гг. Питт Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании в 1783—1801 и 1804—1806 гг.

Стр. 268. *Уистлер* Джеймс (1834—1903) — американский живописец.

Дорога Генриха Гейне (с. 271).— Впервые в журн. «Вокруг света», 1967, № 2. Рассказ навеян поездкой К. Паустовского осенью 1965 г. на Капри.

Стр. 273. *Крупп* — имеется в виду «пушечный король» Крупп, изготовлявший оружие для военной машины нацистской Германии. Семья Круппов более ста лет (1811—1967) владела концерном «Крупп».

ОЧЕРКИ

Лейтенант Шмидт (с. 278).— Впервые в общественно-политическом и литературном еженедельнике «Народный вестник», 1917, 28 сентября, № 13—14 (за подписью «К. П.»).

№ 314527 (с. 280).— Впервые в газ. «Моряк», 1922, 18 октября (за подписью «К. П.—ский»).

Стр. 281. *Гувер* Герберт Кларк (1874—1964) — президент США (1929—1933гг.). В 1919—1923 гг.— руководитель «Ара» («Американская администрация помощи», созданная для оказания помощи европейским странам, пострадавшим во время первой мировой войны»).

...в страну желтого дьявола. — «Городом Желтого Дьявола» назвал Нью-Йорк А. М. Горький в памфлете того же названия.

Всякий хлам (с 282).— Впервые в журн. «30 дней», 1930, № 4.

Зона голубого огня (с. 289) — Впервые в журн. «30 дней», 1930, № 12. При первой публикации был снабжен подзаголовком «рассказ». Печатается по Собранию сочинений в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1958, т. 6.

Разговор о рыбе (с. 297).— Впервые в журн. «30 дней», 1930, № 6.

Стр. 301. *Бер* Карл Максим (1792—1876) — естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из создателей Русского географического общества, исследователь Каспийского моря.

Стр. 302. *Ибаньес* Бласко (1867—1928) — испанский прозаик.

Лоти Пьер (псевдоним; наст. имя — Луи Мари Жюльен Вио; 1850—1923) — французский прозаик.

Погоня за растениями (с. 303) — Впервые в журн. «30 дней», 1930, № 7.

Стр. 306. *Вавилов* Николай Иванович (1887—1943) — советский биолог, основоположник современного учения о биологических основах селекции и о центрах происхождения культурных растений.

Стр. 310. *Амп Пьер* (псевдоним; наст. имя — Анри Луи Бурийон; 1876—1962) — французский прозаик, один из создателей жанра «производственного романа».

В прифронтовом колхозе (с. 312).— Впервые в кн. «Когда тыл становится фронтом». М., «Советский писатель», 1941. Печатается по тексту кн.: К. Паустовский. Родина. Рассказы, очерки и публицистика. М., «Современник», 1972.

Белая Церковь (с. 315).— Впервые в журн. «Вокруг света», 1969, № 10. Статья написана в связи с освобождением города Белая Церковь от немецких оккупантов.

Крымская весна (с 317) — Впервые в газ «Известия», 1944, 12 апреля.

Стр. 317. *Нахимов* Павел Степанович (1802—1855) — русский флотоводец, адмирал.

Корнилов Владимир Алексеевич (1806—1854) — русский флотоводец, вице-адмирал.

Бессмертное имя (с. 318).— Впервые в газ. «Известия», 1944, 11 мая.

Стр. 319. *Матюшенко* Афанасий Николаевич (1879—1907) — один из руководителей восстания на броненосце «Потемкин» в 1905 г.

Стр. 320. *Ушаков* Федор Федорович (1744—1817) — русский флотоводец, один из создателей Черноморского флота, адмирал.

Южная Пальмира (с. 321).— Впервые в журн. «Краснофлотец», 1944, № 10—11.

Стр. 322. *Брекватер* — волнолом, каменная преграда, сооруженная для защиты гавани от морских волн.

Стр 323. *Эллинг* — место на берегу со специально устроенным наклонным фундаментом (стапелем), где закладывается и строится корпус судна.

Славин Лев Исаевич (р. 1896 г) — русский советский прозаик и драматург.

Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972) — русский советский поэт.

Жизнь (с. 324) — Впервые в журн «Огонек», 1945, № 26. Этот номер «Огонька» был целиком посвящен победоносному окончанию Великой Отечественной войны с фашистской Германией.

Стр. 324. *«Фокке-Вульф»* — название военных самолетов германской фирмы «Фокке-Вульф».

Письма из рязанской деревни (с. 327).— Впервые в газ «Социалистическое земледелие», 1950, 18 июля («Немного географии», «Луга») и 12 августа («Леса», «Слово сердца»).

Стр. 340. *«Я люблю подмосковные рощи...»* — Из песни И. Дунаевского на текст стихотворения Марка Лисянского «Моя Москва».

Заповедные земли и воды (с 340).— Впервые в журн. «Вокруг света», 1952, № 3. Представляет собой рецензию на двухтомник «Заповедники СССР», Географиздат, 1951.

Стр 344 *« ..культура,— если она развивается стихийно...»* — Из письма К. Маркса Ф. Энгельсу 25 марта 1868 года (См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 32, 1964, с. 45).

⟨За красоту родной земли⟩ (с. 346) — Впервые в «Литературной газете», 1955, 12 июля. Под общим заголовком «За красоту родной земли» в номере были объединены материалы, посвященные защите природы: заметки «От редакции», статья К. Паустовского, письма читателей.

Стр. 348. *Барбизон* — деревня вблизи Парижа, в которой в 30—60-х гг. прошлого века работала группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. Диаз, Ш.-Ф. Добиньи, К. Труайон)

Стр. 349. *Мартиролог* — в христианской литературе сборник повествований о мучениках и святых. В более широком смысле: перечень жертв преследований, гонений.

Письмо из Тарусы (с. 350).— Впервые в газ «Правда», 1956, 26 июня.

Прав старый лесничий (с. 359) — Впервые в газ. «Комсомольская правда», 1959, 3 апреля. Печатается по тексту кн.: К. Паустовский. Родина. Рассказы, очерки и публицистика. М., «Современник», 1972.

Спасибо от всего сердца. *Письмо марийским школьникам* (с. 362) — Прижизненная публикация не установлена. Опубликовано посмертно в журн. «Семья и школа», 1970, № 9.

Новая эра (с 363) — Впервые в газ. «Известия», 1961, 12 апреля (московский вечерний выпуск)», в день полета Юрия Гагарина в космос.

Судьба маленького города. *Письмо из Тарусы* (с. 365) — Впервые в газ. «Правда», 1965, 16 июля Печатается по кн.: К. Паустовский. Родина. Рассказы, очерки и публицистика. М., «Современник», 1972.

Стр. 365. *Иван Калита*, Иван I Данилович Калита (? —1340) — князь Московский с 1325 г., великий князь Владимирский с 1328 г.

Деятельность Ивана Калиты способствовала экономическому росту и политическому возвышению Москвы.

Стр. 367. *«Скучно жить в Тарусе...»* — Из стихотворения Н А. Заболоцкого «Городок».

Пуссен Никола (1594—1665) — французский живописец, представитель классицизма.

ПАМЯТИ АКСАКОВА

(Рыболовные заметки)

Стр. 369. *Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский писатель, автор «Записок об ужении рыбы».

Несколько слов об ужении рыбы (с. 370) — Впервые в сб «Рыболов-спортсмен». М., «Физкультура и спорт», 1948.

Стр. 370. *Жерлица* — рыболовная снасть, представляющая собой удочку, крючок на проволоке, которая предохраняет лесу от перекусывания ее рыбой. Употребляется для ловли щук и других хищных рыб.

Осенние воды (с. 374).— Впервые в сб. «Рыболов-спортсмен». М., «Физкультура и спорт», 1950.

Стр. 376. *Перемет* — рыболовная сеть с ячеями и крючками, которая ставится натянутой на колья.

Подпуск — рыболовная снасть в виде тонкой веревки с крючками и грузилами, которая спускается под лед.

Бредень — небольшой невод, которым ловят рыбу в мелководных местах, идя вброд.

Стр. 377. *«Древний спор славян между собой».*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России». В оригинале: «спор славян между собою,//Домашний старый спор...»

Черноморское солнце (с. 381).— Впервые в сб. «Рыболов-спортсмен». М., «Физкультура и спорт», 1951.

Стр. 382. *Столярский* Петр Соломонович (1871—1944) — советский скрипач-педагог, профессор одесской консерватории, разработавший новый метод профессионального обучения детей скрипичной игре.

Великое племя рыболовов (с. 387).— Впервые в сб. «Рыболов-спортсмен». М., «Физкультура и спорт», 1952.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Оскар Уайльд (с. 394).— Впервые в качестве предисловия к книге Оскара Уайльда «Преданный друг». М.—Л., Детгиз, 1937.

Малышкин (с. 397).— Впервые в «Литературной газете», 1938, 10 августа.

Стр. 397. *Умер Малышкин* — 3 августа 1938 г.

Случай с Диккенсом *(Из записной книжки)* (с. 399).— Впервые в сб. К. Паустовского «Михайловские рощи». М., «Правда», 1941.

Эдгар По (с. 400).— Впервые в кн.. Э д г а р П о. Золотой жук. М.—Л., Детгиз, 1946.

Стр. 401. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт.

Жюль Верн (1828—1905) — французский писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа.

Уэллс Герберт Джорж (1866—1946) — английский писатель.

Стр. 402. *Лафайет* Мари Жозеф (1757—1834) — маркиз, французский политический деятель. Участник Войны за независимость Соединенных Штатов Америки в звании генерала американской армии. В начале Великой французской революции командовал национальной гвардией, в период Июльской революции 1830 г. содействовал вступлению на престол Луи Филиппа.

Ватерлоо — населенный пункт в Бельгии, южнее Брюсселя. В период «Ста дней» возле Ватерлоо англо-голландские войска под командованием фельдмаршала Веллингтона и прусские войска под командованием фельдмаршала Блюхера разгромили армию Наполеона Бонапарта, вынудив его вторично отречься от престола.

Бессмертный Тиль (с. 405) — Впервые в кн.: Ш а р л ь д е К о с т е р. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке и об их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. М.—Л., Детгиз, 1948.

Рувим Фраерман (с. 409).— Впервые в пятом томе Собрания сочинений в 6-ти томах, М., ГИХЛ, 1958.

Стр. 411. *Шантарские острова* — архипелаг из 15 островов в западной части Охотского моря.

Гиляки — устаревшее название нивхов, народа, живущего в низовьях Амура (Хабаровский край) и на острове Сахалин.

Встречи с Гайдаром (с. 417).— Впервые в кн. «Жизнь и творчество А. П. Гайдара». М.—Л., 1951.

〈О Юрии Яновском〉 (с. 426).— Впервые в журн. «Дружба народов», 1969, № 5. Текст речи, которую К. Паустовский намеревался произнести на похоронах известного украинского писателя Юрия Яновского. 25 февраля 1954 года К. Паустовский написал в дневнике: «В Киеве умер от инфаркта Юрий Яновский». А двумя днями позже в дневнике появилась запись: «С утра в Киев... Писал свое выступление... Почетный караул. Сотни венков. Тысячи людей. Народные похороны... Речь (наизусть)».

Фридрих Шиллер (с. 428).— Впервые (под назв. «Великий поэт Германии») в журн. «Пионер», 1955, № 5.

Стр. 429. «*Буря и натиск*»—литературное движение в Германии в 70—80-х годах XVIII века, проникнутое гуманистическим пафо-

сом Просвещения: выступая против нормативной эстетики классицизма, сторонники «Бури и натиска» требовали самобытного национального искусства, демократичности, изображения сильных страстей.

Стр. 431. *Гумбольдт* Вильгельм (1767—1835) — немецкий философ, филолог, языковед, государственный деятель, дипломат.

Сказочник *(Христиан Андерсен)* (с. 431).— Впервые под назв. «Великий сказочник» в кн.: А н д е р с е н Ганс Христиан. Сказки и истории. М., ГИХЛ, 1955.

Стр. 434. *Торвальдсен* Бертель (1768 или 1770—1844) — датский скульптор, представитель классицизма (в тексте имя Альберт — ошибка).

Стр. 438. *Зеландия* — крупнейший остров в составе Дании, покрытый буковыми и дубовыми лесами.

Стр. 440. *Киркегор* (Кьеркегор) Серен (1813—1855) — датский философ и писатель, предтеча экзистенциализма.

Стр. 441. *Ингеман* Бернхард Северин (1789—1862) — датский поэт, прозаик, драматург.

Стр. 443. *Каттегат* — один из проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря.

Вагнер Рихард (1813—1883) — немецкий композитор.

Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор.

Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809—1847) — немецкий композитор, дирижер, пианист и органист.

Дядя Гиляй *(В. А. Гиляровский)* (с. 445).— Впервые в кн.: Г и л я р о в с к и й В. Москва и москвичи. Очерки старомосковского быта. М., «Московский рабочий», 1955.

Жизнь Александра Грина (с 449).— Вперые под назв. «Александр Грин» в кн.: «Год XXII», Альманах 15. Гослитиздат, 1939.

Стр. 460. *Хаггард* Генри Рейдер (1856—1925) — английский писатель и публицист, автор исторических и публицистических романов.

Конрад Джозеф (псевдоним; наст. имя — Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857—1924) — английский (по происхождению поляк) писатель-неоромантик, многие произведения которого связаны с морем и моряками.

Илья Эренбург (с 465).— Впервые в кн.: Константин П а у с т о в с к и й. Наедине с осенью. Портреты, воспоминания. Издание 2-е, дополненное. М., «Советский писатель», 1972. Печатается по тексту этой книги. Текст вступительного слова, которое К. Г. Паустовский произнес на вечере в Литературном музее в феврале 1956 г. Вечер был посвящен 65-летию со дня рождения И. Г. Эренбурга.

Стр. 468. *«Одуванчик»* — Книга, о которой говорит К. Паустовский, называлась не «Одуванчик», а «Одуванчики». Она появилась в 1912 г., после выхода в свет двух других сборников стихов И. Эренбурга: «Стихи» (Париж, 1910) и «Я живу» (С.-Петербург, 1911).

«Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме, и о мамином теплом платке...» — Из стихотворения (без названия), под которым стоит дата: «февраль или март 1913» В оригинале: «черном платке».

«Как много нежного и милого...» — Из стихотворения И. Эренбурга «О Москве». В оригинале: «И столько близкого и милого».

«Зеленая летучая звезда...» — Из стихотворения И. Эренбурга «Европа». В оригинале: «Зеленая летучая звезда, // Моя звезда, моя Европа!»

Поток жизни *(Заметки о прозе Куприна)* (с. 470).— Впервые в кн.: Куприн А. И. Собр. соч. В 6-ти томах, Т. 1. Гослитиздат, 1957.

Стр. 479. *Куропаткин* Алексей Николаевич (1848—1925) — русский генерал от инфантерии. В русско-японскую войну командовал войсками в Маньчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом.

Линевич Николай Петрович (1838/39—1908) — русский генерал от инфантерии. В русско-японскую войну в октябре 1904— марте 1905 гг. командовал 1-й Маньчжурской армией, с марта 1905 главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке.

Стр. 484. *«Нет, не видно там княжьего стяга...»* — Из стихотворения А. Блока «Новая Америка».

Стр. 487. *Федоров* Александр Митрофанович (1868—1949) — русский поэт, прозаик, переводчик.

Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933) — русский прозаик.

Михаил Лоскутов (с. 492).— Впервые в кн. М. Лоскутов. Тринадцатый караван. М., Детгиз, 1958.

Горсть крымской земли (с. 495).— Впервые в журн. «Москва», 1958, № 8.

Стр. 498. *Дерман* Абрам Борисович (1880—1952) — русский критик и литературовед.

Ратгауз Даниил Максимович (1868—1937) — русский поэт.

Стр. 499. *Веселовский* Александр Николаевич (1838—1906) — русский филолог, историк и теоретик литературы.

Стр. 504. *«Девочке медведя подарили...»* — Из стихотворения В. А. Луговского «Медведь».

Стр. 507. *«Ты, солнце святое, гори!..»* — Из «Вакхической песни» А. С. Пушкина.

Георге Топырчану (с. 507). Впервые как предисловие к кн.: Г. Топырчану. Стихи. М., Гослитиздат, 1961.

Стр. 507. *Топырчану* Георге (Джордже) (1885—1937) — румынский поэт.

Простой человек *(О Конст. Федине)* (с. 511).— Впервые под назв. «Взамен юбилейной речи» в журн. «Новый мир», 1962, № 2.

Стр. 515. *Чиковани* Симон Иванович (1903—1966) — грузинский поэт.

Стр. 516. *Язон* (Ясон) — согласно древнегреческому мифу, предводитель аргонавтов, отправившихся в Колхиду за золотым руном, которое Ясон добыл с помощью волшебницы Медеи.

Стр. 518. *Слезкин* Юрий Львович (1885—1947) — русский прозаик.

Булгаков и театр (с. 519) — Впервые под назв. «Булгаков» в журн. «Театральная жизнь», 1962, № 14.

Стр. 520. *Пирогов* Николай Иванович (1810—1881) — русский анатом, хирург, педагог, общественный деятель, основоположник военно-полевой хирургии.

Стр. 522. *Зеньковецкая* (Заньковецкая; наст. фамилия Адасовская) Мария Константиновна (1860—1934) — украинская актриса.

Соловцов Николай Николаевич (1857—1902) — русский актер, режиссер, антрепренер. В 1891 г. с группой актеров создал в Киеве «Товарищество драматических артистов», с 1893 г.— Театр Соловцова.

Кузнецов Степан Леонидович (1879—1932) — русский драматический актер.

Полевицкая Елена Александровна (1881—1973) — русская драматическая актриса, игравшая в театре В. Ф. Комиссаржевской и в труппе Н. Н. Синельникова.

Радин Николай Мариусович (1872—1935) — русский драматический актер.

Юренева Вера Леонидовна (1876—1962) — русская советская актриса.

Стр. 527. «*Мой дядя самых честных правил...*» — Первая строка «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Стр. 530. «*Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!*»— Из стихотворения Ф. И. Тютчева «29 января 1837».

О человеке и друге (с. 531).— Впервые в журн. «Новый мир», 1962, № 10. Отклик на смерть Э. Г. Казакевича, скончавшегося 22 сентября 1962 г.

Ярослав Ивашкевич (с. 532) — Впервые в качестве предисловия в кн.: Я. Ивашкевич. Избранные произведения. Рассказы. Повести. Пьесы. Перевод с польского. М., Гослитиздат, 1964.

Стр. 533. *Ге* Николай Николаевич (1831—1894) — русский живописец, один из создателей Товарищества передвижников.

Парандовский Ян (1895—1978) — польский писатель и эссеист.

Берсенев Иван Николаевич (1889—1951) — советский актер и режиссер.

Таиров Александр Яковлевич (1885—1950) — советский режиссер, создатель и руководитель Камерного театра.

Ромашов Борис Сергеевич (1895—1958) — русский советский драматург.

Вертинский Александр Николаевич (1889—1951) — русский эстрадный певец, поэт и композитор.

Куза Василий Васильевич (1902—1941) — русский советский актер.

Лятошинский Борис Николаевич (1895—1968) — украинский композитор.

Стр. 534. *Сенкевич* Генрик (1846—1916) — польский прозаик, автор исторических романов.

Жеромский Стефан (1864—1925) — польский прозаик.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский прозаик.

Болеслав Прус (наст. имя: Александр Гловацкий; 1847—1912) — польский прозаик.

Словацкий Юлиуш (1809—1849) — польский поэт.

Пшибышевский Станислав (1868—1927) — польский прозаик.

Всеволод Иванов (с. 538) — Впервые под назв. «Памяти Всеволода Иванова» в журн. «Огонек», 1963, № 35. Отклик на смерть Всеволода Иванова, скончавшегося 15 августа 1963 г.

Лавровый венок (с. 541).— Впервые в журн. «Простор», 1965, № 10. Вступительная статья к публикации в журнале рассказа Марины Цветаевой «Отец и его музей».

Стр. 543. «*Женщины русских селений*», «*...коня на скаку остановит...*» — Из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». В оригинале· «Есть женщины в русских селеньях...»

Несколько слов о Бабеле (с. 543).— Впервые в еженедельнике «Неделя», 1966, № 38.

Стр. 546. «*Арон Фарфурник застукал наследницу дочку...*» — Из повести в стихах Саши Черного «Любовь не картошка».

«*...известной подлостью прославленных отцов*».— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта».

Великий дар (с. 550).— Впервые в «Литературной газете», 1966, 8 марта. Заметка написана в связи со смертью Анны Ахматовой, скончавшейся 5 марта 1966 г.

Л. Левицкий

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКИ

СТРАНСТВИЯ

ОЧЕРКИ

ПАМЯТИ АКСАКОВА

(Рыболовные заметки)

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

Паустовский К. Г.

П21 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 7. Сказки; Очерки; Литературные портреты/ Примеч. Л. Левицкого; Худож. Е. Гольдин. — М.: Худож. лит., 1983.— 575 с.

В том вошли сказки, очерки, в том числе путевые, объединенные автором под названием «Странствия», «Рыболовные заметки», посвященные памяти Аксакова, а также «Литературные портреты» — статьи и очерки о писателях зарубежных и русских, живших давно и современниках автора (о Г.-Х. Андерсене, О. Уайльде, А. И. Куприне, К. А. Федине, А. Г. Малышкине и др.)

П $\frac{4702010200-302}{028(01)-83}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 7

Редактор **Л. Полосина**
Художественный редактор
Е. Енепко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректоры
Г. Володина и Н. Гришина

ИБ № 3039
Сдано в набор 13 12 82 Подписано в печать А07962 от 26 04 83. Формат 84×108 1/32 Бумага типогр № 1 Гарнитура «Обыкновенная новая» Печать высокая Усл печ. л 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24 Уч.-изд л 32,02. Тираж 125000 экз Заказ № 1047. Изд № III-143 Цена 2 р 30 к

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

